

НАЗИР САФАРОВ

ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

В 3-х ТОМАХ

ТОМ ПЕРВЫЙ

НАВРУЗ

Роман в 2-х книгах

Ташкент
Издательство литературы и искусства имени Гафура Гуляма
1984

Уз2
С 21

Перевод с узбекского ЭДУАРДА АРБЕНОВА

Предисловие ВАЛЕНТИНА ОСКОЦКОГО

С $\frac{4702570200-84}{M352(04)-84}$ 79-84

ДОРОГА ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ

(К творческому портрету Назира Сафарова)

В 1922 году семнадцатилетний Назиркул, сын Сафара-чор-базарчи, впервые покинул родной Джизак. Дымок паровоза плыл вослед поезду в знойном июньском небе единственным облачком, несомым, казалось, тем же порывом революционной бури, что подхватил юношу, вывед на новую дорогу, в большой мир. Позади оставались детство и отрочество. Мактаб — мусульманская школа при мечети — с тупым и невежественным, мстительным и алчным муллою-мучителем, глушившим малейший проблеск живой, самостоятельной мысли. Потрясение, пережитое в дни Джизакского восстания, изгнание мятежных горожан в безводные степи, под палящее солнце пустыни, возвращение к родным очагам — в разрушенный, опустошенный город-пепелище. Грозой вихрь 1917 года, возвестивший «время, когда униженные и обездоленные смогли поднять голову и взять в руки собственную судьбу»...

Впереди ждал неведомый, влекущий Самарканд, где юному Назиркулу, полной грудью вдохнувшему воздух свободы, предстояло пройти курсы подготовки сельских учителей, затем республиканские курсы политпросветработников, окончить Центральную партийно-советскую школу. Так он стал школьным учителем, активным деятелем широкого фронта политического и культурного просвещения, комсомольским вожаком, партийным работником. И журналистом, оттачивавшим беспокойное перо на полосах многотиражки «Еш куч» («Молодая сила») и газет «Ишчи» («Рабочий»), «Зеравшан», «Кзыл Узбекистан». Его статьи и очерки составили сборники, положившие начало литературной работе, писательскому творчеству...

В 1980 году народный писатель Узбекистана Назир Сафаров опубликовал в журнале «Шарк Юлдузи» первую книгу романа «Гроза», в 1981-м издал документальную повесть «Отец воды», в 1982-м написал музыкальную драму «Принёсший воду — в почете», в 1983-м осуществил новый сценический вариант давней пьесы «Пробуждение» (1938), фактически переписав ее заново. И на пороге 80-летия он не оставил пера, по-прежнему полон идей, одержим замыслами и планами, которые ждут воплощения. Неустанный труженик, подвижник, писатель работает и над завершающей книгой трилогии «Навруз», и над второй частью романа «Гроза». Как всегда неутомимо выступает в периодической печати, оперативно вторгаясь в сегодняшнюю действительность страстным публицистическим словом. По-прежнему понятие «постоянное дело публициста—писать историю, современность»¹, твердо убежден он, обогащает литературу подлинными худо-

¹ В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 9, с. 208.

жественными ценностями, многократно увеличивает силу ее идейно-воспитательного воздействия на общественное сознание эпохи. духовный опыт, нравственный мир людей и поколений И Назир Сафаров называет своим ближайшим творческим ориентиром не утрагившее боевой актуальности наследие Валентина Овечкина...

Годы двадцатые и годы восьмидесятые — два крайних рубежа общественной и творческой деятельности Назира Сафарова. Между ними — дорога длиною в жизнь. Шесть десятилетий, отмеченных ростом мастерства, напряженными художественными исканиями в очерке и публицистике, драматургии и прозе. Лучшее, что создано Назиром Сафаровым, вошло в избранное собрание сочинений, приуроченное к 80-летию писателя

Страницы юбилейного грехотомника — веки не просто жизненной биографии, творческой судьбы одного из старейшин узбекской советской литературы, но самой народной истории, воплощенной в темах, идеях, образах его очерков и рассказов, пьес и романов

Эпоха Великого Октября, строительства и победы социализма создала особый, невиданный прежде тип писателя — политического трибуна и общественного деятеля, преобразователя действительности, непосредственного участника борьбы за обновление мира, утверждение истинно гуманистических социальных и нравственных идеалов В ускоренном беге дней стирались границы между жизнью и творчеством, личной судьбой и историей народа Жизнь переплавлялась в творчество, а творчество — в жизнь, история народа вторгалась в личную судьбу, а личная судьба, принимая на себя ответ истории, становилась ее неотторжимым звеном. Понятие мастерства обрело крупные идейные масштабы, наполнилось новым социальным смыслом, актуальным общественным содержанием Недаром называл Горький писателя чувствительнейшим своего класса, частицей концентрированной энергии эпохи, зарядившей художественную мысль жизнеутверждающим пафосом революционного преобразования, социалистического создания Уже у истоков советская многонациональная литература новаторски заявила о себе как эпическое летописание времени, художественно удостоверившее эпохальную хронику гражданской войны, индустриализации и коллективизации, культурной революции, духовную историю становления, воспитания нового человека, вышедшего из глубинной толщи народных масс и поднятого к вершинам их социального активного творчества

Таким памятным свидетельством-документом, передавшим неповторимый облик времени, донесшим накал и размах событий, воспринимаются ныне, по пршествии лет и десятилетий, и ранние произведения Назира Сафарова Представитель первого поколения народной интеллигенции, рожденного Октябрьской революцией, он, вместе с другими зачинателями молодой узбекской прозы и драматургии, шел непроторенным путем поиска. Но работа журналиста, творчество писателя были для него таким же полем общественной деятельности, так же безотказно служили оружием классовой борьбы, как и личное участие в массовом всенародном движении за земельную и водную реформу, ликвидацию неграмотности, раскрепощение женщины, за создание новой советской школы, очагов просвещения и культуры — клубов, библиотек, ленинских уголков, читален, красных чайхан, женских кружков, коллективов художественной самодеятельности.

«Метанские паразиты» — так назвал он цикл газетных очерков, в которых гневно бичевал явных и тайных врагов Советской власти, защитников феодально-байской старины, религиозных фанатиков, опутывавших сознание людей, вчерашних батраков-дехкан, цепкими пере-

житками прошлого. Из газетных статей, очерков, фельетонов возникла первая книга, лозунгово, призывно названная «Борьба за новый быт» (1930). Смело вторгаясь в огражденный дувалами, сокрытый от стороннего взгляда обыденный мир соседских и семейных отношений, молодой автор горячо отстаивал непререкаемые нормы социалистической морали, убежденно ратовал за прочные нравственные устои человеческого общежития, которые отвечали бы коллективистскому характеру труда, укладу быта, основанному на гражданском равноправии мужчины и женщины.

Характерная особенность творческого мира Назира Сафарова проявилась уже в эту пору писательских проб, предпринятых на грани журналистики и литературы. Обостренное чувство современности было у него неотрывно от неослабной памяти истории. И хотя история, которая влекла его, еще не успела отойти в далекое прошлое, воспринималась неотъемлемой частью биографии, духовного опыта сверстников по поколению, все-таки принадлежала не сегодняшнему, а вчерашнему дню, оставленному за перевалом 1917 года. Что же, предать это прошлое, хотя бы и недавнее, забвению, как сгоряча полагали иные литераторы, опрометчиво путая современность с сиюминутностью? Ничуть не бывало. Великий Октябрь не оборвал преемственных связей между настоящим и минувшим, напротив, выявил их крупнее и ярче. Социалистическая революция пришла на почву, подготовленную национальными традициями освободительной борьбы узбекского народа. Утверждение этой истины, постижение ее образными средствами искусства и тогда, в конце 20-х—начале 30-х годов, и теперь, в 80-е годы, несли и несут актуальный политический смысл, наступательно нацеленный в идеологию буржуазного национализма с ее ключевым постулатом особенности и обособленности, замкнутости исторического пути народов Советского Востока, неорганичности, чужеродности их национальному «духу» идей и идеалов Великого Октября. Злонамеренно подхватив этот тезис, антисоветская пропаганда охотно перепевает его и в наши дни, демагогически, провокационно утверждая, будто революция и социализм, извне навязанные мусульманскому Востоку, декретированные русскими большевиками, не отвечали ни коренным социальным нуждам, ни насущным национальным интересам колониальных окраин бывшей царской России.

Для поколения зачинателей узбекской советской литературы идеология буржуазного национализма, выступавшего под флагом мусульманской религии, правоверного ислама, была не отвлеченным полемическим адресатом, но политической реальностью жизни, той враждебной, антинародной силой, против которой направлялось острое классовое сопротивление. Как показал пример Хамзы, эта борьба и от писателей требовала подвижнического мужества, самоотверженного героизма. За победу в ней еще на рубеже 20—30-х годов приходилось платить кровью — девушек и женщин, сбрасывавших паранджу, городских и сельских активистов, разоблачавших происки религиозных фанатиков, бойцов красноармейских и добровольческих отрядов, защищавших кишлаки от басмаческих банд.

В накаленной атмосфере первых послеоктябрьских лет, 20-х начал 30-х годов, национальная история также не оставалась нейтральной полосой, ничейной землей. К ее социальному и духовному спыту каждый по-своему обратился и Хамза Хаким-заде Ниязи, закладывая основы узбекского советского театра, и Абдулла Кадыри, создавая первые образцы узбекского советского романа. В русле этой традиции, тогда только намечавшейся, но как подтвердило будущее, обладавшей мощным творческим зарядом, плодотворной и перспективной, писал

для газеты «Кзыл Узбекистон» цикл очерков, сложившихся в очерковую повесть «Незабываемые дни» (1931) Назир Сафаров Эта вторая книга молодого писателя, навеянная воспоминаниями о событиях, которые он наблюдал и переживал в детстве, вышла к 15-летию Джизакского народного восстания против царизма и тематически перекликалась с четырехактной драмой Хамзы «Трагедия мобилизованных», показавшей, аннотировал драматург в афише спектакля, «какие кровавые муки и страдания обрушил в 1916 году тиран и деспот Николай на головы трудящихся в связи с мобилизацией (на тыловые работы) рабочих из мусульман Туркестана». Примечательная перекличка! И как убедительное доказательство идейного единства, направлявшего, стимулировавшего творческие искания писателей уже в пору становления узбекской советской литературы. И как внушительное свидетельство ее историзма, обогатившего художественное воссоздание предреволюционных событий 1916 года, героики и трагедии которых выявило восстание в Джизаке.

Социалистическая современность и революционная история — два начальных истока, две тематические струи в публицистике и прозе Назира Сафарова на раннем этапе творчества — органично слились в его драматургии 30-х годов. Дебютом в ней стала пьеса «История заговорила» (в первой, 1935 года, публикации в русском переводе — «Язык истории»), написанная в соавторстве с партийным и общественным деятелем, журналистом Зией Саидовым, которого Назир Сафаров благодарно считает своим учителем, наставником и в жизни, и в литературе

Острота конфликта, движущего драматическое действие, четко предопределена в этой пьесе расстановкой классовых сил, противостоянием социальных лагерей. На одном полюсе — контрреволюционное подполье, объединившее недобитых басмачей, баев и их приспешников, религиозных и националистических деятелей. Поняв свое бессилие, неминуемую обреченность в открытом, вооруженном сопротивлении Советской власти, они уповают на «грядущий час», когда смогут «изнутри распороть ненавистный саван, в который облечена наша страна», и, меняя тактику, переходят к политическим провокациям и идеологическим диверсиям, компрометации органов правосудия, народного образования и просвещения, наветам и оговорам испытанных, преданных революции и социализму людей. На втором полюсе — полноводный разлив народной жизни, переданный и множеством массовых сцен, выражающих боевой дух и созидательную энергию трудового люда, и солирующими голосами героев, чьи имена поначалу выносятся в эпиграф-посвящение: «Борцам за диктатуру пролетариата — многим Темирам и Коркмасам...» Их романтически озвученные образы, других действующих лиц — большевиков и комсомольцев, красных командиров и бойцов, рабочих и дехкан — даны в сплетении двух ведущих мотивов: классового единства и интернациональной солидарности борцов за новый, социалистический мир. «Самое прекрасное в нашем славном, героическом деле, в борьбе против басмачества — это то, что в наших отрядах вы встретите русского, и таджика, и казаха, и армянина, и уйгура, и узбека, и татарина, которых в одно целое слило чувство ненависти к своим баям, купцам, фабрикантам и муллам, ибо эксплуататоры есть в каждой национальности... Они побеждены, но еще не уничтожены. Они еще много навредят нам. Но мы должны быть бдительны», — обращается к народу рабочий-большевик Темир, призывая восстанавливать разрушенные дома и хозяйства, справедливо распределять землю и воду среди немущих дехкан. Так заговорила история, «обретшая новый язык». И новую философию истори-

ческого и социального оптимизма, которую питает пламенная убежденность в бессмертии народного дела, выражают Темир и его сын, комсомолец Коргмас, оказавшись в драматическом финале на краю гибели от рук врагов Советской власти...

Мимолетный, немногословный, но глубокий по смыслу, многозначительный диалог разворачивается в одной из сцен пьесы «История заговорила» между Вахабом Бадри, до поры до времени хитроумно маскирующим свое нутро националиста-контрреволюционера, и красным бойцом, батраком, комсомольцем Рафиком.

«Стоит ли вспоминать о прошлом?» — мрачно роняет первый, отводя народную память о непомерных жертвах, понесенных в борьбе за лучшую жизнь. «Что вы этим хотите сказать, товарищ Бадри? Разве можно отмахиваться от прошлого! Будьешь скрывать болезнь — она лихорадкой выступит наружу», — возмущается второй. Как знать, не одна ли это искра, разгоревшихся в замысел следующей пьесы Назира Сафарова — драмы «Пробуждение», продолжавшей тему очерковой повести «Незабываемые дни» и прозвучавшей как реквием в память героев Джизакского восстания, «отдавших жизнь за свободу»?

Народная история говорит в этой пьесе языком многих и разных человеческих судеб, драматичных, с нередким трагедийным исходом. Вернувшегося из Сибири политического ссыльного Кудрата, русского большевика-подпольщика Алексея, бедняков-дежкан, сезонных рабочих, арендаторов-издольщиков. Начав с законного требования вернуть им землю и воду, отобранные баем-заводчиком, они проникаются постепенным пониманием несправедливости, враждебности самого общественного строя самодержавной России, социальные устои которой олицетворяют не только ненавистный Абдурахманбай, но и стоящая за ним, защищающая его власть — «от мингбаши до царя, от полицейского до уездного начальника». Против царского самодержавия и направляют они, в конечном счете, оружие, отстаивая политические права, протестуя против империалистической войны, нищеты и голода, условий подневольной жизни, в которой нет «ни одного радостного дня, да что радостного — ни одного сытого дня». Раскрывая рост классового самосознания героев, драматург последовательно противопоставляет его националистической идее мусульманского единства, химеричному призраку, миру «великого Туркестана», где и богатый, и бедный, как истые правоверные, станут под общее знамя ислама.

Не ложная иллюзия классового мира, но единство трудящихся, плачущих слезы: «в один кулак, чтобы один за всех, все за одного, только без баев, без мингбаши, без полицейских», — такой исторический выбор совершает народ, которому, когда он «не просит, а требует... не страшны никакие преграды».

«История заговорила» и «Пробуждение» — пьесы открыто выраженного публицистического пафоса. Их идейно-образная система восходит к созданному Хамзой политическому, агитационному театру. Плодотворное влияние драматургии Хамзы на молодого писателя ощущимо в сюжетной остроте, напряженности действия, в резкой контрастности действующих лиц, персонализирующих столкновение и борьбу двух социальных миров, классовых сил, в романтических интонациях и красках, сопровождающих слова и поступки героев, заступников и борцов за народное дело, в сатирической обнаженности шаржа и гротеска, приемами которых изображаются персонажи из антинародного лагеря. Такая ориентация творческого поиска была типологически закономерной и диктовалась «социальным заказом», чутко воспринятым от бурной действительности народного бытия. Сколь неотложным становилось его исполнение литературой и искусством, наглядно свиде-

тельствует такой факт: Узбекский академический театр приступил к постановке спектакля «История заговорила» задолго до того, как авторы закончили пьесу, и репетировал очередную сцену, картину по мере ее завершения.

Сегодня мы видим, что политический, агитационный театр знал не только сильные, но и слабые стороны. Намеренная драматизация сюжета не всегда опиралась на глубоко разработанные психологические мотивировки, романтическая поэтизация героики носила, подчас обнаженно лозунговый, призывно декларативный характер, броская выразительность плаката накладывала печать на образы как положительных, так и отрицательных героев, скрадывая индивидуальные особенности их внутренних проявлений, стилистического и лексического строя речи. Подобные содержательные и формальные издержки присущи ряду пьес, складывавших в 20—30-е годы национальный репертуар узбекского театра, который, как и театр других народов Советского Востока, создавал собственные традиции реализма непосредственно в ходе становления и развития. Направление общего движения указывал ему зрелый реалистический театр мастеров советской многонациональной драматургии — К. Тренева («Любовь Яровая») и Б. Лавренева («Разлом»), В. Вишневского («Оптимистическая трагедия») и А. Корнейчука («Гибель эскадры»), соединивших в изображении Октябрьской революции и гражданской войны романтическую обобщенность и историческую конкретность событий, публицистическую заостренность действия и социально-аналитическую основательность, психологическую обоснованность характеров и обстоятельств.

В этом русле дорабатывал и перерабатывал свои пьесы Назир Сафаров, многократно обновляя сценические варианты. Не боясь перестраивать даже ключевые звенья драматического сюжета, круто менявшие судьбу того или иного героя, он настойчиво шел к художественному единству характеров и обстоятельств, упорно добивался большей психологической мотивированности действия, освобожденного от избыточных лозунговых деклараций и случайных происшествий приключенческого толка, устремленно искал образный синтез публицистического и аналитического начал, романтической патетики и реалистической достоверности. Поучительно с этой точки зрения хотя бы бегло отметить изменения, которые внес писатель в последний вариант пьесы «Пробуждение». Нельзя сказать, что, переделанная, она ничего не утратила—ведь ее отличали и молодой задор, и обаятельная свежесть, и непосредственность авторского мировосприятия и жизнеутверждения. Зато были и принципиальные обретения, отнюдь не сводимые к отдельным находкам-новшествам.

Можно посетовать: среди прежних персонажей, изрядно поредевших, нет юного Маххама, сына Кудрата, его пылко единомышленника и верного сподвижника. Вместо него теперь действует Мухаммади, расчетливо обласканный и пригретый в сибирское лихолетье отцом Абдурахманбаем. Столь резкая переакцентовка характера, вынудившая писателя переименовать героя, приносит новый, психологически усложненный мотив духовного поиска, идейно-нравственного роста юноши, который под впечатляющим воздействием героического примера отца высвобождается от байского подкупа и, сбрасывая наваждение, возвращается к народу как заступник, готовый делить с ним печали и радости жизни, поражения и победы в борьбе. «Тяжелые дни настали для моего несчастного народа. Безвинные старцы, безгрешные детишки — все в пустынной, безводной, обжигающей степи Ограблено население города, кишлаков вокруг. Люди лишились хозяйской утвари, скота, дома их сожжены. Они изгнаны из родных

мест, где родились и выросли... Голодные, без куска хлеба, без воды, без крова! Это как же, за что такая участь бедным людям! Ну, безжалостный царь-тиран!.. Чтоб сгорели твой трон и все счастье твое, белый царь! О, если бы я увидел, что нарушен и твой счастливый покой, я бы довольным покинул этот безрадостный свет!..» (Здесь и далее перевод подстрочный. — В. О.), — такой патетический монолог произносит Мухаммади в степи, добровольно избирая после подавления Джизакского восстания долю опального изгнанника. И вот как объясняет свой выбор любимой: «Никуда мы не уйдем, моя Икбол. Истерзанный народ страдает здесь в муках, не зная выхода. И если ты да я бросим его ради своего благополучия, что скажет он, истерзанный народ!.. Не скажет ли: проклятие малодушным и подлым!?».

Перенос действия нескольких сцен в степной лагерь джизакцев, высланных карателями из непокорного города по решению царских властей — тоже результат авторской переделки пьесы. В прежнем варианте действительный ход восстания и расправы с восставшими был очерчен лишь пунктирно, подлинные события вытеснялись событиями вымышленными, реалистически недостаточно разработанными. Большой социальной и психологической драматизм обрела интимная линия любви. Красавица Икболат, перейдя из прежнего варианта в новый, теперь не служанка бая, а дочь муллы, едва не разделившая тяжкий рок многих бесправных сверстниц, насильно выданных замуж по слову и расчету. Обручение Мухаммади и Икбол совершается в «дни хождения по мукам», но вопреки этому «огромный лагерь изгнанников превратился в место свадьбы». Чистая, одухотворенная любовь не просто бросает вызов произволу, но становится свидетельством неистребимой жизнестойкости народа, чью неутоленную жажду «воли и свободы» не подавить никакой «кровавой камчой», как бы ни грозил ею Абдурахманбай.

В ряду новых сцен — конфискация имущества мобилизованного в мардикеры бедняка-деханнина Джайнака в счет уплаты долга Абдурахманбаю. Помимо всего, она важна и богоборческим мотивом, ярче, чем раньше, выявляющим реакционную сущность националистической идеи, антинародной проповеди надклассового единения братьев-мусульман, «детей ислама». Значительно усилено звучание мотива интернационального единства узбекского и русского народов, их классовой солидарности в борьбе с самодержавием. Не только дружба двух большевиков — Кудрата и Алексея — олицетворяет теперь этот полифоничный мотив, но и мужественный поступок солдата-артиллера Игната Можая, отказавшегося стрелять в восставших джизакцев. Не цитатной заставкой пришло в пьесу упоминание ленинской статьи «Пробуждение Азии». В нем эмоциональный и смысловой ключ к действию, фокус идейной позиции писателя, его точки зрения, четко, определенно выраженной в словах Алексея: «Ваше восстание — именно то, что предсказал Ленин три года назад. Оно стало таким великим восстанием против царской тирании, против богачей, что династия Романовых содрогнулась».

Новое, не публицистически однозначное, но образно многомерное решение темы нашел Назир Сафаров в финале пьесы. Крик младенца, рожденного в тюрьме, сына Мухаммади и Икбол, символизирует неодолимое торжество жизни над смертью, предвещает грядущую победу народа. «Родился на свет могильщик баев! Он не плачет — он поет! Поет песню жертв, павших в борьбе за свободу!»

Пусть он увидит счастливые времена, до которых мы не дожили. Пройдут годы, ребенок наш вырастет, его руки дойдут до тех дел, до которых не дошли наши. Он станет знаменосцем свободы, пробудит

людей, народ и разнесет славу о нас на весь мир!» Слышится плач новорожденного — ремарка, которой завершается пьеса...

Продолжим сокровенную мысль Назира Сафарова о нерасторжимой связи времен, поколений, традиций, необрывной преемственности отцов и детей. Плечом к плечу, бок о бок с ними, детьми, родившимися на рубеже Октября, в последние предреволюционные и первые послереволюционные годы, писатель прошел от Кавказа до Вены огневymi дорогами Великой Отечественной войны. От очерков и рассказов тех лет — «Снайпер», «Рождение героя» и других, написанных оперативным пером военного корреспондента фронтовой газеты «Совет жангчиси» («Советский боец»), берет начало одна из сквозных тем его творчества не только 40—50-х, но и 60—70-х годов. Вернее всего сказать о ней литературной аналогией, сославшись на незабываемые пример и урок писательского подвижничества, гражданского и творческого подвига С. С. Смирнова. Он первым предпринял розыск затерявшихся следов доподлинных героев Великой Отечественной и рассказом о них заложил традицию документального или ориентированного на документально удостоверенные факты и события летописания всенародной борьбы с фашизмом. От могучего ствола этой традиции ответвляются военные дневники К. Симонова «Разные дни войны» и его кинофильм «Шел солдат...» о кавалерах трех степеней ордена Славы, повесть Д. Гранина «Клавдия Вилор» и «Блокадная книга», написанная им в соавторстве с А. Адамовичем, романы Д. Гусарова «За чертой милосердия» и В. Бээкмана «И сто смертей». Ветвью того же ствола мы вправе назвать рассказы Назира Сафарова, сблизившего свою «тропу поисков» с «вехами пути» старшины противотанковой артиллерийской батареи Баисджана Иргашева («Мой земляк Баис»), Героя Советского Союза Нарзи Раджапова («След человека»), воин-освободителя югославской земли Дехканбая Сарикова («Капля крови»). На документальную основу опирается действие пьесы «Лукаш-батыр» — об узбеке Лукмане Урокове, ставшем белорусским партизаном. Лукашом. Строго документальна повесть «Безымянная высота» — последняя по времени публикация, рожденная неусыпной памятью войны. Как бы приподымая невидимую завесу над своей творческой лабораторией, писатель строит повествование таким образом, что приобщает нас к профессиональной технологии поиска, годами и по крупницам кристаллизующего добытую, как металл из руды, правду о ратных и трудовых деяниях невыдуманных героев.

Свою аналогию подкаказывает второй и тоже документальный пласт послевоенной прозы Назира Сафарова — очерки, рассказы, повести о знатных людях, передовиках труда, новаторах производства, о решаемых ими насущных задачах народного хозяйства республики. По горячим следам почина Турсуной Ахуновой, развернувшегося вслед ему движения девушек и женщин за овладение хлопкоуборочной техникой, писался очерк «Путь Турсуной». Назир Сафаров был первым, кто рассказал о том, как молодая колхозница сменила вековечный кетмень на рычаги современного агрегата. О передовом опыте новатора-хлопкороба, бригадира молодежной женской бригады повествовал очерк «Хадича Ахрарова». Трудовой путь Алияхон Султановой, школьного преподавателя биологии и мастера-шелководы, описан в очерке «Сельская учительница». Передовики колхоза «Иттифок», вырастившие новый сорт пшеницы, покорители, преобразователи Голодной и Джизакской степей, отдавшие земле «богатырский груд», стали героями очерков «Зерно», «Новая земля», «Сердце земли». Возвратившись спустя несколько лет к очеркам, по существу небольшим документальным повестям «Путь Турсуной», «Хадича Ахрарова», «Сельская учи

тельница», Назир Сафаров написал на их основе обобщающую очерковую повесть «Девушка смотрит вдаль». В ней представлены образы «известных и незаметных», но «поистине героических женщин» современного Узбекистана, которых мы каждодневно встречаем «и в поле, и на заводе». И, наконец, «Отец воды» — повесть о коммунисте ленинского призыва Бузрукходже Усманходжаеве, чей путь от простого дехканина, проводившего в составе комитета бедного земельного и водную реформу, до первого и бессменного на протяжении четверти века начальника Большого Ферганского канала, прослежен на глубину исторического среза народной жизни, увиденной в ее стремительном полноводье от послеоктябрьских лет до наших дней.

Воспроизводя биографии, создавая психологические портреты современников, выявляя нравственные истоки грудного энтузиазма людей, Назир Сафаров в каждом случае глубоко, с серьезным знанием дела вникает в профессиональную сферу их интересов, будь то ирригация или шелководство, механизация хлопкоуборочных работ или освоение пустынных земель. Это позволяет чутко улавливать и зачастую по первопутку выдвигать назревшие, но нерешенные проблемы организации труда, управления производством, руководства хозяйством. Как тут раньше и прежде других не назвать Валентина Овечкина, о котором Назир Сафаров вспоминает с неизменным уважением и признательностью: с его наследием накрепко связаны наши представления об остропроблемном вторжении литературы в народную жизнь, безошибочно точном социальном видении ее «болевых точек», конфликтных узлов и сцеплений, граждански смело, по-партийному принципиальном поиске решений, выдвигаемых на повестку дня ходом общественного развития...

Приверженность к действительным событиям и доподлинным героям, которой вызван поток документальных повествований, опирающихся на фактологическую основу сюжета, — только одна грань прозы Назира Сафарова. Писателю ведом и свободный полет творческого воображения, художественного замысла и вымысла. На этой волне написаны рассказы конца 50-х годов — «Золотой месяц», «Яблоко от яблони недалеко падает», «Как Ахмедали искал счастье». Веселые, остроумные, ироничные, они погружены в привычное повседневье, где радости перемежаются с горестями, серьезное соседствует со смешным. Добродушную улыбку писателя вызывают равнивые терзания влюбленных, тревоги престарелых родителей за непоседливых детей, излучающих энергию и задор молодости. Но под внешним покровом шутки прячется беспокойная авторская мысль о неизбежной вере в человека, доверии к его словам и поступкам, которые неукоснительно диктуются нормами современной морали, несоместимой с культом обрешалых, отживших свой век традиций. Душевная открытость, честность и совестливость, принципиальность и неуступчивость в отношении ко всему, что роняет доброе имя, честь и достоинство человека, — таков утверждаемый писателем нравственный кодекс поведения и в малом кругу семьи, и в большом трудовом коллективе. Так на совершенно уже ином этапе народной жизни Назир Сафаров продолжил давнюю тему борьбы за новый быт.

Не чем другим, как этой борьбой, рождены комедийно окрашенные, но резко конфликтные ситуации пьес «Школа жизни» и «Не верьте ему! (Кому горе, кому радость)», где под обстрел неллицеприятной критики взяты и пережитки прошлого в сознании и быту людей, и родственные им сегодняшние недостатки, произрастающие на почве административной рутины и бюрократической косности, благодушия и терпимости к ловкачам, махинаторам, карьеристам. От пьесы

«Не верьте ему!» отталкивался Назир Сафаров, включая в сюжет музыкальной драмы «Принесший воду — в почете», мотив присвоения авторства на чужое изобретение. Острые социальной* и быговой сатиры направлено здесь на чуждую социалистическому образу жизни психологию приобретательства и накопительства, приспособленчества и двурушничества, кумовства и протекционизма. Развенчивая действующего в пьесе калифа на час, беззастенчивого, циничного рыцаря карьеры и мастера интриги, писатель ставит его перед бескомпромиссным судом рабочей совести как нравственного закона жизни, где правда «если и гнется, то не ломается»...

В пьесе «Заря Востока» (1950), написанной в зрелый период творческих исканий Назира Сафарова и значительно углубившей исторический пласт его прозы и драматургии, слово «правда», наполняясь объемным и емким социальным содержанием, звучит как ближайший синоним слов «свобода» и «революция». Кто только не провозглашает здесь революционные лозунги, пытаясь дезориентировать народные массы, идейно обезоружить рабочих, дехкан и солдат, ослабить их солидарность, притупить классовое чувство. С проклятиями павшей «крепости насилия» и здравницей «мусульманскому народу», освобожденному «от царского рабства», включается в действие Зикрие-Кары, предводитель националистического общества шуро-исламистов. О «спасении революции» от народного негодования, которое вызывают империалистическая война и внутренняя политика буржуазии, от ненависти к угнетателям-боям и карателям-полицейским пекутся каждый на свой лад и анархизирующий полковник Черкасов, комендант ташкентского гарнизона, и эсер Грехов, председатель исполкома городского Совета рабочих и солдатских депутатов, и меньшевик Николаев, председатель Туркестанского комитета Временного правительства. Да что они — даже белый генерал кадет Коровиченко, телеграфируя Керенскому о прибытии в Ташкент карательной экспедиции, называет большевиков и всех, против кого направляет пушки и пулеметы, не иначе как «предателями революции». Воистину «от одних разговоров о халве во рту не становится сладко» — так говорит в пьесе ташкентский рабочий Рахим, наставляя дехкан, которые только тогда поймут, что такое революция и свобода, когда «прогонят своих старшин и других чиновников, отберут у баев землю и начнут ее засеять». Но этот день еще не настал: едва дехкане, вняв призыву, «запустили в землю омачи», как бан и старшины привели полицейских которые начали стрелять в народ...

Иной, подлинно народный смысл вкладывают в понятия «свобода» и «революция» большевики-ленинцы Шумилов, Финкельштейн, Першин, Кадыров, чье слово правды звучит «сильнее и мощнее любого крика неправды и клеветы», западает в души, проникает в сознание железнодорожного рабочего Железнова, солдата Маркова, разоренного дехканина Карима, батраков-мардикеров Бахрама и Ялангуша. Монолитный образ революционного народа создают их ярко выписанные фигуры, и многозвучным гулом истории полны индивидуальные голоса, сливаясь во всеокупающий голос трудящихся масс, сплоченных большевистской партией на вооруженное восстание, свержение Временного правительства, победу социалистической революции.

«Заря Востока», как и «История заговорила», и «Пробуждение», — пьеса политическая. И идеологическая — уточним еще, имея в виду непримиримое противоборство буржуазных и пролетарских, охранительских и революционных, националистических и интернационалистических, религиозных и атеистических идей. На их резком столкновении, крутой ошибке строится большинство сцен, начиная с ключевого диалога-

спера об истинном и ложном патриотизме, который ведут в первой картине первого действия бывший генерал-губернатор Куропаткин и возвратившийся из сибирской ссылки Шумилов. Однако и политика, и идеология обрели в образной структуре пьесы цельное художественное качество, которое еще не проявилось в полной мере в предшествовавших ей драматургических произведениях Назира Сафарова. Оно возникло на новаторски найденном скрещении, в органичном единстве разных драматических планов — социального и психологического, типически обобщенного и индивидуально конкретизированного. Событийная панорама-хроника вобрала в себя судьбы многих и разных героев, оказалась достаточно вместительной для того, чтобы каждый, будь он исторически реальным или вымышленным, в общем ансамбле выделялся «лица необщим выражением». Отсюда целостность действия, стирающего видимые различия между массовыми и индивидуальными сценами. Аналитическое внимание Назира Сафарова пристально во всех случаях. И когда заострено на действительных фактах истории, из пестрой мозаики которых складывается крупномасштабная картина подготовки и победы Ташкентского вооруженного восстания, провозгласившего Советскую власть в Туркестане. И когда сосредоточено на самопроявлениях героя, побудительных мотивах его поступков, идейной и духовной эволюции, ведущей к признанию исторической правоты большевизма, пониманию глубинно народных корней надвигающейся бури Великого Октября. Ничто не ускользает от писательского взгляда, направленного вширь, вглубь, все приближенно им. Твердая поступь рабочих отрядов Красной гвардии, вступающих, как пелось в «Интернационале» в «последний и решительный бой», и подрывная деятельность агентов английской, германской, турецкой разведок, работавших на русскую контрреволюцию, раздувавших мусульманский национализм. Вдохновенный рассказ Першина о Шестом съезде большевистской партии, взявшем курс на свержение Временного правительства и душевные движения Гульноры, которая встречает «рассвет великой радости», надежно «держа в руках оружие» погибшего брата Бахрама. Под стать таким всепроникающим единству действия и динамике сюжета энергия стиля, упругость речи, которым одинаково доступны и романтическая приподнятость образа-символа, и реалистическая заземленность психологической или бытовой детали. То и другое сопряжено в патетически мажорном финале пьесы, где словами Шумилова, только что телеграфировавшего Ленину о триумфальной победе Советской власти, возвещается Октябрьская заря, «которой дано «пробудить народы Востока, осветить темную ночь, продолжавшуюся веками. Этот рассвет приносит нам свободу. Эта прекрасная заря освещает и указывает народам Востока новый путь, ведущий миллионы угнетенных к солнцу и счастью. Это заря Востока»...

Оглядывая творчество Назира Сафарова с высоты его зрелых художественных достижений, нельзя не увидеть крепких связей-сцеплений между отдельными произведениями, а выстраивая их в хронологически последовательный ряд — не распознать в предыдущем завязь последующего. Из очерковой повести «Незабываемые дни» выросла, повторим, драма «Пробуждение», существующая ныне в двух сценических вариантах. Прежний ее вариант плотно стыкуется с пьесой «Заря Востока», вобравшей в полифонию идей и образов дорогой Назиру Сафарову мотив памяти о Джизакском восстании. На этот полнозвучный мотив опирается писатель, выявляя социальный характер и истоки, классовые корни Великого Октября, раскрывая народный характер социалистической революции. «В прошлом году в Джизаке, — рассказывает русский солдат Максим Марков, — было большое восстание. Я в это

время служил в охранном батальоне. Наш батальон получил приказ Куропаткина подавить восстание... В батальоне был митинг. На этом митинге Финкельштейн сказал прямо: «Товарищи, не будем стрелять в повстанцев!» Ну, а батальон не выполнил приказа Куропаткина и отказался поехать в Джизак. Но ведь «все равно куропаткинские пушки долта сожгли город и деревню», — напоминает бежавший с тыловых работ мардикер Бахрам Касымов. «Знаю!.. Страшная была беда», — участливо печалится солдат. Спустя действие, Бахрам, побывавший в Джизаке и вернувшийся в Ташкент, отвечает Шумилову: «Там еще стоят виселицы, на которых Куропаткин вешал повстанцев»...

Поэтика прозы и драматургии Назира Сафарова не признает «ружей», которые «не стреляют». Вот и гулкое эхо джизакских выстрелов не ослабевает с годами в его творчестве. Уроженец мятежного города, он воспринял народное восстание против царизма пытливыми глазами одиннадцатилетнего подростка и, потрясенный впечатлениями отрочества, долго томился их невысказанностью, настойчиво искал им выход и в ранних, и в позднейших произведениях. Так исподволь, но неуловимо, шаг за шагом Назир Сафаров приближался к роману «Наврруз» (1968, 1973), который справедливо будет назвать его Главной книгой, как последовательный, устремленный путь к ней, осветивший творческие искания предшествующих десятилетий. Свою главную «книгу жизни» видит в «Навррузе» и сам писатель.

Взглянем на этот роман в контексте одной из традиций советской многонациональной литературы. Самое понятие Главной книги писателя вошло в литературно-критический обиход с лирической прозой Ольги Берггольд «Дневные звезды». Доверительно и взволнованно делясь в ней сокровенной мечтой о Главной книге, писательница представляла ее себе книгой, которая насыщена предельной «правдой нашего общего бытия, прошедшего через мое сердце» — жизнь поэта, судьбу гражданина. Наше в моем, общее в личном — таковы исходные параметры автобиографических повествований, построенных по эпическим или лирическим законам писательского исповедания. В русской классике оно знает такие вершины, как «Былое и думы» Герцена, «История моего современника» Короленко, в литературе советской — трилогию Горького «Детство», «В людях», «Мои университеты».

Оказав мощное идейно-эстетическое воздействие на творчество многих писателей, автобиографическая трилогия Горького вызвала широкую волну прозы, гребнем которой в 30—40-е и особенно в 50—60-е годы каждый раз по-своему становились романы и повести Садриддина Айни «Бухара» и Стефана Зорьяна «История одной жизни», Сабита Муқанова «Школа жизни» и Салчака Тока «Слово арата». На грани 60—70-х и в 70-е годы внушительный ряд этих типологически близких явлений продолжили в русской литературе трилогии: В. Каверина «Освещенные окна», в литовской — повесть Юозаса Балтушиса «Пуд соли», в татарской — повесть Гумера Баширова «Родимый край — зеленая моя колыбель», в узбекской — повесть Абдуллы Каххара «Сказки о былом», писавшаяся как раз в то время, когда Назир Сафаров вынашивал замысел романа «Наврруз».

В тематической взаимосвязанности, сюжетной и образной природе названных произведений, нередко многотомных, тяготеющих к роману эпопейного типа, есть внутренняя закономерность, которую едва ли не первым отметил Г. Ломидзе: «Автобиографический материал емко, многообъемно. Судьба личности складывается вместе с судьбами эпохи. Детство, юность героев протекают не в изолированных особняках, не в узком семейном кругу. Открыты настуже все двери. Ветры и молнии времени врываются в них». История проходит через судьбу лично-

сти, чье «сопротивление окружающей среде» становится основой образа, освещенного горьковским идеалом жизнедеятельного гуманизма, сущностью социально активного характера, отвечающего горьковской концепции человека. «Опыт Горького, — подчеркивает исследователь, — помогал писателям в самостоятельном исторически конкретном исследовании условий человеческого существования, роли личности в социальном преобразовании бытия»¹. Именно самостоятельном. Творческая спора на традицию чужда ученической подражательности, предполагает не повторение, а развитие, которое не признает унификации талантов, не стирает оригинальных, индивидуально своеобразных и национально самобытных красок и интонаций, манер и стилей.

К роману «Навруз» сказанное приложимо в полную меру. Опержая фундаментальные выступления критиков и литературоведов, об этом громко заговорили читатели романа, в том числе профессиональные читатели-литераторы, засвидетельствовавшие свое отношение к книге в письмах писателю. Остановимся на двух, всего двух откликах, хранящихся в личном архиве Назира Сафарова.

Романом-открытием называет «День проклятий и день надежд», первую книгу «Наврюза», Мария Прилежаева, признаваясь, что «получила истинное наслаждение» от знакомства с неизвестным ей прежде городом Джизаком, «жизнью, нравами, бытом Востока», о чем писатель повествует «с таким талантом и знанием! И мальчик Назиркул, глазами которого Вы познаете мир, и его умная, терпеливая и поэтичная мать, и веселый безбожник, дерзкий и добрый дядя Джайнак — все образы выписаны Вами так живо и ярко!.. Совсем крошечная роль Танцовщицы с ее надеждами, танцем, прелестной молодостью и трагическим концом — такая жизненная, в общем-то маленькая роль запечатлевается, волнует и трогает А юмор! Бездна юмора в такого естественного, без тени надуманности, без натяжек. Великолепны сцены восстания: жизни табора поселенцев в степи, голода, налетевшего урагана Казнь повстанца Мухаммади нарисована с истинным мастерством и глубоким чувством. Я могла бы назвать еще очень много сцен, прочитанных мною с неослабевающим интересом... А рост души мальчика, узнавания им мира, его чувства, впечатления, весь его облик в движении — хорошо, хорошо, хорошо!»

Если М. Прилежаева главным образом обращает внимание на познавательную и поэтическую стороны повествования, то Виталий Озеров, говоря об обеих частях романа, выделяет его неоспоримое идейно-воспитательное значение, последовательную диалектичность и социально-аналитическую оснащенность художественной мысли: «Хорошая книга, которую нужно было бы знать всей нашей молодежи. Правдиво и ярко рассказано о жизни народа. Она раскрыта через мир души главного героя, поэтому удачно слились эпичность и лирика, психологизм. О суровых временах повествуется без вуалирования (потрясают сцены с человеком, растерзанным волком, расправы над джизакцами, многие другие). Жесток социальный гнет, жестока классовая борьба, и Вы правы, не умалчивая об этом, вопреки иным авторам, которые не прочь идеализировать прошлое. Оно, это прошлое, и не очерчено в «Наврuze». Замечательные люди из народа, труженики, революционеры, побратимы с русскими — вот где свет исторического пути через годы и годы к сегодняшнему дню. Социальное, бытовое, сугубо личное — различные акценты полноправны в Вашем романе.

¹ Георгий Ломидзе. Интернациональный пафос советской литературы. Размышления, оценки, спор. М., 1970, с. 210, 212.

Это тоже делает его современным в идейно-художественном отношении».

Назир Сафаров не первым повествовал о драматической эпопее 1916 года, грозно прокатившегося по всему тогдашнему Туркестану гулом массовых волнений, жестокое подавление которых было оплачено ценой — повторим название романа Айбека — «Священной крови» народных героев. Царский указ о мобилизации населения на тыловые работы, принятый в нарушение прежних обещаний и обязательств, всколыхнул казахскую степь. Об этом рассказано и в ранней повести Мухтара Ауэзова «Лихая година», и в позднейшей трилогии Абдижамила Нурпейсова «Кровь и пот». Восставшему Джизаку посвящена одна из новеллистических глав романа Аскада Мухтара «Чинара». Отличительное своеобразие романа «Навруз» — в документальной достоверности свидетельств, которые сохранила память непосредственного очевидца событий. И что из того, если очевидно было немногим больше десяти лет? И его сердце окрылила недолгая победа, и на его плечи легли роковые испытания, выпавшие джизакцам после поражения, и его увлекло за собой красное полотнище флага, за которым он пошел спустя год, поначалу не ведая, что это будет дорога всей жизни...

«Вихрем Октября», который смел «все тяжелое и горестное», несомненно подсказан Назиру Сафарову и заглавный образ нового романа, написанного после «Навруза», хотя действие его лишено точных хронологических обозначений (лишь некоторые исторические реалии указывают на конец прошлого века), разворачиваются не в грозу, а скорее в предгрозье. Природная гроза, бушующая над миром, где затерялись горемычные влюбленные, еще только предвещает грозу социальную, чьи сполохи разгорятся в душах людей искрами вольномыслия и свободолюбия.

«Гроза» — повествование кардинально иной манеры, иного стиля, нежели «Навруз». Здесь нет действительных героев, подлинных событий. Воображение и вымысел выходят на открытый простор, не стесняемый документальными свидетельствами эпохи Тугу скрученный динамичный сюжет не чурается приключенческой интриги, направляемый волей неожиданного, непредвиденного и непредсказуемого случая, рокового стечения или счастливого совпадения событий, до поры до времени не разгаданной тайной, которую заключает судьба героя. Такая нескрываемая занимательность действия, частые его перебросы во времени и пространстве, нередкие перебивы вставными новеллами-воспоминаниями, возвращающими нас к причине, из которой «проистекает следствие» подобно тому, как «из глины возникает строение», — все вместе указывает на самобытную поэтику дастанной повествовательной традиции. Своей опоры на нее писатель не только не скрывает, но подчас даже усиленно демонстрирует по прямым вмешательством в действие вроде «Теперь скажем несколько слов о суфии...» или обращением к читателям, которым «уже известно» рассказанное прежде, до литературной реминисценцией в авторской речи и речи героев, уподобленных Зухре и Тахиру, Лейли и Меджнуну, или ориентацией лексики на устойчивые ряды образных ассоциаций (луноликие девушки-красавицы, хрустальные слезы-росинки на ресницах, как на лепестке цветка, не высказанные вслух «тоска и печаль», лежащие на сердце камнем, и т. д.). Стилизация? Безусловно. Но не как литографическая копия, гиражированный оттиск с образа. Как намеренно обнаженный прием. Как средство социально-исторической конкретизации характеров и обстоятельств. Повествуя о «делах давно минувших дней», писатель создает их так, как они преломлялись в народном мировосприятии

и самосознании, отвечая сложившемуся пониманию добра и зла, красоты и уродства.

Той же художественной задаче служит вовлечение в повествование восходящих к народному творчеству, веками отшлифованных разговорных форм, будь то неторопливая наставническая беседа самородных философов-мудрецов (в духе ее выдержан диспут Хаджи-цирюльника и Карима-каменотеса о смысле бытия, правде и неправде, вере и безверии) или искрометное острословие аскиячи с его широким — от лукавого юмора до едкой сатиры — ироническим диапазоном — таковы ответные реплики Хагама на богонравные сентенции ханжи и лицемера Додхудо. К эстетике народного творчества, закрепленной литературной традицией дастана, восходят и другие изобразительные приемы, выразительные средства, к которым также свободно прибегает писатель. Это и одухотворение природы с обобщающей символикой весеннего пробуждения земли, пахоты и сева, журавьиного клина в небе, ночных звезд — знаков-предначтаний человеческой судьбы. И иносказательность сновидений-пророчеств, плачей-причитаний, в условной образности которых по-всеми опосредованы духовные реалии жизни, бытующие в ней представления и верования. И развернутое живописание бытового колорита празднеств, зрелищ, обрядов, приближенных пестроцветьем и многоголосием бухарского базара или задором и азартом улака — «древнейшей мужественной» игры-состязания. Так самой образной системой повествования заявляет о себе эстетическая категория народности. Ее многообразные проявления выступают образующим началом, цементируют единство содержания и формы, жанра и стиля на всех уровнях их структуры — от движущего сюжет дастанного мотива прекрасной, но обреченной любви, преград и препятствий на пути к счастью юных влюбленных до речевого строя, открытого напору народного словотворчества — пословиц и поговорок, аффризмов и анекдотов, поучений и назиданий.

Однако народность — не только и не просто традиция художественного воссоздания народной жизни. Советская многонациональная литература вложила в нее куда более широкий философский и социальный смысл, органично связанный с утверждением ведущей роли народа в истории как подлинного вершителя, преобразователя судеб нации, творца национальной культуры, движущей, направляющей силы общественного прогресса, которая аккумулирует его духовную мощь и жизнедеятельную энергию. Такое понимание народности сродни осознанному и последовательному историзму художественной мысли, социальному оптимизму писательского взгляда на мир и человек в мире.

К роману «Гроза» сказанное приложимо самым прямым, непосредственным образом. Пока мы не знаем, как сложатся дальше, во второй книге, пути и судьбы его героев. Выбьется ли Джаббаркула-аист из нужды и нищеты, которые преследуют его по пятам? Спасутся ли от сарбазов эмира, защитят ли себя Хатам и Турсунташ, смело бросившие вызов коварному Додхудо, уберегут ли счастье, взятое с бою, любовь, «перед которой равны и царь, и нищий»? Дойдут ли до «корня правды» Хаджи-цирюльник и Карим-каменотес, в напряженном поиске истины раздумывая и споря о высшем человеческом предназначении на земле, правом и неправом устройстве мира, преходящих и вечных ценностей духа? Но не что иное, как зерна правды, которой упорно доискиваются и эти, и другие герои, уже восходят на ниве народной жизни, наполняясь благодатным соком трудового морали народа, питающей в людях гордое чувство собственного достоинства душевное целомудрие и благородство. «..Лучше быть голодным, да с чистой совестью. Нет, я и моя семья — мы все счастливы. Черным хлебом,

но сыты», — размышляет бедолага Джаббаркул-аист. «Труд дехканина — драгоценный труд. И ничто не может сравниться с тем, что выращено своими руками, на своей земле», — поддерживает его юный Хатам. Что перед этим слепая вера Додхудо во всемогущество несметных богатств, которых достало бы «осчастливить десятки нуждающихся людей»? Неизлечимый недуг, приковавший его к постели, физическая немощь, превратившая в полумертвеца, недвижимый «мешок мяса» под стать социальной болезни, парализующей феодальнo-байские верхи сословного общества.

Как вода точит камень, так жизнь размывает освященные религией моральные заповеди непротивления злу, долготерпеливых — «терпенье — красное золото» — страданий безропотного смирения и покорного мучничества перед властью имущими. Сомнение в догматах веры, которым проникнуты и праведные наставления мудрого Хаджи-ширюльника, и еретические, — под маской юродства — проповедил Камалялашкара, предвещает богоборческое безверие С осознания и защиты личностью своих прав начинается борьба за права народа, порыв к которой предвосхищает мечта Хатама о том, чтобы «такие люди, как Джаббаркул-ата, поняли друг друга, соединились бы в единый кулак и все вместе пошли бы против Додхудо!» Как ни сильны в Кариме-каменотесе «богобоязненные и благочестивые чувства», свою мраморную колонну в мечети он ставит не для богача-бая и даже не для покровительствующего тому аллаха, а для людей и *завещает ее в «наследство народу», которое переживет мастера. Как ни бесправна Хумор, но, предпочтя смерть гарему, она и в малых пределах возможного совершает выбор, которым зовет живых воздать «миру за гибель таких юных и прекрасных» Ее трагическая участь подвигает Хатзма на решительные действия в защиту Турсунташ, чье спасение, хотя бы ценой собственной жизни, представляется делом не удали и доблести, а долгом и чести и совести. Иначе, восклицает он, «я не достоин дышать воздухом, ходить по этой земле, под этим небом, я не достоин памяти моей матери». И отпа, добавив вослед, зная, что Хатам — сын Шайзака, поднявшего в Бухаре восстание против эмирской власти, казенного джигитами бунтаря, который и в смертный час на эшафоте читал не дозволенную «последнюю молитву», а отважно предрекал эмиру конец от народного гнева. Так сплетаются в романе судьбы людей и поколений, сцепляются события их жизни, создавая движение времени, движение истории. Включаясь в это необратимое движение, только идущий вперед прокладывает собственный путь, осиливает собственную дорогу...

Историю недостаточно знать — ее надо уметь чувствовать, переживать нравственно и эстетически. О таком переживании истории писал недавно академик Д. С. Лихачев в эссе «Служение памяти» («Наш современник», 1983, № 3), в один синонимический ряд ставя понятия память — совесть — культура. Если память человека, рассуждал он, создает духовную основу личности, нравственный стержень характера, то историческая память народа определяет нравственный климат, в котором живет народ. Обозревая на рубеже 80-летия Навира Сафарова все сделанное им, прозаиком и драматургом, за более чем полвека большой и плодотворной работы в литературе, невольно вспоминаешь эти суждения ученого. Они помогают уяснить секрет неизменной актуальности писательского творчества, перебрасывающего мост народной памяти от прошлого к настоящему.

В. ОСКОЦКИЙ

Книга первая



ДЕНЬ ПРОКЛЯТИЙ И ДЕНЬ НАДЕЖД

ПЕРВЫЙ ШАГ

Если существует на свете что-либо вечное, то, я думаю, это наш базар в Джизаке. Он появился, конечно, задолго до сотворения мира, во всяком случае, задолго до моего появления под солнцем. Мы, дети, считали его таким же постоянным, как, скажем, земля, луна или звезды, но более важным. Важным потому, что нам неведомы были названия звезд, не умели мы подсчитывать время прохождения лунного месяца, но зато каждому из нас было хорошо известно, когда, в какой именно день бывает базар. В этот день со всей земли, кажется, стекался люд на джизакскую площадь — скрипели тяжелые арбы, ехали всадники с перекинутыми через седло хурджунами, тащились, сгибаясь под невероятными по величине мешками, ишаки; стоял шум, гам, рев, визг, ржание. Пыль поднималась до самых небес, во всяком случае, застилала и солнце, и облака, если они решались появиться на вечно синем джизакском небе.

Но не это было главным. Главным было то, что по всему Джизаку разносился запах ароматной шурпы или плова. И возникал он не на базаре—там неведь какие запахи исходились из чайхан и харчевен, — а во дворах. В нашем тоже. Мать варила в базарный день шурпу. А что может сравниться с шурпой, заправленной кунжутным маслом и луком!

Не знаю, кто придумал шурпу, но здорово придумал. Мы, например, считали, что она так же, как и базар, существует вечно, но только в эти дни появляется перед нашими завидующими глазами и нашим голодным ртом. В эти дни!

Я не назвал еще этих дней, а они имеют очень важное значение для события, о котором собираюсь рассказать. Базар в Джизаке бывал по понедельникам и четвергам. Возможно, в другом месте существовали другие базарные дни, но мы не знали других мест и, следовательно, других базаров, наш мир ограничивался родным Джизаком, самым пре-

красным местом на земле. Да, не удивляйтесь, я и сейчас убежден, что это самое прекрасное место в мире.

Так вот, в один из таких дней, не помню теперь уж точно, в понедельник или в четверг, наверное, все же в четверг, так как именно в канун пятницы бывал большой базар и мать иногда разрешала себе готовить плов — божественное из божественных блюд. Так вот, в четверг вечером, когда мы сидели за пловом, я повздорил с братом из-за кости. Из-за самой пустячной кости, на которой уже ничего не было, кроме клочка хрящевинки, когда-то соединявшей ее с бараньей ногой. Повздорил так, что матушка моя, самая тихая и самая добрая женщина, вынуждена была дать мне хорошего тумака, напомнить о существовании родителей и порядка, который следует соблюдать за дасгарханом.

Тумак был довольно чувствительным, и затылок мой надолго запомнил его. Но не это было главным событием четверга. Я согласился бы получить еще несколько таких тумачков, лишь бы ими закончились мои несчастья в тот злополучный вечер.

— Хватит! — сказала матушка. — Нет больше сил моих. Завтра же отведу тебя к Хикматой-отин.

Вот что было несчастьем из несчастий. Меня собирались отправить к старой отинбуви. Я должен сразу предупредить — отинбуви не была ни моей бабушкой, ни моей тетушкой, никаким боком не приходилась нам родней. И вообще я и в глаза ее не видел за всю свою короткую жизнь. Но я заревел, как телок, так громко, что голос мой, наверное, был слышен во всей махалле.

Можно ли так наказывать собственное дитя из-за какой-то бараньей косточки, возмущался я.

Говорят, чилляки поспевают, глядя на чилляки. Если гроздь винограда способна расти, беря пример с подружки, то что можно сказать о детях. Я во всем подражал старшему брату, а он вовсе не думал о собственном совершенствовании. Вообще, кажется, он ни о чем не думал. С утра покидал двор и весь день пропадал где-то. Впрочем «где-то» звучит весьма неопределенно и даже загадочно, на самом деле все в доме знали, где именно находится мой брат. Если бы кто вздумал держать пари, разгадывая эту загадку, и назвал при этом пустырек в безлюдном месте, то наверняка выиграл бы. Там целыми днями играл мой братец в ашички. За пазухой он постоянно держал целый ворох этих костей — раскрашенных, точеных, налитых свинцом, и таинственное шелканье их сводило с ума мальчишек, ну и меня тоже, конечно. Мне хотелось обладать этим богатством, и не толь-

ко обладать, но и приумножать его. Увлёкся так, что ради них мог ввязаться в драку и даже махнуть с крыши, предложи мне за это горсть крашенных ащичек. Вот до чего я дошел.

И все же наказание показалось мне очень суровым — меня отправляли в школу к этой самой отинбуви.

— Еще не дорос твой сын до школьной грамоты, — осторожно возразил отец. — Придется, мать, потерпеть пару лет.

Я тотчас перестал реветь, прислушался к словам родителей — робкая надежда вселилась в мое сердце: а вдруг несчастье пронесется мимо! Но ответ матери мгновенно рассеял эту надежду.

— Если этих сорванцов не прибрать к рукам сейчас, считай, все пропало. Мудрые люди не зря говорят: «Ребенок дорог, а добрые чувства еще дороже!» Пусть он не одолеет чашу познания, но несколько глотков благоразумия и порядочности все же выпьет.

Отец выслушал мать и махнул рукой:

— Поступай, как знаешь.

Судьба моя была решена. Остались только слезы, которые я лил, не жалея, до самой ночи и, кажется, израсходовал все запасы. Во всяком случае, утром глаза мои были уже сухими, и когда матушка собирала меня, я не обронил ни капельки, лишь шмыгал носом и жалостливо смотрел на нее.

До того момента, когда мы должны были переступить порог дома, я терпел. Калитка, ведущая на улицу и, следовательно, к страшной отинбуви, как бы защищала меня; но едва она распахнулась, мужество покинуло мое сердце, и я, громко воюя, повис на перекладине Спасительный рубеж! От него не оторвать меня. Однако матушка огоовала — цепко схватила за руку, и я оказался в воздухе. Так мы начали путь в школу.

Помню этот день. Было почти лето. Урюк отцвел, и на ветках появились плоды величиною с крупное ячменное зерно. Предмет мальчишеских вожделений. Скоро-скоро зерна нальются, станут зелеными камушками, жесткими и кислыми, и все же чудесными, потому что они запретны и от них болит живот. За ними будут охотиться, рискуя получить хорошую трепку, все мальчишки, кроме меня одного, несчастнейшего из несчастных. Я иду в школу!

Я не знал, что такое школа, не имел о ней ни малейшего представления, но мой брат избегал ее, заменяя уроки игрой в ащички, и этого было вполне достаточно, чтобы я соста-

вил о ней самое неслестное представление. Главное, она лишила мальчишек свободы. И вот всю дорогу я боролся за эту свободу, и меня буквально втащили во двор отинбуви. Здесь, во дворе, борьба продолжалась бы, но одно обстоятельство вдруг смирило меня. Нет, не отинбуви, которую я, кстати сказать, даже не разглядел, не выводок девчонок, что, ровно цыплята, облепили террасу и пищали там, долбя какие-то никому не ведомые слова. Огромная жемчужная шелковица, простершая свои причудливые ветви мне навстречу, смирила меня.

Вы спросите, почему жемчужная? Просто шелковица была сплошь усеяна зрелыми, налитыми сладким соком ягодами — чуть розоватыми, чуть голубоватыми. Их только я и видел, ничего больше. Воробьи, неистово чирикавая, хозяйничали на ветвях. Разбойничьи клювы их сбивали ягоды, и сладкий дождь струился на землю.

Дождь этот наполнил мое сердце ликованием. И вот почему. Напротив нашего дома тянулась большая тутовая аллея, принадлежащая общине дервишей и носившая название Каландарханы, то есть приюта странствующих монахов. Не только аллея, но и вся земля по обоим берегам Наймана принадлежала им, хотя появлялись они здесь лишь в базарные и праздничные дни, а в остальное время вакуфной территорией распоряжался глава каландаров Дадабай. Ну и еще мы — мальчишки махалли. Весной, уподобляясь стае воробьев, мы опустошали тутовник. Это было веселое и вкусное время. Рты наши, набитые до отказа сочными ягодами, не в состоянии были вместить всю сладость, и она янтарными каплями стекала на подбородок и грудь. Мы становились приманкой для злых ос и пчел, и война с ними шла у нас постоянно, причем с переменным успехом. Но мы не отступали. Справедливости ради следует сказать, что и взрослые были не прочь полакомиться. Под ветвями всегда толпились жители махалли. В то время как мы, словно белки, перепрыгивали с ветки на ветку и с дерева на дерево, взрослые внизу, подставляя ладони, ловили капли жемчужного дождя.

Всобщем Каландархана была благословенным местом Джизака — тихим, тенистым, просторным. Стояло лишь войти в «аллею дервишей», как на вас снисходила прохлада, и слух начинало ласкать журчание струй арыка. В середине аллеи арык расширялся, превращаясь в огромный хауз, берега которого тонули в густой тени могучих карагачей. Деревья были настолько старыми, что стволы невозможно было обхватить, а ветви так разрослись, что жгучему и

упрямому джизакскому солнцу за весь день не удавалось ни разу взглянуть на землю. Это особенно ценили люди летом, в знойный месяц саратан, когда солнце забиралось на самую верхушку неба и оттуда, с высоты, лило на Джизак потоки огня. В такие дни каждый вспоминал Каландархану и спешил под своды ее карагачей и шелковиц. Что говорить о пешеходах! Им волей-неволей приходилось пересекать Каландархану — аллея лежала вдоль улицы. Всадники тоже оказывались под карагачами: лошади и ишаки, не ожидая приказа хозяина, сами сворачивали на аллею. И отсюда их не так-то легко было прогнать, приходилось пускать в ход камчу или палку...

О чем шла речь? Да, я увидел тутовник во дворе отинбуви и вспомнил Каландархану. И не столько Каландархану, сколько воробьев, которые своими разбойничьими клювами сбивали жемчужины с ветвей. Скольким раз я пользовался услугами этих пернатых грабителей! Мой возраст, а следовательно, и рост мешали мне взбираться на высокие деревья. В то время как остальные мальчишки козяйничали в густой листве тутовника, я стоял внизу и жалобно хныкал, просил потрясти тяжелую ветку. Иногда трясли, чаще всего забывали. Тогда-то и приходили мне на помощь воробьи: то, что не попадало им в клюв, оказывалось в моих руках. А сейчас ягоды летели просто на землю. Летели мимо меня.

Вот о чем размышлял я, стоя против отинбуви и глядя на огромный тутовник. Дерево, усеянное спелыми ягодами, настраивало меня на мирный лад. Если в школе растут такие вкусные вещи, можно, пожалуй, не сопротивляться. Одно меня беспокоило — почему брат ненавидит учение. Для того, чтобы отправить Манзура утром в школу, матушке приходилось или опускать на его голову кулак, тот самый, с которым я познакомился вчера, или набивать его карманы сушеным урюком. Только тогда он выходил за калитку. Правда, это не значило, что тропа вела его в обитель знаний — брат сворачивал за угол и прямехонько направлялся на пустырек играть в кости. В положенное время он возвращался домой. Вид при этом у него был такой, словно голова наполнена знаниями, а сердце — добротой и смирением. Но матушку мою трудно было провести, она издали угадывала истину и объявляла ее с помощью слов и действий. Часто мы слышали из ее уст: «Рахат одного лишь не знает, когда она умрет». И это была правда: все наши проделки становились известными матушке, да и не только проделки, задумки тоже.

Да, тутовник привлекал меня в школу, а опыт брага отпугивал.

Отвернувшись от жемчужной шелковицы, я захныкал:

— Не хочу в школу... Не хочу... Идем домой...

Отинбуви посмотрела на меня ласково своими голубыми глазами — тут я увидел, что она совсем не старая и совсем не злая, — и сказала:

— Хороший мальчик... Как имя твое? Да, кажется, Назиркул, вспомнила... А кому он пожертвован?

Мать, почтительно и тихо беседовавшая до этого с учительницей, не без гордости громко пояснила:

— Шахи-Зинда авлие — чудотворцу Шахи-Зинда.

— О! — сделала значительное лицо отинбуви. — Мальчик, пожертвованный Шахи-Зинда авлие, обязательно должен стать учителем, такова воля святого...

Я не предполагал, что мне уготована такая высокая миссия и что моя судьба связана с каким-то святым. Это меня озадачило и даже вселило некоторый страх. Открыв рот от удивления, я смотрел на отинбуви, ожидая новых удивительных слов, но они оказались очень простыми.

— Адолят! — повернувшись к террасе, позвала учительница. — Поди-ка сюда!

От девчачьего выводка отделилась та самая, которую отинбуви назвала Адолят, и направилась к нам. Рослая, с карими глазами и густыми бровями, повязанная цветным платком, из-под которого выглядывали черные локоны, она казалась самой старшей среди учениц и самой серьезной. Представ перед отинбуви, девочка почтительно скрестила на груди руки и изобразила внимание.

— Ты знаешь этого мальчика? — спросила отинбуви.

— Да, уважаемая. Это — Назиркул, сын тетушки Рахат, — ответила Адолят и, чувствуя благосклонность учительницы, погладила мою голову. И не только погладила, но и с интересом посмотрела на кокиль—косичку, отпущенную в знак жертвования святому. — До чего красив твой кокиль! Будь ты девочкой, сорок таких кокилей не уместились бы на голове...

Нельзя сказать, что подобная похвала обрадовала меня: коса давно уже была предметом насмешек сверстников, и мне приходилось терпеть их во имя какого-то святого. Но матушка расценила похвалу Адолят как одобрение и благодарно сказала:

— Ах ты, моя милая! Передаю неразумное дитя мое в твои руки, а тебя — самому богу.

Девочка просияла: она ведь тоже была еще ребенком, и доверие взрослого наполняло ее гордостью.

— Чем бы угостить моего нового братца? — озабоченно произнесла она и стала рыться в карманах камзола.

Я замер в ожидании. Что скрывать, глаза мои следили за руками Адолят, и когда в левом кармане ничего не оказалось, на моем лице изобразилось огорчение. Девочка то-ропливо принялась изучать правый карман. Наконец она извлекла конфету и несколько фисташек:

— Возьми!

Первым моим желанием было немедленно отправить лакомство в рот, и, конечно, не будь рядом матушки, проявлявшей по отношению ко мне строгость, я осуществил бы это намерение, но теперь следовало испросить прежде позволения, и я покосился в ее сторону. Увы, матушки не было рядом — она шла уже к калитке. Проще говоря, покидала меня в чужом незнакомом месте. Нетрудно догадаться, что свой испуг и свое отчаяние я выразил громким воплем. Воплем и решительным намерением пуститься следом. Истошный крик мой прозвучал, а вот побег не удался — Адолят крепко держала меня.

— Не беспокойтесь, тетушка Рахат! — помахала она рукой моей матушке. — Я приведу его сама...

Так я стал пленником отинбуви, вернее, пленником ее воспитанницы, этой самой кареглазой Адолят. Пленником, который в какую-то неделю признал свою неволю и даже полюбил ее. Да, да! И все эта Адолят.

Не знаю, кто лучше влиял на нас — Хикматой-отин или ее маленькая помощница Адолят. А что она была помощницей, не вызывало ни у кого сомнения. Мы так и обращались к ней — халфа-апа. И вот халфа-апа быстро разобралась в несложных моих вкусах и желаниях и накинула на них ниточку. Ниточку эту она держала в своих руках и время от времени подергивала, заставляя пятилетнее существо делать то, что надо, угождая и Хикматой-отин и моей матушке. Я был ужасным сладеный Обыкновенный леденец или горсть урюка легко превращали меня в послушного телка. Заходя за мной по утрам, Адолят всегда держала в карманах камзола кусочек сахара, конфету, несколько миндалин. Я принимал все это, а взамен отдавал свою руку. Адолят вела меня, тихого, робкого, в школу.

Было бы неправдой винить во всем сладости. Первые дни, верно, я ждал их, а потом, незаметно для себя, принял новый порядок и новый мир, открытый передо мной школой. Посещение дома Хикматой-отин стало обязательным и даже

необходимым, и когда Адолят иной раз вдруг забывала постучать в нашу калитку и окликнуть меня — «Назиркул!» — я начинал тревожиться и плакать, будто потерял что-то дорогое.

Мать, видя все это, радовалась. Да и как можно было не радоваться! В любой, даже самой бесхитростной душе цветет надежда на счастье своих детей. Я думаю, матушка мечтала о сыне-учителе. Сама неграмотная, измученная заботами и тревожениями, постоянным недостатком, она глубоко ценила чужую образованность. Конечно, ей трудно было понять, что знания, вбиваемые нам в голову огинбуви, ни на что не пригодны, что это только одежда, ветхая старая одежда. Но не будем корить бедную женщину за мечту — она стремилась к лучшему, светлому, если не для себя, то хотя бы для нас, детей ее.

Мое прилежание радовало мать, а поведение брата по-прежнему огорчало. Он пропадал днями на пустырях, играя с такими же, как и он, отчаянными любителями ашичек. Матушка могла терпеть и долго терпеть, но, как говорится, и камень когда-то раскалывается. Каким-то своим особым путем доходила она до нужного и всегда мудрого решения. И когда доходила, повернуть ее назад было уже невозможно. С братцем она поступила так же сурово, как и со мной. Однажды я услышал ее приговор.

— Хорошего телка по походке узнают, — сказала она отцу, — а Манзур наш какой шаг ни сделает, все вкривь и вкось. Прикроем-ка, пока не поздно, позор полый халата, не то горечь придется всю жизнь хлебать. Отведи-ка мальчика к своему младшему брату. При деле, может, Манзур остепенится. Человека, как и железо, гнуть надо, пока он податлив. Годка через два из нашего сына уже ничего не сделаешь...

Отец по обыкновению молчал. Дома он бывал редко, занятый своими хлопотными делами, почти не касался нашего воспитания, целиком полагаясь на мать, на ее опыт и мудрость. Поэтому решение матушки никогда не оспаривал. Оно было для нас и для него окончательным.

Дни стояли холодные, шел снег, из дому и выглядывать не хотелось, не то чтобы тащиться куда-то, но матушка накинула на себя чачван и подалась в непогоду к дяде Ашурмату. Вечером он был уже у нас и, устроившись на курпаче, деловито обсуждал судьбу брата Манзура.

Не стоило бы так подробно излагать всю эту историю, которая довольно проста и скучна, но она коснулась меня самого и весьма ощутимо. Пострадал от посещения дяди Ашурмата в общем-то не братец, а я. Манзуру было все

равно — станет он беданабозом, то есть игроком в перепелов, или учителем, бродягой или кузнецом. Мне же очень хотелось знать, что решат дядя Ашурмат и матушка, превратится ли Манзур в удивительного кудесника, который из куска железа способен сделать красивую подкову, или серп, или кетмень. Мы, мальчишки, с любопытством вглядывались в полумрак кузниц, где польхало упрятанное в глиняном закутке пламя и стучали звонко молотки.

Сунув ноги под одеяло к сандалу, я ловил каждое слово, произносимое в тот вечер. Слова эти занимали меня настолько, что все остальное исчезло, даже сам сандал с его раскаленными углями. Я слушал и беззаботно водил ногами над жаром, а ноги мои были босыми. Матушка, чтобы подогреть чайник, поставила его в угол сандала, поставила и забыла. Он часто там находился, и никогда ничего не случилось. Но то были дни обычные, а тут — событие. В доме решалась судьба брата и решалась в присутствии дяди Ашурмата.

Все мои чувства выражались в движении ног — ноги то замирали, то принимались растерянно или, наоборот, радостно раскачиваться. Какое-то слово, видимо, произвело на меня особое впечатление, и я, забыв о притаившихся подо мной углях, дал волю своим ногам. Чайник опрокинулся. Выплеснутая вода вскинулась огненным паром и ожгла меня. Надо ли рассказывать, какую боль испытал я!

На слабость моего голоса никто не мог пожаловаться, но тут я превзошел все, на что был способен. Матушка схватилась за голову и кинулась ко мне на помощь.

— Вай! Горе мне! — запричитала она, откидывая курпачу.

Меня вытащили из пекла в жалком виде. Ноги мои были пунцовыми и почти на глазах стали покрываться волдырями.

— Правду говорят, беда под ногами у человека, — суежилась мать, не зная, как облегчить мою участь. — И зачем только поставила я чайник в этот несуразный сандал... И как это угораздило меня!

Дядя, хоть и был огорчен случившимся, сохранял спокойствие.

— Сделайте, сестра, примочку из соленой воды, это верное средство, — сказал он рассудительно. — А отчаиваться не стоит. Не это, так другое бы случилось. Такова жизнь. Пусть лучше ожог, чем глубокая рана. К тому же, Назиркул опалил лишь верхнюю кожу, она и без того должна меняться у человека... Через два-три дня все заживет...

Два-три дня растянулись на целые полмесяца. Кожа слезла без всякого желания, хотя дядя Ашурмат и говорил, что она обязана меняться у человека. Во всяком случае, она, эта самая кожа, не торопилась. На месте ожогов образовались ранки и долго не заживали. Ходить я не мог и лежал целыми днями в комнате, опасливо поглядывая на сандал.

Болезнь и вынужденное одиночество были первым моим испытанием, узнаванием того, что у взрослых называется дружбой, верностью. Мне было тоскливо. Улица, затянутая дождем, казалась самым веселым местом, школа, где мы повторяли до оупения совершенно непонятные слова, рисовалась в удивительно радужных красках, а товарищи были прекраснейшими из прекраснейших. Да, своим наивным детским сердцем я чувствовал утрату и со слезами на глазах смотрел на блеклое от тумана окно.

Меня помнили. Счастью моему не было предела, когда на третий день отворилась дверь и в комнату вошла тихая и застенчивая Адолят. Пришла мокрая от дождя, но такая обычная, что я забыл о болезни, словно ее и не было.

— Я буду заниматься с тобой, братец Назиркул, — сказала Адолят и протянула мне леденец.

С тех пор халфа-апа навещала меня почти ежедневно, задавала уроки, проверяла выученное накануне. Не знаю, что заставляло эту девочку в холод и грязь шагать от Хикматой-отин к нашему двору, терпеливо высиживать около меня час, а то и больше, пока я не усваивал трудное четверостишие. Неужели только благодарные слова моей матушки? Или просто доброта, которая светилась в карих глазах Адолят и во всем ее кротком облике.

А мой друг Адыл! После школы он прежде забегал ко мне, а потом уже шел домой. В руках его всегда скрывалось что-нибудь удивительное, способное обрадовать меня. То красивый камушек, то новенький гвоздь от подковы, то сама подкова, найденная на дороге. Однажды Адыл принес мяч. Какой мяч! Я ахнул, увидев его. Мы давно мечтали о круглом матерчатом, кожаном или волосяном мяче. Тогда резиновые были редкостью, да и дороги стоили, не по карману нашим родителям.

В школе красивый мяч был только у Хасият. Скатанный из ваты и вышитый разноцветными нитками, он походил на радужный шар, и когда Хасият им играла, в воздухе мелькали то красные, то зеленые, то голубые круги. Втайне я завидовал Хасият и, не скрою, вынашивал план овладения мячом. Надеялся, что закатится он куда-нибудь, пропадет, а я найду. Или сама Хасият вдруг подарит его мне. Но

Хасият не собиралась дарить мяч. Тогда я стал выпрашивать мяч самым беззастенчивым образом. Едва лишь замечал, что Хасият и ее подружка Мехри уединяются в углу двора, намереваясь тайком от учительницы поиграть, я тотчас шел следом и принимался хныкать:

— Хасият, дай мяч!

Девочки привыкли к моим просьбам и не обращали на них никакого внимания.

Тогда в голосе моем появлялась настойчивость. Это тоже не действовало. И вот последнее средство — угроза.

— Лучше отдай мяч по-хорошему!

Надо было знать Хасият, чтобы представить себе всю наивность и бесплодность моих попыток напугать девочку. Так и получилось, когда настойчивость моя перешла границы. Она исцарапала мне лицо, и весь день я рыдал, сидя на террасе.

Нельзя сказать, что это не послужило мне уроком. Я попытался мстить за поражение.

— погоди, вот пожалуюсь на тебя отинбуви!

Вместо того, чтобы струсить, Хасият отвечала насмешкой, дразнила меня:

— У нас дома есть еще большая кукла...

Это она говорила Мехри, но так громко, что я слышал.

— О, ты покажешь мне свою куклу, — в гон Хасият отвечала подружка.

— Да, да... Приходи ко мне, поиграем вместе.

Слушая девочку, я принимался реветь и, конечно, не от боли, а от обиды.

Судьей была Адолят. Суд ее, однако, не восстанавливал мира. Все кричали, а громче всех я. Тогда появилась сама отинбуви. Грозная и возбужденная. Главное, усталая. Она всегда была усталой. Мать троих детей и воспитательница двадцати послушниц, Хикматой-отин не знала ни минуты покоя. Малыши всегда были около нее и донимали своими просьбами и капризами. Существовала отинбуви за счет приношений родителей, и это, как правило, выражалось в узелках с рисом, лепешками и изюмом, реже с мануфактурой. Кое-кто давал и деньги, если имел их. Близких у отинбуви, кажется, не было. Во всяком случае, хозяйство домашнее она вела сама, сама кормила детей, сама нянчила.

И вот, усталая и расстроенная чем-то, отинбуви прибежала на наш крик. Выслушав девочек, она строго сказала мне:

— Ах ты, козел, разве нет другой забавы, чем обижать сестер своих?

— А почему они играют на уроке в куклы? — оправдал я свой поступок.

Разорванная во время стычки кукла явилась подтверждением моей кляузы.

— Негодницы! — вспылила отинбуви. — Сколько раз повторяла вам, в этом доме забудьте о куклах! Не оскверняйте святых слов шалостями.

Гроза, кажется, пронеслась мимо меня, весь гнев Хикматой-отин обрушился на Хасият и Мехри. Я даже забыл о своем поцарапанном лице, перестал плакать, стараясь не пропустить момента наказания. Ненавистная Хасият должна была получить все, что я уготовил ей. Но приговор отинбуви принес разочарование.

— Всех троих оставь после занятий, — распорядилась она. — Особенно присматривай за этим козлом.

Распоряжение было дано Адолят, моей покровительнице и заступнице. Она покорно поклонилась учительнице, а на меня бросила ободряющий взгляд.

Едва отинбуви удалась, как девочки хором закричали:

— Козел! Козел!

Война из-за мяча обходилась мне дорого. Мало того, что меня оставляли после занятий, но и наградили позорным прозвищем. Не скоро оно отлипнет от меня. По своему небольшому жизненному опыту я знал, как цепко держатся насмешливые слова. Растерянный и огорченный, я стоял перед девочками, не зная, что предпринять.

Спасла меня Адолят. Который уж раз. Видя, что все возбуждены и успокоить учениц так просто не удастся, она объявила «нон хурак» — обед. Волей-неволей дети покинули меня и, рассыпавшись, принялась за еду. Одна Хасият осталась. Она по-прежнему плакала, жалуясь на меня.

— Успокойся, Хасият! — кричали ей подружки. — Мы еще накажем этого козла.

Я мог не обратить на угрозу внимания, — подумаешь пугают, в конце концов они девочки, посмеют ли тронуть мальчишку! Однако я струхнул. Подруги обступили Хасият и стали шептаться. Дело принимало серьезный оборот. Видимо, все-таки свою угрозу девочки намерены выполнить. Как спасти себя? В тот день в школе я был один, без Адыла, он не то заболел, не то остался дома для какого-то дела. Значит, помощи не будет, надо рассчитывать только на себя. И еще на отинбуви. Показать ей свое исцарапанное лицо и просить защиты. Я уже хотел кинуться в дом, как увидел бегущих ко мне девочек. Дружной стаей они на-

бросились на меня и принялись колотить своими кулачками по моей голове, плечам, спине.

— Будешь знать, как обижать девочек!

— А еще собираешься стать джигитом!

— Какой джигит, он девчонка. Разве джигиты отпускают кокиль?

Кто-то дернул мою косичку, да так сильно, что слезы брызнули из моих глаз. Я пытался сопротивляться, махал руками, мотал головой, но атака была такой стремительной и такой дружной, что о контрастности не могло быть и речи. Меня повалили на пол и осыпали ударами со всех сторон. Подобно стае ласточек, напавших на кога, девчонки общипывали меня и оклевывали. А я орал, призывая на помощь отинбуви и халфа-апу. Прибежала Адолят, моя верная заступница, и разогнала девчонок.

Я был спасен. Жалкое зрелище представляла моя одежда и мой кокиль после сражения. Адолят отряхнула пыль, переплела косичку, умыла мое лицо. Она всячески утешала меня, гладила по голове, но обида моя и жалость к самому себе были столь велики, что слезы не могли остановиться и лились в три ручья. Тогда халфа-апа сказала:

— Не плачь, иначе мама все узнает и накажет тебя. Лучше помолчи, тогда я отпущу моего брата вместе со всеми.

Обещание было соблазнительным, и я сразу смолк. Взял свой хлеб и принялся обедать. Время, предназначенное для «нон хурак»; еще не истекло. Каждый утолил голод тем, что дали ему дома. Одни жевали сушеный урюк и, добравшись до косточек, щелкали их зубами или раскалывали камнем. Косточки с хлебом были лакомством. Я и сейчас вспоминаю не без удовольствия вкус урюкового ядрышка, проглоченного вместе с куском лепешки. Другие ели сушеную дыню, с трудом отрывая от длинной и жесткой, словно ремень, желтой ленты мелкие кусочки.

После лепешек, урюка и дыни мы обычно бросались к ведру с мутноватой арычной водой и, зачерпнув полную кассу, утоляли жажду. Потом играли. Носились по двору с криками и визгом, плясали, кто умел, пели песни. Сегодня как раз девочки затеяли что-то похожее на хоровод. Может быть, нарочно, желая подразнить меня. Закатав рукава и подоткнув подола за пояс, они, постукивая ножками, пели:

Песня жахида появилась.

Песня бестолковая появилась:

Зачем мне бархат тот.

Коль не по карману бархат тот.
Жахида — ху,
Жахида — ху,
Жахида! Жахида! Жахида!

Я слушал песню и думал, кончились ли мои несчастья, не повторят ли девочки нападение. Мяч Хасият уже не интересовал меня, хотя он по-прежнему высоко взлетал и разноцветные круги очерчивались в воздухе. Знал бы, чем все кончится, не взглянул бы даже на него. Тревога не покидала меня в течение обеда, вдруг песня смолкнет и ватага кинется к террасе, где я приютился со своей лепешкой.

Наконец «нон хурак» прервала Адолят и позвала всех на занятия. Мы расселись. Загудели голоса. Каждый повторял свое. Кто читал «Хафтияк», кто «Чор-китоб», кто «Суфи алайер». Громче всех звенел голос Хасият. Мне казалось, что она хочет перекричать меня.

— Инно аьтайно кал — ковсар... Инно аьтайно кал — ковсар...

Я давно знал этот текст и мог бы забить Хасият, однако не попытался соперничать с ней. Страх все еще жил во мне, и, помня недавнюю взбучку, я старался вести себя потише. Пусть незаметно пройдет урок, дети разбегутся по домам, и, возможно, Адолят отпустит меня тоже. Ведь она обещала.

Бубня под нос непонятные арабские слова, я поглядывал украдкой на дверь, ждал появления своей спасительницы. Она появилась раньше обычного. Стала посреди террасы и объявила:

— Закройте книжки, спрячьте их в торбы.

Повторять приказание не пришлось. Мы уже заталкивали книжки в матерчатые мешочки и торопливо завязывали их. Такая поспешность объяснялась желанием как можно скорее избавиться от надоевшей каждому из нас зубрежки. Головы учеников гудели, язык буквально заплетался — ведь надо было запомнить сотни и сотни непонятных слов. Вбить их в себя, как вбивают в дерево гвозди, — крепко, навечно. Поэтому мы часами повторяли одно и то же, и чтобы лучше укладывались в голове слова, смотрели в одну точку или вовсе закрывали глаза и покачивались из стороны в сторону. Это напоминало какое-то колдовство.

Собрать книжки, однако, не значило покинуть школу. Вторник был днем генеральной уборки двора отинбуви. Такой порядок существовал издавна, и никто не смог бы изменить его. Работать на учителя приходилось всем. Но мы не роптали — мести дорожки, таскать воду и выносить

мусор было интереснее, во всяком случае приятнее, чем зубрить «Кулье».

Мы бросились за метлами, ведрами, носилками. Первым побегал я. Мне хотелось загладить свою вину перед отинбуви, заслужить прощение. Если она увидит, как стараюсь я, то, верно, переменит мнение обо мне и, возможно, даже похвалит. Главное, не назовет больше козлом. Ох, это противное слово!

Как я работал! Смог ли кто сравниться со мной в тот день? Нет. Даже старшие девочки не поспевали опорожнять ведро, которое я приносил с улицы. Все бегом и бегом. Хасият и Мехри тоже носили воду, но разве у них так получалось! Одно ведро на двоих. Тянут в разные стороны, плещут; пока внесут во двор, почти ничего не остается.

— Пусть девочки берут пример с Назиркула, — сказала халфа-апа.

Существует ли лучшая похвала для провинившегося? У меня выросли крылья от этих слов. Запыхавшийся, но не помышлявший об отдыхе, я носился от арыка к арыку. «Прощен! Прощен! — ликовало у меня все в груди. — И не только прощен, но и победил несносную Хасият». Однако торжествовать победу было рано. Противная Хасият не собиралась сдаваться.

Мы носились как бешеные. Гремели ведра, шлепали наши босые ноги, плескалась вода. Весь путь от арыка до цветника был залит, и десятки луж красовались на дорожках. Они, эти милые лужи, и выручали меня. Ноги скользили, но я не падал. А Хасият шлепнулась. Да еще как! Ведро выскользнуло из рук, и вода окатила ее всю. Вначале я не понял, что это моя победа, но когда во дворе раздался громкий смех и перед нами предстала мокрая, смешная от грязных разводов на лице Хасият, поражение моей соперницы стало очевидным. Она редела и терла глаза кулаками. Куда девался заносчивый, гордый вид Хасият?

Я сбегал еще несколько раз за водой, желая показать свою силу и неутомимость. Впрочем, это было уже лишним. Адолят собрала девочек и громко сказала:

— Все старались сегодня, но Назиркул оказался лучшим. Огинбуви довольна им и ставит вам в пример.

Конечно, я был на седьмом небе. Сияющими от радости глазами посмотрел на всех, особенно на подруг Хасият, которые час назад клевали меня, словно ласточки кота, ну и понятно — на Хасият. Вот, мол, какой я! И что вы думаете она ответила, эта противная Хасият? Она показала мне

язык. Мне ничего не оставалось, как погрозить зазнайке кулаком.

Потом все кинулись к калитке, потому что халфа-апа разрешила идти домой. Девчонки, будто вырывающиеся из клетки птицы, с криками вылетали на улицу, но как они ни торопились, первым за дувалом оказался я. Свобода! Неповторимая минута ликования. Ветром летишь по улице, смеешься, машешь руками, вздымаешь босыми ногами горячую пыль. Сам не знаешь, чему радуешься. Просто так! Детство...

Я припомнил историю о матерчатом мяче, который мне давно хотелось иметь. И вот теперь такой же мяч, даже лучше, протягивал Адыл:

— Пусть будет у тебя... Поправнись, станем играть в «яккашта кулок». Хорошо?

Конечно, хорошо! Как еще хорошо! Я взял мяч и прижал к себе, словно это было что-то живое.

— Теперь мы не будем просить мяч у Хасият.

— Не будем, — закивал головой Адыл. — Зачем с девчонками связываться? Была бы мальчишкой, мы дали бы ей!

— Да, да... — И я снова представил себе двор отинбуви, стаю девчонок, набросившихся на меня с кулаками. Обида еще жила, но не была такой острой, как прежде. В конце концов, можно все простить им — теперь у нас есть свой мяч.

— Уроки готовишь? — робко спросил Адыл.

— Конечно, — оживился я. — Каждый день повторяю... Алиф-бедан кадорат, те-седан кадорат!

Мой голос звучал так громко и так уверенно, что матушка, хлопотавшая во дворе у печи — тандыра, услышала и прибежала в комнату.

— Ай, голосок твой миленький! — произнесла она радостно. В руках ее были горячие лепешки, только что вынутые из тандыра, — матушка решила попотчевать нас. — Читай, читай, ягненочек! Выучишься, господь благословит тебя на святое дело.

Единственный человек в доме, кому занятия мои приносили отраду, — это матушка. Ни она, ни я не понимали таинственных и потому очень важных слов, но то, что они твердо и громко произносились, наполняло нас восторгом, уверенностью в высоком значении творимого дела. С еще большим вдохновением я стал повторять:

— Алиф-бедан кадорат...

Не зная, как отблагодарить сына за старание, она вы-

нула из кармана камзола ключи, отперла сундук, где хранились сладости, и высыпала на поднос несколько горсточек изюма «турсуной». О, этот знаменитый изюм! Два года хранился он в сундуке, ожидая праздничного события! В нем уже завелись черви, и сам он потемнел от времени, но какое это имело значение! Изюм был мечтой каждого из нас.

— Ешьте пока, а я принесу чай, — сказала матушка.

Вторично просить нас не пришлось. Когда матушка вернулась с чайником, поднос был пуст — от лепешек и изюма даже крошек не осталось.

— И для учения силы нужны, — улыбнулась она. — Как это небошь трудно: «алиф-бедан кадорат»...

Она вся светилась радостью. Милая моя, добрая матушка! Как хотелось ей видеть меня учителем! Не знала она, да и никто не знал, — путь к этому будет гернистым. Чтобы открыть книгу, истинную книгу знания, придется вступить в борьбу, жестокую борьбу, принести жертвы, испытать горе и отчаяние, проститься с близкими и дорогими, разрушить старое, создать новый мир. И только тогда будет открыта книга.

— Читай, читай, мой ягненок!

Я читал. Я повторял одно и то же. Мне, как и матушке, очень хотелось овладеть волшебным словом.

Шли дни. Ноги мои плохо заживали, и я тосковал по всему, что стало мне недоступно. За стенами слышались голоса: там было весело, удивительно хорошо. И чем громче звучали голоса, тем невыносимее казалось одиночество.

Голоса и заставили меня встать на ноги. Вот как это получилось.

В один из дней на пробуждающуюся от зимнего холода улицу вышли каландары, эти самые бродячие монахи. Снег уже стаял под теплыми лучами солнца, и земля начала просыхать. Дервиши потянулись в Джизак, в свою Каландархану. Появление их, как всегда, было шумным и веселым. Шли они с песнями, плясками, собирая вокруг себя толпы людей. Более яркого, занимательного и удивительного зрелища, чем шествие каландаров, мы, дети, не знали. Удерживать нас в такие дни было невозможно. За калитки, в самую гущу веселых, фантастически пестро одетых каландаров устремлялись мы. Разинув рты от изумления, смеясь и пугаясь, шли мальчишки за дервишами до самого дома Дадабая. И там пока рассаживались и раскладывали свои немудреные пожитки монахи, мы разглядывали их, поражаясь и виду этих странных людей и их словам и песням.

Особенно шумливыми и веселыми были кашгарские каландары. Их любили в Джизаке и встречали восторженно. Огромная толпа сопровождала их на улицах. Пожертвования были обильными.

И вот в тот день шли кашгарские каландары, а я лежал в комнате, всеми забытый. Мне очень хотелось увидеть веселых дервишей. Так хотелось, что слезы на глаза накатились. С ненавистью посмотрел я на свои больные ноги — они мешали мне, обрекали на одиночество и скуку.

— Я Машраб-дервиш, и какое дело мне до всего!

— О боже мой, правый друг, правый друг, о боже мой!

Непонятные слова доносились с улицы, но тем и привлекательнее были они, тем таинственнее. Тем требовательнее звали они меня. И я встал. Встал на свои больные ноги. Первый раз. Голова моя закружилась от непривычного положения, по телу пробежала дрожь. Но я не упал, только покачнулся.

Я стоял. Я шел. Да, сделал один шаг, другой. Ноги держали меня, и боль в ступнях была робкой, едва ощутимой. Зато сердце билось громко. Так громко, что отдавалось в висках. И радость переполняла его. Новое, незнакомое чувство пришло ко мне, то самое чувство, наверное, что охватывает птицу, когда первый раз взлетает на собственных крыльях. Страх, упоение собственной смелостью, узнавание неведомого...

Вот уже дверь. Я распахнул ее. Свежесть еще не ушедшей зимы, пьянящие запахи весны, прилетевшие с ветром, чистое синее небо и потоки солнца — все бросилось мне навстречу, обняло, закружило меня.

— Мама!.. Мамочка!.. Ноги ходят! — закричал я испуганно и счастливо.

Матушка выскочила из коровника, увидела меня и всплеснула руками:

— Хай! Хай! Смотри не упади...

Подбежала ко мне. Обняла горячо, прижала к груди и застыла так в немом счастье.

— Не упаду, — говорил я. — Не упаду — теперь никогда... Не болят мои ноги...

А она не отпускала меня, все прижимала и прижимала, и я чувствовал что-то горячее, отрадное, падающее на мое лицо. Она плакала, моя добрая матушка. Плакала, радуясь.

Мы забыли о каландарах. А может быть, они уже прошли. Наверное, прошли, потому что было тихо. Очень тихо и светло. Звучал только шепот матушки:

— Дитя ты мое бедное... Надежда ты моя...

БОЖЕ, ЛУЧШЕ БЫ ТЫ НЕ СОЗДАВАЛ НАС, БЕДНЫХ

Мои старания принесли первые горькие плоды. То, что они горькие, я узнал не сразу, надо было их вкусить прежде.

В один из весенних дней меня подозвала Хикматой-отин и сказала:

— Завтра пятница, а какой день следует за пятницей?

Вопрос был странный, но тогда, в детстве, я не знал той истины, что за странными и окольными вопросами всегда таится опасность, поэтому смело и весело ответил:

— Суббота. — И тут же пояснил, желая показать свою осведомленность: — Четверг приводит пятницу, а суббота уводит ее.

— Молодец, — покачала головой отинбуви. — Мои труды не пропали даром, ты кое-чему выучился.

Да, если умение определить дни недели было итогом нескольких лет учебы, то, конечно, отинбуви многого достигла.

— Так вот, — продолжала учительница, — иди домой и скажи маме, чтобы в субботу она пришла ко мне. Мы должны поговорить кое о чем.

О чем они должны говорить, меня меньше всего интересовало, главное, отинбуви отметила мои успехи и дала приятное поручение. Приятное потому, что все оставались в школе, а я отправился домой. Прихватив свою торбу, я со всех ног бросился за калитку.

Увы, матушку это известие не обрадовало. Даже, напротив, несколько омрачило. Прежде всего, она заставила меня отдышаться и прийти в себя после такого пробега — я ведь без остановки летел домой, — и затем вразумительно объяснить, чего хочет учительница.

Этого я как раз не знал.

— Вы должны поговорить с ней кое о чем...

Матушка насторожилась:

— Не огорчил ли ты Хикматой-отин каким-нибудь поступком?

— Нет, мамочка. Она похвалила меня, прежде чем послать за вами.

— Похвалила?

Матушка еще более помрачнела.

— Если домулла хвалит своего ученика, родителям следует призадуматься.

— Она сказала, что из меня выйдет толк.

— Вот как, — вздохнула матушка. — Дай бог, чтобы все кончилось только похвалой.. Иди поешь шавли, остави себе в кассе.

Я взял касу и тотчас запустил в нее руку — нас, детей, не приходилось упрашивать: мы были постоянно голодны. Старательно перекладывая рис и морковь из касы в рот, я между тем обдумывал, как лучше истратить время, которое мне неожиданно подарила своим поручением отинбуви. Я уже говорил, что была весна, теплая, солнечная весна, наполненная криками птиц и шумом ветра. На Каландархане уже зеленели деревья и набирал сладость тутовник. В небе вместе с ласточками носились бумажные змеи. Наши змеи. Вот об этих змеях я и думал, торопливо опорожняя касу.

С улицы уже доносились голоса:

— Ветер! Жена твоя умерла, бери кетмень и беги-и...

Так заманивали мальчишки капризный весенний ветер — он то налетал внезапно, то угасал. Угасал как раз в то время, когда ребяташки выносили свои змеи на крыши. Услышав крики, ветер должен был испугаться и броситься на поиски своей жены, и вот тут-то мы и запускали бумажных змеев.

Крики на улице не столько волновали ветер, сколько меня. Я ерзал на месте, поглядывая в окно. Мне не терпелось поскорее закончить обед и выбежать на улицу, украдкой, конечно, чтобы матушка не заметила. Но как это сделать? Покуда я обдумывал план побега, в калитке показалась голова Адыла. Мой верный друг шел ко мне на выручку, он словно догадался, какие мысли роятся в моей голове. Прямо от калитки он готов был подать сигнал, но я вовремя приложил палец к губам и тем самым дал понять Адылу, что матушка дома и все следует делать тихо.

Адыл понял меня и молча стал ждать. Каса вернулась в нишу, где ей и полагалось быть, а я пробрался в кухню, взял змей и полез через тандыр на крышу. Это было опасное дело. С тандыра легко сорваться и, главное, легко обнаружить себя. Матушка даже из сарая видит печь, поэтому надо выждать момент, когда она отвернется. Впрочем, быть опознанным не так уж страшно — ухо попадет в руку матушки, а вместе с ухом и я сам. Наказывать меня не станут, но начнут выговаривать: «Кто же в безветрие запускает змеев, или делать в доме больше нечего, или приятно смотреть, как мать одна надрывается. Пошел бы лучше собрал ветки сухие для тандыра, а еще лучше — подмел бы двор». Конечно, собирать ветки или подметать двор лучше, во всяком случае, полезнее для дома, но кто тогда будет запускать змеев?

С этой твердой мыслью я пробрался к дувалу, где стоял тандыр, оттуда на крышу. Здесь мы встретились с Адылом.

И не только с Адылом. Кажется, все мальчишки махалли решили быть ближе к небу. У каждого в руках змей и моток ниток. Шумят, ждут ветра. Зовут его.

Мы тоже стали звать.

— Ветер! Ветер! Твоя жена умерла, бери кетмень и беги-и!

Но мы звали так тихо, что ветер, конечно, не услышал и не прилетел к нам. Вы спросите, почему же надо было звать тихо, или известный всей махалле мой крикливый голос вдруг ослаб? Нет, он остался таким же. Просто его могла услышать мама, а это не входило в наши планы. Вы, наверное, заметили, что путешествие на крышу совершалось тайно, а тайна для того и существует, чтобы ее беречь. Так вот, сохраняя гайну, мы почти шепотом заманивали ветер. Он не услышал нас, старики все глуховаты, а ветер, по нашему представлению, существует на белом свете не одну тысячу лет.

— Ветер! Твоя жена...

Не только ветер, нас даже сидящая на чердаке мышь не могла услышать.

— Давай громче, — предложил Адыл.

— Легко сказать — громче. А кто потом будет подставлять затылок под затрешины? Твоя матушка далеко, а моя близко. Кричи сам.

— Ладно, — согласился Адыл и разинул рот шире кавана, в котором матушка варит плов: — Ветер! Твоя жена умерла, бери кетмень и беги-и!

Теперь старик-ветер, кажется, услышал: верхушки карагачей ожили.

— Летит! — обрадовался я.

— Ты что?! — испугался Адыл. — Что ты делаешь?

— Жду ветра.

— Зачем кричишь? Или затылок давно не чесал.

— А-а... Ладно, держи змей, а я побегу.

Распустив нитку, я кинулся к другому концу крыши. Порыв ветра подхватил бумажного змея и поднял вверх. Поднял и тут же бросил. То ли сил у него не хватило, то ли змей ему не понравился.

— Рано побегал, — сделал заключение Адыл.

Я рассердился:

— Не рано, просто ты плохо звал. Не услышал тебя ветер.

— Как же не услышал, если верхушки карагачей закачались. Растерялся он, узнав о смерти жены, не знает, куда бежать, — в степь или в город, на закат или на восход солн-

ца. Сначала к нам подался, не нашел жену и полетел обратно...

— Это ты выдумал, — отверг я объяснение Адыла. — Ничего такого не бывает.

— Бывает. Мне отец рассказывал... Ветер подобен человеку. Ему кричат о несчастье — он верит и спешит с кетменем к тому, кто первый окликнул его, чтоб узнать, где жена. Тронул верхушки карагачей — они зашумели, спрашивая нас. А мы ответить не можем. Вот он и начинает метаться во все стороны. Мечется и носит наших змеев.

С удивлением и интересом слушал я своего друга. Мне и в голову не приходило, что ветер, подобно нам, может горевать, испытывать утрату, совершать какие-то поступки. И главное — он верит глупым, ничего не значащим словам, которые выкрикивают мальчишки.

— Что же, он больше не вернется? — спросил я огорченно.

— Обязательно вернется. Poiщет в другом месте и снова придет сюда... Смотри, карагачи опять зашумели.

И верно. Едва окрашенные зеленью ветви качнулись, стали тянуться к западу, словно их кто-то гнал туда. Летел ветер.

Я что есть духу побежал навстречу порыву. Змей тотчас взвился над крышей и набрал высоту. Моток ниток в моих руках быстро раскручивался, удаляя от меня бумажный квадрат.

Что может сравниться с радостью, охватившей меня. Будто не змей, а я поднимался в небо. Выросли крылья, расправились, и на них плыл я в синеве. Ветер бил мне в грудь, шумел, кружился, и силы мои оттого множились, крепили. Уже не страшна высота, ничего не страшно, только сердце сжимается в восторге.

Сетарча, мой сетарча!

К тучкам взвейся, к тучкам!

Я летел и пел песню. Нашу незамысловатую детскую песенку. Пел где-то в небесах, далеко-далеко от земли. Настолько далеко, что не видел ни крыш, ни дувалов, ни деревьев. Все исчезло. Говорят же, обретший крылья не чувствует под собой ног. Они шагали, мои ноги, торопились, чтобы поспеть за крыльями, добрались до края крыши. Еще шаг и... я оказался в пустоте.

Меня поджидала внизу беда: падал я с высокой крыши. Но судьба смилостивилась надо мной. Путь к земле пре-

градил балка, выступавшая над чердаком; за эту балку и зацепилась моя рубаха. Надо же было такому случиться — и балка высунулась, и рубаха оказалась широкой и крепкой. Повис я над улицей.

Так я висел, словно лягушонок в клюве аиста, а внизу собирался народ. Целая толпа. И в этой толпе моя матушка. Все шумят, и больше всего она. Причитает, плачет.

— Кто-то, наиболее опытный и мудрый, подает совет мне:

— Не шевелись.

— Не оглядывайся.

Да я и сам боюсь шелохнуться. У меня хватает сообразительности не принимать никаких мер к собственному спасению.

— Хорошо, что рубашка твоя крепкая, — слышу я голоса из толпы. — Выдержит.

— Сейчас поднимется Мумиджан и снимет тебя.

Мне все равно, кто придет на помощь, лишь бы этот момент наступил скорее. Висеть на балке, зная, что твоя жизнь зависит от старой рубахи, не так-то приятно. Главное, страшно.

Наконец Мумиджан взобрался на крышу. Но едва он попытался дотронуться до меня, как снизу снова послышались крики:

— погоди! Не касайся рубахи, она может лопнуть!

— Сначала поставь ноги на балку!

— Э-э! Лучше взять его снизу. Умурзак, сними свой халат, мы растянем его под чердаком...

— Надо еще кому-нибудь влезть.

Человеческая забота достойна всякой похвалы. Предусмотрительность — тоже. Чем больше мудрых советов, тем надежнее результаты действий. Однако так можно уморить спасаемого.

Не помню, сколько времени я провисел над улицей, слушая спор людей по поводу методов избавления от опасности, наверное, немало. Наступил срок все же, и я оказался на твердой земле целым и невредимым.

Матушка не знала, что со мной делать — целовать от счастья или наказывать. И тут мудрые советы помогли.

— Не бей его, Рахатой, — сказал один из стариков, которых здесь было предостаточно. — Ему и так уже досталось.

На этот раз совет не обсуждался, и матушка приняла его. Она не стала меня наказывать, но и не расцеловала от счастья. Только заплакала. Трудно пережить такое.

Я тоже плакал. Мне было жаль змея — ветер унес его.

...Как я уже говорил — четверг приводит пятницу, а суббота уводит ее. Так вот, когда суббота уводила пятницу, мы с матушкой пошли в школу к Хикматой-отин.

Учительница очень мило и очень долго говорила с матушкой. И по тому, как улыбалась отинбуви, я понял, что беседа идет о самых приятных вещах, возможно, о моих успехах. Но матушка почему-то ушла грустная. Меня это несколько озадачило.

Дома во время разговора отца с матерью я узнал причину грусти. Оказывается, пришел день моего расставания с отинбуви. Больше она не могла держать меня в школе, где учатся девочки. — Шарият, этот неумолимый закон мусульман, запрещал видеть открытой девочку после определенного возраста. Такой возраст наступил. Хикматой-отин посоветовала матушке отдать меня в школу мальчиков, то есть к мулле.

И страшно и трудно было матушке пойти на такой шаг: обучение у муллы требовало расходов, тут уж одним лепешками и рисом не отделаешься, да и мулла славился своим крутым нравом, жестоким обращением с детьми. И все же она решилась. Победило негасимое желание видеть сына образованным человеком.

Отец выслушал мать и впервые решительно возразил:

— Мулла сыт не оттого, что он грамотный. Быть прислужником в мечети не велика честь. Пусть Назир ремеслу учится — это всегда хлеб.

В словах отца был смысл. Мать не могла не согласиться с его доводами, но мечта всегда сильнее логики. Они долго спорили, до самой ночи. Матушка, кажется, сдалась на сей раз. Но утром, когда я проснулся, на большом подносе красовалась высокая стопка лепешек, только что испеченных в тандыре, а матушка сворачивала отрез полотна, припасенного для отцовского халата.

— Вставай, сынок! — сказала она мне. — Пойдем в мечеть...

Второй путь в школу был проще — я не упрямылся, не плакал, не держался за калитку. Но в душе у меня все протестовало, сердце сжималось от страха и готово было, кажется, умереть. Что бы только ни совершил я в ту минуту ради возвращения к прошлому. Оно теперь казалось мне прекрасным — и дом отинбуви, который мы убирали каждый вторник, и сама Хикматой-отин, усталая, неопрятная женщина, назвавшая меня когда-то козлом, но ласковая и добрая, и противная Хасият с ее вышитым мячом, из-за которого я столько выстрадал, и все девочки, колотившие меня, ровно ласточки

шкودливого кота. Все-все было прекрасным. И особенно Адолят, кроткая, кареглазая Адолят, необъяснимо дорогое моему детскому сердцу существо...

Но прошлое, еще вчера существовавшее для меня, доступное, привычное, понятное, это прошлое уже исчезло. Исчезло навсегда. Начинаясь новый день моей жизни. И возник он на пороге мечети.

Матушка проговорила обычные слова принявшему меня под свое покровительство домулле:

— Кости наши, мясо ваше...

Их всегда говорили, эти слова, и всегда тихо, торопливо, но они многое значили. Для меня, во всяком случае. Мои кости и мою судьбу распределяли между собой родители и домулла. Матушке оставались кости — все остальное получал в полное распоряжение учитель. И вскоре я понял, что это означает на деле.

От отинбуви матушка ушла взволнованная, но радостная, от муллы — грустная и подавленная. Прощаясь со мной, она попыталась улыбнуться, но мне показалось, что губы ее кривятся, желая сдержать слезы.

Меня ввели в небольшую комнату, где сидели на корточках шестьдесят или больше мальчиков. Сидели на соломе и, покачиваясь, повторяли слова. Те же самые, никому непонятные слова. Я тоже сел и тоже стал, раскачиваясь, повторять.

Одного-единственного дня достаточно человеку, желающему понять, что такое мусульманская школа. Ни один луч не коснулся ни нашего сердца, ни нашего разума. Тьма. Постоянная тьма. Она была во всем. И в словах, непонятных нам, и в системе, которую устанавливал учитель. Она зиждилась на слепом, рабском повиновении, беспрекословности, фанатизме. Делай то, что тебе говорят, повторяй то, что произносят, верь, во что верует другой.

Авторитетом, поводом, диктатором являлся учитель — мулла Миртажанг. Его так называли ученики за вспыльчивость и злость. Само имя говорило об отношении воспитанников к своему воспитателю. Услышав прозвище я сразу же почувствовал страх. Страх перед чем-то неотвратимым, необъяснимым. Существовал человек, поступки которого определялись неведомыми мне побуждениями, и во власть этого человека отдал я, десятилетний мальчишка.

Первое желание — быть незамеченным, невидимым. Спрятать себя за спинами других. Еще не попав на глаза мулле Миртажангу, я испытываю их магическую силу и пепеляющий огонь. А огня в самом деле нет. Он мерещится нам.

Мерещится с того дня, как мы переступаем порог мечети и становимся учениками.

Мне не удалось остаться незамеченным, ведь я был новичок и к тому же невелик возрастом и ростом. Ибрагим-халфа, помощник домуллы, посадил меня в одном из ближних к учителю рядов. И я увидел немолодого, сухого и нервного человека. Какое у домуллы было лицо, я уже не помню, но беленькая жиденькая бородка запечатлелась в памяти навсегда. До того жиденькая, что можно было сосчитать волоски до одного. Эту свою бородку мулла Миртажанг поглаживал почти постоянно, и по тому, как он поглаживал, мы узнавали настроение учителя. То рука двигалась медленно, раздумчиво — Миртажанг к чему-то готовился, чего-то ждал; то останавливалась — он принимал решение или прислушивался к звукам в задних рядах, и тогда мы замирали. Волнение муллы передавалось быстрыми нервными скольжениями пальцев сверху вниз — назревала гроза. Самым опасным для нас были рывки: рука то двигалась, то замирала, то снова двигалась. Миртажанг терял в такие мгновения контроль над своими чувствами, и они бушевали ураганом. При истязании учеников мулла держал бородку обеими руками и мял ее.

И это все. Наверное, он был обыкновенным человеком, к тому же бедным человеком, таким, как Хикматой-отин. Правду говорил отец — мулла сыт не оттого, что грамотен, — его кормят люди, и для того, чтобы заставить их делать это, он должен постоянно тянуть, вынуждать, угрожать, мучить, обманывать. Ремесло нахлебника сделало муллу Миртажанга алчным, бесстыдным, злым. Сделало нашим мучителем.

Тогда, мальчишкой, я не понимал учителя. Не понимал, почему он бывает спокоен, взволнован, лъстив, добр, шумлив, зол, жесток. Можно было прекрасно знать урок, красиво декламировать, низко кланяться и все-таки вызвать немилость Миртажанга. И наоборот, ничего не знать, путать слова, едва сгибать спину при приветствии и заслужить улыбку и даже похвалу муллы.

Он был высокомерен, но гордости настоящей мы в нем не замечали. Небольшая подачка заставляла муллу забывать о своем положении и своей роли учителя. Перед детьми богатеев он унижался, лъстил им. Все видели это и презирали в душе домуллу.

Когда он вызывал байского сынка и требовал от него повторения урока, тот обычно закатывал глаза к небу, будто вспоминал заданное, а руку в это время отправлял в кар-

ман, начинал гам старательно шарить. Мулла настораживался. Всё внимание его сосредоточивалось на кармане ученика. Он забывал о своей нечастой бородке и принимался тереть ладони. Приговаривал при этом:

— Неспроста у меня руки чешутся. Неспроста, как ты думаешь, байбача?

Байбача продолжал шарить в карманах, разжигая этим и без того неутолимый аппетит домуллы. Мы догадывались, что байский сынок нарочно затягивает время, желая позабавиться унижением учителя. Всем весело и в то же время стыдно смотреть на эту сцену, но никому не жалко старого человека. Он слишком алчен и слишком жесток. Если бы мы могли засмеяться громко, уничтожающе, отомстить своему мучителю! Но никто не допускает даже мысли такой. Простая улыбка способна взбесить Миртажанга, превратить его за одно мгновение в беспощадного истязателя. И мы молчим, лица наши окаменело безучастны, лишь глаза смеются и торжествуют.

Не торопясь, байбача вытаскивает руку из кармана. Это высшее напряжение — мулла принимается целовать собственные ладони, потирает ими глаза и брови. Он весь в волнении, весь дрожит, и когда деньги — какая-нибудь мелкая монета — возникают перед ним, он хватает, вернее, клюет их, как хищная птица, и на лице его тотчас появляется блаженное выражение. Не стесняясь детей, поворачивается к байбаче и начинает молиться. Молится за него, за его отца и мать, за дедов и прадедов. Голос старика исполнен нежности и благодарности, он обращен к богу. И бог должен ниспослать всевозможные блага, жизнь и здоровье байбаче, счастье его дому только за то, что этот шалопаи дал домulle десять или пятнадцать копеек.

Как мелок, как глуп должен быть бог, если дарит блага по такой низкой цене, награждает ничтожного. Мулла не думал, возможно, даже не подозревал о великом вреде, наносимом делу, которому служил. Могли ли мы после этого верить в справедливость, во что-то светлое и возвышенное?

Собственного унижения Миртажангу казалось недостаточно — он призывал нас молиться за байбачу и его родителей, молиться за те же несчастные десять копеек, попавшие в кошель домуллы.

И это еще не было концом унижения. Миртажанг, совершив омовение, обращался к Ибрагиму-халфа:

— Скажите ученикам, чтобы они брали пример с байбачи. Пусть дойдет до них мудрая истина — лучше один раз накормить, чем тысячу раз обещать...

Об уроке домудла забывал. Уплатив гривенник, байбача мог спокойно сидеть и наслаждаться всеобщим вниманием. В глазах его светилось презрение к окружающим. Он знал, что его уже не спросят сегодня.

Нам тоже не хотелось отвечать, не хотелось получать подзатыльники и оплеухи. Не хотелось слышать брань домудлы. Но у нас не было в карманах серебра. Даже меди не было. Поэтому мы донимали родителей бесконечными просьбами умилоостирить Миртажанга какой-либо подачкой.

— Вай! — хваталась матушка за голову. — Да где же я возьму деньги! Бог видит, мы едва сводим концы с концами. Уж лучше ты задобри домудлу трудолюбием и старанием.

— Все стараются, — отвечал я, — но домудла не добреет.

Мать вздыхала, пекла лепешки или собирала урюк и несла в мечеть. Так поступали многие. Однако Миртажанг смотрел на лепешки, как ворон на траву, губы его брезгливо кривились и нехотя произносили молитву. Даже подносы с жавзакки — скороспелым урюком, с молодыми огурцами, ветви черешни, усыпанные яитарными плодами, не вызывали восторга муллы. Он всегда приподнимал ветви и смотрел на дно подноса — нет ли там монеты.

Без приношений находиться в школе вообще нельзя было. Каждые две недели с учеников, взималась плата за циновку — плетенный из камыша коврик, каждые три месяца плата за палас. Ни циновок, ни паласов мы не видели — сидели весь год на перетертой льняной соломе. Переход к новому уроку тоже сопровождался платой. Домудла не разрешал перелистывать страницу учебника, пока родители не сделают приношения. Мальчик мог наизусть выучить главу из корана и сидеть на ней еще месяц, если событие это не было отмечено подарком. Более важные рубежи в учении требовали соответственно и более солидных подарков. Например, переход от «Хафтияка» к «Корану» или от «Чоркитоба» к «Мухтасару» сопровождался угощением не только муллы, но и его главного помощника. Кроме того, Миртажангу преподносили одежду и обувь.

Я до сих пор не нахожу объяснения той жестокой форме воспитания, которая царила в старой мусульманской школе. Неужели при подобных взаимоотношениях между учителем и учениками могли зародиться высокие мысли, светлые побуждения, благородные желания? Человек формируется на примерах, а пример домудлы был страшен. Никому, никому из нас не хотелось быть на него похожим. Поступки его вызывали отвращение, жадность — насмешки. И сам облик

нашего наставника никак не соответствовал той роли, которую он должен был выполнять. Всегда хмурый, насто-роженный, недовольный. К нему и подойти-то с добрым, душевным словом невозможно, не говоря уже об искренности и доверии, которые естественны в отношениях между воспитателем и учеником.

Он знал, что мы не любим его. И чтобы влиять на нас, вселял в каждого страх. Страх, поражающий волю, испепеляющий душу. Почти каждый день на наших глазах совершались избиения, пытки. В комнате, у стены, на видном месте лежали орудия истязания, специально изготовленные для этой страшной цели. Достаточно упомянуть хотя бы доску с отверстиями для ног, в которую зажимали провинившегося. Или перекладину на потолке. На ней вздергивали ученика, и так он висел вниз головой часами. Нет, это не на площади перед ханским дворцом, где совершались казни, — в школе Связка свежих прутьев всегда красовалась в углу, и я не помню случая, чтобы ее не израсходовали.

Страх перед домуллой доходил до того, что некоторые ученики теряли контроль над собой, бились в истерике, впадали в беспамятство. Миртажангу казалось это естественным, и он не только не ослаблял своей системы, но, напротив, постепенно усиливал ее с помощью разнообразных средств физического воздействия. Он любил повто-рять:

— Палка способна даже из свиньи сделать муллу.

Кого он собирался сделать из нас? Если мулл, то нико-го этот сан не прельщал. Во всяком случае, я не слышал от своих однокашников одобрительных слов в адрес священ-нослужителей. Вряд ли кто мечтал после нашего мактаба пойти учиться в медресе. Однако это не мешало Мирта-жангу привлекать нас время от времени к выполнению раз-личных обязанностей при совершении религиозных обрядов. Прежде всего, мы ежедневно присутствовали при бо-гослужении в мечети. Когда в махалле оказывался тяжело-больной и его надо было подготовить к встрече с богом, вызывали нашего домуллу. Он брал себе в помощь несколь-ких учеников. Читать сорок раз подряд длинную-предлин-ную суру «Есин» было нелегко, и эту работу Миртажанг перекадывал на своих учеников. Сам он сидел рядом и с важным видом поглаживал бороденку. Верно говорят: «Тот, кто привык ездить верхом, и муху оседляет». Домулла осед-лял всех.

Правда; были и такие, которых оседлать не удавалось. Они или сбрасывали Миртажанга или просто давали понять,

что им это не по нутру. С ними старик расправлялся самым бесчеловечным образом.

Были у нас два ученика — братья Сидик и Хамид. Не знаю, зачем им понадобилась школа. Видимо, родители, по примеру моей матушки, решили сделать из сыновей образованных людей. Бедняки несли Миртажангу последние гроши в надежде, что когда-то их жертва воздастся сторицей. Наивные мечтатели! Домулла проникся лютой ненавистью к бедным братьям. Он терзал их придирками, лупил палкой, плевал им в лицо. Он хотел показать нам всем, насколько жалок и слаб человек, лишенный достатка. Он требовал от братьев унижительных слов раскаяния в несовершенных поступках, мольбы, слез и этим вознаграждал себя за все — ведь бедный ученик подобен нахлебнику.

Братья не раскаивались, не вымаливали прощения, не целовали со слезами полу халата домуллы. Он чернел от злости, глаза его суживались до того, что казались крошечными точками, двумя красными угольками и впивались огнем в братьев. Особенно твердым был старший — Хамид. Все побои и оскорбления переносил молча.

Однажды домулла поставил Хамида перед собой и стал наносить ему удары палкой. Толстая деревянная палица опускалась то на плечи, то на живот, то на спину, то на голову мальчика. Он принимал удары и лишь вздрагивал, но ни один звук не срывался с губ его.

Видя, что «палка воспитания» не действует на мальчика, домулла приказал самому высокому и сильному ученику снять с Хамида халат, оседлать непокорного и связать руки. А сам взял свежие прутья черешни и принялся хлестать Хамида по голой спине.

Это было страшное зрелище. Мы должны были наблюдать его, не прерывая чтения, не замедляя и не убыстряя течения стиха.

Ибрагим-халфа, привыкший за долгое время ко всему, все же не выдержал. Закричал Хамиду:

— Попроси же извинения, проклятое отродье! Попроси!

Но Хамид молчал. Ведь ему не за что было просить прощения: он ничего не совершал плохого. Так молча и упал на пол. Без чувств.

Был еще один несгибаемый среди нас. Тоже бедняк, впрочем, подчеркивать это не следует: домулла боролся только с босоногими, как звали детей нсиमुшних родителей. Имя его было Сафар. А звали его ребята Сафар-чикацак — за маленький рост, за ловкость и проворство. В школе он был самыммышленым и памятливым. Новый урок он выучивал мгновенно.

венно и тем поражал нас. Для домуллы эти способности Сафара-чиканака никакого значения не имели, наоборот, они раздражали Миртажанга, ему вовсе не хотелось ставить босоногого в пример байбачам.

Сафар торопился выучить урок, чтобы перейти к следующему, но, как вы знаете, всякая ступенька требовала приношения. А приношений домулла не видел. Больше того, намеки учителя проходили мимо ушей неразумных родителей Сафара.

Каждую неделю Сафар донимал отца:

— Подарите несколько таньга домулле.

Файзи-ака, отец Сафара, существовал тем, что шил из старых кошм подушки для седел и потники. Это давало возможность кормить семью, которая была немаленькой. Но только кормить, о лишней рубаше или паре кавуш не могло быть и речи. Так и отвечал сыну Файзи-ака:

— Молись богу, что сыт сегодня. Таньга, которые ты просишь для домуллы, понадобятся завтра для твоей лепешки.

По этой причине Сафара-чиканака постигла судьба братьев Сидика и Хамида. Миртажанг долго накапливал злость против босоногого. Мелкие наказания, как и маленькие глотки, не утоляли жажды, она от этого усиливалась. Однажды во время молитвы кто-то пощекотал пятки байбаче. Тот зашумел и тем нарушил церемонию. Домулла сразу же обвинил во всем Сафара-чиканака. На этот раз Миртажанг должен был утолить свою жажду полностью. Он приказал связать мальчику руки и ноги, затем перочинным ножом надрезал пятки и набил надрезы солью. От боли Сафар закричал страшным голосом. Мы все замерли. Ничего подобного я еще не видел. У меня сердце похолодело от жалости и на глазах выступили слезы. Но Миртажангу этого показалось недостаточно. Он велел надеть на мальчика фарлак — приспособление для скручивания ног, и крутить до тех пор, пока кожа не станет гореть. Он стонал, задыхался от боли. Домуллу это не трогало.

— Под потолок его! — прошипел Миртажанг.

На наших глазах лицо Сафара стало синеть, глаза сделались огромными, и казалось, выкатывались из орбит. Он уже не кричал, не стонал, даже не дышал.

«Сафар умрет», — в страхе подумал я и заплакал. Плакали и другие ученики. Лица у нас были мокрые, губы дрожали, но никто не посмел защитить товарища. Стыдно признаться, но воля наша была парализована, и мы, как бессловесные существа, молча глядели на пытку. Теперь я по-

нимаю, насколько велик был страх перед домуллой, насколько глубоко проник в нас принцип непротivления, что даже чудовищный поступок Миртажанга не вызвал бунта.

Сафар-чиканак умирал. Бесчувственное тело его медленно вращалось, и это чем-то напоминало труп птицы, повисшей на ветке. И все-таки нашелся среди нас смелый. Все тот же Ибрагим-халфа. Правда, его смелость объяснялась особым положением юноши — он был помощником домуллы и пользовался некоторыми правами.

— Таксыр, простите Сафару его грех, — произнес он жалостливо. — Этот грех совершил я, а не Сафар... Простите, таксыр... Ребята, — обратился халфа к нам, — поклонитесь за Сафара нашему господину, попросите прощения. Никогда не повторится подобное, мальчик принесет подарок и будет нем и прилежен. Обещайте господину!

— Обещаем! — ответили мы хором.

— Обещайте подарок!

— Обещаем!

Домулла еще некоторое время смотрел на висящего вниз головой Сафара, словно раздумывал, как ему поступить. Потом поднялся и сказал недовольно:

— Снимите проклятого.

И, чтобы не присутствовать при хлопотах и не слышать слов сострадания, вышел из комнаты.

Халфа расслабил веревки, и тело Сафара медленно опустилось на пол. Мальчик все еще был без чувств. С ног его стекала каплями кровь.

Мы, затаив дыхание, ждали воскрешения Сафара. Двери были открыты, и халфа помахивал над лицом мальчика полкой халата. Никогда минуты и секунды не тянулись так мучительно медленно, никогда не испытывал я такого страстного желания увидеть открытыми глаза Сафар-чиканака — живые глаза! Они открылись. Но были усталые и печальные. Он пережил слишком много для мальчишки, и не только для мальчишки. Не всякий взрослый вынесет подобную пытку.

Самое поразительное в этой истории — отношение родителей Сафара к случившемуся. Ни отец, ни мать не упрекнули домуллу за столь жестокое обращение с их сыном.

— Господин, вы поступили благоразумно, — сказала бедная женщина, придя на другой день в мечеть. — От палки мальчик не умрет, а станет умнее. Мясо ваше, кости наши, таков был уговор, и мы не нарушим его. Только не изгоняй-

те его из храма, не лишайте нас надежды. Если он выучится чему-нибудь здесь, бог отблагодарит вас. И мы по бедности сделаем, что сможем...

— По бедности, — скривил рот Миртажанг. — По бедности отдайте своего непутевого сына в учение к сапожнику или гончару. Почему из сорной травы хотят вырастить образованного человека, открыть ему ворота истины? Из всех шестидесяти моих послушников лишь двое или трое достойны этого. Достойны потому, что их родители могут отблагодарить пастыря за непосильный труд, который он вкладывает, просвещая их чадо. За молитву, за одни добрые слова кто станет нести это бремя. Я сам не богат. И у меня семья, и у меня заботы...

Мать Сафара, худая, усталая Хушруй-хола, ухватилась за эти слова домуллы:

— Знаю, что не богаты, оттого и пришла к вам. Разве богатый поймет нас? Кому нужны мы со своими несчастьями? Протяните руку бедному, помогите войти в ворота истины.

— Глупая ты женщина, — сказал раздраженно домулла. — Просишь о том, что самим богом тебе не дано. Подумай лучше, как найти мальчишке ремесло по силам...

Он повернулся и, бросив торопливо: «У меня время намаза», — зашагал прочь.

— Уходите?! — со слезами крикнула Хушруй-хола. — Верно говорят — беги от голодного! Мы не нужны вам, у нас пустые карманы, худые чаши. Хорошо, знайте только богатых... Знайте!

В отчаянии она откинула за голову сетку паранджи, обнажила лицо. Может быть, ей хотелось, чтобы Миртажанг видел ее гневные глаза. А он бежал. Да, поспешно одолевал те несколько десятков шагов, которые отделяли центр двора от калитки. Не знаю, слышал ли домулла последние ее слова, обращенные ко всевышнему:

— О боже, лучше бы ты не создавал нас, бедных!

Страшные слова. Наверное, они повторялись часто близкими мне людьми. Повторялись, но не западали в сердце. А эти запали, сказанные немощной седой женщиной, матерью несчастного Сафара-чиканака.

Тогда и позже я задумывался над ними: зачем, зачем мы, бедные, стремимся к знаниям? Зачем матушке моей образованный сын? Ведь в ворота истины пройти так трудно, почти невозможно. Во всяком случае в те ворота, ключи от которых находились в руках домуллы Миртажанга.

СВЯТАЯ ПЯТНИЦА

Ничему не научился я в мечети у Миртажанга. Может, только чужим словам, скрытым от меня тайной. Истина оставалась недоступной, и ворота к ней не отворялись, несмотря на мои старания, на подношения матери. Она, бедная, отрывала от семьи последнее, чтобы утолить жадность домужды.

Я познавал истину без книг. Говорят же, идущий одолевает дорогу. Еще не ведая по малости лет, что иду вперед, я уже двигался тропой, именуемой жизнью. Она была куда сложнее уроков Миртажанга и, главное, куда интереснее. Необычное, яркое привлекало детский глаз. Ярким было шествие каландаров, оно когда-то заставило меня подняться на ноги после болезни. Такую же роль сыграли и гапгаштаки — праздничные пирушки молодых, проводимые по пятницам в каждой махалле.

В преддверии богу угодного дня был еще один впечатляющий день — четверг, с которого я, как помнит читатель, начал свое повествование. И начал именно потому, что для города нашего четверг был базарным днем.

Кто знает Восток, кому хоть раз удалось глянуть на его пестрый ковер красок, тот не может не восхищаться самым ярким рисунком в этом ковре — восточным базаром. Что говорить, базар — это частица Востока. Но видеть его издали — значит испытать лишь одно из тысячи удовольствий. Надо войти в него, окунуться в звуки и краски, раствориться в толпе, представляющей вторую половину прелести и яркости базара, вот тогда можно понять и оценить сказанное мною. В четверг на базаре бывал весь Джизак. На гуляющую, словно улей, площадь спешили и молодые, и старые, и худые, и толстые, веселые и хмурые, спешили независимо от того, была ли у них в этом надобность или нет. Кто хотел купить, кто продать, а кто просто потолкаться, как говорят, себя показать и на других посмотреть. И прежде всего, узнать новости, подивиться неожиданному и необыкновенному — где еще увидишь столько диковинного, где услышишь столько поражающих воображение рассказов. Базар теплел с утра, разгорался в полдень, затухал к вечеру. И в каждый час дня пламя его было особенным — то туманным, то ясным, то горячим, то прохладным. И голос звучал на все лады: базар умел шептать, петь, греметь, замирать... С рассвета, а то и с вечера, стекались в Джизак караваны и караванчики, звенели колокольца верблюдов, скрипели арбы, стучали копытами ишаки — и все груженое, все переполнен-

ное, все гнется под непосильной тяжестью. Казалось, не только базарная площадь, весь Джизак не смог бы вместить того, что стекалось сюда ручьями и ручейками. А она вмещала. Лишь набухала, будто озеро в половодье, переполнялась, бурлила, готовая выплеснуться через край.

Да может ли что сравниться с предпраздничным базаром? Здесь соединялись людские интересы, решались судьбы, здесь разорялись, богатели, выигрывали и проигрывали. Один продавал лошадь и покупал осла, потому что намеревался выйти из затруднительного положения, другой сбывал быка и приобретал телку, по той же причине. Зерно менялось на халат, сало на кавуши, птица на пояс или серп. Крестьяне хотели одеться и обуться, ремесленники — запастись рисом и хлебом на неделю. И все торговались, и все спорили, боясь отдать больше, а получить меньше. При этом жарком до пота споре присутствовали обязательно те, кто ничего не продавал и ничего не покупал, кому не было никакой выгоды и никакого урона от торговли, но они тоже мучились, тоже потели, страдая за других. И всем, как считалось в городе, базар проветривал голову, освобождал перед праздником от забот, чтобы они снова в субботу могли неутомимо раскачивать колыбель жития, идти дальше дорогой, уготованной всевышним.

С тех пор, как я стал посещать мактаб, то есть школу при мечети, базар удалился от меня. Возвращаясь с занятий, мы лишь издали внимали шумам и запахам площади, видели облако пыли, висящее над ней. Для нас базар был теперь только преддверием пятницы, свободного дня, когда мы, оступившие от зубрежки и угроз наказания, могли, наконец, отдохнуть, предаться своим детским забавам. С каким остервенением, придя домой, я отбрасывал свою торбу с книжками, как вздыхал облегченно! Свобода! Свобода. Мы лезли на крышу, на деревья, бежали в Каландархану. Бежали без цели, без каких-либо намерений осуществить что-то заранее обдуманное, лишь чувствовать себя вольно, видеть улицу, слышать ее. А уж там сама улица подарит нам интересное и удивительное.

И все же четверг с его базаром не был главным в наших радостях. Мы ждали пятницы. Подобно бесштаннику, грезящему о двух кусках бязи, я частенько видел во сне этот день — вольный, наполненный удовольствиями, как летний сад плодами. И плоды были доступными, хотя и не всегда полезными нам, мальчишкам. Впрочем, тогда мы этого не понимали. Мы просто тянулись к ним, потому что они были яркими.

Я возвращаюсь к сказанному выше, к гап калиткам Муж-

ские пирушки устраивались в каждой махалле, а махаллей в Джизаке было несколько, и все по-своему особенные, примечательные. Об этом тоже следует поведать читателю, тем более, что он, видимо, не был в старом Джизаке, а если и был, то мог запомнить — время-то утекло, а что утекает, то, как известно, обратно в касу не вольешь. Старого Джизака нет, есть новый Джизак. Так вот, в городе насчитывалось несколько махаллей, и отличались они друг от друга, как дети одного отца: вроде похожи, а разные, и не только лицом, но и характером. Больше — характером, склонностями. Ну, а о махалле и говорить нечего. Тут все определялось отношением жителей к делу — кто чем занимался, тот там и ставил свой дом. Например, махалли Джизакская и Савунгарлик приютили у себя мыловаров и кожевенников. Над дворами здесь всегда плыл запах мыла. В больших чугунных котлах кустари выпаривали масло, смешанное с какими-то едкими кореньями и солями. И пока шло это вываривание — а оно не прекращалось до самой пятницы, — можно было вдоволь насытиться душистыми запахами серого мыла. Из-за мыла махалля и получила свое название Савунгарлик, что означало — «мыловарщики».

В Джизакской махалле пахло более приятно, для меня, например, — дубленой кожей. Приятно потому, что с этим запахом было связано представление о новеньких скрипящих сапогах, ремнях, уздечках, седлах. Мыло и кожа шли на базар, с базара — в кишлаки всего уезда, давали жить чорбазарчи, банщикам, шорникам, сапожникам.

Наш дом стоял на стыке других двух махаллей — Уратепе и Рават. Здесь не варили мыло и не дубили кожу, никаких ароматов дворы не источали. Зато слышался стук молотков, позвякивание железа и визг пил. В наших махаллях жили чеканщики по меди и серебру, ювелиры, кузнецы, ткачи, пекари. Все мастера, умельцы, прославлявшие Джизак своим искусством. Ну и, конечно, торговцы — крупные и мелкие, держатели магазинов и целых торговых рядов, владельцы лавок и лавчонок, просто лотков или еще меньше — хурджунов, то есть переметных сум, в которых хранился весь товар чорбазарчи. Жили здесь еще цирюльники, пекари, мясники — базар давал возможность применять свои склонности людям самых различных профессий. Базар породил своих знаменитостей, и слава их порой переходила черту города. Те, кто хорошо улаживал пульс торговли, умел предугадать спрос, именовались «бозор пичоги» — ножами базара. Их мнение было законом для остальных торговцев. Чаще всего такими «ножами базара» оказывались

ташкентцы. Никто не мог сравниться с ними в деле купли и продажи. Центральные ряды рынка, как и центральные улицы города, принадлежали им. Впрочем, это легко можно объяснить простой логикой коммерции. Джизак, как и другие города Туркестана, был пунктом проникновения столичных торговых фирм, и сюда стекались маклеры, скупщики и распространители товаров. Сюда же перебрасывали и опытных мастеров, которые должны были обслуживать фирмы. Мы этого не знали тогда и считали, что сама причастность к Ташкенту делает их опытными и знающими людьми. «Бозор пичоги» старались не ронять своего достоинства и когда в пятницу выходили на улицу, заложив руки за спину, то весь Джизак видел их нарядные халаты, их чалмы и бельбаги, а мы, мальчишки, робко поглядывали на них из-за калиток и дувалов.

Да, пятница была удивительным днем. Все и всё преобразалось. Улицы становились торжественными. То там, то здесь вдруг вспыхивал, как гром, перебор дойры или тихой птицей запевал нежный най, крикливо будоражил город задиристый сурнай или шептал едва слышно свою сказку шелкострунный дутар.

Центрами веселья становились чайханы. А в каждой махалле их было несколько десятков, или, как говорили тогда, — без счета. Верно, на базаре, вокруг базара, на каждом перекрестке, у каждого арыка стояла чайхана, затененная талом или карагачем, устланная паласами, украшенная огромным самоваром и почти всегда дымящимся котлом. Летом и осенью под сводами террасы выкрикивал свое «питьпильдык» неугомонный перепел. И всегда — в любое время года — звенели пиалы.

В чайханах, а чаще в михманханах больших домов, по пятницам проводились гап-гаштаки. Проводились традиционно, с соблюдением правил и церемоний. Традицию сохраняла та группа мужчин, которая объединяла вокруг себя сверстников. Возраст был главным при решении вопроса — принять в компанию нового весельчака или нет. От двадцати до двадцати пяти — составляли первый круг, от двадцати пяти до сорока — второй, от сорока и старше — третий. По усам и бородам можно было определить круг гап-гаштака. В группу входило до сорока человек, она и занимала михманхану на пятницу и веселились здесь весь вечер. Новый, вступающий в круг, брал на себя обязательство арендовать михманхану на одну из недель года, или, как говорили, признать себя должником. Принимали, конечно, не только по возрасту, но и по положению. Руководствовались

принципом: ровня с ровней, а кизяк, то есть сухой навоз, — с мешком. Уж если решил веселиться, то выбирай себе подобных. Богатые и дети богатых имели свою компанию, торговцы якшались с торговцами, ремесленники с ремесленниками, и даже среди ремесленников группы делились на состоятельных и несостоятельных.

Мои братья Касым и Насыр были кузнецами, но состояли в разных группах гап-гаштака. И потому в разных, что один слыл бездумным гулякой, а другой степенным, уважаемым всеми человеком; один мало заботился о деле, другой жил работой, отдавал ей силы и душу. У Насыра были веселые руки — он играл на дойре и дутаре, а у Касыма — искусные руки. Его так и звали: Касым-фаранг — искусный Касым. И еще величали аксакалом — белобородым, хотя борода у него была черная и лет минуло всего-навсего тридцать. Аксакал — это ум, мудрость, знание жизни, умение видеть истину.

Касым учил меня, когда я был совсем маленьким, делать бумажных змеев и запускать их против ветра, строить клетки для птиц, разжигать тандыр, а у Насыра я перенял интерес к веселым играм и песням. Насколько я помню, он всегда держал в руках или дутар, или бубен.

Компания Насыра была веселее, куда веселее, чем у Касыма. Там все предавались развлечениям с какой-то безумной радостью. Мне казалось, и головы у них кружатся, и сердца горят.

Почему мне казалось, что головы у них кружатся и сердца горят? Да потому, что собственными глазами видел их веселье. Я смотрел на друзей Насыра, как когда-то на шествие дервишей по аллеям Каландарханы. Было что-то заразительно яркое в гап-гаштаке.

Как я попал туда, десятилетний мальчишка? О, мы с Адылом умели пробираться незамеченными в михманхану, где развлекались молодые парни. И именно в ту михманхану, где был мой брат Насыр, где звучала его дойра. И звук ее мы узнавали безошибочно. Словно рассыпался сухой горох по листу жести и гремел на все лады, то падал, то отскакивал, то перекатывался. Только пальцы Насыра, мелькавшие в воздухе тысячами быстрых крыльев, способны были извлекать такие ликующие трели из обыкновенного бубна.

Подбираясь осторожно к михманхане, я уже представлял себе, как Насыр, склонясь над раскаленной мангалкой, греет дойру, стараясь довести кожу до такой упругости и звонкости, чтобы первое, даже легкое прикосновение пальцев

вызвало раскаты грома. И верно, когда я достигал цели и, устроившись тихо за каким-нибудь косяком или столбом, бросал взгляд на середину круга, то заставлял свозго брата именно за этим занятием — он готовил дойру к празднеству.

На него смотрели не только я, все в чайхане следили за чародейством Насыра, будто огонь мангалки решал судьбу предстоящей вечеринки. Что ж, наверное, так и было. Еще шестнадцатилетним парнем Насыр прославился в махалле как самый искусный дойрист, как незаменимый участник любого празднества. Во всяком случае свадьбы без него бывали бесцветными, и, чтобы избежать скуки, жених и будущий тесть старались заранее получить согласие Насыра прийти на празднество. Много раз я слышал похвалу в адрес своего брата. И похвалу не простую. «В руках Насыра дойра обретает дар речи», — говорили одни. «А его дутар! — восхищались другие. — Стоит ему заиграть «Рахат», как все живое на земле пускается в пляс». Иногда похвала окрашивалась поэтическими красками. «Что способен сделать человек, награжденный богом высоким искусством! Когда Насыр исполняет «Жагоронка», на струны садится соловей и подпевает ему...»

Меня иногда спрашивали старшие:

— Назиркул, ты будешь таким же весельчаком и дойристом, как Насыр?

Я любил брата и восхищался его игрой. Глаза мои загорались, когда начиналось веселье и в середину круга входил с бубном в руках Насыр. Все подчинялось его колдовскому искусству, все замирало от восторга — люди отдавали себя во власть Насыра. И сам он отдавал себя без остатка звукам, рожденным дойрой. Лицо его принимало какое-то фантастическое выражение, глаза туманились, словно он вместе со звуками дойры или дутара, вместе с песней удалялся куда-то в бесконечность. Так он играл, так бросал кости, так смотрел на состязания перепелов — весь целиком отдавался страсти. Это пугало меня...

И когда спрашивали старшие, каким я буду, таким, как Насыр, или таким, как Касым, я вспоминал все и отвечал:

— Таким, как Касым-франг...

Они смеялись. Но смеялись почему-то не осуждающе, а одобрительно, даже с завистью, словно им тоже хотелось походить на моего старшего брата, искусного Касыма, а не на весельчака Насыра...

— Ишь ты, — говорили они. — Неплохо решил. Касым — хороший парень. Золотые руки и мудрая голова у Касыма. Касым — Человек!

После этих слов мне становилось жаль Насыра — ведь он всех веселил, всем доставлял радость. Почему же никто не хочет быть похожим на Насыра! Даже я — его брат.

Позже я понял это. Жизнь людей проходила в труде, и труде нелегком. Порой мучительном. Тот, кто каждый день от зари до зари гнул спину, кому кусок хлеба давался в поте лица, тот ценил дар умельца. Золотые руки прежде всего нужны в деле — у наковальни и горна, у котла с мылом, у дубильного чана, а потом уже в праздничном кругу. Между прочим, Касым-фаранг являлся джура-баши в своей компании, то есть старшим на гап-гаштаке. К его советам прислушивались, слово Касыма-ака было решающим. И в поведении и в одежде первенство принадлежало ему. Насыра тоже любили, тоже хвалили, но никто не избирал его джура-баши. Одного умения владеть дойрой или безошибочно делать ставку на перепела-победителя было недостаточно для назначения на столь почетную должность в своем кругу.

И все же Насыра любили. На него смотрели с восхищением, от него ждали веселья, удовольствий. И я ждал. Мне особенно запомнился вечер в постоялом дворе, где обычно останавливались на отдых и ночлег приезжие. Большая комната, чисто оштукатуренная, с глубокими нишами в стенах, могла вместить сразу человек сорок, иначе говоря всю компанию. Гости располагались кругом по полу, устланному свежей соломой и покрытому огромным казахским ковром. Сверху еще набрасывали курпачи — небольшие ватные одеяльца. В центре стояла чугунная мангалка, обогревавшая зимой комнату. Мангалку зажигали до прихода гостей, и когда начинался праздник в складчину, она, раскаленная доскрасна, полыхала жаром. Над этой самой мангалкой и грел бубен Насыр.

Одевался на эти вечера брат ярко, пестро. Голова повязана платком с узорами, правый рукав халата засучен до локтя, тонкая сильная кисть обнажена и свободно движется над огнем. Шелковый поясной платок — бельбаг — охватывает бедра и чуть спущен — это признак изысканности, особого шика. Сам Насыр с черными стрелками усоз над чуть приподнятой губой, с загадочно сосредоточенным лицом кажется необыкновенно красивым. Он собран, напряжен, каждое движение его, как у серны, строгое, пластичное, гибкое.

Дема он бывал не таким. Дома он бывал обычным — молчаливым, скучным, злым. И некрасивым. Но лишь загорался в чайхане или михмэнхане керосиновый фонарь под потолком, обливая все вокруг голубым светом, как Насыр

преображался. И лицо, и руки становились необыкновенными, от них нельзя было оторвать глаз.

Пока Насыр настраивал над огнем дойру, старший компании Курбанбай-палван, огромный детина с добродушным лицом, рассаживал гостей. Это был единственный человек здесь, который к моему любопытству относился без раздражения. Он даже поощрял меня, разрешая из-за укрытия перебираться в угол комнаты или на нишу и оттуда спокойно наблюдать за всем, что происходило на вечеринке. Его-то взгляд я и ловил, высовывая голову и поднимаясь из цыпочки. Тщетно поднимаясь: Курбан-палван меня не замечал — был слишком занят гостями.

Беспокойство охватило меня: а что, если Курбанбай так и не повернется в мою сторону? Рассадит гостей, станет спиной к двери, снимет бельбаг, скрутит его, даст этим сигнал к началу пира. А я? Что будет со мной? Слезы отчаяния готовы были хлынуть из моих глаз. Вы помните, как легко я прибегал к их помощи в трудную минуту.

Но меня вовремя заметили. Правда, не Курбанбай, а мой братец Насыр.

— А ну, живо домой!

Теперь слезы действительно хлынули из моих глаз. Последнее, что я мог сделать для своего спасения, это посмотреть на всех с мольбой и надеждой.

Помогло. Один из гостей — Урдуш-ака откликнулся на мою мольбу:

— Не надо, Насырджан. У ребенка душа мягкая, грубостью можно покалечить. Пусть посмотрит. Урона от этого не будет.

— Не будет?!— не соглашался Насыр.— А если, как в прошлый раз, заснет и упадет из ниши...

Парни засмеялись.

— Ну, если не уснешь, то ты нам ровня. Пожалуй, примем в свой круг. Согласен?

Я еще не понимал, шутка это или нет. Мне хотелось сразу же кивнуть — мол, согласен, даже счастлив. Но взгляд брата был строгим, и я смолчал.

— Ну, кашляни!— подтолкнул меня Урдуш-ака. — Или боишься стать должником, пообещать устроить нам гап-гаштак?

Он говорил со мной как со взрослым. Может, на самом деле примут в круг и придется устраивать вечеринку. Детская голова иной раз совершенно реально воспринимает явно абсурдные вещи.

— Ну, отвечай! Мы, пожалуй, не будем настаивать на

гап-гаштаке,— продолжал подзадоривать меня Урдуш-ака.— Сделаем исключение: Кашляни!

И я поверил шутке. Отпадала самая трудная преграда — денежный взнос на угощение. Можно стать членом круга веселящихся по пятницам, приходить сюда вместе с братом Назыром. Посмеет ли он после этого крикнуть: «Убирайся домой!»

— Если соглашусь,— со всей серьезностью ответил я Урдуш-ака,— вы тогда бросите курить анашу?

Это был удар. И удар неожиданный. Урдуш-ака тайком курил зелье, пропитанное опиумом. Добродушный парень, покладистый и в сущности безвредный, стеснявшийся собственной слабости, он растерялся. Услышать такое от мальчишки было стыдно. В парня вцепился Курбанбай:

— Слышали, друзья, что сказал Назиркул?

— Слышали!— хором ответили гости.

— А ты, Урдушмат, слышал?

Парень опустил глаза. Что мог ответить? Он был виновен. Не раз товарищи предостерегали его, не раз останавливали, но яд уже вошел в сердце и противостоять пороку было трудно. Безволие привело его в обитель несчастья или, наоборот, несчастье сделало безвольным, податливым, как овца. Мне стало неловко за Урдуш-ака, даже больно стало. Своей просьбой я выразил необъяснимое еще, но требовательное желание спасти парня. Зачем пропадать доброму Урдуш-ака от какого-то зелья? Но, выразив желание, почувствовал себя виноватым. Небось в душе Урдуш-ака сердится на меня, досадует, что выручил мальчишку, оставил на вечеринке, а сам пострадал из-за своей же доброты. Теперь уже от него не отцепится Курбанбай.

— Говорят про Урдушмата,— обратился ко всем старший круга,— а подумать надо каждому, кто заглядывается на хибарку Бово-банги. О, страшная эта хибарка! Кто войдет раз-другой, потом не выйдет. А если и выйдет, то уже не на ногах, а на руках, на брюхе, по-черепашьи. И, как черепаха, будет беспомощным и несчастным.

Курбан-палван снял с себя бельбаг и стал скручивать его жгутом. «О, крутой, видно, нрав у йигитогаси,— подумал я,— как бы из-за мого языка не пострадал парень».

— Эй, Урдушмат!— хлопнув по ладони жгутом, крикнул йигитогаси.— Ты спрашивал Назиркула, теперь он спрашивает тебя. Что ответишь?

Попал перепел в силоч, и показалось ему небо в овчинку. Ни вырваться, ни перекусить волос. Одно осталось — уповать на милость товарищей.

— Принимаю условие,— ответил Урдуш-ака мрачно.— Сегодня принимаю...

— И сегодня, и завтра,— оборвал его йигитогаси.

— Наступит завтра — с ним и договоримся.

Большого, видно, с Урдушмата вытянуть нельзя было. Больше джигит не скажет — совестно. Каким будет выглядеть парень в глазах мальчишки? Тягостно ему, а мне тягостнее во сто крат. Испортил, кажется, веселье, на которое пробрался с таким трудом.

Нет, не испортил. Насыр-ака ударил всей силой среднего пальца по тугому, точно тетива, бубну, и тот выкрикнул одинокий звук, похожий на выстрел, и на падение камня, и на звон колокола. Все сидевшие в кругу повернулись к Насыру, замерли, давая понять этим, что готовы и ждут начала.

Начать должен был йигитогаси. В наступившей тишине Курбанбай прочел молитву, слова которой повторили гости. Молитва была короткой, настолько короткой и простой, что я запомнил ее: «Век нам жить, аминь!» При этом парни раскрыли ладони, словно просили всевышнего о благословении, а затем совершили омовение лица.

Я сидел уже на выступе ниши и, прислонясь к стене, во все глаза смотрел на торжественный круг, застывший в молитве. Не знаю, каким словом определить мое состояние, да и есть ли такое слово. Все слилось: и любопытство, и трепетное ожидание, и страх перед чем-то загадочным, неизвестным, и восторг единения со всей этой празднично одетой массой людей. Было тихо, но я не верил в тишину, было торжественно, но мне она казалась придуманной, эта торжественность. И серьезные, благообразные лица не были настоящими — хитрые маски. Вот сейчас слетит важность, и все расплывутся в улыбке. Засмеются, захохочут — ведь люди пришли сюда не молиться, а пировать, радоваться, балагурить.

— Где блоха? — спросил строго йигитогаси и оглядел придирчивым взглядом круг. — Где Барака Назар?

Началось. Разве серьезно можно спрашивать о блохе? Шутка, веселая шутка. Все поворачивают головы к двери, у которой стоит юноша с подоткнутыми за пояс полами яхтака, со сдвинутой на левое ухо тюрбетейкой. Он изображал блоху, как мог, конечно. Плечи его были подняты и слегка вздрагивали, руки вытянуты вперед. Лицо — смесь удивления и лукавства, брови то поднимаются, то опускаются.

— Ха-ха, хой, — закричали все, давая понять этим, что обнаружили затерявшуюся блоху.

Лишь Азиз-медник, не понимая, что происходит, молча

смотрел на друзей. Видно, он впервые попал на пирушку или просто стеснялся выражать так громко свои чувства. Курбан-палван не мог допустить подобное равнодушие и хлопнул Азиза по плечу, шутливо, конечно, своим крученым бельбагом. Тот сначала уставился на йигитогаси, потом спохватился и стал выкрикивать вместе со всеми: «Ха-ха-хой!»

А Барака Назар уже прыгал за спинами парней, изображая блоху и делая уморительные гримасы. Совершая прыжки, он постепенно приближался к центру круга. В такт его движениям парни выпевали слова шуточной песни «Душа моя, блоха». Запевал сам Барака Назар. Голос у него при этом вздрагивал, будто мешали слезы.

Барака Назар: Скончалась моя блоха!

Хор: Милая блоха, смелая блоха!

Барака Назар: Сам я стал ее мясником.

Хор: Милая блоха, смелая блоха!

Барака Назар: Дала она мне шестьдесят батманов мяса.

Хор: Милая блоха, смелая блоха!

Барака Назар: И еще шестьдесят батманов сала.

Хор: Милая блоха, смелая блоха!

Барака Назар: Голову отдал муэдзину.

Хор: Милая блоха, смелая блоха!

Барака Назар: А все остальное — вам!

Запевая так и перепрыгивая через ряды сидящих, Барака Назар раздавал мясо блохи. Делал он это настолько комично, что все покатывались со смеху. Так, например, нога, предназначенная одному из гостей, с трудом «выдергивалась» из туловища, печень «вырезалась» с помощью ножа, руки «вывинчивались». Наиболее почетным гостям доставалось мясо и сало, а кто заслуживал осуждения за свои неблагоприятные поступки, тому — хвост, рога, уши. Одарение сопровождалось откровенными намеками и вызывало хохот присутствующих. Не всем было приятно подобное разоблачение недостатков, но коль скоро Барака Назар колол каждого, гости мирились и, вероятно, задумывались над своими промахами.

Мой смех был, кажется, самым громким, самым упоительным. Порой я забывал об опасности, которая подстерегала меня каждую минуту, — ниша была глубокой, но не настолько, чтобы сидеть в ней откинувшись, ноги мои болтались над головами гостей, руки держались за голую стену, и вот, когда, задохнувшись смехом, я хватался за живот, лишал себя точки опоры, создавалась реальная угроза ска-

титься вниз прямо в гудящий котел, на плечи, спины, пиалы и подносы, умыться зеленым чаем, извалиться в плове. И все же я шел на этот риск, терпел. Терпение, говорят, самое доступное и самое дешевое из всего того, что есть на свете. Тем более для мальчишки — ему вообще платить нечем. Так вот я рисковал и терпел.

Прежде всего, мне было жарко в нише, во-вторых, я очень хотел пить. Все утоляли жажду чаем — я глотал слюну. Но и ее запасы постепенно уменьшались. Если бы можно было без опасности оказаться замеченным Насыром-ака сбегать на улицу, я напился бы ледяной арычной воды. Но без посторонней помощи спуститься мне не удалось ни разу — ниша высокая и стена ровная, без выбонок. Вот я и сидел, узник. Но узник добровольный, готовый все стерпеть, все вынести, только бы посмотреть на веселые игры парней, насмеяться вдоволь. А смешного было много. Едва успели «разделить» между гостями блоху, на середину выскочил суслик. Кто бы мог подумать, что человек способен так изменить свое лицо! Тулача — круглый, низенький паренек, еще более похожий на откормленного суслика, чем длинноногий Барака Назар на блоху, — намазал щеки сажей от котла, вставил коротенькие тростинки между губами и ноздрями. С помощью этих неприхотливых приспособлений и наипростейшего грима, известного людям, наверное, с самых древних времен, он превратился в обитателя джизакских нив. Вынырнув из-под ног высоченного Курбана-тентяка, как из норки, суслик настороженно замер: «Нет ли опасности?» Потом кинулся в поле — в цепь сидящих парней — за зерном. «Колосья» оживали, будто от ветра, и, покачиваясь, пели:

Суслик вольный, суслик!

Суслик вольный, суслик!

Песня не пугала зверька, но когда в конце каждой строфы раздавался хлопок в ладоши, он прижимал голову и, смешно кривляясь, бежал назад в свою норку — широко расставленные ноги Курбана-тентяка. Однако норка неожиданно захлопывалась. Растерянный Тулача запрыгивал на плечи Курбана, и начиналась скачка по кругу. Скачка была непередаваемо смешной. Тут не только я, все буквально катались по земле, корчась от смеха.

Да, ради такого веселья стоило торчать в нише и испытывать жажду. Жажда очень томилла меня, хотя временами я забывал о ней, увлеченный представлением. Один шутник

сменял другого, шла песня за песней, звенел то бубен, то дутар. Зрителей не было, кроме меня и, возможно, чайханщика или хозяина постоянного двора, — все исполнители. Все пели, хлопали в ладоши, задавали вопросы и отвечали на них. Это напоминало игру — большую, веселую игру, в которой было начало, но не было конца. Во всяком случае я никогда не дотягивал до последней песни или последнего танца. Время и усталость давали себя знать, веки мои смеживались, голова клонилась набок, и чьи-то руки принимали сонное тело.

В тот вечер я боролся со сном мужественно. Не хотел терять ни одной шутки, ни одного веселого танца. Главное, не хотел упустить момент, когда станет рассказывать свои истории Али-шутник. А рассказывал он так интересно, так смешно, что люди, открыв рот, сидели, не шелохнувшись. Покинуть круг во время рассказа Али было бы кощунством. Да никто не посмел бы сделать такое. Говорили, в шутку, конечно, что, объяви слушающему о рождении сына, он прежде допьет, словно пиалу чая, рассказ Али-шутника, а потом уже побежит домой поздравить жену и полюбоваться младенцем. Даже пожар в махалле не способен был бы прервать нить истории, которую раскручивал Али. Его называли колдуном. Верно, этот ничем неприметный с виду человек умел завораживать людей словом. Только словом. Лицо его всегда оставалось скучно спокойным, простовато наивным. И от этого становилось особенно смешно слушателям. Они настойчиво вглядывались в рассказчика, ждали улыбки, хитрого прищура глаз, но видели лишь бесчувственную маску. Большинство рассказов Али я знал, помнил даже отдельные фразы, но это не мешало мне с живым интересом прослушивать их вновь и вновь. Особенно мне нравились смешные истории «Столб», «Невеста», «Похититель винограда», «Кладбище».

Этих рассказов я и ждал, одолевая сон. Почему-то Али-шутник в тот вечер не торопился предстать перед товарищами, в кругу его не было, в соседней комнате тоже. Любимец джизакцев, он посещал по пятницам несколько компаний и, как артист, едва попевал с концерта на концерт. В нашу махаллу ему предстояло, видимо, прибыть где-то в полночь. Не посвященный в расписание вечера, я терпеливо высиживал в своей нише и тер упорно смежающиеся веки.

Кто-то спросил Курбанбая:

— Мой бойцовый петух прокричал, не пора ли класть рис?

Йигитогаси посмотрел в окно, за которым дымился котел для плова, и кивнул:

— Если петух прокричал, значит, время. Кладите!

Шум в комнате приутих, незаметно возникла осторожная грустная песня, сопровождаемая дутаром, тоже осторожным и грустным. Я еще раз протер глаза, но недостаточно энергично, они снова слиплись и теперь уже крепко. Сон одолел меня. Исчезла куда-то михманхана, утонули звуки. Все утонуло.

Когда я очнулся, то был уже не в нише, а за порогом комнаты. Меня нес на руках браг Насыр.

— А где Али-шутник? — запротестовал я, поняв, что покидаю гап-гаштак.

— Какой тебе Али! Спать пора!

С этими словами он опустил меня на землю и легонько толкнул в плечо, поддал мне скорость и направление.

— Беги домой!

Холодный зимний ветер накинулся на меня, пронял в одно мгновение до косточек. Я съжился и побежал по темной улице. Побежал навстречу неприятности — дома меня ждала встревоженная матушка и ее строгая рука. Я должен был расплачиваться за удовольствие...

ОВЦА ДУМАЕТ О ЖИЗНИ, А МЯСНИК О САЛЕ

Путь к воротам истины долог и, как я уже говорил, тернист. Но главное, он не прочерчен прямой линией. Иногда сворачивает в сторону и далеко-далеко обходит место, к которому человек должен стремиться. Поначалу гакое обилие поворотов раздражает, вызывает досаду, но потом, спустя годы и десятилетия, когда обретается жигейская мудрость, подобная витиеватость пути кажется правильной и единственно возможной. Она раскрывает мир в многообразии, в его богатстве и сложности.

Существовал еще мир, более широкий, более загадочный, отзвуки которого слышались в словах тетушки Хушруй: «О боже, лучше бы ты не создавал нас, бедных!» В этом мире постоянно возникали вопросы: зачем и почему? И обращал я их к себе и к другим.

В таком мире жил отец. Почему жил? Да потому, что видел отца я мало, — он всегда куда-то ездил, где-то пропадал и к нам возвращался ненадолго. Обычно поздно ночью, когда мы уже спали.

Из того таинственного, огромного мира, наполненного очень важными событиями, отец наведывался к нам, и ког-

да наведывался, был всегда усталым и озабоченным и говорил с матерью почти шепотом. Говорил о вещах скучных, связанных с повседневными тяготами. Из этого я заключил, что мир тот какой-то серый, тоскливый, хмурый. В нем лишь одни тревожения по поводу хлеба и денег.

Я плохо, вернее, мало знал своего отца, зато другие знали хорошо. Говорили, будто нет человека в Зааминском, Янгикурганском районах Джизакского уезда, который бы не слышал о моем отце, не узнавал бы его издали. Даже в Равате, Молтобе, Пишагаре, в Усмате и Бахмале, в селениях ущелья Огаджан, в общем, в самых отдаленных кишлаках Сафар-чойпруш был известен всем — от мала до велика. Подобно лошади с белой отметиной на лбу он запоминался людям. И это было естественно.

Наподобие русского коробейника чорбазарчи объезжал селения, выполняя роль крошечной передвижной лавки. В кишлаке он был нужен каждому — где взять землешу, живущему вдали от города, от проезжих дорог, тот же чай или те же нитки, не говоря уже о соли. Вот он и ждет Сафара-чойпруша. Благо чорбазарчи не требует за свой товар денег. Нет денег у кишлачного жителя — он платит тем, что дает земля, — зерном. Нет, кстати, денег и у чорбазарчи — свой товар он берет в долг у городского торговца. Отец мой пользовался кредитом джизакского бая Ходжи Усмана. Бай этот вел розничную и оптовую торговлю. Но взамен зерно и отруби не принимал. Отцу приходилось прежде сбывать зерно, а потом уже расплачиваться с Ходжи Усманом.

Не знаю, что давало отцу такое посредничество; кроме вздохов и охов матери и кряхтения родителя, никаких результатов я не замечал. Мы всегда нуждались, всегда копейка была на строгом учете, а кусок сахара на столе считался роскошью. Забот и труда в свое предприятие он вкладывал много. Лишь поздно ночью наступал для него час отдыха — весь день в пути, весь день под солнцем, ветром, дождем. Особенно тяжело приходилось ему зимой, когда предгорья заметало снегом, а дороги задувал буран.

В один из таких зимних вечеров мы ждали отца. Ждали с тревогой в сердце — весь день шел снег, а в сумерки небо очистилось и ударил мороз. Такой мороз, что выглянуть за дверь было страшно — холод обжигал лицо, забытый на дворе медный кумган с водой лопнул. Улица замерла — ни звука, все попрятались в домах, прильнули к сандалам. Я тоже сидел под одеялом, ловя робкое тепло саксаульных углей.

Чем больше удалялось время заката, тем острее была

тревога. С минуты на минуту мы ждали стука в калитку: отец, когда приезжал, то, не слезая с лошади, ударял черенком камчи о доски. Это был сигнал. И вот минуты, часы шли, а сигнала не было, не раздавался знакомый стук.

— Что случилось с отцом?— спрашивала матушка, беспокойно глядя в окно.— В такую погоду...

Старший брат, сам охваченный тревогой, пытался утешить ее:

— Заночевал где-нибудь. Мало ли кишлаков на пути.

— Нет, нет,— качала головой матушка. — С ним такого не бывает. Завтра же базарный день, если упустить, потом неделю ждать придется, да и Ходжи Усман не согласится терять столько дней... Ох, бедный отец, что только ни приходится ему выносить ради нескольких таньга... Убереги его бог!

Плененные тревогой знают, что такое ожидание. Капля за каплей падает на сердце холод отчаяния, и оно становится боязливым, как птицы, чутким, как тишина. Слух ловит звуки, которых нет, но которые он хочет услышать. Так и я услышал голос отца.

Из темноты он позвал меня:

— Назиркул!

Радостный крик вырвался из самой души моей:

— Отец! Отец приехал!

Никто не поверил, хотя всем хотелось этого. Ведь никто, кроме меня, не слышал его голоса. Никто. Но матушка и брат прислушались. Тишина была могильная, и в ней ни стука, ни шороха.

— Ну где же?— со слезой сказала матушка. — Где? Тебе померещилось, сынок...

— Нет, нет, я слышал...

— Если ты слышал, то и мы должны услышать...

Снова пришла тишина, и вдруг на самом деле раздалось шарканье чьих-то сапог на террасе. Мы замерли в испуге и надежде — если отец, то почему не постучит, как всегда, почему бродит впотьмах? Но пусть все-таки отец. Только отец!

Ожидание наше длилось мгновение. Вслед за шарканьем возник голос. Но не отца.

— Живы ли? Откройте ворота, дядя приехал. Застыл с дороги...

Теперь мы узнали голос Мумиджана — сына нашего соседа, аксакала Уста Юлдаша.

Стоит ли говорить, с какой поспешностью мы бросились за дверь, толкая друг друга, стараясь обогнать самих себя.

Оказавшись на улице, я, кажется, глотнул кусок льда и чуть не поперхнулся им, таким жестоким был мороз. Не знаю, кто отворил ворота, возможно, матушка, возможно, Мумиджан-ака, но мне они представились уже открытыми, и в них въезжал на сплошь покрытой инеем лошади отец. Иней был и на груди лошади, и на ногах, и на морде, и на уздечке — какое-то белое изваяние. Белым был и отец — я запомнил его заиндевшие брови и бороду.

— Помогите мне слезть! — попросил он.

Попросил таким незнакомым голосом, что матушка, да и все мы еще больше напугались. Отец никогда не говорил вяло, с хрипотцой, а тут едва выдавил из себя три слова. Мы буквально сняли его с седла и повели в дом. Мумиджан-ака стянул с лошади хурджун, и она, не ожидая понукания, поплелась сама в конюшню, мордой отворила дверь, торопясь укрыться от лютого мороза.

Да, это был лютый мороз. Такого, кажется, не знал Джизак. Я по крайней мере за свою жизнь не испытывал ничего подобного в наших южных краях — мир стыл от ледяного дыхания.

В комнате с отца сняли казахскую шапку из лисицы и овчинный тулуп. Где он раздобыл их — неизвестно. В Джизаке ничего подобного не носили, как не носили и валенки, оказавшиеся на отцовских ногах. Видно, в каком-то дальнем ауле его одели в дорогу крестьяне.

— Зачем же вы испытывали судьбу? — сокрушалась матушка, снимая с отца одежду. — С такой погодой не шутят, можно было бы пропустить один базарный день, не умерли бы с голоду...

Я стоял рядом озябший и клацал зубами: в комнате было холодно, а промерзший тулуп отца, как снежный ком, источал мороз.

— Ты-то почему студишь себя! — проворчал отец. — Лезь под сандал.

Мне и самому хотелось укрыться в тепле, но я стыдился сделать это один — ведь всем было холодно, а отцу особенно, он, наверное, отморозил себе лицо и ноги. И чтобы как-то разделить тепло между всеми, я позвал вместе с собой отца:

— Садитесь к углям, здесь жарко, сразу согреетесь...

Отец промолчал, а матушка замахала на меня руками:

— С мороза нельзя... Никогда нельзя сразу к огню, пропадут ноги... А ты полезай под одеяло и спи. Уже поздно...

С мороза нельзя! Это было ново и непонятно. Даже странно как-то звучало. Замерзшего надо отогреть, а лю-

ди продолжают держать его в холоде, ему же грудно, больно. Лежа под одеялом и блаженно улыбаясь от ощущения тепла, я раздумывал над словами матушки. Тогда они не согласовывались с моими нехитрыми представлениями о жизни, лишь позже, много позже я узнал, что не всякое тепло облегчается холодом, и не всякий холод — теплом.

Рассуждая сам с собой, я смотрел, как возвращается покой в наш дом, как по-обычному переодевается отец, как хлопочет мать, и мне было отчего-то радостно. До того радостно, что сжималось сладкой болью сердце и глаза наливались счастливыми слезами. Миновала тревога, все рядом со мной, тело обнимает тепло, и хочется спать. Пусть на дворе мороз, пусть где-то воет ветер злой, пусть метет снег. Что мне до того. Я утопаю в мягкой, чуть пахнувшей дымком постели, медленно, счастливо засыпаю...

Нет, не засыпаю. Я слышу, как ходит матушка по комнате, как ставит перед отцом чайник с ароматным горячим чаем и касу с густой хурдой — мясным супом. Она всегда в день возвращения его варит мясную хурду: с дороги надо подкрепить силы — с утра до вечера в седле, поест нигде и некогда. Я чувствую запах супа, и это гоже заставляет меня улыбнуться. Улыбнуться от того, что есть на свете такое вкусное блюдо, и если бы меня сейчас позвала матушка, я бы вскочил и сел рядом с отцом и окунул бы лепешку в касу с желтым от навару супом. Окунул и отправил в рот, захлебываясь от удовольствия. Но меня не позовут, потому что я уже макал сегодня лепешку и захлебывался от удовольствия. Это осталась доля отца, продрогшего, уставшего, голодного.

Я люблю отца. Не знаю еще почему, но люблю. Просто так. Потому, что он отец, наверное.

Теперь можно уснуть. Но я опять не засыпаю. Уже не шаги матушки отвлекают меня — она все подала отцу и теперь села напротив и пьет чай — слова ее.

— Хватит, бросайте этот чорбазар, — говорит она, нахмутив брови. — Пусть насытно будет, пусть поменьше будет, но здоровье сохраните и свое и детей. Сбережете здоровье — остальное бог пошлет.

Отец хоть и вернулся благополучно и отогрелся в комнате, но не радуется этому. Глаза его печальны, а лицо озабочено.

— Создатель наш что-то не посылает ничего, — отвечает отец. — Все самому надо добывать. Дороги становятся все длиннее, а лепешка все меньше. От кишлака до кишлака для не хватает.

— Вот и бросьте дорогу. В Джизаке поищите что-нибудь. Отец покачал головой.

— В Джизаке все ищут, бродят нищими по дворам за несчастную таньга. Детям на хлеб не заработаешь.

— А много ли заработали в кишлаках? Там ведь тоже таньга не валяются!

— Какие там таньга,— вздохнул отец.— Самому бы целым остаться.

— Э-э!— насторожилась матушка.— Вы чего-то не досказываете. Или беда стряслась?

Отец помолчал. Не хотелось ему, видно, расстраивать матушку. Старательно отпивал чай из пиалы, вспоминал что-то или решал, говорить или нет. Потом сказал все же:

— Волки.

Более неожиданного слова нельзя было представить себе. Матушка так и вскрикнула:

— О бог праведный!

Я забыл, что изображаю спящего, и поднялся на постели. Испуганно и удивленно посмотрел на отца. Мне тотчас же захотелось увидеть на лице его, на руках, на всем следы борьбы с волками.

Матушка тоже глядела, но в ее глазах был только испуг.

— Ну, ну! Рассказывайте же!

Нехотя, очень тихо отец поведал о случившемся.

— Сама знаешь, какой день был. Снег с самого утра шел не переставая. И ветер еще донимал, так в лицо и бьет, так глаза и спит. Мы уже решили заночевать где-нибудь, пока буран не стихнет. Но к вечеру стало поспокойнее, и все, кто был из Джизака, отправился домой. Снег сыпал мелкий, дорога проглядывалась хорошо, вот только мороз усилился. Но что мороз! Не впервые нам приводилось испытывать его силу в пути, правда, такого лютого мы не ожидали. Уже в степи он пронял нас, и я пожалел, что рискнул ехать. Хорошо, запасся у раватцев тулупом, не то до дому не дотянул бы! А тут еще ветер встретил нас, берет с земли снег и бросает в лицо, заставляет коня остановиться. Едем как слепые. Мой чалый самым сильным оказался, и все решили пустить меня вперед пробивать дорогу.

Так мы ехали до темноты. Буран усилился, и степь будто превратилась в раскаленный казан, в который плеснули ковш воды: белый туман, шум, вой, все вокруг вертится, летит куда-то. Вдруг лошадь моя остановилась и пугливо захрапела. Всмотрелся в дорогу, вижу, что-то темнеет на снегу. Прислушался — стон. Как будто человек. Но разобрать

ничего в такой кутерьме нельзя. А товарищи мои, что ехали сзади — нас было шесть человек: пять, как я, чорбазарчи, а шестой — мулла,— закричали испуганно:

— Волки! Волки!

Я поглядел в степь и действительно увидел серых бродяг, они вертелись у самой дороги, то возникая из белого тумана, то пропадая в нем. Наверное, своим появлением мы спугнули волков, и теперь они не знали, как подступиться к тому темному пятну, что преграждало нам путь. Рыча, словно собаки, скуля и взвизгивая, волки выражали свое нетерпение — им не дали растерзать жертву, и это ожесточило голодных зверей. Слезать с лошади в окружении целой стаи было опасно, поэтому мы принялись советоваться, как поступить: человек тихо стоил, а может, и не стоил, в вое ветра все кажется живым, все плачет, зовет. Единственное, что подсказал нам здравый смысл, это попытаться отогнать волков.

Каждый, как мог громко, стал науськивать собак, которых у нас не было. Мы просто изображали из себя охотников и пугали волков. Но попытка наша оказалась наивной. Волки, несколько отступив — их насторожили крики, снова приблизились к нам. Теперь они не рычали. Сначала один, а потом остальные принялись выть. Протяжно, тоскливо. По-моему, они сзывали со всей степи своих братьев.

Что делать? Пройдет каких-нибудь полчаса — и у дороги соберется уже не маленькая, а огромная стая волков. Тогда ни наши голоса, ни наши лошади не помогут.

— Попробуйте отогнать серых плетями, я слезу посмотреть, кто лежит на снегу, — предложил я.

Товарищи тронули коней и стали махать плетками — волки отступили. Я слез с седла и пошел к бугорку, что темнел впереди...

Рассказ отца был слишком страшным, и когда дело дошло до того места, где он один приблизился к стонущему человеку, а рядом выли волки, я с перепугу залез под одеяло и укрылся с головой. Оттуда, из своего укрытия, дослушал конец истории.

— Он был еще жив... Что-то, кажется, сказал мне, когда я окликнул его, но понять смысл слов было невозможно. Да и слова ли это были? Может быть, хрип или стон, или бессвязное бормотание. Аллах уже брал его к себе. Несчастный сбросил ногами стоял в другом мире, и вернуть его назад могло лишь чудо. А чудес, сама знаешь, не так много на земле. Волки разорвали все внутренности бедняги, и, страшно вспомнить, все это лежало рядом на снегу в крови.

Было еще рано делать омовение лица и произнести «бисмилло!», однако было поздно думать о спасении человека. Я вернулся к товарищам и сказал:

— Он умирает...

Никто не знал, как поступить. И мы обратились к мулле. Кто, кроме него, ближе всех стоявшего к богу, мог решить судьбу мусульманина.

Мулла подумал, поднял свои святые очи к небу и сказал:

— Видимо, этому человеку суждено стать добычей голодного зверя. Никто не может изменить начертанное богом, противиться тому, что угодно всевышнему. И предать земле тело не дано нам, видите, как неистовствует ветер и как ужасен мороз, руки наши не в силах вырыть могилу. Да смилостивится бог, примет его душу на небеса. Помолитесь, правоверные!

Он стал читать молитву, а мы под шум ветра и завывания волков повторяли слова. Несчастный уже не стонал. Должно быть, муки его кончились.

Едва наш караван отделился от страшного места, как волки набросились на свою жертву. Они взвизгивали и рычали, деля добычу. Это было настолько ужасно, что мы заторопили своих усталых коней, погнали их рысью...

Отец смолк, а матушка заплакала.

— У этого бедняка, верно, дети... Каково им сейчас.

Ждут отца, не ведают, что с ним...

— О, не травми душу! — взмолился отец.

Все еще объятый страхом, я вылез из-под одеяла и глянул на отца и мать. Глаза отца были закрыты, хотя лицо выражало какое-то внимание, словно он видел перед собой собеседника или слушал его. Наверное, в эту минуту отец переживал вновь ужасное событие, произошедшее на степной дороге. Матушка кончиком платка вытирала слезы — они все лились по щекам, тихие, печальные.

Мне сделалось не по себе от этого молчаливого страдания взрослых, и, чтобы как-нибудь оборвать тишину, я вскрикнул:

— Мама!

Она оглянулась.

— Что тебе?

Я не знал, что мне нужно. Наверное, покоя, прежнего покоя и ясности, знакомого мне мира, без стужи и ветра, без волков, без умирающего человека в степи, без этого молчания отца и слез матери. Без всего, что навалилось на меня, мальчишку, в зимнюю ночь. Но объяснить этого я не мог.

— Лампа коптит,— сказал я. Она действительно коптила.

Матушка поднялась и стала поправлять фитиль. Но он не поддавался и одним краем выпускал шлейф копоти.

— Керосин кончился,— предположил отец.— Время уже за полночь. Гаси!

Короткая молитва слетела с губ отца, такая неожиданная и непривычная. Редко нам, домашним, приходилось слышать, как он молится. Сегодня отец молился.

Я снова укрылся с головой одеялом. Страшные образы из отцовского рассказа витали надо мной, касались меня, и не было, кажется, места, где я мог бы спрятаться от них. Сон не приходил. Все шорохи ночи — а в тишине они всегда громкие и отчетливые — звучали в моих ушах. Зао гудел ветер на дворе, он будто грозился пробраться в комнату и наброситься на меня. Я лежал и думал: хорошо ли матушка заперла дверь, нет ли щели в окне, через которую буран пролезет. Едва шум усиливался, как я весь съеживался под одеялом и замирал.

Не спал отец. Ворочался, вздыхал. Матушка сказала тихо:

— Не терзайтесь, того, что прошло, не возвратишь и не изменишь.

Отец ответил с болью:

— И не надо возвращать. Домулла сказал: «Бог предначергал судьбу этого человека, ему суждено стать добычей волков».

— Так зачем же мучить себя думой?

— Зачем?— спросил отец.— Он-то, несчастный, этого не знал. Он видел, как подъехали люди, подъехали и дали волкам разорвать живого... Не защитили. Человек человека не защитил...

Матушка застонала от отчаяния:

— Что вы могли сделать? Что?

Отец помолчал.

— Не знаю... Но что-то должны были сделать. Бороться с этими серыми, гнать их, душить!.. А теперь не простит нам этого несчастный. О-о! Не простит.

— Ну, ну... Домулла избавил вас от ответа перед богом,— робко заметила матушка. Мне показалось, что она верила своим словам, но отец не принимал их.

— Избавил от ответа перед богом,— повторил он как-то горько.— А перед собственным сердцем? Кто избавит?!

Этого матушка не знала. Ничего не ответив, она стихла, и долго-долго длилось молчание. Я начал уже дремать, ког-

да опять зазвучал голос отца, теперь тихий и таинственный.

— Говорят, новый налог требует царь...

Мне казалось, что матушка спит. Я ошибся, она сразу отозвалась.

— О господи! Что еще за налог?

— Налог на войну...

— Э, видно, царь собирается продолжать ее,— сделала заключение матушка.— А люди-то гибнут... Хоть и не мусульмане, а жалко.

Отец вздохнул:

— От войны все страдают: и не мусульмане и мусульмане. А спрашивается, зачем война?

— Это воля божья,— заметила матушка.

— У тебя все от бога. Разве он велит царям драться? Они сами затевают. Вот германский царь начал войну, кто его просил?.. Сидел бы себе на собственной земле и радовался, что вокруг тихо.

— Герман, значит, забняка?

— Выходит, так,— подтвердил отец.

Матушка сейчас же изложила свою точку зрения: она была очень проста и даже мне понятна.

— Если один глуп, как петух, и лезет в драку, зачем же другому брать с него пример? Смолчал бы русский царь и все...

— До чего же наивная ты, ташкентская,— усмехнулся отец. Когда он хотел подтрунить над матушкой, то всегда называл ее ташкентской — матушка была родом из Ташкента.— До чего же наивная! Если герман завоюет Россию, он сбросит Николая с престола, сядет на его место. Вся земля, весь народ будет принадлежать герману...

— У, чтобы сдохнуть этим царям! — в сердцах произнесла матушка.

— Эти сдохнут — другие найдутся. Род султанов и эмиров не переведется никогда, потому что страна без царя не бывает. Только один царь умнее, другой глупее.

— А что проку от ума царского,— продолжала сердиться матушка.— У глупого один налог для народа, а у умного десять. Как говорят: «Овца думает о жизни, а мясник о сале». Царям одна забота — побольше содрать с нас.

Я впервые слышал разговор о царе. Конечно, мы, мальчишки, знали про существование белого эмира. Но это было что-то отвлеченное. Далеко-далеко, в большом городе Петербурге на золотом троне восседал белый царь и управлял всей страной. Дальше этого наши представления о власти

не простирались, да большим мы и не интересовались. Знали еще, что идет война и что жизнь поэтому стала хуже: нас, маленьких, попрекали лишним куском хлеба. А тут я узнал о несправедливости царей, о бессмысленности войн, которые они ведут. Я почувствовал жалость к людям, а против царя возникла злоба: почему он мучает людей. Захотелось тут же задать тысячу вопросов отцу, но я побоялся это сделать, так как притворялся спящим и тихо, словно мышь, тайлся под одеялом.

Вообще эта ночь была удивительной и страшной. Наверное, я повзрослел сразу и потому, что произошло все неожиданно, в какой-то очень короткий промежуток времени; мои детские представления рушились стремительно, принося боль, горечь, разочарование и в то же время освобождая место для новых мыслей и чувств. Главное, я вдруг увидел своего отца и через него мир, в котором все было не детское, суровое и беспощадное. В том мире не находили себе места наши забавы, наши радости и мечты. Не находила места там, кажется, и мечта моей матери об ученом сыне.

Оттого она так и сокрушалась, так кляла царей.

— Если конца царям не будет,— сказала матушка очень грустно, даже с каким-то отчаянием,— то мы и умрем, не увидев светлой жизни...

— Какая уж там светлая жизнь!— отбросил всякую надежду отец. Это было последнее, что я услышал в ту ночь. Наверное, звучали еще какие-то слова, о чем-то еще говорили отец с матерью, но сон все же одолел меня. Под монотонное завывание ветра я уснул.

Конечно, на другой день вся махалля узнала о ночном происшествии на степной дороге. Люди приходили к нам узнать подробности встречи с волками. Удивлялись, качали головами, вздыхали. Некоторые произносили молитву — погиб мусульманин, и надо было позаботиться о переселении его души в рай. Самым неутомимым рассказчиком был, естественно, я. От меня историю узнал старший брат Манзур, затем все остальные домочадцы, соседские ребята и одноклассники по мактабу — школе при мечети. За этими волками как-то потерялся царь и даже война. Волки были ближе и страшнее всего остального.

Естественно, для обширных описаний требовались подробности, мои слушатели хотели знать все — сколько было точно волков, как они выглядели, как выли, откуда дул ветер, почему серые не набросились на верховых. Пришлось за разъяснениями обращаться к отцу. И отец рассказывал

подробно, но скучно, без фантазии. Он, увы, не считал волков, не заметил их роста, не прислушивался к голосам серых. А мне были необходимы все эти мелочи. Пришлось сочинять самому.

И все-таки отец оставался для меня героем той ночи. Он ничего не совершил, никто ничего не совершил, но сама встреча со стаей волков что-то значила. Не всем выпадает видеть рядом волка. Правда, событие не наложило героического отпечатка на лицо моего родителя. Напротив, он стал почему-то грустнее и еще более молчаливым. И по кишлакам уже не ездил. Соседям он сказал, что чорбазарчи пустое дело — в кишлаках нет зерна, не на что менять соль и чай. Видимо, это была правда.

Теперь отец чаще бывал дома, и я чаще слышал его разговор с матерью. При мне, конечно, они не особенно распространялись, но ведь существовали в доме и особенно во дворе всевозможные загородки, стены, углы. Из-за этих укрытий я и вел наблюдение за старшими. Постепенно интерес к волкам и всей истории с ними угас, его сменило любопытство к тому, что произносили вполголоса или шепотом.

Вполголоса обычно говорили о войне и каких-то законах или указах.

— Николай собирается взять в солдаты мусульман, — сказал как-то отец.

Матушка всплеснула руками:

— Вай, вай!

— Но губернатор Туркестана отсоветовал ему, — продолжал отец тихо. — Им, говорит, доверять оружие нельзя. Пусть лучше помогают воевать с германом хлебом, мясом, маслом, хлопком...

— Хороший человек этот губернатор, — заключила матушка.

— Хороший, не хороший, а рассудил умно. Так-то царю выгоднее — сейчас ему нужны не солдаты, а хлеб и одежда. В городах, говорят, голод, да и армию кормить надо...

— Да, да, — согласилась матушка. — Однако от кого вы все это узнали?

— Ха! Есть сведущие люди. — Отец еще более понизил голос.

— От Мирзы Хашима. Он каждый божий день читает газету в своей лавке.

Матушка удивилась:

— Газета? А что такое газета?

— Э-э, ну как тебе сказать! Ну, лист бумаги, на котором записывают все новости. Поняла?

Понятливости матушке не надо было занимать ни у кого: она легко догадалась, как выглядит газета. Вот только неясным было отношение Хашима к этому листку.

— И что же, эту бумагу посылают лавочнику Мирзе?

Вопрос поставил отца в затруднительное положение. Он не поинтересовался у людей, каким образом газета оказывается в руках лавочника. Да это его и не занимало. Главное — новости.

— Да, видимо, так, — решил он.

— Про налог зерном и мясом тоже сказал Мирза Хашим?

Отец кивнул:

— Именно. В листке все написано.

— А сколько солдат у русского царя и сколько у германа, не спросили?

В глазах отца выразилось крайнее недоумение:

— Зачем тебе это знать?

— Как зачем! Раз вы платите налог, то должны поинтересоваться, у какого царя больше солдат, кто из них играет войну.

Довод, кажется, убедил отца. Он задумался.

— Пожалуй, за такой вопрос могут в зиндан посадить. Разве царь объявляет, сколько у него солдат? Таковую тайну в темном мешке хранят... Впрочем, народ толкует, что герман сильнее Николая.

— Что это за народ?

— Э-э... Народ и народ, какая разница... Без ветра верхушки деревьев не качаются, идет слух... Наше дело ловить да помалкивать... Оставь свои речи, ташкентская, они до добра не доведут.

Сказал это отец строго и даже оглянулся, словно боялся, что кто-то чужой может услышать.

Так я узнал о существовании тайны. Оказывается, были слова, произносить которые запрещалось, они касались царя и войны. И не только запрещалось, из-за них могли посадить человека в зиндан.

А отец говорил. И матушка говорила. И все это я слышал собственными ушами. Ко мне попала тайна, беречь которую было страшно. И еще страшнее было обронить ее случайно, потерять. Если найдет кто из царских слуг — неминуемо наказание...

Да, я стал старше в тот год. И не потому, что вырос, а потому, что многое узнал.

ВРЕМЯ ЦВЕТЕНИЯ ТЮЛЬПАНОВ

В тот год зима никак не хотела покинуть мир. Задувала ветрами, засыпала снегом. Джизак продрог, как овца в ветхом кутане.

— Хотя бы бог смилостивился над нами, — сокрушалась матушка. — Ведь не всем тепло, не у всех сандал топится.

— Сорок дней терпела, потерпишь и сорок первый. Больше прожито, меньше осталось. После ахман-дахмана придет садпок, а потом и твой савр...

Почему отец назвал савр материнским, я не знал. Для меня это было просто время цветения тюльпанов, время, когда все кругом зеленеет, поднимается к солнцу, когда можно угорелым телком носиться по первой траве, купаться в ней, как в речке.

— Я люблю саврский дождь, — вмешался я в разговор старших. Мне очень хотелось выразить свою радость.

— К лицу ли несмышленому ягненку подавать свой голос на совете отца с матерью? Сиди и слушай, если хочешь что-нибудь узнать.

Я прикусил язык и поглубже залез под сандал.

Отец все же пояснил:

— Два дождя хамала не стоят одного дождя савра. Саврский дождь кормит бедняка весь год...

— Да сбудутся ваши слова, — закивала головой матушка. — Хотя бы всевышний не обошел бедных. Если к войне еще и вторая беда прибавится — погибнем все...

— Бог милостив, — неопределенно заключил отец. — Поаарит людям светлый Навруз.

При упоминании Навруза — дня Нового года, который у мусульман совпадает с 21 марта, лицо матушки посветлело. Она заговорила радостно, молодым голосом.

— О Навруз! Бог дал его женщинам в награду за мученичество.

— Не думаю, что бог, — заметил отец. — Когда женщина открывает лицо за порогом дома — это уже грех.

— Значит, вы и одного дня свободы в году не желаете нам?

— Э-э... Нужна ли человеку свобода, тем более женщине? За свободу слишком дорого платить приходится.

— Не говорите такие слова. Пусть хоть один день люди живут с крыльями, один день летают.

Я никогда не видел матушку такой взволнованной, такой необыкновенной. Значит, есть что-то на свете, кроме гап-

гаштака, кроме тутовых плодов и бумажного змея, что способно так зажечь, так осчастливить человека! Это — свобода.

Что такое свобода? Я не понимал значения этого слова. В глубине сердца свобода смутно представлялась мне ветром, несущимся над полем, над маковками деревьев, над всем миром. Или горным потоком, низвергающимся с высот. Или вольно парящим в небе орлом. Наша шумная беготня после школы, наши крики, наши проказы тоже чем-то походили на свободу.

Но матушка говорила о другой свободе, о какой-то светлой, великой и в то же время порождающей грех. Так сказал отец. Я помнил Навруз. День, когда все покидали дворы и выходили на поляны, в рощи, в сады, к берегу реки. Выходили нарядными, веселыми, с песнями, музыкой. Женщины снимали паранджу — там, в рощах, на воле. Об этой свободе, видимо, говорила матушка. Снова приподнялся полог, загораживающий от меня смысл всего происходящего. Цель, через которую я смотрел на мир, стала шире. Приближающийся Навруз уже иначе представлялся мне. Нет, он не потерял своей радостной привлекательности, не поблек, но наполнился чем-то незнакомо таинственным, новым и важным. И прежде всего понятием свободы.

Задолго до Нового года началась подготовка к празднику. Еще бесновалась непогода, еще сыпал снег и гудел зло ветер, еще опасно было выглядывать без шапки на улицу, а в каждой семье уже встречали весну. Шили платья, рубахи, тубетейки, собирали деньги на кавуши и ичиги, выдумывали украшения. Все, что имелось в доме из зимних запасов — сушеные фрукты, рис, сало, запиралось на замок до Навруза. А если запасы иссякали, глава семьи шел к махаллинским богатеям и брал продукты в долг, под осенний урожай. На осень все надеялись, осень должна была выручить. До осени расписки лежали в сундуках, а потом превращались в мешки зерна, куски дубленой кожи, живых овец, куски ткани. Радость одного дня дорого обходилась простым джизакцам. И все-таки они лезли в петлю, затягивали ее на своих тонких шеях, чтобы потешить душу, взлететь словно птица. Один раз всего.

Едва повеяло мартовским теплом, люди словно переродились. Только и разговору, что о Наврузе. Молодежь ночами бредила праздником. Возле дворов, как зайдет солнце, затевались песни. Юноши звали весну, торопили соловьев, вздыхали по любимым — любимым, которых никогда не видели, но которых мечтали увидеть в день Навруза.

К этим песням трепетно прислушивались девушки в ичкари. По голосу пытались представить себе зовущего и страдающего. Отзывались биением сердца, румянцем на смуглых щеках, тихим и грустным напевом дугара.

Сколько боли, радости и надежды таилось в их чистых душах! Какой пламень жег их сердца! Какие светлые слезы лились из их глаз! Если бы кто-нибудь мог увидеть! Если бы кто-либо мог проникнуть за высокие дувалы двора, за глухие стены ичкари — вечной темницы женщины. Юные узницы, как и всякие узницы, желали свободы. Искали ее. И один раз в году она даровалась им. В день Навруза.

Женщины собирались вместе через неделю, а перед праздником почти каждый вечер — надо было что-то дошить, довязать, довышить. Трудились и пели песни. Грустные песни — о горькой женской доле, о девичьей любви, что обещается и никогда не дарится, как не прилетает священная птица лайлатулкадр, делающая людей богатыми, о цветах, что увядают, не расцветая. И среди этих грустных песен были песни надежды, песни Навруза, который один-единственный мог обронить девушкам счастье. Лишь каплю, но ясную, сверкающую.

Так переключались песни улицы и песни ичкари. Пусть одни были тихими, робкими, пусть их не слышали измученные любовным томлением джигиты, но догадывались о них, чувствовали сердцем девичью тоску. И слезы тоже чувствовали. Сколько слез проливалось в ичкари!

Я слышал и видел. Видел потому, что был маленьким, и мне открывались двери женской половины любого дома, запретные для всех. Здесь существовал другой мир, мир робости, вечной покорности и вечного страха. Сюда не ступала нога постороннего мужчины — только отца, только братьев и сыновей. Отсюда начинался путь девушек в жизнь, прикрытую сеткой чачвана, и здесь заканчивался.

Столетия могут приучить человека ко всему, но не к неволе. Тоска по солнцу, свободе таилась в глазах пленниц. Рождалась она еще в детских глазах, в глазах подростка, когда жизнь превращалась в ожидание близкого заточения, близкой тьмы. Вот почему с такой страстностью, с таким ожесточением они сбрасывали в двадцатых годах паранджу, жгли ее на кострах, топтали ногами. Жгли символ неволи. И умирали потом от ножей осатанелых фанатиков, но уже свободные.

Тому, кто не видел женщину прошлого, не понять весь ужас и всю трагедию ичкари. Трагедию юности. Не понять,

почему так ждали они Навруза — единственного свободного дня.

И вот он наступал...

Все было готово к его встрече в каждом дворе, на каждой улице. Еще до рассвета звенели стекляшки бус и посеребренная медь браслетов. Уже заплетены и переплетены косички на девичьих головках, покрашены усмой брови, насурмлены ресницы. Все от мала до велика нарядно одеты. Все ждут восхода солнца. Оно появляется над Джизаком из-за гор, из-за золотого Зарафшана, из-за далеких степей и пустынь. Тих и темен город, но он не спит. Он ждет первых лучей Нового года.

Наконец посветлел восток, разлилась каплей голубого серебра утренняя звезда и погасла. Золотой туман на кромке земли извещал о рождении Навруза. В то же мгновение ожили улицы. Из тысяч калиток и ворот вышли люди, выкатились арбы, потекла пестрая толпа через город, наполняя его шумом и весельем. Заревели карнаи, запели сурнаи, загремели дойры. «Бака-ум-банг» — именно так звучали они еще до рассвета, подогреты музыкантами.

Два места было в Джизаке, где проводился праздник — в горах Кутир-булок и на аллее Хужагозиен. Почему здесь? Потому что ко дню Нового года предгорья покрывались буйной зеленью и цветами, голубой простор поднимался над головами и ясно светило солнце. Все напоминало давние времена, когда предки наши жили в степи, когда не было еще ни веры мусульманской, ни черных пологов неволи, принесенных ею. Навруз — не религиозный праздник, он не связан с почитанием каких-либо святых. Это память прошлого, символ единения с природой пастуха и земледельца, которые хотели жить в дружбе с могучими силами земли и неба.

Ни молитв, ни церемоний, лишь омовение лица перед даштарханом. Муллы и дервиши всячески переименовывали Навруз на свой божественный лад. Шли впереди праздничной толпы, окуривали травами пищу, выпрашивали у верующих дань в пользу мечети и монашеского ордена каландаров. Но это все было только платой мусульман за навязчивые старания слуг аллаха. Сама суть праздника была далека от всего религиозного. Стоило лишь посмотреть на просветленные лица людей, на улыбки, на тюльпаны, горящие в руках и волосах девушек, чтобы понять, как чужда мученическая идея религии ликующим весной людским сердцам. А муллы, смущенные, испуганные этим проявлением любви к жизни и свободе, цепляются за подола мусульман, забегают вперед.

шепчут молитвы, напоминают о божьей каре. И тянут, тянут деньги. Тянут, пока добры и веселы джизакцы, пока их души полны братской щедрости и каждый готов поделиться всем, что у него есть, даже последним.

И каким укором шарияту предстают печальные лица женщин, молодых женщин, идущих на праздник, лица девочек-матерей.

Я увидел дочь соседа с ребенком на руках. Девочку, с которой мы недавно играли. Она немного старше меня, но все же девочка. И мать.

Боже, как она изменилась! Бледное изможденное лицо, впавшие глаза, до того впавшие, что кажется, их вовсе нет, только глубокие ямки и темное тусклое дно. И все это обрамлено черной полоской покрашенных бровей. Безжизненная тень. Худенькие ручки не в состоянии держать дитя, и пальцы напряжены до синевы. Тринадцатилетняя жена идет робко и неуверенно за свекровью — полной, рыхлой женщиной, за бабушкой — костлявой старухой. Не радуется юная мать ни своей юности, ни своему материнству, ни этой весне, что льется с ясного неба, с гор, усыпанных первой зеленью и первыми тюльпанами. И все же губы ее чуть-чуть улыбаются, грустно улыбаются, но не в ответ на дыхание весны. Это отблеск минувших весен, детских, безмятежных, невозвратимых, когда она была еще свободной и здоровой. Теперь она больна и угасает, как огонек в степи.

— Беденькая, — шепчутся между собой женщины, бросая скорбные взгляды на девочку. — Родила лишь одного ребенка, а превратилась в обмылок.

Я забегаю вперед и смотрю бесцеремонно, со свойственной детям жестокостью на молодую мать. Я хочу уяснить смысл сказанного женщинами, хочу понять, куда девалась веселая Рано, та Рано, что бегала с нами взапуски по берегу Наймана, бросала через дувал подругам черешню, смеялась громко, когда видела, как кружатся наши змеи на ветру. «Обмылок» — что это значит?

Сзади слышен чей-то вздох:

— Не долго протянет...

Умрет. Рано умрет — это мне понятно. Девочка, почти сверстница моя, должна покинуть мир, и ее понесут, покрытую белым саваном, на кладбище. Сейчас она идет в праздничной толпе, увешанная бусами — дешевыми стекляшками всевозможных цветов, серьгами и браслетами, которые сваливаются с ее худых до невероятности рук, а с ней рядом — смерть. И я понимаю, что остановить эту страшную, безжалостную тень нельзя, она уже сроднилась с девочкой.

держит ее, считает своей. Может быть, для нее сегодняшний Навруз последний в жизни. Поэтому из глубины, откуда-то из прошлого, из детства, она смотрит с грустной надеждой на весеннее небо, ясное, синее, вечное. Сейчас от меня ничего не зависело, как не зависело ни от одной женщины, идущей рядом с девочкой, хотя они и были добры, осенены мудростью жизни. Торжествовал закон шариата, против которого бессильно все человеческое. Протест — это уже грех. Кто возьмет его себе на душу?

— Бедненькая! — вот все, что смогли выразить погибающему ребенку люди.

Аллея Хужагозиена уже гудела тысячами голосов. Окаймленная высоким дувалом, устланная ковром молодой травы, увешанная гирляндами первых листьев, она, как остров весны, манила к себе джизакцев. Едва вступив в сад, они растекались по его зеленому ковру, отыскивая места по душе: кто любил глубокую тень, кто избирал подножие старого развесистого карагача, уже обрядившего свои ветви цепочками изумрудных монеток; кто любил легкую, словно шелк, сень, устраивался у воды под ивами; а кто дружил с ветром и ясным небом, садился рядом с тополями, гордые головы которых упирались в самую синь. Тополя только что отцвели, сбросили мохнатые сережки и предстали перед людьми в ярко-зеленых халатах. Да, мир был юн и прекрасен в день Навруза.

Здесь, в Хужагозиене, царствовали женщины. И дети. Мы, мальчишки, пользовались особой привилегией, могли менять место — то быть возле матерей и сестер, то присоединяться к мужчинам, которые находились за пределами сада.

В саду нам больше нравилось. Хужагозиен походил на луг, усеянный самыми разнообразными цветами, — так красили его платья девушек, платки и сюзане, развешанные и расстеленные всюду, паласы и курпачи — словом, все, что люди принесли с собой, что надели на себя.

Середина сада была особенно яркой. Здесь, вокруг большого хауза с кристально голубоватой водой, высились глинобитные террасы — супы, украшенные коврами и паласами. Каждая семья избирала место и располагалась как дома. Рядом устраивались очаги для котлов — когда поднимется высоко солнце, в них зашипит масло и по всему Хужагозиену разнесется запах жареного лука, а потом и мяса. В день Нового года каждый старался сварить плов с мясом — праздник!

За какие-нибудь два-три часа сад оказался заполненным,

но поток людской не иссякал. Ворога, распахнутые настежь, принимали все новые и новые толпы джизакцев. Они растекались по аллеям, пытаясь найти свободный зеленый уголок. Однако все было занято. Если бы вдруг поспел персик и вздумал упасть с дерева на землю, то обязательно угодил бы в тубетейку джизакца. И все же люди не оставались неприкаянными. Кто пришел первым и уже имел место, приглашал опоздавшего.

— Не ищите понапрасну того, чего нет,— говорили добрые джизакцы.— Идите к нам. И самовар наш велик, и котел не мал, на всех хватит...

В то время как взрослые устраивались на супах, готовили угощение, мы взбирались на высокие ветви карагачей и привязывали качели. Катание на качелях было самым веселым и захватывающим развлечением на празднике. Девушки оспаривали первенство, взлетая высоко над садом. Но это позже. Пока они ходили стайками по аллеям и рассматривали невест.

Невестам не полагалось покидать супу. Они обязаны были встречать гостей, то есть всех, кто приближался к дастархану. Наряженная как можно ярче и богаче, девушка на выданье стояла возле супы и церемонно кланялась. При этом правая рука ее, поднятая над золотистыми бровями, придерживала шелковый платок, прикрывающий волосы, а левая лежала на груди. Каждый поклон сопровождался тихим звоном украшений, которых было множество и на шее, и на голове, и на руках. Звон этот напоминал собой какую-то мелодию из песни и был очень приятным. Руки, омытые хной, словно опаленные рубиновым пламенем заходящего солнца, сияли кольцами и браслетами. В ушах горели простые, но приметные слезинки серег из бирюзы, а на груди колыхалась волна разноцветных бус. Невеста, которая не хотела остаться незамеченной в многоликом таборе Хужагозиена, должна была надеть еще и платье из атласа или шелка, или хотя бы из цветного ситца, и жилет из бархата.

Наряжалась она так не ради соседок, не ради проходящих посмотреть на невесту девчонок. Знала, что о новом наряде ее станет известно за стенами сада, где толпятся парни и среди них жених ее. Жених, которого она не видела и который тоже не имеет представления о своей будущей подруге. Он рисует ее портрет по описаниям старухи-свахи или собственной матери и сестры, имеющих доступ в ичкари. Но сегодня Навруз, и он сможет одним глазком глянуть на нареченную и, возможно, уже купленную за калым. Одним глазком...

В этом помогаем жениху мы, мальчишки. Я уже говорил, что детям разрешалось перебегать из одного лагеря в другой. За дувалом Хужагозиена базар. Здесь торговцы жареной рыбой, лепешками, халвой, нишалдой, изюмом, пловом, шашлыком. Расторопные чайханщики раскинули походные чайные прямо у стен, парикмахеры расположились на берегу арыка, бакалейщики весь свой товар держат на плечах. Ну, а где базар, там шум, крики, смех.

— Подходи! Подходи! — зовет один. — Леденцы — язык проглотить!

— Испробуй моего шашлыка! Из молодого барашка. Сам растил, сам резал, сам готовил — тебе предлагаю! — кричит другой. — За деньги — шашлык, без денег — запах, все равно сыт будешь!

— Молодой ремень! Сочный ремень! — перебивает третий. — Ни хлеба, ни мяса не надо. Сочный ремень!

А там и четвертый, и пятый, и шестой:

— Лепешки ширман! Лепешки ширман! Только что из тандыра, пальцы обжигает!

— Чак-чак! Половина — сахар, половина — мед!

Мы сновали между торговцами, отыскивая женихов, настоящих и будущих. Собственно, их и искать не приходилось: сами попадались.

— Эй, не хочешь отведать халвы с орехами? — так звучал примерно условный сигнал.

Конечно, хотим, какой воробей откажется от конопляного зерна? Нет такого воробья. Нам вручают кусок халвы с орехами, или с маком, или с миндалем, или просто леденец, тот самый леденец, что известен во всех частях света в виде гребешастого петушка или райской птицы. Потом излагают просьбу. Излагают, заикаясь, вздыхая: парню надо передать любимой или нареченной подарок. Пустячный гостинец, вроде того же куска халвы или горячей лепешки с ломтем аппетитно пахнущей рыбы, или палочки бараньего шашлыка. Главное — не рыба и не лепешка, а внимание, которое оказывается невесте. Сейчас подобное преподношение, возможно, вызвало бы насмешку девушки. Но тогда и рыба и палочка шашлыка были лакомством, не часто каsarшимся губ узницы ичкари.

Умный и дальновидный жених, кроме невесты, обязан был позаботиться и о будущей теще — ей тоже посылался гостинец, опять же рыба, шашлык, нишалда или халва.

Все это мы, мальчишки, переправляли в сад. Находили там невесту по описанию парня. Но это было не просто: полгорода в Хужагозиене, попробуй отыщи нужную девушку

среди соген, а может, и тысяч подобных. Но мы смело принимались за дело и, конечно, вручали подарок той, которой он предназначался.

Самой сложной и даже рискованной была другая миссия — заочно познакомить парня с девушкой. Тут уж требовались находчивость и хитрость. Никто не должен был знать о намерении юноши — ни мать, ни сестры, ни соседи. За подобное знакомство наказывали. Прежде всего посылали проклятия на голову «беспутной и падшей» дочери, посмевавшей думать о постороннем мужчине, искать с ним встречи, любить не нареченного. А главное, открыть лицо перед ним. В этом, собственно, и заключалась суть греховной затеи.

— Запомни,— говорил мне какой-нибудь отчаянный парень, потерявший голову от любви.— Запомни, никто, кроме Кумри, не должен знать об этом. Пусть тайком улизнет от матери.

— О?!— испуганно произносил я и тем подчеркивал опасность затеи.

— Ничего, ничего... Если любит, пусть решится.

— А что она скажет матери?

— Да что-нибудь... Мол, хочет посмотреть невесту в другом конце сада.

— А потом?

— Потом пройдет в сторону кладбища, к большому мавару... Я буду ждать там. Понял?

— Понял.

— Ну, беги.

— Ой, страшно.

— Тебе-то почему страшно?

— Узнают старшие — уши оторвут.

— Не зевай.

— Да и Кумри достанется. Вдруг шейхи заметят.

— Шейх не заметит, а если заметит, так отвернется. Мы на глаза ему положим пару серебряных...

— Тогда бегу к Кумри.

— Беги и не забудь сказать ей, чтобы у кладбища повернулась лицом к дувалу. И пусть не боится. Ни одна душа, кроме нас, не узнает об этом...

Так украдкой, таясь чужих глаз, рискуя навести на себя гнев шейхов, молодые люди ловили счастье. Призрачное счастье. Редко, редко оно касалось своими лучезарными крыльями влюбленных. Чаще всего, да, пожалуй, всегда, судьбу двух сердец решала традиция. Безжалостная, подчиненная религиозному закону. О чувствах тут не могло быть и речи. Ведь по мусульманским обычаям любить разрешалось лишь наре-

ченного, то есть того, что был сосватан еще в детстве и от которого, получен калым. Он мог оказаться уродом, калекой, немощным существом, однако закон принуждал женщину становиться его женой и рабыней.

Но это потом! В Новый же год традиции уступали место естественным чувствам людей. Вспыхивал огонь, таившийся в каждом юном сердце, он жег его радостью, надеждой. Кружил головы. Толкал на риск и геройство. Опасен был день Навруза. И прекрасен...

Я отвлекся от самого торжества, следуя тропинкой влюбленных, которая вела в глубь сада Хужагознен, даже к кладбищу вела, зеленому, цветущему в то время года.

Вокруг хауза разгоралось веселье. То там, то здесь возникали кружки, в центре которых танцевали девушки под дутар и бубен, пели песни, читали стихи. Стихи Навои, Суфи и свои собственные. Не просто пели и не просто читали. Шло состязание, горячее, вдохновенное — талант противостоял таланту, красота спорила с красотой. Все лучшее, что таилось в ичкари, представало, озаренное солнцем, перед тысячью глаз. О, какие брови, какие косы, какие руки мелькали под дробь дойры! Как изгибался стройный стан, как очерчивались юные линии под легким шелком! Если были в неземных садах Эдема чудесные перы, то именно в день Навруза они спускались на аллею Хужагознена. Это они пленяли всех своей юной красотой, своими танцами, своими стихами.

А что могло сравниться с игрой на чангавузах! Звук этого нехитрого инструмента, состоящего из тонкой, словно лепесток розы, пластинки, прикладываемой к губам, покорял всех. Девушки выстраивались в ряд, и по кивку головы крайней начинали песнь. Да, песнь, потому что чангавузы обладали удивительным сказочным голосом, тонким и тихим, как далекий шум ветра, шепот воды или звон серебряной струны. Или все вместе соединенное. Звук этот откликался в душе человека радостным трепетом, легкой грустью и мечтой. Что-то сладостное, убаюкивающее было в пении чангавузов, словно погружалось сердце в прохладные волны и они несли, несли его куда-то в бесконечное, озаренное голубыми сумерками.

Услышав пение чангавузов, люди замирали, охваченные светлым чувством. Слушали не дыша. Понимали звуки чангавузов, разгадывали их:

Жених, жених! Кому жениха?
Жених, жених! Кому жениха?
Жених, жених — мне жениха!

Жених, жених — мне жениха!
Тебе жениха, тебе жениха...
бие-бие, бие-бие...

На этом «бие-бие» чангавуз замирал мечтательно, а может, и огорченно...

Другой берег пруда в это время оглашался дерзкими выкриками дойры: «бака-ум-банг!» Там девушки плясали и пели частушки. А где частушки, там обязательно смех — веселый, заразительный, охватывающий все вокруг быстрым горячим пламенем. Простившись с грустным напевом чангавузов, я бежал к огню веселья, чтобы услышать лапары — частушки. Мы, мальчишки, знали лапары наизусть, да и кто их не знал, кто не певал в дружеском кругу. Однако обычное исполнение не шло ни в какое сравнение с исполнением на празднике. И голоса звучали иначе, и слова казались более острыми и смешными. А ужимки, а мимика! Тут уж нельзя было удержаться — все вокруг буквально покатывались со смеху.

За лапарами следовали спокойные, размеренные и грациозные танцы. Один пленительнее другого. Запомнилась мне одна исполнительница. Танец ее был особенным. Вся пропитанная каким-то внутренним огнем, девушка плыла по кругу под упругие, подчиненные волшебному ритму удары дойры. Каждую минуту, при каждом изменении магического ритма танцовщица преображалась: то летела подобно птице, кружась и расправляя крылья-руки, то скорбно замирала, трепетом плеч передавая страдание, то падала на колени, прося о чем-то, снова, подхваченная вихрем, светло и счастливо устремлялась ввысь. Глаза ее при этом опалялись солнцем, горели торжественно и победно. И красота, дарованная ей судьбой, представала перед всеми: лицо, резцом невидимого творца очерченное плавными линиями; миндалевидные веки с густыми ресницами, тяжело и томно опущенными на щеки; нежные губы, чуть приоткрытые, словно истомленные жаждой и просящие утоления; точеная шея; тонкая и гибкая талия, подобная лепестку тюльпана, перетянутому шелковой тесьмой. И вся она казалась то восторженной и смелой, как Ширин, то ласковой и печальной, как Лейли.

В тишине, что рождена восхищением, девушка закончила танец и замерла. Наградой ей были громкие возгласы одобрения и благодарности.

После танца, как и после пения чангавузов, было сладко и необыкновенно хорошо на душе. Мне самому хотелось петь, плясать, мчаться по зеленому ковру сада, делать не-

обыкновенное. Кричать, чтобы все вокруг знало о моей радости.

И я бежал по саду и что-то выкрикивал, как остальные мальчишки, смеялся безо всякой причины.

Было еще одно зрелище, восхищавшее меня в день Навруза, — катание на качелях, тех самых качелях, что мы подвешивали перед началом праздника. Некоторым удавалось подвязать их на очень длинных веревках — метров в десять-двенадцать — к самым высоким деревьям или между деревьями. Вот на этих больших качелях состязались девушки в удали и смелости. Я не мог смотреть без замиранья сердца на этот полет в поднебесье.

Полет начинался с медленных раскачиваний, когда, пружиня ноги, приседая и вытягиваясь в рост, откидывая головы с десятками веселых косичек, устремленных в разные стороны, будто стая ласточек, бесстрашные красавицы бросали себя ввысь, туда, где царил весенний ветер и горело солнце. Там, именно там была свобода. Оттуда, с высоты, на короткое мгновение они, вечные затворницы ичкари, бросали земле свой вызов.

Если бы можно было оторвать нити, связывающие их души и тела, и полететь. Полететь вольными журавлями, которые в дни Навруза проплывали курлыкающими треугольниками над Джизаком, маня за собой узниц!

Не рвались крепкие нити, не улетали девушки. Только казалось, что они летят.

Иные вспархивали так высоко, что люди внизу кричали: — Ой, страшно!

Но разгоревшееся сердце не слушалось, не могло остыть от чужого возгласа, и все летело и летело, пока голова не начинала кружиться. Самой смелой и неудержимой в полете была все та же юная танцовщица, покоровшая всех своей красотой и своим искусством. Она забиралась так высоко, что тонкое тело ее вырывалось, подобно соколу, на простор, над макушками деревьев и одно-одинешенько парило там. Все в солнце, все в ветре!

— Остановись! — предостерегали внизу.

Она не слышала людей. Казалось, уже покинула их навсегда и теперь породнилась со свободой. Лицо ее горело румянцем, глаза были широко открыты, голова запрокинута назад. Когда она пролетала над нами и короткое мгновение мы были близко от нее, я видел, что губы у девушки улыбаются счастливо и светло, как в волшебном сне, и ничего, ничего не нужно ей, кроме высоты и этого упоения волей.

Не знаю, почему такие прекрасные, свободолюбивые су-

щества, способные излучать для других радость и счастье, сами не пользуются счастьем. Они живут над миром и погибают, едва коснувшись земли. Красавица танцовщица, как самая обычная узница ичкари, была продана в дом богатого, но недюбимого человека и через несколько месяцев умерла. Не то отравилась сама, не то ее отравили старшие жены мужа.

Этот Навруз для девушки был последним. Судьба сроднила ее с несчастной Рано. Но та шла на праздник уже больной, угасающей, смотрела на весну печальными глазами гостыи, а эта жадно и страстно вдыхала в себя ароматы цветения. Пила радость молодости, захлебывалась ею. Ведь она была красива и сильна, как бывает красива сама жизнь в эту пору рдения тюльпанов. И все же смерть подстерегла ее и настигла. Настигла в ичкари, там, где рождались и умирали женщины Востока.

Но смерть была где-то вперед: В этот день мы не видели ее, не ждали.

День горел, пламенело веселье. И я думал, что это тоже вечно, как вечен Джизак и все, что окружало меня.

РОДНИК ИШАНА НЕ УТОЛЯЕТ ЖАЖДУ

Не зря в народе говорят: «Нет цены речке, протекающей рядом». Эту истину джизакцы уяснили хорошо и берегли ручьи, с давних времен наводнявшие город. Вернее, то были не ручьи, а арыки, вытекавшие из канала Туятортар и пересекавшие Джизак в разных направлениях. Насчитывалось их двенадцать. Почему именно двенадцать, не знаю, возможно больше, возможно меньше, во всяком случае арыков хватало для того, чтобы напоить людей, сады и скот, полить улицы, принять в себя сотни ребячьих тел, изнывающих летом от жары. Если кончалась вода в хаузе — в июле он пересыхал, — люди шли с ведрами и кувшинами к арыкам. А теперь не стало воды ни в хаузе, ни в арыках, ни в самом Туятортаре...

Ушла вода, и почему — мне тоже не было известно. Но пить хотелось. Кто знает азиатское солнце, не станет спрашивать, отчего так мучит жажда летом. В доме — ни капли. Матушка посылает меня в дом ишана Абдугафура, или как его звали в махалле, ишана-ювелира, владельца мастерской по изготовлению украшений из золота, серебра и драгоценных камней. У ишана был свой собственный колодец, и в трудную минуту люди ходили к нему за ведром воды.

Я взял два небольших ведерка, повесил на коромысло и

пустился по дороге. Вприпрыжку пустился. И не потому, что мне было очень весело. Напротив, поручение матушки не вызывало в моем сердце никаких восторгов. Просто земля была раскалена. Поэтому я, словно курица, вскидывая то одну, то другую ногу, спасался от огненных поцелуев земли.

Нужно еще объяснить, почему поручение матери не вызвало в моем сердце восторга. Провожая меня к ишану, она сказала:

— Не смей к колодцу подходить один. На дне прячутся злые духи, подкарауливают детей. Если услышишь свое имя — Назиркул, не вздумай откликаться! Знаешь кривого Карима? Вот таким станешь и ты...

Мне не хотелось быть криворотым, да и кому хочется ходить всю жизнь со скошенными набок губами. Прыгая, как курица, с ноги на ногу, я не особенно торопился выполнить поручение матушки, тянул время, надеясь попасть далеко не первым к дому Сиддыкхана. И все же оказался первым. Во всяком случае никого поблизости не было.

Что делать? Бессовестные духи сидели в колодце и ждали, когда я появлюсь один-одинешенек, чтобы тут же начать свое колдовство. Нет, лучше потерпеть, дожждаться кого-либо из взрослых. С этой мудрой мыслью я устроился возле калитки. Конечно, когда солнце печет и рот сухой, будто его целую неделю выветривали и прогревали под сандалом, никакие другие мысли, кроме как о воде, не лезут в голову. Я смотрел на улицу, а думал о тенистом дворе ишана, о чудесном колодце, где глубоко-глубоко плещется прохладная влага, способная мгновенно утолить жажду. Да что прохладная — ледяная, стоило лишь прильнуть губами к краю ведра, наполненного свежей колодезной водой, как сводило губы от холода. Чудесный колодец у ишана. Человек, прихвативший пару ведерок воды из него, уподоблялся счастливцу, нашедшему на дороге кошелек с деньгами.

В этот раз мне не пришлось долго высидывать у калитки. Появились люди. Много людей — шумные, злые, нетерпеливые. Не попытались пройти в калитку, а стали стучать в нее. Оказывается, она была закрыта, а я, чудак, думал, что нет желающих войти во двор ишана набрать холодной воды. И еще оказалось, люди эти уже второй, а может, и третий раз барабанили по толстым карагачевым доскам, просили хозяина открыть калитку и, не добившись ничего, уходили. Теперь они снова вернулись.

— Откройте дверь, господин! — кричали люди.

Господин не откликался.

— О наш пир!— не унимались люди.— Смилоствивитесь над жаждущими, дети с утра не видели капли воды.

Пир, то есть духовный наставник, как и положено всякому духовному наставнику, просьбу людей переадресовал богу.

— На все воля всевышнего, иссякла вода в колодеце. Я сам жаждущий и с пустой пиалой сижу в ожидании. Или вы думаете, мои дети не мечтают о капле воды?

— Да, да, мы сочувствуем, господин,— не унимались столпившиеся у калитки,— но разрешите нам своими глазами увидеть пустой колодец и тем самым охладить жар сердец.

Ишан был хитер, иначе ему не пришлось бы нести на себе бремя этого титула. Он ответил людям:

— Если бы вода текла в колодеце, то и дверь была бы открыта, таково мое правило. Раз дверь закрыта, значит, и вода прекратилась. Или ваши разгоряченные головы не могут понять подобной истины?

— Вы мудры, таксыр, но разрешите нам устыдиться своих собственных подозрений, дайте глянуть в колодец!

— Так что же, я должен посторонним показывать свою собственность? Греховные мысли недостойны правоверного! Ведь никто из вас, упаси аллах, не поднимет чачван и не покажет чужому лицу своей жены. Зачем вы требуете подобного от меня?

Ишан был похож на нашего домуллу своим умением выворачиваться из любого, даже самого трудного положения. Видимо, все, причастные к духовным делам, были изворотливы и лицемерны. Я тогда еще верил Сиддыкхану, и мне казалось, что люди напрасно настаивают, пытаюсь уличить ишана во лжи,— он говорил усталым, жалостливым голосом, и слова его звучали убедительно.

Я верил. Люди, голпившиеся у калитки, не верили.

— Откройте, таксыр, нехорошо испытывать чужое терпение.

— А хорошо ли испытывать мою доброту и без единого таньга черпать ведрами воду?

Вот, оказывается, в чем дело: в городе нет воды, и ишан решил заработать на собственном колодеце.

— Разве благородно отказывать в подаянии жаждущему?— спросил молодой парень, громче всех стучавший в калитку. Спросил и зло поднял ногу, чтобы пнуть с силой дверь.

— Не вам учить меня, ишана, благородству,— ответил Абдугафур.— Сказано: нет воды,— и проваливайте подобру-поздорову.

Прояви большую сдержанность ишан, не произошло бы

того, что случилось в следующее мгновение. Толпа налегла на калитку и стала сотнями кулаков и ног колотить в нее. Крепкое дерево глухо и недовольно отзывалось на удары, но стояло непоколебимо. Тогда тот же парень бросил свое ведро и крикнул:

— Да что ждать от ишана!

Это была уже не просто злость, а злая решимость. Парень кинулся к дувалу.

Мне стало страшно. Прихватив ведерки и коромысло, я прижался к стене и испуганными глазами смотрел на разгневанных людей. Стук, крики взбудоражили улицу. Самыми страшными были не крики, не гнев, а греховная суть самого события: верующие подняли руку на ишана, на духовного наставника, человека, освященного самим богом, иначе говоря, поднимали руку на самого бога. Конечно, они ничего не сделают с ишаном, а вот возмущенный властитель небес ответит страшной карой. Вот чего я боялся.

Вера моя в святость ишана была непоколебима. Это я выяснил от матушки, от всех старших. Ведь меня со дня рождения отдали под защиту святого Шэй-Зинда, в знак этого отрастили косичку на моей голове. Матушка часто водила меня к одному из ишанов Джизака Бабахану, соседу Абдугафура, который совершал всякие заклинания, долженствующие оберегать посвященного от несчастий. В прошлом году Бабахан по просьбе матушки гадал, какая дорога ждет меня в будущем. Матушке, конечно, хотелось видеть сына образованным, даже ученым человеком, и она с надеждой смотрела в глаза ишану.

— М-да,— произнес Бабахан.— Будущее открывается не по простому желанию человека, а лишь после приношения жертвы, угодной всевышнему. На смутном пути мальчика видится мне ягненок с белым пятнышком на лбу, через него мы только и узнаем истину.

Матушка поняла ишана. Собрала деньги, заняла какую-то сумму у дяди и подалась на базар отыскивать ягненка с белой отметиной на лбу. Оказалось, что такие ягнята рождаются не часто, во всяком случае, не каждый день и, следовательно, стоят дороже. Бедная моя матушка снова обратилась к дяде и, увеличив долг, приобрела наконец жертвенное животное, которое отчаянно брыкалось и блеяло, не желая идти в дом ишана. Мы приволокли ягненка из аркане. Приволокли и стали перед мудрым Бабаханом, ожидая решения собственной судьбы: слева матушка, справа я и рядом со мной ягненок, украшенный белым пятнышком.

— Именно этого ягненка я видел на смутной дороге бу-

душего, — произнес ишан, разглядывая жертву. — Великое счастье! Создатель сам отдал в руки матери судьбу сына.

Легко понять, какой радостью наполнилось сердце моей матушки при этих словах. Слезы благодарности богу, надо полагать, скатились с ее глаз.

— Привяжи ягненка к тому дереву, — сказал мне Бабахан, — а сам пройди в мою комнату. О матери позаботятся служанки.

Я сделал все так, как велел мне ишан, и оказался в небольшой, но богато убранной комнате, устланной мягкими шелковыми курпачами. Бабахан сидел у стены, а мне указал на место напротив. В глубокой тишине прошло несколько минут. Ишан, закрыв глаза, шептал что-то беззвучное своими толстыми, отвислыми губами, потом приподнял слегка веки, глянул в мою сторону и обронил таинственное:

— Куф-суф!

Непонятное слово было подкреплено легкими ударами четок в мою голову и плечи. Затем он снова закрыл глаза, снова пошевелил губами и снова коснулся четками моих плеч и головы. Так повторилось несколько раз. Придавленный окружавшей меня таинственностью, онемевший от страха, я сидел не шелохнувшись и не сводил глаз с ишана, с его лица, выражавшего полное отрешение от всего земного. Он находился в эти минуты где-то далеко и, возможно, разговаривал сейчас с самим богом. И разговаривал обо мне, босоногом мальчишке по имени Назиркул. Да, тут было отчего потерять дар речи. Что там решит всевышний? Исполнит ли желание моей матушки, сделает ли меня образованным человеком?

Больше всего я робел при ударах четок и слове «куф-суф». Что-то важное и, наверно, решающее было в нем, но вот оно прозвучало в последний раз. Ишан открыл глаза, устало глянул на меня и сказал:

— Позови мать!

Я выскочил во двор испуганный и ошалелый. Приказание Бабахана, видно, связывалось с каким-то решением бога, и сейчас это решение в присутствии матушки будет объявлено. Когда я вернулся с ней в комнату, там уже находились прислужницы. Они держали бедного ягненка, который все еще упирался и жалобно блеял. Ишан на наших глазах сделал надрез на кончиках ушей ягненка и, подставив пиалу, набрал в нее крови. С пиалой он удалился, пробыл где-то минут десять-пятнадцать и вернулся уже с бумагой, свернутой несколько раз. Сквозь белую ткань просвечивали красные буквы молитвы, написанной кровью.

— Возьми! — сказал ишан, протягивая матери записку. —
Здесь заклинание...

Матушка бережно приняла бумагу пальцами, прикрытыми рукавами, чтобы не осквернить святость простым прикосновением, поцеловала и завернула в платок, снятый с головы.

Дома заклинание было зашито в черную саржу треугольником и прикреплено наречно к моей тубетейке.

Ягненок к нам не вернулся, как не вернулись и к другим мусульманам ягнята, взрослые бараны, козы и даже телки годовалые. Несчастливым людям хотелось с помощью жертвы защитить себя от напастей, что валились на них, как из рога изобилия. Наивные, они, отрывая от себя последнее, надеялись задобрить с помощью ишана судьбу свою. Ишана задабривали, а вот судьбу — нет. Она продолжала быть к ним беспощадной.

Новая напасть — безводье. Оно привело толпу жаждущих к дому Абдугафура. Привело без жертвоприношений, с пустыми ведрами. И калитка оказалась закрытой.

Всегда, сколько я помню себя, закрытая калитка в доме мусульманина была священным рубежом, переступить который не смел никто. Отворявший ее насильно не мог надеяться на снисхождение или прощение, хозяин имел право убить незваного гостя. И вот священный рубеж одолевали с громким шумом жаждущие. После каждого залпа кулаков я закрывал глаза, боясь небесной кары. Мне чудилось, что в следующее мгновение загремит гром или ударит молния и испепелит все вокруг.

Но гром не гремел, и молния не сверкала. Звучали лишь удары кулаков. Вдруг они смолкли. Люди замерли, пораженные небывалой смелостью парня, о котором я уже упоминал: он кинулся к дувалу и в какую-то секунду взобрался на гребень. Перевалил его, спрыгнул во двор — мы слышали стук сапог — и скинул щеколду с двери. Толпа втекла во двор, как в горлышко кувшина, и заполнила его телами, криками, угрозами.

Это было равносильно светопреставлению. Страх перед духовным наставником, перед силой богатого смяло озлобление. Смяла жажда. Пир стоял на террасе и махал руками, призывая правоверных к благоразумию, предостерегая их от необдуманных поступков. Его не слушали. Люди торопились к колодезю, где хранилась живительная влага.

Колодец ишана был очень глубоким, дна во всяком случае никто не видел, оно терялось где-то в прохладной темноте. Не увидели его и сейчас. Облепили кирпичное коль-

до десятки любопытных, перегнулись через него и замерли в недоумении.

— Тихо!— крикнул кто-то.— Откройте уши, если вода есть в колодце, мы ее услышим.

Желание обнаружить воду было настолько велико, что голпа сразу онемела, словно люди проглотили языки.

Минуту или две царил тишина, потом самый чуткий из жаждущих неуверенно произнес:

— Журчит, кажется...

— Тсс... В самом деле журчит.

— Вода, вода! Есть вода!— зашумели все радостно.— Скорее веревку!

Веревки не оказалось.

— Эй, где веревка?

— Ведра с кольцом тоже нет!

— Вот до чего доходит жадность ишана — богом созданную влагу отнимает у людей.

— Ишан, верно, жаден. Может, попросим мать ишанову, у женщины сердце мягче — мать все-таки!

— Э-э, птенец делает то, что видит в гнезде. Не от нее ли ишан впитал все худшее. Небось материнское молоко было с ядом.

Так рассуждали огорченные джизакцы, стоя у колодца и мечтая о воде. И не было в их словах ни уважения к важному лицу в городе, ни страха перед святостью его сана... Вообще ничего не было, кроме злости.

Я не понимал этих людей. Как могли они нарушить запрет, как посмели ворваться в дом ишана и поносить его всяческими словами? И главное, почему бог не покарал их? Первое сомнение, ровно искра, вспыхнуло и принесло с собой недоумение. Значит, можно?! Можно отворить калитку, растоптать все преграды, смело крикнуть духовному наставнику, что он лжец и обирала. Теперь подобный вывод может показаться наивным, а сомнения ничтожными. Тогда, более полувека назад, мое открытие было грандиозным. В мыслях мальчика, носившего косичку в честь святого Шахи-Зинда, недавно прикрепившего к тубетейке заклинание ишана, произошел переворот. Впервые он убедился в беспомощности святого пира, в слабости богатого человека. И пораженный этим открытием, я стоял посреди двора подобно заколдованному джейрану, который обрел дар речи, но боится произнести слово, считая, что при первом звуке превратится в песок и будет унесен ветром.

Так, замерев от робости и изумления, прижимая к себе коромысло с пустыми ведрами, я услышал тихий галос:

— Назир! Назиркул!

Вот и расплата за сомнения, подумал я. Злые духи, упрятанные на дне колодца, подкараулили вероотступника с косичкой на голове и сейчас заманят в преисподнюю. Помня слова матери, я крепко сжал губы, чтобы не откликнуться.

— Назир! Назиркул!

Голос прозвучал громче, и не со стороны колодца, а с улицы. Однако мысль моя работала в прежнем направлении. Хитрят, решил я, на то они и злые духи, чтобы прятаться в разных местах и кричать на разные голоса. Меня не проведешь. Вода была уже забыта, да и все событие, связанное с посрамлением ишана, отошло куда-то на второй план. Главное — не поддастся злым духам. А они, бессовестные, заливаются:

— Назир! Назиркул!

Подумать только, до чего настойчивы темные силы, хотят все-таки обмануть меня. Напрасные усилия. Буду молчать, как матушка велела.

— Ты что, не слышишь? — толкнул меня в бок один из шумевших у колодца стариков. — Зовут тебя!

Тут я усомнился в настойчивости злых духов: если другие слышат, значит, дело обстоит не так уж таинственно. Возможно, меня просто зовут товарищи! И я побежал на улицу. Правда, губы так и не разжал, чтобы не откликнуться, не оказаться кривым. О существовании злых духов я еще помнил, во всяком случае, побаивался их.

Оказалось, с улицы меня звал старший брат.

— Куда ты запропастился с ведрами? У матушки котел перегорел на огне.

— Я ждал воду.

— Эх ты, непутевый Афанди. Вода уже бежит в реке. Скажи людям, пусть идут к берегу.

Новость была настолько неожиданной, что я открыл рот и смотрел на брата, ничего не понимая.

— Да ты очумел совсем. Говорю же — в реке вода появилась.

Только тогда я пришел в себя и закричал:

— Вода! В реке вода-а!!!

И первый кинулся, гремя ведрами, к берегу...

Верно, канал, пересекающий город, был наполнен водой, и она, прохладная, неторопливая, сверкая голубизной, устремлялась на запад. Куда девались огорчения души, кому отдали люди свою злость! Став добрыми и радостными при виде воды, они падали на колени, ложились на живот и,

прильнув сухими губами к влаге, пили и пили ее. Мы с братом нырнули в воду, как утята, стали барахтаться в ней, плескаться, наслаждаясь невесть откуда выпавшим нам счастьем!

— Вода! Откуда вода?— удивлялись старики, смачивая влажными ладонями лицо и бороду.— Не наша очередь пить ее. Прежде должен утолить жажду Янгикурган.

— Зачем гадать, чей сад,— отвечали молодые,— был бы виноград в нем. Ешьте, мусульмане!

Третьи с благодарностью воздевали руки к небу:

— Аблаху акбар — великий бог! Да будет имя твое на устах каждого, кто коснулся этой влаги!

Дядя Джайнак, приведший к берегу свою лошадь, чтобы напоить и искупать, проявил обычное спокойствие и рассудительность. Он сказал:

— Никакого чуда здесь нет. И вообще бывают ли чудеса на этой грешной земле? К нам пришла «вода сангзара», самая чистая вода мира. Пришла не в назначенный срок. Кто-то направил ее в Джизак, от снежных гор, сейчас там таяние, и ручьи торопятся вниз, в долину...

— Кто бы ни сделал это доброе дело, пусть его жизнь будет такой же обильной, как эта вода,— ответили старики дяде Джайнаку.

— Его жизнь и так обильна,— нахмурился он.— Разве бек воды Мулла Хакберды в чем-нибудь нуждается? Каждая капля у него звенит серебром.

— Много же серебра соберет бек воды за нашу реку. У кого есть такое богатство, чтобы заплатить его?— сомневались старики.

Дядя загадочно покачивал головой.

— Тут другая плата... Пострашнее серебра...

Что имел в виду дядя, мы не узнали у реки. Да и не пытались узнать. Бежала, звенела вода, и это было главное. А там само собой все решится.

Трудно было оторваться от прохладных струй. Брат торопил, стыдил меня — там матушка ждет не дождется воды, а ты тут, как утенок, плещешься.

— Не позволяй себе больше дозволенного,— строго заключил он и первым вылез из реки.

Что ж, пришлось расстаться с выпавшим так внезапно счастьем, наполнить ведра и идти домой...

Дома мы узнали причину появления воды в жаждущем Джизаке. Узнали от муэдзина Амрмата. Он ходил по махалле, стучал в каждую калитку черенком камчи и выкрикивал:

— Кто слышит, пусть запомнит и передаст соседу. Кто слышит, пусть запомнит... Его превосходительство уездный начальник соблагОВОЛИЛИ завтра пополудни посетить наш город... Чтобы все улицы были политы, выметены, очищены. Слушайте и запоминайте, дабы потом знали, за что вас называют... Чтобы знали...

Вот почему появилась так неожиданно вода в Джизаке!

ПЫЛЬ, КОТОРАЯ НЕ ОСЕДАЕТ

Как ни старались люди, как ни поливали дорогу, горячее летнее солнце быстро иссушило пыль, спекло сверху корочку и едва копыта коней коснулись ее, она лопнула и задымила желтым дымом лесса. Дым этот так и вился, пока коляска уездного начальника следовала по городу к дому известного в Джизаке богача муллы Хафизбая. Это был самый дорогой и самый красивый дом. Стоял он на тихой узкой улочке за мечетью. Чтобы попасть в него, коляска миновала Каландархану, въехала на мост, простучала на нем своими негромкими колесами на шинах, потом свернула влево и покатилась по мягкой влажной пыли.

Коляску уездного начальника сопровождали полицейские — один скакал впереди, двое — сзади. Они были грозными и свирепо поглядывали на стоявших вдоль дувалов жителей махаллы. На левом боку у каждого из сопровождавших бралась шашка, в правой руке красовалась нагайка. Нагайка была самым страшным и самым знакомым для жителей махаллы оружием. Ее чаще всего пускал в ход полицейский по имени Юлдаш, наблюдавший за порядком в нашей махалле. Многие сейчас даже не предполагают, что в роли полицейского мог выступать местный житель. Все представляют себе полицейского краснощеким курносым рязанцем или оренбуржцем, пузатым усачом с бляхой на груди и с кокардой на фуражке. У Юлдаша из всего этого были лишь усы и бляха.

Плеткой он орудовал виртуозно, и мало кто из нас, мальчишек, не имел на спине красных и синих полос. Юлдаш-полицейский подстерегал всевозможных нарушителей в самых невероятных местах, появлялся внезапно и так же внезапно опускал камчу на их головы и плечи. Доставалось не только мальчишкам, но и взрослым. Ни в какие объяснения Юлдаш не вступал, ни на какие уговоры не шел. Говорили даже, что он не подкупен. Но кто мог это проверить! Босоногие, на которых он обычно нападал, не имели денег, а богатых Юлдаш не трогал.

Ну, я отвлекся. С Юлдашем-полицейским мы еще успеем встретиться и не раз, а у нас идет речь о пыли, что подняла на улице коляска уездного начальника его превосходительства полковника Рукина. Нельзя сказать, что полковник сам по себе был причиной такого исключительного внимания. Его знали, его видели не раз. В праздничные дни он появлялся со всей семьей в доме муллы Хафизбая и отдыхал и развлекался здесь. Для отдыха и развлечений дом бая был приспособлен. Если кто склонен к фантазии, тот может представить себе эту чудесную обитель, схожую с райскими садами. Я однажды переступил порог дома — меня пригласил байский сын, с которым мы вместе учились в мактабе при мечети и иногда помогали друг другу. Сам порог был великолепен — широкие ворота, окрашенные в ясный голубой цвет, такой же ясный, как купола самаркандских мечетей. За порогом начинались террасы, подступавшие к проходу своими узорчатыми стенами и устланные яркими паласами и коврами. Проход выводил нас в сад. Нужно ли говорить, что сад тот был огромным и тенистым. Беседки из виноградных лоз тянулись строгими рядами, своды тяжелели от бесчисленных гроздьев — то янтарных, то розовых, то белых, то черных. Они манили к себе медовой сладостью, радовали, заставляли улыбаться; когда видишь сказочные дары природы, невольно сердце наполняется блаженством. Тенистые беседки звали вас куда-то в сумеречную зеленую даль. Вы подчинялись беззвучному зову и оказывались на берегу речки Мулкалик, который был основанием для айвана — веранды, переброшенной через воду, окаймленной с трех сторон застекленными стенами, украшенной причудливым орнаментом, что возвышалась над вечно бегущими, неустанно шепчущимися струями Мулкалика. За этой верандой стояла вторая, тоже над водой и тоже огороженная стенами. Но крыша ее была особенная: мастера изобразили ночное небо, усыпанное звездами. Когда угасал день и над садом воцарялась тьма, слуги зажигали скрытую в потолке лампу. Искусственные звезды, споря в яркости и красоте с настоящими, вспыхивали на искусственном небе, услаждая гостей бая.

Что было в доме бая, я не видел. Туда меня не пустили. Но, думаю, комнаты утопали в дорогих коврах, ниши ломились от фарфора и серебра. Такой человек, как Хафизбай, владевший чуть ли не половиной Джизака, не мог впустить гостей в пустые комнаты.

В этом доме проводил праздники полковник Рукин, уездный начальник, доверенное лицо самого генерал-губернатора,

друг и покровитель богатейших людей уезда. Ходил по тенистым аллеям, пил и ел на айване, перекинутом через Мулкэллик. Ничего удивительного, как я уже сказал, в этом не было. Однако полковник на сей раз появился не в праздник, не в традиционный день. Появился, когда Джизак был взбудоражен безводьем, а окраины и ближние кишлаки дрались с мирабом из-за влаги.

И еще совпал приезд полковника с волной всяческих слухов — тревожных и печальных. Говорили о голоде, о новых налогах, о волнениях в городах России, о неудачах царя на фронте и недовольстве людей и войной и самим царем. Еще что-то доносил «узун кулок — длинное ухо». Но никто не верил этому «что-то». Не хотел верить, ибо это «что-то» было страшное и необъяснимое...

Когда все напряжено и каждый мучается опасениями и страхом, когда хлеб дорожает с каждым днем, и воды нет, и растут долги бедняков, тогда внезапный приезд уездного начальника кажется очень важным. Он усиливает страх, порождает предчувствия. Даже те, кто отвергал слухи, начинают неволью в них верить.

Ничего, ничего необычного не делал полковник Рукин. Проследовал через город в сопровождении трех полицейских, проследовал тихо, кажется, даже с улыбкой на лице. Коляска напоминала скорее увеселительный экипаж, нежели что-то официальное, предназначенное для совершения торжественных выездов. Кроме Рукина, в коляске сидели его жена и две дочери-барышни. Они весело оглядывали улицы, оживленно переговаривались, словом, вели себя так, как ведут праздные господа, направляющиеся на прогулку. Для них это, возможно, и была увеселительная прогулка, в конце которой приятный вечер в полусказочном саду Хафизбая, ужин над водой под искусственным небом, пение перепелов.

Впрочем, мы, мальчишки, тоже представляли себе приезд семьи уездного начальника как прогулку. Бежали за экипажем, ловили пыль, летевшую из-под колес и копыт, весело смеялись. Нам было интересно взглянуть на полковника, на его дочерей и жену, открытых для обозрения, толпиться у ворот Хафизбая, пока Рукин слезает с коляски, а услужливые полицейские поддерживают его за локти, всматриваться в зеленый полумрак сада, что открывался перед нами, когда на несколько минут распаивалась калитка и сам Хафизбай, прижав руки к сердцу, приглашал гостей в дом. И потом, после приветствий хозяина и ответных слов гостя, бесчисленных улыбок, поклонов, визга красивой голубой калитки, за-

крывающей все от посторонних глаз, мы продолжали крутиться. возле дома Хафизбая, хотя на горизонте вырисовывалась внушительная фигура Юлдаша-полицейского и угрожающе поднималась его плеть. Он шел охранять покой хозяина и гостя.

Да, ничего необычного не было в появлении полковника Рукина на улицах Джизака. Так во всяком случае решили мы, мальчишки. Иначе думали взрослые. Без веселого любопытства смотрели они на коляску. Их не занимали ни наряды барышень, ни синий кафтан кучера, ни его великолепные усы. Мрачно, злыми глазами провожали они уездного начальника. Недобрый шепот летел вслед пылящей коляске, а когда в воротах встретились Рукин и Хафизбай, кое-кто погрозил им кулаком...

ТАИНА МАТУШКИ МАРЬЯМ

Есть слова, которые произносят, только прикрыв калитку, да еще подперев ее бревном. И произносят в темноте ночи. Такие слова принесла в наш дом тетушка Марьям.

— Беда, беда, милые мои, — сказала она по-русски.

И хотя никто из нас не знал русского языка, все хорошо поняли ночную гостью. Почему поняли? Да потому, что в тот вечер все думали лишь о несчастье, что вот-вот падет на джизакцев. Его ждали, к нему готовились. И торопливый стук в калитку, и тревожное лицо женщины, и ее печальный шепот красноречивее слов подтверждали существование опасности — несчастье близко! Оно за порогом.

А почему тетушка Марьям говорила по-русски? Тут тоже есть объяснение. Она была русской, эта тетушка Марьям, и звалась по-настоящему Марией. Это мы перекрестили ее в Марьям, в привычное для узбекского уха имя. Позже я узнал, что, кроме имени, у тетушки Марьям было еще и отчество, и произносилось оно так — Александровна. Целиком — Мария Александровна. По-нашему же, Мария, дочь Александра, так же, как я — Назиркул сын Сафара.

Самое непонятное во всем сказанном мною — как тетушка Марьям попала в наш дом? И зачем попала?

О, это целая история!

Мой брат Манзур работал учеником в кузнице дяди. Не знаю, старательным он был учеником или нет, но каждый вечер жаловался отцу:

— Весь день махать кувалдой и получать за это одну лепешку — есть ли работа неблагодарнее!

Отец и матушка на эти жалобы обычно отвечали:

— Хлеб ученика всегда горек, но когда руки твои станут крепкими, лепешка покажется слаще и сытнее. Ремесло даст тебе не только хлеб, но и масло.

Однако брат мой не попытался вникнуть в суть этой мудрости. Он бросил кузницу и перешел в медницкую, к мастеру Азизу. Джизак славился двумя медниками — уста Шайманом и уста Азизом. И если старого Шаймана называли первым в числе волшебников медницкого искусства, то Азиз был вторым. На его черном от жара и копоти лице всегда жила улыбка, а губы роняли душевные слова. Умел уста Азиз во всем находить светлое и радостное, конечно, это не спасло его от печали расставания с миром, но говорили, что и на смертном одре в последнюю минуту медник улыбнулся.

Вот к такому доброму человеку и пошел в ученики мой старший брат Манзур. Видимо, характером они сошлись, потому что теперь, возвращаясь домой, брат больше не жаловался на тяжесть молота и на ущербность хозяйской лепешки. Через год из рук Манзура стали выходить поблескивающие в лучах солнца кумганы и половники, не говоря уже о всяких немудреных хозяйственных мелочах, так необходимых в каждом доме.

— Слава богу, Манзур наш узнал вкус хлеба, приобретенного собственным трудом. Он может прокормить не только себя, но и семью, — сказала как-то отцу матушка. — Не пора ли подыскать сыну невесту?

— погоди, ташкентская, — ответил отец. — Хлеб — это еще не все. Пусть почувствует, где у человека правая, а где левая рука, и превратится из ученика в мастера.

Мне казалось, что Манзур давно уже мастер. Он ловко действовал паяльником и из старой, вовсе никудышной вещи мог сделать почти новую. На моих глазах дырявый, пожеленевший кумган превращался в сказочный сосуд, поблескивающий на солнце золотом — чистая медь так похожа на золото!

Возвращаясь из школы в свою махаллу, я часто заглядывал к брату. Мне доставляло удовольствие смотреть, как он чародействует у горна, как умело двигаются его руки. Манзур обычно просил меня раздувать мех, что я делал весьма охотно. Рядом все было нагляднее и понятнее, да и огонь согревал — в холодное время в Джизаке трудно отыскать тепло.

Однажды в конце дня я по обыкновению зашел к брату, чтобы посидеть у горна до закрытия базара, а потом вместе отправиться домой. Но Манзур уже закрывал мастерскую.

— Пойдем к мингбаши,— сказал он.— Надо отнести эти ведра.

На пороге стояла целая компания белых, сверкающих цинковыми боками ведер. Мне Манзур дал два ведра, остальные нацепил себе на руки. Так, гремя железом, мы зашагали на край базара, к канцелярии тысячника. Ведра гремели глухо и сердито, как будто понимали, что их несут не куда-нибудь, не к простому мыловару или кожевнику, а в канцелярию мингбаши, к самому правителю Джизака. Честно говоря, я тоже испытывал некоторую гордость и робость — не так часто приходится мальчишкам переступить порог, а с сознанием своего права на это: ведь я был братом мастера, изготовившего такие необходимые для управления городом вещи, как цинковые ведра. Господин мингбаши их ждет не дождется.

Увы, мингбаши я не увидел. Он не снизошел до того, чтобы принимать ведра. Во дворе канцелярии нас встретил писарь — русский мужчина лет пятидесяти. По-узбекски он говорил плохо, настолько плохо, что мы с братом ничего ровным счетом не поняли, лишь по жестам писаря догадались — нам надо стоять на месте и ждать, когда вынесут деньги. Прежде чем удалиться, писарь старательно просмотрел ведра на свет — нет ли дырок, проверил пайку швов и прочность дужки.

Мы приготовились к долгой и утомительной процедуре вытягивания денег у писаря. Оказывается, сделать ведра и сдать их заказчику не так уж сложно, сложно получить вознаграждение за свой труд. Можно стоять час и два, а то и полдня, пока о тебе вспомнят и вынесут несколько серебряных монет. Будь лето или даже осень, такое ожидание мне лично доставило бы удовольствие — стой или присядь на корточки и смотри, как пробегают полицейские и как кричит на них элликбаши — во дворе помещался и полицейский участок. Однако была зима, точнее, начало зимы, и холодный ветер довольно бесцеремонно хозяйничал в дырах наших халатов. Головам и рукам доставалось изрядно, не говоря уже о ногах, ничем не прикрытых, если не считать коротконосых кавуш. Переминаясь и поживаясь, мы стояли так и ждали возвращения писаря.

Не знаю, долго ли бы мы так продержались? Но, на наше счастье, отворилась дверь, не из канцелярии, нет, и не из полицейского участка, а из небольшой пристройки, что ютилась рядом с воротами, из нее выглянула женщина, уже немолодая, с негустой сединой в волосах, и поманила кого-то пальцем. Именно кого-то. Мы с братом не могли предполагать, что жест этот адресован нам, и продолжали при-

плясывать на холоде — холод, увы, от присутствия старушки нисколько не уменьшился. Тогда она перешагнула порог и еще старательнее помахала рукой.

— Эта женщина, кажется, смотрит на нас, — сказал брат. — Не подойти ли нам к ней?

— Конечно, подойти, — согласился я, и согласился не ради удовлетворения любопытства брата, а ради того, чтобы сдвинуться с места и немного отогреть озябшие ноги.

Старушка принесла нам удачу. Едва мы сделали попытку приблизиться к ней, как отворилась дверь канцелярии, вышел писарь и вручил Манзуру деньги. Засунув серебро в бельбэг — поясной платок, брат решительно шагнул к пристройке, на пороге которой все еще стояла женщина. Она распахнула дверь настежь и жестом пригласила войти. Не знаю, как брат, но я охотно принял это приглашение — из комнаты доносилось хоть и невеликое, но все же тепло. Мы сняли кавуши и ступили босыми ногами на коврик, цветастый, мягкий, сплетенный из множества лоскутков.

Комнатка была чистенькая и беленькая, но уж слишком маленькая. Кажется, сделай шаг-другой — и упруешься в противоположную стену. Потолок свисал прямо на голову. Крошечное оконце, занавешенное марлевыми квадратами, глядело во двор канцелярии. Через него-то женщина и увидела нас — занавеска была чуточку отдернута. В углу стояла железная кровать, покрытая серым одеялом, поверх которого, у изголовья, лежала подушка. Подушку венчала накидка из кружев или какой-то узорчатой ткани, почти прозрачной. Такая же ткань выглядывала ровным ободком из-под одеяла. У оконца ютился небольшой столик под светлой клетчатой скатертью и на нем вазочка, не то для сахара, не то для конфет. Но ни сахара, ни конфет в ней не было.

Обстановка удивила меня, и я с самым откровенным интересом разглядывал ее. Мы дома жили на полу — сидели, спали на паласах, под сандалом. Здесь, у русской женщины, каждая вещь была поднята на ноги и довольно длинные: стул, например, и особенно стол имели высокие, как у козы или коровы, ноги. Кровать тоже высилась на подставках. Но самым необычным была белизна, режущая глаз. Все белое, даже шкафчик, пристроившийся в самом углу комнатки. Шкафчик этот занимал меня больше всего. За его стеклянной дверцей поблескивали какие-то бутылочки, баночки, стаканчики. И от них, именно от них, исходил незнакомый запах, щекочущий нос своей остротой и необычностью. Такого запаха я не встречал еще. Потом я узнал, что это запах лекарств.

Женщина смотрела на брата, и лицо ее становилось почему-то ласково-добрым, словно старушка узнавала кого-то в Манзуре. И на меня она смотрела так же. Не знаю почему, но я ответил улыбкой. Бывает такое между чужими, незнакомыми людьми — глянут друг другу в глаза и улыбнутся. Наверное, в глазах старушки светилось что-то приветливое.

Потом она опустила взгляд на мои ноги — босые, синие от холода — и покачала сокрушенно головой. Ей невдомек было, что босым я хожу всегда и призыв к холоду, как привыкают к ветру, жаре, дождю, снегу. Старушке хотелось чем-то помочь нам, но единственное, что она могла сделать, это предложить нам сесть. Брат поколебался с минуту, потом не совсем уверенно опустился на табуретку, на самый край. Противоположный край занял я. Так, уподобившись двум воробьям, оседлавшим одну ветку, мы замерли, ожидая, что последует далее.

Старушка рассмеялась, но не обидно, и мы тоже рассмеялись. Потом она торопливо заговорила. Что она говорила, ни я, ни брат не поняли. Руки ее помогали губам, и не только руки — и глаза, и брови, и даже морщинки на лице, — все двигалось, все силлось что-то передать, объяснить. Я ошибся, сказав, будто мы ничего не поняли. Брат, оказывается, понял. Он поднялся, прошел в угол, осмотрел его, потом поднял глаза к потолку и что-то там выглядел. Ладонями нарисовал круг и повел его от пола вверх. При этом он улыбался, и старушка улыбалась и кивала головой.

— Печка, — сказала она.

— Печка, — повторил брат.

Старушка опять заговорила, но теперь уже спокойно, и руки ее больше не кружили в воздухе. Они лежали на груди, придерживая края большой серой и, наверное, теплой шали, которая укрывала ее худые плечи. Теперь я почувствовал, что в комнате было прохладно, и эта прохлада, не замеченная вначале, подбиралась и ко мне, заставляла поежиться.

Заказ был принят. Манзур поклонился, давая понять хозяйке, что нам пора уходить. Она порылась в своем белом шкафчике, достала кошелек, долго перебирала в руках монеты, которых, видимо, было слишком мало для платы за будущую печь, и нерешительно протянула брату. Манзур отстранился.

— Потом, — сказал он. — Сейчас не возьму...

Кроме слов, рукой выразил свой отказ и тем смутил старушку.

Она недоуменно покачала головой.

— Потом,— повторил брат.— Твоя якши мамашка...

Из этого старушка должна была понять, что ее считают хорошим человеком и верить ей.

Перед дверью она остановила нас и, показав пальцем на брата, произнесла:

— Как тебя звать, сынок?

На этот раз мы действительно не поняли ничего. Но, как говорится, птица слышит песню подружки, даже когда та молчит, поэтому брат уловил смысл вопроса, хотя и не знал, как ответить. Хозяйка помогла ему. Показала на себя и сказала:

— Мария... Мария Александровна.

— А?!— догадался брат.— Манзур.... Я — Манзур.

— Спасибо, Манзур,— улыбнулась старушка и похлопала брата по плечу.

Мы должны были идти домой. Куда еще может направиться человек после трудового дня, проголодавшийся и перемерзший? Но брат потащил меня снова на базар, в медницкую, что, прямо скажу, не доставило мне никакого удовольствия. Однако брат есть брат, к тому же старший. Пришлось подчиниться.

— Холодно старушке,— пояснил он, отворяя дверь мастерской.— Надо посмотреть, хватит ли железа на печь и трубы.

Смотрел он долго.— Я думаю, это была хитрость. Разве измеряют железо с помощью ножниц и молотка? А именно ножницами Манзур орудовал, пока я, прижавшись к остывшему горну, смотрел, как соседи закрывали свои мастерские и почти бегом покидали холодный базар.

— Эй, Манзур!— говорили некоторые, заглядывая по пути в медницкую.— Уж не присмотрел ли ты невесту и не готовишь ли дорогой калым... Или разбогатеть решил смолду...

Брат не отвечал — невесты у него не было, это я знал точно. А вот насчет богатства следовало задуматься. Мы только что сдали шесть ведер мингбаши и получили плату. Зачем же опять спешит мой брат? Или хочет за день переделать всю работу, которая есть в Джизаке, и собрать все деньги, припрятанные у заказчиков?

Наивный, я не подозревал истинных чувств Манзура. За эту работу он не взял со старушки ни таньга, лишь вернул стоимость железа. Ну, об этом стало известно потом. Пока же я, замерзший, изголодавшийся, судил брата самым безжалостным судом и называл мысленно последним скрягой Джизака.

Домой мы вернулись поздно, и когда матушка спросила о причине задержки, брат мой, вместо того, чтобы свалить все на писаря, вынудившего нас ждать расчета, стал рассказывать о тетушке Мариц и ее печке. Самое странное было в том, что матушка не поругала брата, напротив, вздыхала вместе с ним и в заключение произнесла:

— Пусть хоть тепло скрасит одиночество несчастной женщины.

Вот так случайно и незаметно вошла в наш дом тетушка Марьям. Вошла и стала близким человеком. Вы удивитесь! Из чего это видно, что она вошла в наш дом? Э, вы не знаете, что произошло вслед за историей с железной печкой. Брат, взявший на себя заботу о старушке, сказал матери:

— А не пригласить ли нам бедную женщину в гости? Ведь, кроме мингбаши и полицейских, она никого не видит из своей комнаты...

Легко догадаться, что матушка тотчас откликнулась на слова Манзура, и в следующий четверг в наш дом пришли гости — тетушка Марьям и уста Азиз. Почему уста Азиз? Да потому, что он умел говорить по-русски, и еще потому, что был душевным и общительным человеком, и без него вечер был бы не теплым осенним вечером, а холодной зимней ночью.

Так это был теплый осенний вечер, хотя на дворе и гулял холодный ветер. На сердце каждого светлел добрый огонек. Всем было хорошо у сандала. Я сидел рядом с матушкой и смотрел на гостей. Особенно на мастера Азиза, который выполнял роль переводчика, превращая незнакомые слова тетушки Марьям в ясные и понятные всем. С его помощью мы узнали, как эта русская женщина попала в Джизак. Оказывается, дорога к нам не проста и полна горестей и слез. Тетушка Марьям потеряла сына — не просто потеряла, он не умер, полиция арестовала его и сослала в Туркестан. За любимым сыном поехала мать, чтобы поддержать его в изгнании, быть рядом, сберечь от невзгод. Но сына своего Мария Александровна не нашла. Его снова судили, уже в Туркестане, за участие в антивоенной демонстрации и упрятали в самаркандскую тюрьму. Жить в большом городе матери политического преступника не разрешили, и вот она оказалась в Джизаке под надзором полиции. Власти решили, что здесь она, не зная местного языка, не сможет общаться с населением и, следовательно, распространять антиправительственные идеи. Работала Мария Александровна медицинской сестрой в больнице и каждую неделю регистри-

ровалась в полицейском участке. Благо участок находился тут же во дворе.

Я мало что понял в этой сложной человеческой истории. Да и тетушку Марьям не понимал. Она была не похожей на других женщин. Глаза ее, очень синие и добрые, светились какой-то решимостью, каким-то негасимым огнем, таким естественным для старой женщины. И в то же время в них постоянно жила скорбь. Скорбь эта чувствовалась и в ее словах, в голосе, хотя он и звучал мягко и ласково. Я подумал тогда, что тетушка Марьям очень любит своего сына, если поехала так далеко. Одно меня озадачивало — зачем люди так мучаются, нельзя ли попросить царя освободить парня и вернуться вместе в Петроград и жить спокойно? Вопросы такого я не задавал, но он донимал меня.

Не скажу, что сердце мое сразу потянулось к доброй старушке. Я любил людей веселых, улыбчивых, таких, как уста Азиз. Не понимал еще, в чем красота человека. Но все сказанное ею запомнил. Надолго запомнил. А вот остальные как-то сразу приняла Марию Александровну. И прежде всего моя матушка. Она весь вечер не спускала с нее глаз и каждое слово гостя выслушивала с волнением. Кивала головой сочувственно и вздыхала. Матушке была понятна судьба этой бедной женщины.

В тот вечер тетушка Марьям была лишь гостьей нашего дома, доброй гостьей, и никто не знал, что простое знакомство перерастет в дружбу и даже своеобразное родство и что судьба джизакцев станет судьбой этой одинокой русской женщины.

Минуло немного времени, и мать назвала тетушку Марьям своей сестрой. И произошло это следующим образом.

В ту зиму мать моя захворала. Холодный ветер, что метался по Джизаку и настигал каждого, лишенного теплого халата, ожег и матушку своим ледяным дыханием. Сгорая от жара и неистово кашляя, она слегла. Трудно было свалить с ног неутонимую Рахат, это знали все. Да и я впервые увидел магь, беспомощно лежавшую в постели. Глаза ее сверкали болезненным блеском, и он пугал меня.

Когда человек заболевает, значит, в него вселились злые духи, так говорили в Джизаке. Так говорила матушка. Поэтому она послала мою старшую сестру Хамри к знахарке Навватбахши, известной в округе изгонительнице всякой нечисти из человеческого тела.

— Навватбахши можно верить, можно не верить, — поддерживали решение матушки соседки, — но оттого, что пригласишь ее, ничего не убавится в доме, кроме овцы или козы.

Овцы у нас не было, не было и козы. Однако коза стоила дешевле, и матушка, вынув из своего сундука несколько таньга, сбереженных на черный день, велела Хамри купить у соседей козочку. Козочка предназначалась духам в качестве жертвы.

Изгнание духов — событие. Все соседки и несоседки стеклись в наш дом. Не знаю, зрелище ли привлекло женщин или коза, наверное, коза, сваренная в крутом бульоне. Ее полагалось раздавать по кусочку всем присутствовавшим. Народу во всяком случае оказалось много. Когда приехала на своем черном осле Навватбахши, дом был полон. Знахарка, едва переступив порог, велела заколоть козу и положить ее в котел, а потом уже направилась к больной. Она не посмотрела на матушку, метавшуюся в жару, а распорядилась зажечь светильники. Огни расположили на белой бязи кольцом, в центре оказалась матушка. Таким же кольцом сели старухи, явившиеся вместе со знахаркой. Грохнул бубен. В такт ударов старухи опускали руки на тело матушки и так тяжело, что она каждый раз откликалась стоном. Избивая больную, старухи будто бы изгоняли из ее тела духов. Навватбахши в это время производила какие-то таинственные движения руками, закатывала глаза к небу и шептала никому не понятные слова.

Поскольку коза была молодой, то поспела на огне быстро, и аромат разносился по двору. Поэтому, сделав еще несколько движений под бубен, знахарка прекратила церемонию, заявив, что духи, кажется, уже покинули бедную Рахат и теперь надо поскорее приобщиться к жертве, то есть к козе, сваренной в крутом бульоне.

Собственноручно Навватбахши разделила козу на части. Спину и ляжки положила в таз, привезенный ею, и накрыла холстом — это был куш самой знахарки; голову, ноги, ребра раздала своим голодным старухам, остальное досталось присутствовавшим на церемонии соседкам. Я лично не удостоился даже косточки, хотя именно мою бедную матушку Сили нещадно старухи и именно наши таньга пошли на покупку несчастной козы...

Матушка не поправлялась. Да и с чего было поправиться? Кулаки старух не такое целебное средство, как казалось Навватбахши. Думаю, что если бы матушка съела ту долю козы, которую увезла знахарка на своем черном ишаке, у нее хотя бы сил прибавилось в борьбе с недугом. А теперь она вовсе ослабла, стала задыхаться и хрипеть. Надо полагать, духи не покинули ее тела, наоборот, они почувствовали себя в нем хозяевами.

Соседи горестно качали головами, сестры плакали — они уже прощались с матушкой. Вот тут-то и появилась тетушка Марьям. Привел ее брат Манзур. Помню, она вбежала в наш дом встревоженная до крайности. И первые слова ее были:

— Ах, боже, боже!

А когда выслушала матушку, сокрушенно покачала головой и погрозила пальцем Манзуру — это надо было понимать как укор. Брат слишком поздно обратился за помощью.

Я не знал силы медицины, она просто не существовала для меня, джизакского мальчика. Таинства Навватбахши были впечатляющими, они выходили за рамки реального и потому заставляли трепетать благоговейно каждого, кто видел ее священнодействия. К появлению же тетушки Марьям я отнесся как к чему-то обычному и был разочарован, увидев в ее руках маленький чемоданчик из фанеры, пахнувший лекарствами. Чемоданчик не таил в себе ничего необыкновенного — бутылочки, скляночки, трубочки. Все это скромно пристроилось на полу и время от времени бралось в руки. Ни бубна, ни светильников, ни загадочного шепота.

Тетушка Марьям провела у нас почти всю ночь. Ушла перед рассветом, а утром вернулась с пожилым человеком, украшенным небольшой седой бородкой. Фамилия его была Самецкий. Родители мои знали этого человека и обрадовались, когда он переступил порог дома. Самецкий являлся врачом городской больницы. В доме запахло еще сильнее лекарствами. И хотя я не любил противный их запах, пришлось дышать им, и дышать не один день. Что ж, это не такая уж большая плата за счастье видеть матушку здоровой. На другой день она почувствовала себя лучше, а через неделю вообще встала с постели.

Отец сказал тогда:

— Оказывается, для спасения человека вовсе не нужна коза. Нужна наука, или, как ее называют, — медицина...

Матушка не приняла в расчет слов отца о медицине. Она в своем спасении увидела только доброту человеческого сердца.

— Э-э, что там наука ваша, — махнула она рукой. — Если бы не Марьям, Рахат давно бы лежала в земле. Жизнью обязана я сестре своей...

С того дня тетушка Марьям считалась нашей родственницей — сестрой матери. Наш дом был всегда открыт для нее, и ее дом — для нас. Ни один семейный праздник не обходился без Марии Александровны. И не только празд-

ник. Бывало, сварит матушка плов и сейчас же зовут Манзура:

— Ну-ка, сынок, снеси эту касу тете Марьям, пусть отведает горячего плова.

Со свежими лепешками обычно бегал я. Прямо из тандыра в платок — и в канцелярию. Руки по дороге жжет от горячего, но терпишь. Зато Мария Александровна остается довольна. Принимая гостинец, она, конечно, немного пожурит меня. Скажет:

— Ну зачем?... Ну зачем!— А потом улыбнется и погладит меня по голове:— Вот ведь как бывает... Не гадала, не чаяла, что обрету близких вдали от России. Как мне отблагодарить вас?

Эти слова Марьям-апа повторяла часто, уста Азиз перевел их нам. Я помнил эти слова, и когда слышал их, улыбался. Для меня они стали понятными.

Мне хотелось сделать тете что-нибудь приятное. Самому сделать. Мысль эта вынашивалась долго, но жизнь мальчишки и его дела так далеки от жизни взрослых, что никак не найдешь желаемого. Но вот однажды...

Впрочем, об этом надо рассказать поподробнее. Радость не приходит вдруг, ее отыскиваешь. Я отыскал.

Было это весной. Ранней весной. В такие дни джизақыы обычно собирали в степи шпинат. Женщины делали из него начинку для самсы — пирожков, испеченных в тандыре. За шпинатом посылали нас, мальчишек. Прихватив торбочки, мы шли в степь и там на еще влажной от весенних дождей и недавнего снега земле находили крепкие, сочные стебли шпината.

Не всегда, конечно, поиски завершались успехом. Иной раз ходишь-ходишь по ложбинкам и склонам холмов и, кроме жухлой прошлогодней травы, ничего не увидишь. Так случилось и на этот раз. Посылая меня в степь, матушка предупредила:

— У нас будут гости, без шпината не возвращайся.

Прихватив с собой ребят, я отправился к холмам. День выдался солнечный. Теплый весенний ветерок подгонял нас, и через какие-нибудь полчаса мы оказались у склонов. Здесь нас, увы, ожидало разочарование. Шпината не было. Вообще ничего не было — голая земля, от которой поднимается вверх, навстречу солнцу, легкий прозрачный пар.

Мы добродили по склонам, поиграли в чехарду, поохотились на сусликов, только-только выбравшихся из нор, и решили вернуться домой. Друзьям моим возвращение не сулило ничего неприятного, но матушка предупредила меня о

последствиях такого торопливого решения. Поэтому я сказал друзьям:

— Что я отвечу матушке, когда она спросит о шпинате?

— Ответишь, что находится в пути из царства зимы в царство лета.

— Мой ответ в самсу не вложишь и не испечешь в тандыре.

— Значит, не будет самсы,— засмеялся Адыл.

— А будут обыкновенные лепешки,— добавил Сафар-чиканак.

Я рассердился:

— Вам весело, а каково мне? Пойду поищу шпинат.

— Ну и ищи, если ног не жалко...

Мне было жаль ног, но все же я побрел по склону. Упрямство толкало меня на новые поиски, а может, и не одно упрямство — не хотелось представлять перед матушкой с пустыми руками. Во всяком случае я шел и еще внимательнее, чем прежде, оглядывал землю. И тут судьба подарила мне удачу.

На южном скате холма, под самыми лучами солнца, я вдруг увидел три крошечных стебелька, сплетенных бледно-зелеными, почти белыми пальцами над нежно-желтой горошинкой. Все это едва поднималось над землей и казалось случайно оброненной кем-то серьгой. Прошла вроде по склону весна и уронила солнечный цветок. Только что уронила — ведь я недавно был на этом месте и ничего не видел. Чудо родилось в какое-то мгновение.

Сердце мое забилось от радости — не каждому удастся увидеть первый весенний цветок. Именно первый. Он принесит счастье. Я упал на колени и ножичком вырыл подснежник из земли, вместе с луковкой вырыл. И лишь когда цветок оказался на моих ладонях, я закричал:

— Подснежник!!!

На крик прибежали ребята. Радость всех была настолько велика, что никаким словом нельзя было ее выразить. Адыл запрыгал, как ягненок, а Сафар-чиканак стал кувыряться, на что был великий мастер. Потом все вместе мы хором прокричали:

— Подснежник! Подснежник!

На всю степь разнеслась наша радость, и оказавшись поблизости кто-нибудь из взрослых, он, безусловно, поспешил бы к нам, чтобы увидеть вестника весны: подснежник приносит счастье.

— Теперь бежим в город и будем показывать людям цветок! — предложил Адыл. — Нас одарят подарками.

— Бежим!— согласился я.

— Дай хоть подержать его,— попросил Сафар-чиканак.— Я никогда не держал в руках подснежник, может, он принесет мне счастье. А то учитель все бьет и бьет меня...

Мне не хотелось расставаться с цветком, но просьба друга была такой душевной, что я дал ему подснежник. Подержать, разумеется. И когда он посмотрелся на него и еще поцеловал, цветок вернулся на мою ладонь.

У калитки первого же дома мы запели громко и радостно, как могли:

Сквозь землю сырую пробился,
Вестником солнца явился —
Подснежник,
Подснежник,
Мал твой зеленый росток,
Но золотом светит глазок —
Подснежник,
Подснежник!
Кто первый глазок приметит,
Тот счастье в жизни встретит —
Подснежник,
Подснежник!

Из калитки выбежали дети и женщины. Самая молодая, что, конечно, мечтала о счастье, высыпала в наши пригоршни сушеного урюка, старуха дала мне лепешку с тмином.

— Пусть будет изобилие,— сказала она,— а все худое пусть сгинет!

Дети пошли за нами. Теперь уже не три голоса, а целый десяток повторял слова песни. Каждая калитка награждала нас добрыми словами и сладостями, и когда я вошел в собственную калитку, бельбаг мой был полон всякой всячины, а рот набит урюком и изюмом. Я уже не пел, только показывал подснежник и улыбался счастливо. Мне казалось, что обладание первым цветком весны уже само по себе предопределяет мое счастливое и беззаботное будущее и ни о чем не следует беспокоиться, кроме как о сбережении цветка. Поэтому я держал его крепко в руке и показывал людям лишь на короткое мгновение, как величайшую драгоценность.

Матушка, конечно, обрадовалась, но не настолько, чтобы забыть о шпинате. Пришлось без улыбки объяснить ей, каково положение в природе и повторить слова Адыла насчет долгого пути от зимы к лету. На «нет», говорят, и су-

да нет. Поэтому матушка, поцеловав меня в лоб и поздравив с удачей, принялась заменять шпинат луком — самса должна была все же появиться на свет.

— У нас гости,— сказала она и посмотрела как-то странно на мой подснежник.— Как ты думаешь, Назиркул, кому, кроме тебя, еще необходимо счастье в жизни?

Этого я не знал. Тогда матушка вздохнула и показала на михманхану, где слышались голоса гостей. Два голоса — уста Азиза и тетушки Марьям. Но матушка, кажется, слышала лишь один голос — своей сестры Марьям. Я понял. И не только понял: сердце все вспомнило, да-да, вспомнило о желании сделать Марьям Александровне что-нибудь приятное, очень приятное.

Я кивнул матушке и пошел в комнату.

Все почему-то смолкли, когда я остановился на пороге. На лице моем, наверное, было написано величайшее счастье, торжественность была написана. Я запел песенку про подснежник и протянул Марии Александровне цветок. Оказывается, она знала этот цветок. Глаза ее светились улыбкой, и вся она засветилась. Приняла подснежник. Потом обняла меня и поцеловала. И когда поцеловала, я почувствовал на своей щеке горячую каплю. Тетя Марьям плакала. Почему плакала, не знаю. Наверное от радости. Ведь это радость — получить в подарок цветок весны...

Теперь, рассказав все и объяснив, как русская женщина оказалась в нашем доме, я могу уже не описывать подробностей того тревожного вечера, взволновавшего весь Джизак. Тетушка Марьям вбежала в калитку, и первыми ее словами были слова несчастья:

— Беда, беда, милые мои!

Матушка ввела гостью в комнату, а отец затворил крепко калитку. Затворил и сказал нам:

— Вы взрослые, нужно ли предупреждать вас, что вы не видели тетушку Марьям и не слышали ее слов?

Мы кивнули.

После этого он тоже вошел в комнату. Вошел и захлопнул за собой дверь.

Теперь я понял: действительно, нас настигла беда...

КАПЛЯ, ПЕРЕПОЛНЯЮЩАЯ ЧАШУ

Да, наступил тот день, когда люди должны были узнать правду...

Кто-то должен был сказать ее, громко, открыто. Но эту правду скрывали. Видно, нелегко и небезопасно объявлять

то, что направлено против человека, уже хлебнувшего из чаши бедности немало горя.

Пожалуй, чаша — не то обозначение. Допустим, мир — огромный пруд, или хауз, как мы его называем, и он полон до краев заботами и лишениями. Наши отцы и матери в те далекие времена, терзаемые голодом и жаждой, пили из этого хауза не воду, а горе. С какой бы стороны ни подходил к пруду бедняк, как бы ни ловчился, как бы ни пристраивался, надеясь хлебнуть живительной радости, в рот ему попадала соль слез и горесть отчаяния.

Еще глоток ему предстояло выпить из этого хауза. Последний глоток. Вот почему Джизак так взволновался и так ожесточился. Еще точно не зная, какова мера последнего глотка, люди уже стонали и плакали. Неизвестное всегда кажется страшным. Оно с каждой минутой растет в своем стремлении напугать человека. И в конце концов он в отчаянии вступает в борьбу с этим неизвестным.

Весь Джизак пока что метался в страхе. Почти весь, если не считать хафизбаев, бабаханов, сиддыкханов и прочих баев города, которые после посещения полковника Рукина успокоились и затихли. Когда какой-нибудь наивный дубильщик кожи или ткач обращался к ним с беспокойным вопросом — что же будет? — они, подняв глаза к небу, отвечали:

— На все воля божья!

Конечно, ссылака на бога мало что объясняла дубильщику, и он шел дальше, к другим, более простым людям, за советом.

Задающих вопросы было так много, что, естественно, они не могли вместиться в доме или дворе. Они собирались на перекрестках — гузарах, где, как правило, стояли чайханы и ютились лавчонки со всякой хозяйственной мелочью. Базар нашей махаллы был самым оживленным в городе. Здесь пролегали дороги за город, и бесчисленные арбы постоянно сновали взад и вперед. Арбакеш, минуя гузар, нет-нет да и задержится на минутку, а то и на часок, выпьет чаю, поболтает со сведущими людьми, сам что-нибудь расскажет. Задерживались здесь и горожане: мало ли что требуется человеку, хотя бы тот же чай или та же соль, без которой самая добрая шурпа кажется пресной. Или спички, или обыкновенный гвоздь. В общем, на перекрестке всегда люди. Много людей.

Каждый гузар славился чем-нибудь. То чайханой, то кузницей, то лавкой со сладостями. А то и того проще — вкусными лепешками, жирным пловом, какими-нибудь сви-

тульками или куклами. Наш гузар был известен самсой деда Урунбая. Не помню уже, чем она отличалась от самсы, скажем, какого-нибудь Хашима или Гафура, но слава ее была велика. Чуть ли не со всей махалли люди стекались к нашему гузару, чтобы отведать самсу Урунбая.

О самом Урунбае тоже шла добрая слава. Он продавал самсу, но никогда не брал в руки денег. Появившись на перекрестке, Урунбай-ата ставил таз с самсой на супу чайханы, а сам удалялся в мастерскую Мирбака. Бедному Мирбака, составлявшему из осколков чайники и пиалы бедняков, приятно именовать собственный закуток мастерской, а себя считать владельцем дела. Так вот, Урунбай-ата оставлял тазик с самсой на супе и шел к чигачи отвести душу беседой. Беседа доставляла удовольствие, к тому же сопровождалась чаепитием. Пока текла неторопливая беседа мастера самсы и мастера пиал, тазик на супе постепенно опустошался.

Так, без хозяина, шла торговля, выручка складывалась тут же около тазика, и люди меняли деньги и брали сдачу, если она им полагалась. Когда кто-нибудь подходил к Урунбай-ата и высказывал на ухо свои сомнения или подозрения, мастер самсы равнодушно отмахивался:

— Э-э, зачем мне считать деньги,— говорил он.— Пусть сам бог пошлет справедливость и обилие.

— Нехорошо,— укоряя Урунбай-ата сомневающийся.— Деньги счет любят, мало ли на свете бесчестных...

— Так пожелайте им совести, брат!

— Мои пожелания или даже молитва мало что прибавят таким людям. Ведь у человека пять пальцев, и все разные.

— Вы правы, брат, лес без волков не бывает. Но, слава аллаху, сорок лет кормлю людей и семью этой самсой и пока еще здравствую. Не был голоден, но и не лопнул от сытости. Стану ли теперь богаче, если начну подсчитывать выручку!

Так отвечал сомневающимся Урунбай-ата и приносил новый тазик горячей самсы и ставил на прежнее место.

Утоляя жажду крепким чаем и потчюя им зайчика посуды, Урунбай-ата нет-нет да и положит перед Мирбака пару румяных самса. Тот жужжит сверлом, старательно углубляя дырку на фарфоре, чтобы вставить в нее потом клепку и соединить осколки, и не смотрит на угощение. Бедному чигачи хочется отведать горячей самсы, но неловко сделать это без вознаграждения, а вознаградить пекаря нечем — гроши, которые зарабатывает он, ремонтируя битую посуду, нужны

семье. Урунбай-ата знает это и еще ближе подсовывает другу самсу.

— А ну, кончайте, дружище, работу,—говорит он.—Мирские заботы никогда не иссякнут. Отец ваш не знал покоя, да так и расстался с нами в хлопотах. Прервитесь, чтоб отведать горячей самсы, всех дел все равно не переделаешь. А эта самса особенная, она увидела лик божий.—И Урунбай-ата переворачивает самсу, показывая испачканный золотой бок.—Слетела со свода тапдыра, не дождавшись, пока ее снимут. Торопящихся глянуть на небо, я отдаю только своим друзьям. Отведайте-ка, дружище!

Конечно, разве можно устоять против такого соблазна? Мирбака берет самсу и кладет в рот, а пекарь наливает ему в только что отремонтированную пиалу свежий чай и приговаривает:

— Поражен вашим искусством, Мирбака. Вы вернули жизнь пиале, которая расколосась на девять частей. Стоит ли чапан заплаты? Дешевле купить новую пиалу, чем ремонтировать старую.

— Видать, милый отец, вы не знаете, что есть и пить из посуды, которая живет вторую жизнь, дело благородное.

— Конечно, хотя их благородие ишан Бабахан или его светлость Хафизбай, я слышал, пьют чай из китайских пиал прозрачного фарфора с серебряным звоном. А клепаная пиала, как известно, звона не издает. Впрочем, тонкое ухо может услышать звон и в разбитой пиале, именно по этой причине я пользуюсь своим старым чайником, который давно отжил свой век и не раз побывал в ваших искусных руках...

— Вы делаете доброе дело,—заключает Мирбака, проглатывая остатки самсы. «увиденшей лик божий».—Бог не забудет вас на том свете...

— На это я надеюсь,—соглашается Урунбай-ата.

Как читатель уже догадался, горячая самса и добрый пекарь Урунбай были причиной того, что народ всегда толпился на гузаре. Когда бы вы ни заглянули на перекресток, там шумели десятки джизакцев, пили чай или ели самсу, кроме, конечно, пятницы, когда мусульманам подагалось поститься.

Но в эту пятницу правило было нарушено. Народ шел к гузару, хотя в чайханях ничего не продавали и Урунбай-ата не ставил тазик с самсой на супу. Шел возбужденный, встревоженный. В числе нарушивших покой пятницы я увидел самого Урунбая-ата и его сына Курбана. Оба были одеты соответственно праздничному дню, но лица не выра-

жали смирения и кротости, приличествующих истинным мусульманам. Рядом шагал дядя Джайнак. Вернее, не рядом, а в окружении джизакцев — ткачей, кузнецов, шорников, кожевников. Эта движущаяся, разбегающаяся и снова собирающаяся масса людей обтекала дядю, и он то тонул в ней, то вырывался вперед. Он говорил — они слушали. Слушали жадно, стараясь не проронить ни слова. А говорить дядя Джайнак умел хорошо, это я знал. Но не его умение говорить привлекало сегодня людей. Красноречию вряд ли кто придавал значение. Джизакцев потрясали и удивляли сами слова. Дядя ругал богатеев, мулл, мингбаши и элликбаши, честил царя. Всем доставалось от Джайнака. Впервые так открыто звучала запретная речь. И это пугало и в то же время гневало людей, наполняло их сердца смелостью. По лицам я видел, как огонь мужества снисходит на джизакцев.

Чтобы понять, почему мой дядя оказался впереди толпы, надо познакомить вас с этим, таким же необычным, как и Урунбай-ата, человеком. Прежде всего Джайнак-ака не был ревностным мусульманином, никогда не ходил вместе со всеми в мечеть, и никто не видел его молящимся. Одно это делало дядю приметным среди жителей окраины Джизака, где он имел небольшой клочок земли и занимался хлебопашеством. Кое-кто сторонился безбожника, кое-кто побаивался, но большинство соседей уважало Джайнака за трудолюбие и смелость, за умение говорить так, что душа загоралась.

Домик его был простым и бедным. Помню, зашли мы как-то зимой с Адылом, дружкой моим, к дяде и остановились изумленные на пороге. Шел снег, а крыша и стена кухни глядели на белый снег своими дырами и принимали снежинок, словно желанных гостей. Сам дядя сидел под навесом и, несмотря на ужасный холод, что-то мастерил. Тут же лежали хозяйственные принадлежности крестьянина: омач — деревянная соха с медным наконечником, такая же деревянная борона, колесо от телеги, лукошко сеятеля. На стене висели связки белого лука, сушеного красного перца, какие-то мешочки с крупой или семенами. За навесом стоял дом дяди, и через открытые двери мы увидели жену хозяйки, стряпавшую у самого очага.

Прямо с порога мы поздоровались по всем правилам, причем слова произнесли громко, настолько громко, что жители дома должны были если не повскакивать со своих мест, то во всяком случае бросить дела и посмотреть на нас. Но ни дядя, ни его жена ничем не проявили своего

удивления или интереса. Дядя, правда, повернул голову и, не прекращая работы, сказал:

— Здравствуйте, сыночки! Смело входите и не бойтесь — у нас нет ни тигра, ни волка, ни даже собаки...

Издали женщина спросила:

— Чьи это дети?

— А я и сам не знаю, — пожал плечами дядя. — Лица вроде знакомые, но вот где я их видел, убей — не помню.

Он внимательно посмотрел на нас, подумал, ничего для себя не решил и спросил озадаченно:

— Ну, так в чем дело, сыночки, какая просьба ко мне?

Я смолчал, обескураженный приемом, а дружок мой Адыл ответил:

— Отец прислал меня...

— А кто твой отец, сын мой?

Это было уже забавно, и мы с Адылом переглянулись насмешливо.

— Неужели вы не узнаете? Я сын Салима-ака...

— Вай! самого Салима-хуроза сын! — Дядя назвал отца Адыла Салим-хуроз, то есть Салим-петух, за его вспыльчивость. — Ведь ты был беленьким мальчиком! Когда же оспа села на гвое лицо?

— Прошлым летом, — ответил Адыл и опустил голову. Лицо его было покрыто оспинками, которых он стыдился и каждый раз краснел, когда ему напоминали о них.

— Ну, ну, — успокоил мальчика дядя. — Будь мужчиной. Отнимает у тебя природа красоту, так ты умом бери, силой побеждай. Вот нога у меня припадает, что ж теперь делать, не слезы же лить. Держусь...

Утешения нужны, однако они мало помогают страдающему. Мой Адыл никак не мог привыкнуть к оспинкам и смириться с тем, что они вечно будут на его лице. Иногда я видел его плачущим где-нибудь в укромном месте. Мне становилось нестерпимо жаль друга, но я не подходил к нему в такие минуты, дабы не показывать свое сострадание и не увеличивать боль мальчика. Взрослые этого часто не понимали. Учитель наш Миртажанг, чтобы подчеркнуть неестественный цвет лица Адыла — оно стало после оспы черным, — назвал его «Ак бала — белый мальчик». Так это прозвище и осталось за Адылом.

— Да вы, наверное, замерзли, сынки мои! — спохватился дядя. — Идите к очагу, погрейтесь. Эй, мать! Принимай гостей!

Холод был такой, что отказываться или даже просто мед-

лить с принятием приглашения не следовало. Мы подошли к очагу, который источал не только жар, но и аромат кукурузы, фыркавшей и подпрыгивавшей на дне казана. Белые, словно сахар, раскрывшиеся, как цвет акации, зерна высканивали из котла, и мы со смехом ловили их. Когда тепло и рядом пахнет лакомым блюдом, мир кажется веселым и светлым. Даже снег, летевший в распахнутую дверь, не пугал, а, наоборот, радовал. Мы, получив по горсти жареной кукурузы, сидели у очага, грели ноги и смотрели на озорно метавшиеся снежинки.

— Вот снег заладил, — пожаловалась тетя. — Негде детям поиграть.

— Не будь неблагодарной, мать. Бог смилостивился над нами, а ты ропщешь, — откликнулся из-под навеса дядя. — Это не снег, как думают люди, а хлеб. С неба сыплется хлеб!

Для нас слова тети были более приятными. Снегом все же не наешься, хотя его назови хлебом десять раз, а вот играть нам в такую погоду действительно негде. Да и холодно: у меня на ногах, например, только кавуши — ни чулок, ни носков. Глубокий снег так и забирается внутрь, так и жжет голые пальцы. Но тетя не собирается отстанывать свою, нам с Адылом, кажущуюся правильной, точку зрения. Она вспоминает о боге.

— Знаете, дети мои, каждая снежинка находится на плече ангела. Когда ангелы ведут хоровод, снежинки срываются с их плеч и падают на землю.

Я всегда верил всему необычному и таинственному. Мне захотелось увидеть ангелов, и я поднял голову к небу и стал смотреть в молочный хаос, что царствовал в вышине. Однако, кроме снега, пляшущего под унылый вой ветра, я ничего не нашел.

— Тетя, что-то не видно ангелов...

— Сыночек ты мой глупый! Разве ангелы показываются людям? Они открываются лишь пророкам и святым.

— Каким святым? — допытывался я. Мне подумалось, что ишаны тоже святые.

— Которые близко к богу.

— А где они находятся? На кладбище? — Могилы святых я видел на кладбищах.

— Да, дитя, на кладбище. Кладбища — это святые, — неуверенно и испуганно пояснила тетя.

Громкий смех прервал ее. Смеялся дядя:

— Откуда вам все это известно, мать? Не из затрепанных ли книг отинбуви?

— Не сомневайтесь в вере, это озлобит всевышнего,— всплеснула руками тетя.

— Как можно не верить вашим словам, уважаемая,— продолжал смеяться муж.

— Да не моим словам, а откровениям всевышнего!

— Со всевышними я спорить не могу. Знаний не хватает, всю жизнь прожил и ни одной сурь корана не выучил. Некогда было. А вы, дети мои, каждый день небось в школу ходите, твердите молитву за молигвой, что вы можете сказать по поводу угроз тети: гневлю всевышнего или нет...

Дядя подошел к нам, остановился у порога и, подняв голову, стал что-то высматривать на крыше — так мне показалось, а может, на верхушках деревьев. Потом поманил нас с Адылом пальцем. Мы торопливо поднялись и тоже уставились на небо.

— Видишь?— шепотом спросил дядя.

— Что?

— Как что? Ангелов...

— Н-нет,— смущенно признался я.

— А ты?— обратился дядя к Адылу.

Тот отрицательно покачал головой.

— Да что у вас, глаза или дыры в овчине?— смешливо возмутился дядя и тронул пальцем мои брови. — Ну как же вы не видите ангелов? Каждый из них, как большая цапля...

— Умереть мне на этом месте,— по-взрослому поклялся Адыл,— если на небе что-то есть. Пусто...

— Ах, я забыл,— огорчился дядя.— Ведь ангелы показываются только тем людям, которые совершают омовение, а вы, видно, не соблюдаете правил, установленных пророком...

Все это дядя говорил серьезно, и мы не знали, верить ему или нет. Вот только глаза его лукаво искрились, смущали меня. Видя мое колебание, дядя наклонился и шепнул:

— Позови тетю; она, верно, совершила омовение и сможет увидеть ангелов...

Я был слишком робок и потому отказался.

— Тогда ты, сынок,— обратился дядя к Адылу,— спроси тетю, совершила ли она омовение сегодня?

Адыл, не задумываясь, крикнул:

— Тетя, вы совершили омовение?

Ответа, конечно, не последовало: тетя даже не посмотрела в нашу сторону. Тогда веселый дядя подтолкнул Адыла:

— Подойди и ласково попроси рассказать, сколько ангелов на небе?

Друг мой тотчас подскочил к тетушке и зашебетал, как воробей:

— Милая тетушка, пожалуйста...

— Сколько ангелов на небе, ведомо лишь хозяину,— спокойно ответила тетя.

— А кто хозяин?

— Хозяин — бог, который создал меня, тебя, землю, небо и дядю-шутника... Он один знает и имя и число всего созданного.

— И число немалое,— вмешался дядя.— Ведь у каждого ангела на плечах по снежинке, значит, их целая армия.

— Грех выведывать тайны всевышнего,— отмахнулась тетя.

— Зачем же выведывать, зачем грешить, когда и так видно — снег валит, словно тысячи мешков муки высыпают с неба.— Дядя опять подмигнул нам.— Сколько снежинок, столько и ангелов...

— Если и так, то что из того,— простодушно заметила тетя, не предполагая подвоха.

— А то, что их тьма-тьмушая, носятся без дела по небу, а у крестьянина рук не хватает в поле. Помогли бы!

— Свои заботы на бога переложить хотите? На нем вся тяжесть мира.

— Я поражен вами, женушка,— развел руками дядя.— Вы так мудро судите о делах небесных, что нам, темным, и рот открыть нельзя. Не зря вы ходили с книжкой к отинбуви. Я так думаю, отчего бы не родиться вам святой. Теща моя дала маху, произведя вас на свет простой крестьянкой...

— Не смейтесь, и среди женщин были святые, буви Мариям, буви Фатима, буви Зухра... Не смейтесь над женщинами!

— О нет!— делая строгое лицо, согласился дядя.— Это опасно. Но если вы так мудры, то научите нас свершению добрых дел. Вы знаете, что по этому поводу говорил его величество Навои?

— Я не читала Навои,— отмахнулась тетя.

— Вот видите, не читали. А мы хоть и неграмотные, но кое-что знаем. Его величество Навои говорил: «Знающий — друг себе и людям, незнающий и не стремящийся узнать — враг собственной душе». Но кто хочет быть врагом себе самому? Я пытаюсь узнать, заглянуть в тайну.

— Мужчины слишком горды, чтобы учиться у женщин,— заметила с издевкой тетя.

— У вас готов учиться!

— Это говорит ваш язык, а душа — совсем другое.

— Истинный бог! Это сказано от души. Цель слепого увидеть мир хотя бы на одно мгновение, и если женщина способна открыть нам глаза, мы склоним перед ней колени. Вот я попросил ангелов помочь крестьянину. Разве это грех? Может бедный человек помечтать иногда?

— Мечта бедного — молитва, — примирительно сказала тетя. — Вот и помолились бы, вместо того, чтобы тешить душу сомнениями и укорами. Насмешкой сыт не будешь.

— Ой, мудра ваша тетя, — опять подмигнул нам лукаво дядя. — Верно ведь — сколько ни смейся, желудок не наполнится лепешками. Сожалею о начатом. Пусть ангелы летают на небе, а здесь, на земле, нам никто не поможет, кроме нас самих. А потому идемте-ка в комнату, сылки мои, дабы не замерзнуть на ветру...

Я охотно откликнулся на совет дяди и уже направился за ним к двери, но мой дружок Адыл вдруг совсем нехотая вспомнил о причине нашего появления в этом доме.

— Папа прислал меня за семенами...

Дядя остановился.

— Семенами?

Он подумал, хлопнул себя ладонью по лбу, причем сделал это так смешно, что мы рассмеялись, и сказал:

— Да, я, кажется, действительно обещал твоему отцу семена.

Приглашение в комнату к теплому сандалу было тотчас забыто. Дядя прошел под навес, пошарил там в полумраке и вернулся с чашкой, сделанной из сухого плода дыни, вернее из коры, продубленной солнцем. Чашка оказалась наполненной семенами.

— Тебе повезло, малыш, это то, что нужно твоему отцу. Берег с самого лета. Если суждено, отведаете дыню, выращенную из таких семян.

— А как она называется? — полюбопытствовал Адыл.

— Бурикалла... Волчья голова. Человек, отведавший кусочек этой дыни, за вторым куском придет из самой Мекки. Только надо посеять ее в срок и на хорошей земле.

Адыл старательно кивал головой, давая понять этим, что все понимает и все передаст отцу.

— А земля-то у вас есть? — вдруг спросил дядя Джайнак.

Адыл опять кивнул, но тут же смутился и как-то растерянно посмотрел на дядю.

— М-да, — буркнул тот, о чем-то догадываясь и что-то вспоминая. — Чужая, значит. Не сладкое это дело — лить пот

на поле хозяина. Чем больше пота выльешь, тем меньше засыплешь зерна в закрома. Хозяину три мешка, себе — один. Так-то, сыночек мой. Жаль, что мало попадет вам в рот, хоть они и сладкие, и люди готовы идти за ними из самой Мекки. Ну, ладно, день на день не приходится. Лишь шайтан живет без надежды. То, что лошадь не вспахано, стригунком будет вспахано, так говорят у нас в народе...

Дядя отчего-то погрузился и стал смотреть на идущий ровным рядом тихий мелкий снег. Смотрел он долго и, кажется, забыл о нас, потому что, когда Адыл сказал: «Ну, мы побежали домой», дядя вздрогнул и удивленно глянул на нас, будто впервые увидел.

— А, да... бегите... Мороз скоро падет... Бегите.

Мы бросились со всех ног, чтобы согреться. Уже в калитке и слышали слова дяди:

— Может, и отведают буркалла...

Так состоялось мое первое знакомство с дядей Джайнаком. Было это два года назад, когда я еще ходил на занятия к отинбуви. Второй раз мы повстречались прошедшей весной перед Наврузом. Вернее, даже не повстречались, я должен оговориться: дядю мы не видели, хотя он незримо и присутствовал при этом. Просто знакомый отца рассказал о несчастье, постигшем шутника Джайнака. Рассказал у нас дома, и вся семья слышала. Мать плакала, отец хмурился и вздыхал. Я, сжавшись от страха, забился в угол, готовый тоже пустить слезу. Мне было жаль веселого дядю Джайнака.

Сам гость переживал не меньше нашего.

— Да не сочтет за грех всевышний мою причастность к этому жестокому делу! — говорил он, простирая руки к небу и закатывая глаза: — Если в тех грошах, что получаю я, окажется таьнга, отобранная у несчастного Джайнака, пусть она станет ребром в моем горле. О, великий аллах, смой пятна с моих рук, прикасающихся к бумаге бесчестия!

Не сразу я смог понять, в чем вина нашего гостя, почему он так клянет себя. Ничего плохого он не сделал дяде Джайнаку, только присутствовал при огни имущества, которое подлежало продаже в уплату долга. Оказывается, дядя взял ссуду в какой-то кредитной компании и не смог осенью погасить ее. То есть он погасил, но не уплатил процентов, составлявших около шестидесяти рублей. Проценты имели такое волшебное свойство, что увеличивались каждый день и уже переросли долг. Вот компания и решила пустить в уплату дом, корову и лошадь дяди Джайнака. Так выглядела вся история, ставшая понятной мне много позже. Единст-

венное, что я уяснил тогда из рассказа гостя, это существование какой-то жестокой несправедливости, падавшей на голову бедного человека в самый неожиданный и самый неподходящий момент. Приближалась весна — время сева, а у дяди отобрали лошадь. Как же он вспашет землю? И вообще, как он будет жить?

— Да, на этот раз Джайнаку было не до шуток,— продолжал гость,— такого бледного и грустного лица я никогда не видел у нашего друга. Как не хотелось мне присутствовать при описи, но что поделасшь — писарь обязан все заносить на бумагу, такова его служба. Шесть рублей, которые платит мне компания, требуют повиновения. Ох, знал бы я, чем обернутся годы учения у домуллы, побои и унижения, никогда бы не взял в руки калям. Теперь я раб своей грамотности...

— Так что же было дальше? — напомнил отец гостю.

— Что было дальше! Лучше об этом не говорить. О, всевышний, есть ли слова, способные передать горе несчастных! С поикшей головой Джайнак ввел нас в дом. Что это за дом, можно себе представить, когда с порога на вас глядит темнота, словно ночь не покидает никогда жилища. «Засвети огонь!» — сказал мингбаши. Он думал, что Джайнак скрывает свое богатство. Глупый человек мингбаши. Когда загорелась плашка с каплей масла и жалкий фитилек, скрученный из ваты, бросил свет на стены, мы не увидели их. Да, стен не было. И ниши, и потолок, и все, на чем держится дом, даже поперечные балки, от постоянного дыма стали черными и казались зияющей пустотой.

В углу на крючке висел казан, под которым был устроен земляной очаг. Он-то и закоптил комнату. Ни саксаула, ни камыша я не заметил. Очаг топился кизяком — сухим навозом. Вы сами можете догадаться, какой запах стоял в комнате во время варки пищи.

А что хранилось в нишах? Мингбаши пошел посмотреть и наткнулся на сундучок с тряпьем и на медный кувшин. Стояли там два лягана — блюда и несколько пиал. Все из обожженной глины.

— Эй,— обратился мингбаши к жене Джайнака, что стояла босая у сандала,— есть ли еще вещи в доме?

— Если муж не спрятал под полом, то нет.

Вы же знаете, как остры на язык эти Джайнаки. Бедная женщина еще шутила. Какой там подпол! Мы стояли на утсанной годами земле, и упади что на нее, она бы зазвенела, как медный таз.

— Чем же платить долг? — спросил мингбаши.

— У них есть лошадь,— подсказал уполномоченный компании.

— Ну, лошадь имеет своего хозяина, как все лошади Джизака, царь отправляет ее на войну...

— У меня всего одна лошадь!— испугался Джайнак.— Всего одна.

Мингбаши кивнул, соглашаясь.

— Это хорошо, что одна. У кого две, тот отдаст две.. Тебе же легче.

— Воля ваша, амин пачча. Я рад, что у меня не три лошади.

Вот ведь какой Джайнак!

— Тогда остается корова,— без надежды сказал уполномоченный компании.— Вместе с домом, возможно, она покроет долг.

Мингбаши махнул рукой:

— Если найдется охотник на эту конуру, то десять рублей положите в карман компании. Не знаю, какая корова у шутника: будем считать, лучше дома, прибавьте еще пятнадцать рублей...

— Боже!— воскликнул уполномоченный.— Всего двадцать пять рублей. Компания терпит убытки...

Он схватился за голову, как будто из его собственного кошелька Джайнак вынимал деньги.

— Когда даете в долг,— заметил мингбаши,— загляните сначала в сарай хозяина.

— Э-э!— рассердился уполномоченный.— Мы смотрели на его руки. Они крепкие у Джайнака...

— Что сейчас сделаешь руками? Из камня воду не выжмешь, пыль в муку не превратишь... Кладите свои двадцать пять рублей в карман компании и забудьте этого шутника.

— Мало,— развел руками уполномоченный.— Слишком мало...

Жена Джайнака вдруг стянула с сандала рваную скатерть, отчего полетели на пол касы и железный поднос.

— Все, все берите!— закричала она.— Если бог кого проклянет, то делает его бедным!

Потом она подошла к нише и стала бросать ляганы и пиналы.

— Безрассудная женщина!— пытался облагоразумить ее амин пачча — сборщик налогов. — Не лишай себя последнего. Эти ляганы еще могут пригодиться.

— Для чего человеку ляганы, когда в них нет пищи? Жевать солому можно и без посуды...

— Напрасно гневаешься, женщина,— успокаивал жену

Джайнака уполномоченный.— Мы не виноваты. Виноват твой муж: он подписал бумагу. А в ней сказано, что осенью он уплатит долг и проценты. А где они?

— Значит, это все уже не мое?— спросил Джайнак.

— Выходит, не твое,— ответил мингбаши.

Что сделал после таких слов Джайнак? Он засмеялся. Но смех его был подобен рыданию потерявшего разум человека. Ужас охватил меня, — рассказывал гость. — Не будь рядом господина уполномоченного и самого мингбаши, я бросился бы бежать без оглядки.

Смеясь, Джайнак взял за руку сына, не менее напуганного, чем я, и направился к двери. С криком «алла», рыдая и рвя на себе волосы, за ним последовала жена. Крик ее долго еще слышен был в кишлаке. Даже когда мы отъехали на немалое расстояние от дома шутника, в ушах моих все еще звучал голос несчастной женщины.

Вот так второй раз я встретился с дядей Джайнаком. Как видите, эта встреча была печальной. Она заставила нас погоревать и пролить слезы по поводу несчастья, обрушившегося на голову человека, которого все считали шутником.

Третий раз я увидел дядю Джайнака на гузаре, шагающего впереди толпы. Он не был похож ни на весельчака, ни на несчастного. Словно само горячее солнце Джизака вселилось в него. Глаза сверкали огнем, лицо исполнено решимости. Если бы встретилось на пути сейчас препятствие, Джайнак, не колеблясь, опрокинул бы все, разрушил. Такая же решимость охватила и спутников дяди. Джизакцы шли торопливо, и число их все увеличивалось. Из калиток выходили старики и присоединялись к толпе. Некоторые из-за преклонного возраста не могли двигаться быстро, но отстать не хотели и, опираясь на палки или на руки молодых, пристраивались к хвосту шествия. Город многолюдным потоком тек к мечети, вбирая в себя новые и новые ручейки.

Не обошлось и без нас, мальчишек. Стаей, шумной, подвижной, как облачко дыма на ветру, мы носились в толпе, появляясь то там, то здесь, выхватывая слова, брошенные кем-то, и перенося их в другой край. Самыми интересными были слова дяди Джайнака. Интересными потому, что звучали необычно, смело, обжигали сердца.

Перед мечетью толпа сгустилась, стала плотнее и спокойнее, пестрой лентой втянулась во двор и там растеклась, покрыв собою каменные плиты.

Я не осмелился вместе со всеми войти в мечеть. Извечный страх перед домуллой Миртажангом остановил меня: а вдруг он где-нибудь у входа? Лучше обойти опасность, и я, отыс-

кав в другой стороне двора дувал, перелез через него и укрывлся под генью ветвистого карагача. Сюда же забрались и мои товарищи по школе.

Огромное скопление людей, невиданное для соборной мечети Джизака даже в дни больших молебствий, поразило наше детское воображение. Что-то тревожное, даже страшное было в этом. Народ сдержанно гудел, но гул казался нам только предвестником настоящей бури. Как перед землетрясением проносится не то в воздухе, не то под землей глухой стон, так и перед этой бурей стонала мечеть.

— Что будет?— спрашивали мы друг друга.

Осведомленные шепотом отвечали:

— Мирзаяра-мингбаши лишат звания.

— Как же останется народ без мингбаши?

— Сейчас выберут другого.

— Говорят, эликбаши тоже проданся богачам.

— Значит, и его погонят...

— А отцов в мардикеры возьмут?

— У кого деньги есть, того не возьмут. Отец Абдулахада останется дома...

Сам Абдулахад, наш сверстник, сидел рядом со своим отцом у хауза и беспечно болтал ногами. Еще не понимая, что жизнь делится на счастливую и безрадостную не по начертанию судьбы, а по простому делению на имущих и немимущих, я вдруг увидел в Абдулахаде своего врага: он, этот удачник, будет, как прежде, видеть своего отца, а я должен оставаться сиротой, должен испытывать голод и холод. Наверное, так же думали и остальные ребята, укрывшиеся от глаз Миртажанга под карагачем.

— Приехал! Приехал!— эхом пронеслось по двору.

Мы, забыв об опасности, выбрались из своего убежища, чтобы посмотреть на мингбаши, прибывшего для объявления приказа царя. Он слез с лошади, которую держали под уздцы двое полицейских, и в сопровождении эликбаши, всяких писарей и канцеляристов вошел во двор. Обычно появление мингбаши было сигналом к массовому приветствию — все вставали и кланялись. На этот раз никто не поднялся с земли. Лишь несколько человек по привычке вскочили и тут же сели.

Надо думать, что мингбаши Мирзаяр заметил все это, потому что хмурое лицо его стало еще суровее и глаза его сузились недобро. Поднявшись на возвышение, откуда по пятницам велось богослужение, он оглядел двор, тысячи лиц и чаам, застывших в ожидании, и стал в торжественной позе. Он считал себя повелителем этой толпы и не собирался

выпускать из рук власть. В конце концов наплевать ему на босоногих, осмелившихся встретить мингбаши молчанием. Не они сила. Сила здесь, на возвышении — сотни именитых и состоятельных людей Джизака. Вот встал со скрещенными на груди руками мулла Хафизбай и, склонясь, произнес традиционное мусульманское приветствие. Встали остальные муллы и баи. Мира, благополучия, спокойствия, тишины желали они Мирзаяру. Он немного подобрел. Кивнул эликбаши Абулкасыму, чтобы тот начинал.

Природа наградила этого человека всеми качествами, необходимыми для возбуждения к нему отвращения и ненависти. Говорили, будто мингбаши долго искал себе помощника, пока не наткнулся на Абулкасыма. Представьте себе карлика с ярко-желтым лицом, исполосованным морщинами. Морщин у эликбаши было больше, чем волос на голозе. Мне лицо Абулкасыма напоминало скорпиона в летнюю пору, когда он потолстеет и нальется медово-зеленым ядом. Но если скорпион жалит хвостом, то эликбаши — языком. С его губ всегда слетали злые, обидные слова. Произносил он их тонким, писклявым голосом. Глаза при этом стекленели и походили на две желтые бусинки, упавшие в глубокую ямку. Оттуда они смотрели на вас, как из могилы. Мы боялись и сторонились Абулкасыма. Взрослые старались задобрить эликбаши, приветствовали его издали. Но он никогда не отвечал. Шел мимо молчаливый и злой.

Его голос прозвучал сегодня первым в мечети:

— Перед тем, как совершить намаз, мингбаши соблаговолит сказать несколько слов правоверным. Слушайте!..

Мингбаши поморщился — так пискляво, так жалко произнес Абулкасым важные слова. Мирзаяр, видно, ожидал чего-то громкого и торжественного. Однако сам он говорил не лучше.

— Лишние слова — груз для ишака, — объявил он. — Есть список. Сейчас вам прочтут его. Кто услышит свою фамилию, пусть явится сюда в следующую пятницу за деньгами и теплой одеждой. Белый царь позаботился о вас и прислал все, что надо. Спасибо ему. А теперь помолимся богу, чтобы путь мардикеров был легким. Ваше преосвященство, — обратился мингбаши к имаму мечети, — благословите их!

Коротко и просто все решил мингбаши. Он привык, да и не только он, к тому, что головы под чалмами не задумаются над сказанным. А если и задумаются, то не посмеют высказать свои мысли. И не успеют. Едва закончил Мирзаяр, как имам тотчас поднял руки и пропел:

— Аминь!

Затем, стоя, прошептал что-то и опустился на коврик, призывая этим самым верующих приступить к молитве. Да, на раздумье не отпускалось времени. Мирзаяр, элликбаши, муллы, баи торопились втянуть людей в водоворот церемонии. Вот уже имам прочел суру из корана, громко повторил неоднократное «аллаху акбар!» и перешел к напутствию мардикерам:

— Во имя пророка нашего Мухаммеда, навлеки, всемогущий, беды на головы врагов царя, приблизь день победы и день возвращения мусульман к родным очагам...

После каждого заклинания сидевшие на возвышении кланялись и шептали:

— Аминь!

Народ молчал.

Имам совершил омовение и посмотрел пугливо на мингбаши. Тот кивнул, что можно читать список.

Уже давно ожидавший приказа писарь начал громко, нараспев выкликать имена мардикеров. Он был до того взволнован, что не мог совладать с губами, и они дрожали и путали слова. Тогда он повторял их, повторял совсем громко, каким-то визгливым, женским голосом, словно собирался расплакаться.

Наконец писарь кончил, и все находившиеся на возвышении подняли руки, чтобы совершить омовение и произнести напутственное «бисмилло!». Но не успели.

Двое или трое из сидевших во дворе на камнях выкрикнули что-то. Слов никто не разобрал, но догадались: джизакцы недовольны. Надо было сразу же принять меры, и мингбаши строго глянул на людей. Даже сделал шаг вперед, будто намеревался поближе рассмотреть лица недовольных. Угроза не помогла. Вспыхнули еще голоса, а затем начался настоящий пожар. Крики слились в сплошной гул.

Мингбаши, стоя на самом краю возвышения, вскинул руку, в которой была камча, то же сделали и полицейские.

— Тихо! Тихо! — кричали они, пытаясь успокоить джизакцев. — Тихо, вам говорят!

На помощь мингбаши заторопился мулла. Он потрясал кулаками и что-то произносил, наверное, магическое, способное остановить правоверных. Его не слушали, да и не хотели слушать. Не до муллы тут было. Мне гул толпы напомнил недавнюю историю с водой, когда люди били в дверь ишана и требовали, чтобы он пустил их к колодцу. Никакие уговоры не помогли тогда. Не помогли и сейчас. Не

знаю, чем бы кончилось все, не появившись у ступенек сухо-
щавая фигура дяди Джайнака.

Для джизакцев, сидевших на камнях, это не показалось неожиданным, а вот мингбаши и его свита растерялись. Вначале Мирзаяр даже не понял, куда идет шутник, и смотрел на него с недоумением. Лишь ступеньки, отсчитанные ногами Джайнака, объяснили происходящее: шутник поднимался на возвышение, туда, где стояли именитые люди города. Поднимался на место, недозволенное босоногому.

Все шесть ступенек одолел спокойно дядя Джайнак и оказался на возвышении перед народом.

То, чего не смогли сделать крики и угрозы мингбаши, увещевания муллы, сделал Джайнак одним своим появлением. Двор стих.

— Если мы будем трещать, подобно стае скворцов, одолеваящих тутовник, ничего не добьемся, кроме камня хозяйина. Каждый имеет голову и способен понять, чего от него хочет мингбаши, и каждый наделен языком, выполняющим нашу волю. Пусть здесь будут произнесены слова, которые вы хотите сказать. Разве не для этого мы пришли сюда, так-сыр? — повернулся шутник к домулле.

Домулла от неожиданности опешил. Ему никогда еще не приходилось отвечать на такие вопросы. Да никто и не задавал их: простые люди знали свое место. И домулла взглядом обратился за советом к Мирзаяру. Тот кивнул дескать, отвечай.

Кашлянув для важности и подняв очи к небу, домулла произнес:

— Всевышний учит нас: «Долг людей быть моей тенью на земле и выполнять волю царя».

— Но всевышний учит, — добавил Джайнак, — что все равны перед богом и царем...

Не зная, к чему клонит шутник, домулла кивнул, соглашаясь.

— Истинно так.

Дядя Джайнак повернулся к толпе:

— Вы слышите, джизакцы?

— Слышим! — загудел народ.

— Отчего же нет в списке ни вас, ни вашего сына? — снова повернулся к домулле дядя Джайнак. — Или писарь пропустил?

И без того напуганный, писарь замахал руками, словно защищался от наказания:

— Всех, всех зачитал...

— Верим, — подтвердил шутник. — Значит, список слы-

ком короток или бумага слишком мала: в ней не уместились имена баев и их сыновей. Так, таксыр домулла?

Сбитый с толку домулла хлопал глазами. Что он мог ответить на этот вопрос, как и на все вопросы, что задавал босоногий. А народ требовал:

— Пусть ответит!

Мингбаши не выдержал. Поднял плеть и крикнул:

— Молчать! Кто разрешил тебе говорить?— бросил он дяде Джайнаку.— Кто?

— А разве на то, чтобы высказать свою боль, нужно разрешение? Когда кошке наступают на хвост, она мяукает без спору.

— Молчать! Ты бунтовщик... Ты против царя...

— Я ишу справедливости...

— ...справедливости!!!— загудела мечеть.

Мингбаши забежал по айвану, грозясь кулаком и камчой. В ответ на угрозу люди поднялись и стали тесниться к возвышению. Гул перешел в рокот. Тысячи рук поднялись над толпой.

— Справедливости!!!

У мингбаши глотка была не то что у карлика эликбаши, он умел греметь кармаем. Перекрыл шум и заставил людей слушать себя.

— Генерал-губернатор края освободил от мардикерства слуг царя и народа, то есть настоятелей мечетей, судей, полицейских. Кто способен уплатить деньги, также может остаться дома. Не хотите ехать на тыловые работы, наймите себе замену. Губернатор разрешает имущим бросить жребий, кто из четырех пойдет в мардикеры.

— Один из четырех?— переспросил Джайнак.

— Да! И они согласны. Они не ропщут, не нарушают порядка. Истинные мусульмане всегда покорны. Вам это понятно?

— Понятно... Халва — правителю, палка — бедняку,— развел руками дядя Джайнак.— Поймет ли народ эту мудрость?

— Смутьян!— завопил мингбаши.— Он хочет сбить людей с пути пророка!

— О великий бог!— взмолился домулла. — Покарай отступника...

Мингбаши понял просьбу, обращенную к богу, по-своему. Поманил пальцем полицейского Садыка, и тот, придерживая шашку, поспешил на сигнал. Ему не надо было ничего объяснять: по выражению глаз и по движению пальца своего начальника он догадался, что следует делать. В огром-

ных ручищах Садыка тощий Джайнак моментально бы превратился в покорного мусульманина. Единственное, что смущало полицейского, это присутствие огромной толпы, гудевшей тревожно во дворе. Поэтому Садык не поднялся на возвышение, а стал махать вниз Джайнака.

— Не идите к нему! — зашумел народ.

Джайнак и сам не собирался лезть в капкан. Он отодвинулся от края. Перед тем как спрыгнуть с айвана и раствориться в толпе, крикнул:

— Пусть баи идут в мардикеры! Бедные освобождаются от этой повинности, а кто продается за деньги, тому не жить!

Садык бросился за Джайнаком, но сотни людей преградили ему путь, и он, опутанный телами и руками, застрял, как муха в тенетах.

— Болван! — рявкнул мингбаши.

Во дворе творилось что-то невысказанное. Соборная мечеть стала похожа на потревоженный улей. Люди забыли о святости стен, окружавших их, не внимали призывам муллы и угрозам мингбаши. Извечный страх перед могуществом всевышнего покинул их. А без этого страха ничто уже не способно остановить правоверных.

Суфий пал на колени и по знаку мингбаши начал утреннюю молитву — азан.

— Аблаху акбар! — как мог громче пропел суфий.

Обычно верующие, где бы они ни были, услышав голос суфия, опускались на землю и творили азан. Все мирское в эти минуты отступало. Сегодня люди забыли молитвы, все забыли. Бурля, как весенний поток, толпа двинулась к воротам и вытекла через них на улицу.

Вместе с толпой покинули мечеть и мы, мальчишки. Я проходил мимо возвышения одним из последних и видел стоявшего в окружении полицейских мингбаши. Он был по-прежнему мрачен и зол. Провожал толпу ледяным взглядом и что-то беззвучно шептал своими крупными мясистыми губами. Наверно, проклятия. Он намеревался мстить, наказывать всех босоногих, посмеявших проявить непокорность.

Он не знал, что намерению его не суждено осуществиться. Эта пятница для мингбаши была последней...

НАРУШЕНИЕ ПОСТА

Я сказал, что это была последняя пятница мингбаши Мирзаяра. Тогда, конечно, никто не знал судьбу его: ни народ, ни он сам. Тем более какой-то мальчишка из махаллы

Уратепа. Все произошло позже, в один из дней поста — уразы.

Пост в том году совпал с месяцем саратан. А он оказался таким горячим, что не только земля, все вокруг пылало жаром, и негде было укрыться от этого огня. И в самом человеке тоже огонь. Ведь по мусульманскому обычаю в течение дня, от восхода до заката солнца, нельзя было ни пить, ни есть. Капля воды, проглоченная правоверным, — тяжкий грех. И еще наказание на том свете — муки ада!

Впервые в своей жизни я тоже постился. Нас заставил домулла Миртажанг. Он сказал:

— Пробил час приобщения вашего, дети мои, к исламу. Не одной молитвой, но и делом соедините себя с верой наших отцов и дедов. Пост — начало такого приобщения к религии. Вы теперь взрослые и должны уметь переносить тяготы. Прежде всего не есть и не пить днем.

Пока сидишь на террасе и бубнишь суру из корана, пока чувствуешь на себе суровый взгляд домуллы и видишь палки, предназначенные для наказания оступившихся, голод не так ощутим. Даже муки жажды терпимы. Но вот Миртажанг объявляет перемену, и ученик оказывается один на один с искушением положить в рот кусок лепешки или глотнуть каплю воды. Искушение страшное. Рядом малыши, еще не соединившие себя с верой отцов и дедов, макают хлеб в воду и аппетитно едят, прихлебывая из пиал мутноватую жидкость, а ты должен смотреть на все это со стойкостью святого и даже не глотать слюну, дабы не обманывать ни себя, ни бога. Впрочем, глотать нечего — слюны нет. Внутри все, кажется, переохло, и язык движется по небу, усыпанному горячим песком, колючим и шершавым.

Чтобы избежать искушения, мы идем под тень карагача на берег хауза и там лежим с закрытыми глазами. Каждый старается думать о предметах несъедобных: например, о дереве, которое растет рядом, или о камне, что лежит посреди мечети, или, наконец, о хаузе, доносящем какое-то подобие прохлады до наших разгоряченных лиц. Хотя нет, о хаузе думать нельзя. В нем вода, а пить хочется больше, чем есть. Поэтому лучше заняться небом, бездонным голубым небом, по которому летают невидимые простым грешным ангелы величиною с цаплю, — так говорил дядя Джайнак. Веселый дядя Джайнак. Интересно, где сейчас живет он? Не в поле ли? Ведь дом у него отобрали. Или в зиндане? От полицейского никуда не уйдешь!

Пока я так размышляю, мои товарищи один за другим исчезают с берега. Им надоело поститься. Найдя укромное

местечко, они тайно расправляются с лепешкой или горстью сушеного урюка. Мне тоже очень хочется последовать их примеру, но страх перед божьей карой останавливает меня. Я лежу и смотрю на небо. А вдруг бог смилостивится над преданным ему мальчишкой, оценит его мужественную борьбу с искушениями и откроет ангелов, тех, что величиною с цаплю.

Нет, мужество мое не столь велико, чтобы задобрить бога. Не открываются ангелы. Небо пустынно и бесконечно, и на нем ни единой точки. Только солнце, горячее, как тандыр. Жжет и жжет...

Чувствую, как к горлу подкатывается какая-то муть, и мне становится дурно. Жажда такая, что сил нет терпеть. Хотя бы увидеть воду, не пить, лишь смотреть на нее и представлять себе, как возвращающаяся жизнь влага прохладной струей течет в тебя. Течет, наполняя всего, будто кумган переливается через край на лицо, голову, грудь. Весь ты в воде уже. Нежишься, пливешь...

Я поворачиваюсь на бок, к самой кромке берега, и вижу воду. Не ту, которая представлялась мне, не прохладную, чистую, перезванивающую струями, а мертвую, согретую солнцем, поросшую зеленью. И все же воду. Пусть она отдает гнилью, пусть в ней плавают черви и головастики. Только коснуться ее, погрузить руки и почувствовать влагу.

Это разрешено. Чувствовать телом разрешено. Даже полоскать рот можно постыщемся. И я опускаю голову к воде, набираю пригоршню, подношу к губам. О, сколько червей в одном лишь глотке! Светло-красные, тонкие, как стрелки, подвижные, как молнии, они носятся в крошечной чаше. Чтобы избавиться от них, я распускаю пальцы, делаю решето — пусть уйдут. Они уходят вместе с водой. Снова набираю пригоршню и снова теряю. Наконец решаюсь прополоскать рот. Прежде оглядываюсь — не следит ли кто за мной. Все-таки страшно прикасаться к воде. Мало ли что подумают со стороны. Бог, конечно, знает, он вездесущ, но люди! Им ничего не стоит обвинить меня в нарушении поста и передать в суд домоллы. А домолла постарается изгнать из меня дьявола. У него для этого есть много способов.

Никого вокруг не видно. Все попрятались и едят себе спокойно, один я мучаюсь. Набираю в рот воды и начинаю полоскать. Оказывается, это испытание не для мальчишки, посещающего второй лишь год школу при мечети. Дьявол тут как тут и уже готовит свои козни. Проглоти, толкаст меня, что тебе стоит! Подумаешь, один глоток воды! Ну не глоток, полглотка. Четверть. Каплю всего лишь.

Другие небось надулись, животы точно бурдюки. Лежат в тени, ухмыляются. Пей!

Вот какой бес! Не дает человеку сохранить чистоту. Не помню как, но первая капля попала в горло, скатилась незаметно. Остальное я шумно выплюнул на берег, чтобы все видели и слышали. Даже те, которые надулись воды и лежат себе в тени.

— Ага! Вот как ты держишь уразу!

Из высокой травы поднимается тощий мальчишка с крошечными, словно нос муравья, глазами. Это Навруз — любимый ученик домоллы Миртажанга, доносчик и предатель. Как я не подумал о нем, черпая воду из хауза!

Дьявол, который соблазнил меня на совершение греха, конечно, исчез, будто его и не было, и я остался один на один с Наврузом. Впрочем, это положение сохранялось недолго. Доносчик, как положено всякому доносчику, крикнул, и моментально прибежали несколько ребят из оканчивающих школу, скрутили мне руки и поволокли к домолле.

Оказывается, Миртажанг все знал о моем проступке — доносчик следил за ненадежными учениками и время от времени докладывал о них учителю. Приговор вероотступникам был уже вынесен, и осталось только привести его в исполнение.

Я предстал перед домоллой перзым.

Домулла повернулся к старшим ученикам, давая понять им, что предстоит трудная борьба и следует хорошо вооружиться. Они уяснили приказ и взяли в руки прутья, смоленные в воде:

— Во имя бога милостивого и милосердного, — начал Миртажанг. Ему не дали продолжить молитву. В келью вбежал суфий, потный, испуганный, задыхающийся. Я никогда не видел священнослужителей такими растерянными и встревоженными. Обычно они старались держаться с достоинством, сохраняли при всех случаях жизни невозмутимость. И вдруг — отчаяние.

— Таксыр, несчастье!

Суфий глотнул судорожно воздух: должно быть, он бежал через весь город и ни разу не остановился. Чалма сползла на затылок, белый халат распахнулся, ноги в пыли.

— Убили мингбаши!

Домулла тоже, кажется, задохнулся. Недосказанная молитва застыла на губах. Он поверил суфию, но не мог сразу принять эту невероятную весть.

— Защити нас, господи! Кто же его убил?

— Народ, таксыр... Те, что отказались от мардикерства.

Какая-то надежда, видно, таилась у домуллы — могли убить мингбаши разбойники, личные враги, а тут все это отлетело, и перед Миртажангом встала истина, страшная в своей сути, — народ поднял руку на хозяина города.

— Защити нас, господи! — повторил домулла и шагнул к двери.

Так он, наверное, и ушел бы, оставив меня ненаказанным. Однако не было еще случая прощения. Домулла вспомнил грешника и отвесил ему такую пощечину, что эхо оглушило всех стоявших в келье. Поскольку грешником был я, то ощутил не только звук, но и удар во всей его мощи. Искры полетели у меня из глаз, я рухнул наземь.

— Проклятое отродье! — прошипел Миртажанг, перешагивая через меня и покидая вместе с суфием и учениками келью.

Можно было считать, что я легко отделался. Кроме звона в ушах и струйки крови под носом, никаких других следов наказания не было, значит, никто не узнает о случившемся. И дьявол из меня выбит, и грех снят. Это просто удачно получилось. Надо же было мингбаши так ко времени расстаться с жизнью и этим самым избавить меня от ужасных мук. Прутья в руках старших учеников — довольно неприятная вещь. От них потом месяц болит спина и кроветочат ссадины.

Так наивно и эгоистично рассуждал я, лежа на полу кельи и прислушиваясь к звукам на дворе. Мне не хотелось бы вновь уловить шаги домуллы, возвращающегося в свою конуру и несущего нерастраченную злость на вероотступника.

Шагов не было. У хауза шумели ученики, обычно выстраивающиеся на площадке, перед тем как проститься с учителем и покинуть мечеть. Домулла специально устраивал эту процедуру, заставляя ребят во все горло кричать: «Ассалам валеюкум!», дабы родители в любой части города могли узнать об окончании занятий и проверить, не задерживаются ли их дети в пути, торопятся ли домой.

Я ждал крика. Мне больше, чем кому-либо сегодня, не терпелось услышать сигнал. Шум продолжался, но какой-то странный, необычный. Ученики галдели то громко, то тихо и вдруг смолкали совсем. Это было ново. Где же «ассалам валеюкум»? Неужели они ушли без приветствия, не известив родителей об окончании занятий? Во всяком случае, судя по тишине, воцарившейся внезапно, мечеть опустела. Домулла нарушил все правила, им же установленные. Из-за мингбаши он потерял голову. Ну, а если человек теряет го-

лову, то, безусловно же, забывает и о провинившихся учениках. В данном случае — обо мне. Напоминать я, конечно, не стану: кошка, которая пролила молоко, не старается показаться на глаза хозяйке, а бежит со всех ног в чужой двор. Уподобляясь такой кошке, я поднялся с пола и, чуть приоткрыв дверь, выглянул во двор. Он был пуст. Ни учеников, ни домуллы, ни суфия.

Кроме радости, я испытал одновременно и тревогу: что бы это значило? Кажется, смерть мингбаши не простое событие. Люди напуганы и пытаются скрыться в домах. Даже Миртажанг, долг которого вразумлять и утешать людей, быть их пастырем, сбежал. Тишина показалась мне злоеющей. Не простая тишина. Тишина мечети, где высятся каменные своды и темнеют мертвые оконца келий и все напоминает о холодном потустороннем мире, против которого я час назад совершил преступление, утолив жажду водой из хауза.

Бросив на произвол судьбы свою торбу с книжками, я кинулся вон из кельи. Откуда взялась только прыть. Через минуту ноги несли меня по улицам города, такого же пустынного, как и двор мечети. Изредка встречавшиеся люди торопливо открывали калитки своих домов и исчезали там безмолвно. Лишь гремели засовы и щеколды.

Жара была страшная. Земля накалилась настолько, что касаться ее можно было лишь в сапогах. Босые ноги мои испытывали муки перепела, попавшего в жаровню. Я скакал на носках, оберегая ступни, и все же ожег их.

В нашем переулке на меня наткнулся дядя Джалал. Лицо его выражало ужасное волнение.

— Где Ахмад? — спросил он тревожно.

Что я мог знать об Ахмаде, нашем ученике, когда находился в келье домуллы.

— Не знаю, — ответил я. — Но в школе он был...

— О горе, — всплеснул руками дядя Джалал. — Неужели он подался в сторону базара? Там убили мингбаши...

Надо было чем-то утешить дядю Джалала, но я не успел ничего сказать. Волоча огромные старые кавуши, он скрылся в своей калитке.

Не один дядя Джалал беспокоился о сыне. Около дома меня ждала матушка, встревоженная до крайности.

— О боже! — воскликнула она и протянула ко мне руки. — Наконец-то!

Я повис у нее на шее и, как когда-то, будучи совсем маленьким, прильнул к ее щеке, мокрой от слез. Так, на руках, она и внесла меня во двор.

— Хорошо, что хоть ты вернулся,— шептала матушка.— Бог услышал мои молитвы.

Еще не осознавая причин такого волнения взрослых, я невольно поддался общему чувству тревоги. Мне захотелось скрыться куда-то, сделаться невидимым и неслышимым и, когда калитка захлопнулась за нами, я чуточку осмелел и сказал:

— Не могу поститься... Пить!

— Господи, кто же постится в такое пекло! Дети могли бы и нарушить правило. Не на муки же все сотворено...

С этими словами матушка налила из кувшина полную пиалу воды и подала мне.

— Пей, сынок! Пей, мой ягненок...

Пока я, прильнув к пиале, тянул прохладную влагу, матушка тронула мою голову и испуганно воскликнула:

— Да ты горюшь весь! Что с тобой?

— Бежал... Торопился...

Конечно, я не мог рассказать обо всем, что стряслось со мной в школе: не хотел расстраивать матушку, да и просто стыдно было признаваться в совершенном преступлении. К тому же похождения мои не представляли сейчас никакого интереса. Во двор сошлись соседки и наперебой стали расспрашивать, что видно и слышно в городе. Был ли я на базаре, в том месте, где убили Мирзаяра? Нет, я не был. И это огорчило соседок. Впрочем, мое равнодушие к событиям на базаре было расценено как проявление мудрой осторожности. Женщины боялись за своих сыновей — соваться им в дела взрослых не следовало.

— А Мирзаяру так и надо,— сказала одна из соседок.— Кабанье отродье, проданся богачам... Только жаль, что умер он в борьбе за веру, в рай попадет...

Жена дяди Джалала, строптивая и языкастая женщина, отмахнулась от соседки.

— Что ты, сестра! В рай попадают невинные, а этот кабан принес столько зла бедным и сиротам, что ему прямая дорога в преисподнюю. Там отольются ему все наши слезы.

— Мирзаяр-то покинул этот свет, и ему теперь все едино,— заметила со вздохом моя матушка,— а мы остались здесь, и слезы наши будут солонее, чем прежде. Мингбаши не по воле народа правил уездом, его власти назначили, перед ними и ответ придется держать за смерть Мирзаяра...

Долго бы так судили мингбаши женщины, если бы не запахнулась калитка и во двор не вбежал отец. Мы сразу до-

гадались, что отец несет какие-то важные и даже страшные вести. В глазах его был тот самый ужас, который я заметил в ночь встречи с волками.

— Воды! — крикнул он, раскрывая широко ворот рубахи. — Скорее воды!

— А как же пост?

— Э-э! Бог простит нам. Не до поста теперь...

Отец вообще-то не был особенно ревностным слугой всевышнего, ну а сегодня вольность его проявилась в полную меру.

Мать подала касу воды, и он при всех осушил ее и потребовал вторую.

Пока он пил, матушка со страхом смотрела на него и что-то шептала, видно, просила у бога прощения за нарушение поста. Когда и вторая каса была осушена и отец ладонью стер губы, она спросила:

— Вы видели мертвого мингбаши?

— Да, — нехотя ответил отец. — Лежит около своего дома... Растерзанный.

— О боже!!

Мать закрыла ладонями глаза, будто увидела сама труп Мирзаяра. Она была очень жалостливой и впечатлительной.

— Уж лучше бы его не убивали, — сказал отец с раздражением. — Если бы народ стал свободным после смерти Мирзаяра, то кровь смылась бы с рук мстителей. А сейчас это только утоление жажды, которая станет мучить нас с новой силой. Весь Джизак двинулся к Пятиречью искать уездного начальника. Не дай бог, найдут его — новая кровь прольется, и уже не смывать ее ничем и никогда. Лишь нашей собственной кровью...

— А где ваша лошадь? — вдруг вспомнила матушка.

Отец махнул рукой, давая этим понять, что лошади больше нет.

— На ней уехал сын Мурдашуя Урдуш...

— Зачем же вы отдали?

— Попробовал бы я не отдать! Он схватил ее за узду и потребовал, чтобы я слез с седла. «Мы идем в Пятиречье повидать господина правителя. Если ты защитник мингбаши и его хэзьев, то сиди на своей кляче, если сочувствуешь народу — отдай нам», — так сказал сын Мурдашуя. В руках его была острая теша, которой он грозно размахивал перед моим лицом. Теперь мы уже не увидим ни сына Мурдашуя, ни нашей лошади. Лысый правитель, я думаю, встретит народ не поклоном и сдобной лепешкой...

Слушая отца, матушка да и соседи горестно качали головами, вытирали слезы.

— Однако надо идти, — сказал отец. — На базаре все осталось без присмотра.

— Зачем лезть на острие ножа! — запротестовала матушка. — Пусть судьба сама присмотрит за вашим чаем и солью, если суждено жить.

— Чай, бог с ним.. Мастерские сыновей твоих открыты настежь. Они и огонь небось не успели погасить в горнах...

Матушка схватилась за голову.

— Ушли?

— Да, ушли в Пятиречье...

Не то стон, не то вопль вырвался из груди матушки.

— Лучше бы мне не родить их в муках, чем теперь терять...

— погоди, ташкентская, — мрачно произнес отец, теребя свою небольшую бородку и глядя в землю. — Ничего еще не случилось с ними и, дай бог, не случится. Не они одни пошли, весь народ...

Успокоить матушку было нелегко, да и чем успокоить: сыновья ее вместе с толпой джизакцев направились к канцелярии уездного начальника. А там войска, готовые при первом сигнале об опасности открыть огонь по восставшим.

— Зачем вы пустили их?

— Что ты говоришь! — рассердился отец. — Кто может остановить человека, который вместе с народом поднимается на борьбу? Это его дело. Он с сердцем советуется, а не с соседом и даже не с отцом... Дай мне хурджун и пару мешков... Да поскорее!

Плача, матушка вынесла требуемое, но не сразу подала отцу.

— Пусть пропадет все, — сказала она. — Пусть последний чапан сгорит, лишь бы вы остались с нами...

— Наша жизнь записана в книге судьбы, и от нас не зависит... Будем надеяться... Назиркӯл, пошли! — позвал меня отец. — одному трудно успеть везде.

— Не пушу! — взмолилась матушка.

— Ты голову потеряла от страха; ташкентская. На базаре тихо и ничто не угрожает нам... Идем, сынок!

— Не подходите к толпе!

— Толпа уже у канцелярии уездного начальника...

Мы оставили плачущую матушку и вышли на улицу. Около нашего дома действительно никого не было, но со стороны базара доносился шум. Отец не обратил на него вни-

мания и зашагал торопливо по аллее Каландарханы. Я едва поспевал за ним.

Уже на первом перекрестке нам повстречались люди. Вооруженные палками, кетменями, топорами и косами, они возбужденно говорили о чем-то. Но я не заметил, чтобы они шли в сторону Пятиречья, наоборот, кажется, возвращались оттуда. Впрочем, определить направление было трудно. Люди то сворачивали на аллею, то покидали ее. Это были те самые джизакцы, что несколько дней назад выразили свое недовольство действиями мингбаши и покинули соборную мечеть. Они же защитили дядю Джайнака, когда полицейский Садык пытался арестовать его. Сегодня они были хозяевами города — ни эликбаши, ни полицейских не видно на улицах. Не знаю, какими представляются восставшие города читателю, возможно, он сам видел их и даже участвовал в событиях, я знал только Джизак. И знал именно так: палит с неба полуденное солнце, все обожжено его неумолимыми лучами, воздух будто дрожит от напряжения, и даль колеблется. Черно-синие тени, острые и короткие, вдавились в белую пыль и кажутся подпорками стен и дувалов. Несмотря на обилие людей, возбужденных, шумливых, движущихся, город будто мертв. Обычные краски, звуки исчезли: нет ни каравана, медленно и равнодушно шагающего по улице, не слышно скрипа арб, стука молотков в кузницах, крика продавцов. Исчезли с улицы чачваны женщин и загорелые лица мальчишек. Смолк веселый ребячий смех. Даже каландары попрятались. Джизак больше походил на осажденный город, чем на восставший. Все чего-то ждали, к чему-то готовились.

Миновав мастерскую по изготовлению арб, мы с отцом вышли к дому Мирзаяра — именно здесь пролегла дорога на базар. Я не сразу понял, что произошло: улицу и дом нельзя было узнать. Двери выломаны и отброшены, на улице валяются вещи мингбаши. Книги, тетради, просто листы бумаги, исписанной и неисписанной, рассеяны по дороге. В рыке и на берегу лежат курпачи, подушк'и, коврики — то, на чем сидел, решая судьбы джизакцев, Мирзаяр. Сам он — в пыли. Темная, ни на что не похожая груда мяса и костей. Лишь по рукам и ногам можно догадаться, что это человек. Властитель города, вчерашняя гроза джизакцев!

Мы с отцом прошли, сторонясь мертвого. Но кто-то впереди нас бросил в мингбаши камень и выругался:

— Будь проклят, злодей!

Камни падали часто, груда их валялась около Мирзаяра. И мертвый он был ненавистен людям.

Перед самым базаром отец остановился. От западных ворот мчалась группа всадников на взмыленных конях. Они были хмуры и злы. Отец попытался задержать одного из них.

— Что там случилось? — крикнул он.

Но верховой не ответил, даже не придержал коня, пролетел мимо.

— Похоже, что случилось несчастье, — покачал головой отец. — Не последовал ли уездный начальник дорогой мингбаши. Идем скорее, как бы не нагрянули полицейские.

Он схватил меня за руку и потянул в сторону кузницы, открывавшей ряд мастерских. Здесь было тихо и безлюдно. Горны и очаги загудели; окалина у наковален лежала остывшей россыпью; готовые и еще не отбитые, даже не согнутые подковы валялись на пороге. Их бросили второпях, даже не окунули в воду. Но молотков, лезвий для серпов и кос не было. Их прихватили с собой кузнецы.

Странно было видеть кузнечный ряд мертвым, и я с опаской проходил мимо мастерских, словно кто-то мог притангься за мехами горнов и броситься на меня внезапно.

Из-за хлебного ряда показалась толпа. Показалась и сразу же хлынула стремительным потоком вдоль проходов. Люди бежали нам навстречу, ничего не видя перед собой, ни перед чем не останавливаясь. Я невольно прижался к стене кузницы, чтобы не оказаться в русле этого потока и не быть смятым. То же сделал и отец.

Люди что-то кричали, но ни одного слова я не понял, так как все сливалось в один звук, и он напоминал гул водопада. Лица бегущих были искажены страхом. Мокрые от пота, запыленные с ног до головы, люди напрягали последние силы, чтобы успеть скрыться от преследователя. Видимо, за ними кто-то гнался, иначе нельзя было объяснить такое паническое бегство.

В толпе я увидел брата.

— Манзур-ака! — крикнул я что было мочи. — Папа, там Манзур!

Отец поднял руку.

— Сюда, сынок!

Манзур отделился от толпы и так же, как и мы, прижался к стене.

Едва поток поредел, отец повел нас к мастерской Манзура. Именно повел. Измученный вконец, брат едва волочил ноги. Когда мы вошли в медницкую, Манзур упал на

супу и закрыл глаза. Тело его расслабленно сникло, только правая рука по-прежнему твердо сжимала огромный паяльник.

— Что там было? — спросил отец.

Не сразу ответил Манзур. Ему, видимо, стоило труда преодолеть усталость.

— Они стреляли...

— В вас?

— Да.

Отец выглянул из мастерской, прислушался к гулу, потом сказал строго:

— Оставайтесь здесь... Я скоро вернусь.

Я бросился было за отцом — такой страх меня обуял, что секунды не мог оставаться в мастерской, — но он погровил пальцем:

— Сиди.

И исчез за углом.

Манзур лежал как мертвый — это тоже было страшно.

— Манзур-ака! — позвал я.

— Что тебе?

— Вам не больно?

— Нет, не больно, но жжет внутри... Терпения нет...

Он застонал и заворочался.

— Я принесу воды.

— Ты что? Пост... — с отчаянием произнес Манзур.

— Нет уже никакого поста... Отец и я пили сегодня...

— Лжешь?

— Да провалиться мне на этом месте. Хотите, еще выпью? — Я выбежал из мастерской, зачерпнул из ближнего арыка полную тубетейку воды и заторопился обратно. Манзур все еще лежал на супе, но не казался таким бесчувственным, как прежде. Глаза с удивлением и даже с надеждой смотрели на меня, особенно на мои руки, державшие тубетейку с водой.

— Вот, — сказал я, поднося к губам влагу.

— Не надо, — остановил меня Манзур. — Дай сюда!

Рука его тряслась, когда он принимал от меня тубетейку, — жажда была страшная, и противостоять ей брат не мог.

— Значит, отец пил? — еще раз спросил Манзур.

Ему необходимо было подтверждение. И я кивнул охотно.

— Да, да!

— Да простит всевышний! — прошептал брат и припал жадно к воде. В эту минуту он все позабыл — и обет, данный богу, и страх перед карой.

Через некоторое время вернулся отец. С его плеча свисал хурджун, наполненный всякой мелочью.

— Зачем это? — поинтересовался Манзур.

— Чтобы не умереть раньше времени, — ответил отец хмуро.

— Неужели можно насытиться чаем и солью?

— Придет время, когда о шепотке соли будешь молить господу.

Люди все еще бежали мимо мастерской, правда, уже не плотной толпой, а небольшими группами. Некоторые оставались, чтобы передохнуть немного, прислонялись к стенам, вытирали обильный пот. Отец пытался выведать у них новости, но они не отвечали, лишь сокрушенно махали руками и шептали молитвы.

— Да, не утолив жажды, расплескиваем воду, — загадочно произнес отец. — А плата за нее будет велика...

НОЧЬ БЕЗ РАССВЕТА

Все ждали сумерек. Как будто могло что-то измениться после захода солнца. К вечеру жара действительно спала, длинные тени легли на город, но страх не исчез. Жители укрылись в домах. Если днем мне казалось, что улицы словно мертвы без своих обычных звуков и красок, то перед закатом они на самом деле вымерли. Ни души. Появись чужой в городе, он без сомнения принял бы Джизак за опустошенное селение.

Сумерек все ждали еще и потому, что был пост. Пить и есть можно было лишь с заходом солнца. О снятии запрета извещал муэдзин Аширмат-суфи, кричавший на всю махаллю:

— Аллаух акбар! Аллаух акбар!

После крика муэдзина все окрестные мечети начинали молитву, наступало время принятия пищи. Она была уже разложена на дастархане, а касы наполнены водой.

Пали сумерки. О еде мало кто думал в этот день, но всем хотелось, всем нужно было услышать голос муэдзина — спокойный, неземной, напоминающий о существовании бога и его могущественной силы. Молчал муэдзин...

Часов ни у кого не было. Никто не знал, пало ли время вечернего намаза или еще нет. Одному суфию Аширмату доверялась эта тайна. Что же он медлит? Ожидание становилось беспокойным, а потом тревожным. Не отвернулся ли аллах от джизакцев, не проклял ли? Крика! Крика муэдзина! Вот что сердцами требовали люди.

Темнота стала сгущаться. А с ней увеличился и страх.

Все с благодарностью вспоминали вчерашний день, такой обычный, главное, спокойный, завершившийся вечерней молитвой. Помню, мы сидели перед грудой лепешек, перед чашей со сладкой нишалдой и ароматными персиками. А матушка еще готовила нам манты и машхурду. В арыке, под струями воды, набиралась холода дыня. Взрослые, возможно, не испытывали радости от созерцания яств, ничего особенного на дастархане не было, но мы, дети, на все смотрели зачарованно и глотали слюнки. После голодного дня не терпелось положить скорее все это в рот.

Мы выглядывали на улицу, не коснулось ли солнце дальних крыш, считали до десяти по нескольку раз, надеясь ускорить минуту окончания поста. Загадывали, когда закричит суфий Аширмат. Это было радостно и интересно.

Сегодня мы примолкли, жалостливо поглядывая на взрослых.

— Почему не кричит муэдзин?

Матушка вздыхала в ответ, а отец ворчал:

— Сбежали! Все сбежали, трусы... Им нет дела до правверных, думают о том, как бы уберечь собственные головы.

— Не гневите бога, — робко замечала матушка. — Он и так разгневан...

— Коли так, ждать Аширмата нечего... Надкусим хлеб и отопьем воды, время поста миновало. А потом и за работу. Надо полагать, это последняя наша ночь, второй бог нам не даст. Прячь, ташкентская, все, что съедобно да подальше... Люди вон скот и то укрывают.

— Вай! — вскрикнула матушка.

— Тихо. Наши голоса привлекут несчастье. Оно уже в пути.

Все, что принес отец в хурджуне, было пересыпано в сундучок и передано дяде Джуре. Тот опустил сундук в колодез на сложенные на дне сухие ветви. Туда же отправили и старую швейную машину «Зингер», приобретенную в рассрочку, — единственное наше богатство. Сверху все покрыли опять-таки ветвями. По представлению взрослых, продукты и вещи, схороненные таким образом, смогут служить нам в будущем — трудном будущем.

Тогда все эти предосторожности казались мне необходимыми, поскольку отец и дядя выдумали их, а в мудрости и непогрешимости старших я не сомневался. Они же велели перетащить на крышу паласы, подушки и курпачи и рассте-

лить там. В этом мы, дети, принимали самое деятельное участие. Пыхтя и спотыкаясь, несли огромные одеяла, ползли чуть ли не на четвереньках по лестнице вверх, бросали ношу и возвращались в комнату, чтобы снова повторить путешествие. Дядя сказал матушке:

— С крыши нам хорошо будет видно и слышно, успеем в случае чего принять меры.

Что собирался увидеть дядя с крыши, не знаю. Во всяком случае я ничего не увидел, хотя почти всю ночь не смыкал глаз. Едва стемнело, семья наша перебралась на крышу. Дядя Джура тоже был с нами. Его голос, требовательный и жесткий, звучал во время переселения то внизу, во дворе, то наверху, на крыше. Наконец все расположились и утихомирились.

Ночь была ясная и звездная. Но слишком тихая. Если и раздавались звуки, то приглушенные, робкие. При каждом шорохе дядя прислушивался и поднимал руку, чтобы мы не мешали ему разгадывать причину шума. Причина всегда оказывалась одна и та же — вздохнула соседская корова, скрипнула дверь или пробежал ветерок по маковкам деревьев. Дядя же настойчиво ожидал появления врагов и готов был встретить их, как подобает мужчине. Около себя он держал топор и крепкую сучковатую палку.

Постепенно тишина успокоила его, и по просьбе отца он стал рассказывать о событиях минувшего дня. Рассказ был подробный. Временами дядю прерывал брат Манзур и добавлял что-нибудь новое и важное. От брата, например, стало известно, что накануне в Каландархане собрались парни махалли и обсудили приказ генерал-губернатора о найме мардикеров на тыловые работы. Пришли в Каландархану и парни махаллей. Все поклялись не выполнять приказ. «Пусть баи идут в мардикеры! — решили юноши. — А если кто продастся им, тому не жить».

Клятва заканчивалась словами:

— Проклятье падет на отступника, на его отца, мать, братьев и сестер...

Лишь под утро разошлись парни. Манзур, как джурабаши, предупредил товарищей, чтобы держались вместе и не давали друг друга в обиду.

С рассветом начался трудовой день в мастерских. Манзур развел огонь в горне и уже собирался начать пайку котла, как услышал шум в стороне базара. Так с паяльником в руке он и побежал на крики. Оказалось, что горшечник Дамин спорит с самим мингбаши.

Оба были крайне возбуждены, размахивали руками, вы-

крикивали ругательства. Мирзаяр давно недолюбливал горшечника и всячески старался насолить ему.

— Пусть никто не пойдет в мардикеры, — орал мингбаши, — но твой сын пойдет обязательно. Уж об этом я позабочусь.

— Позаботься лучше о себе, — ответил Дамин.

Горшечник был в грязной одежде, штаны засучены до колен, руки и ноги в глине. Он, должно быть, пришел к канцелярии прямо от гончарного круга и даже не успел обмыть руки.

— Мне незачем заботиться о себе, я выполняю волю царя. А ты бунтовщик и нарушитель спокойствия, — объяснил мингбаши. — Непустишь сына в мардикеры — сам отправишься в Сибирь, да еще в кандалах.

К этому времени вокруг спорящих собралась толпа. Пришли медники, кожевники, гончары, мыловары, торговцы всякой мелочью, крестьяне, приехавшие на базар с фруктами и овощами.

Дамин подступил к мингбаши и в гневе закричал:

— Прежде, чем я пойду в Сибирь, погибнет твой список. А ну, отдай тетрадь!

Мирзаяр не успел убраться за спину, и горшечник вцепился в нее. Свалиться с ног быка мингбаши не так-то легко. Вряд ли бы Дамин сумел вырвать тетрадь из рук Мирзаяра, но горшечнику помог Курбанбай — сын мастера самсы. Вместе они овладели списком, и горшечник тут же разорвал его на мелкие клочки и бросил в арык.

— Стой! — зарычал мингбаши. — Что ты делаешь?

Он бросился на Дамину с камчой. Однако десяток рук вырвали у него плетку. Обезоруженный Мирзаяр заметался, не зная, что предпринять. Полицейских поблизости не было, и помощи ждать неоткуда. Тогда он пошел на горшечника с кулаками.

Неизвестно, как попал в руку Дамину камень. Возможно, он принес его с собой. Во всяком случае камень этот поднялся и упал на голову мингбаши. Тот качнулся и стал оседать на землю.

Это явилось сигналом. Первый камень — всегда начало борьбы. Уже десятки камней полетели в мингбаши. Десятки и сотни. Они не дали сильному Мирзаяру подняться, хотя он и пытался это сделать и рычал и стонал. На дороге, перед своей канцелярией, мингбаши нашел смерть.

Камни летели и в мертвого. Лишь когда стало ясно, что Мирзаяра больше нет, есть лишь груда мяса, и что прави-

тель, ненависть к которому накапливалась годами, бессилён, народ понял: шаг совершен, роковой шаг, и надо идти дальше.

Кто-то крикнул:

— Ещё есть списки у старшего мингбаши Муллы Хидира!

Этого было достаточно, чтобы толпа отвернулась от Мирзаяра и бросилась в Емкишлак. Теперь уже люди знали, куда и зачем они идут. Им нужно было уничтожить все следы мардикерства, освободиться от пут, накинутах на джизакцев правителями.

Не одни гончары, кузнецы и кожевники шли в Емкишлак. Весь базар, весь город присоединился к недовольным. Так же, как и Дамин, люди оставляли гончарные круги, наковальни, котлы. В фартуках, обнаженные до пояса, босые, с руками, закопченными дымом, испачканными мылом и краской, спешили люди к канцелярии главного мингбаши. Из толпы выделались самые смелые и решительные и возглавили шествие.

Не было строгого порядка. Народ растянулся по дороге на целую версту, а то и больше. Армия повстанцев походила на хвост огромной ящерицы, постоянно меняющий свое очертание. Впереди широкий, в середине — узкий. Впереди шли быстрые, выносливые, сзади медлительные, слабые. Пожилые не поспевали и постепенно отрывались, образуя вторую колонну.

Люди не шли, почти бежали, и потому пыль густо поднималась над дорогой, заволакивая все вокруг серо-белой пеленой. Лишь передние видели ясно путь — остальные двигались в тумане. От пыли и жары идущие задыхались, но это не ослабляло их воли, напротив, ожесточало, разжигало зlobу.

Они прибежали, возбужденные и злые, в Емкишлак. Прибежали прямо в канцелярию старшего мингбаши. И если бы там находился Мулла Хидир, они убили бы его. Но старшего мингбаши кто-то предупредил об опасности, и он сбежал. Гнев и ненависть требовали выхода — люди разгромили канцелярию, вытащили все бумаги и сожгли их на глазах у жителей.

Вместе с пеплом могло исчезнуть и пламя ожесточения. Ненавистные бумаги сгорели. Мирзаяр убит. Мулла Хидир бежал. Все, кажется, сделано. Мардикеров больше нет. Но путь к канцелярии старшего мингбаши заставил людей кое о чем подумать и кое-что понять. Прежде всего, связать события воедино: уничтожение одного или двух списков не мешает генерал-губернатору составить третий, а может быть

и четвертый список. И новый список попадет к уездному начальнику — полковнику Рукину. От него получили приказ мингбаши, ему и доложат о его исполнении. Значит, необходимо убрать Рукина, разнести его канцелярию, чтобы камня на камне не осталось от этих гнезд насилия.

Осмыслить цель людям помогли те самые смельчаки, что шагали первыми. Не будучи стратегами и вождями, они все же умело направляли восставших по определенному пути, звали их за собой, а порой и требовали подчинения. И пока огонь гнева еще не погас, им, идущим впереди, нетрудно было повернуть народ в сторону Пятиречья.

Эта дорога оказалась длиннее, а следовательно, и поучительнее. В дороге джизакцы вдоволь наговорились. И все о том же — как избавиться от несчастья, свалившегося на них вместе со списками мардикеров.

— Не в списках дело! — крикнул всадник, ехавший на буланом коне.

— А в чем же? — спросили джизакцы.

— Дело в самой нашей жизни.

Ни дядя Джура, ни брат Манзур не знали этого всадника. Он появился уже в дороге. Догнал восставших и занял место среди самых решительных и смелых. Он был одет в хороший халат, на голове красовалась чалма из дорогой ткани, сбоку висела сабля с серебряной насечкой на ножнах. Всадник походил на воина. Это придавало всей толпе облик войска, хотя остальные были вооружены лишь палками, косами, кетменями и даже паяльниками, как мой брат Манзур.

— Дело в правителях, — продолжал всадник. — И пока они над нами, никто не сможет дышать вольно.

Кажется, человек с саблей и позвал людей в Пятиречье. Во всяком случае он первым поднял оружие, когда со стороны Ташлака показалась пролетка уездного начальника, сопровождаемая конными полицейскими.

Наткнувшись на толпу, пролетка остановилась. Если бы полицейские и сам Рукин издали заметили вооруженных людей, они, конечно, повернули бы назад. Но облако пыли было настолько густым, что ничего они не заподозрили, и кучер преспокойно гнал лошадей, надеясь за облаком встрегить отару или табун.

Теперь поворачивать было поздно. Полковник Рукин, капитан Златоглавый, мингбаши Мулла Хидир, переводчик Мирзахамдам сошли с пролетки.

— В чем дело? — спросил от имени полковника Мирзахамдам. — У вас есть причины для недовольства?

Народ молчал. Внезапность встречи породила растерянность, да и вопрос прозвучал миролюбиво.

— Почему молчите? Пусть кто-нибудь выскажет волю всех! Ну, полковник ждет!

Тишина разорвалась сотней возгласов:

— Не пойдем в мардикеры!

— Не дадим сыновей царю!

— Пусть бан помогают войне!

— Мирзаяра уже нет, теперь очередь за остальными мучителями...

Только сейчас уездный начальник узнал об убийстве мингбаши.

Утром он получил от Мирзаяра донесение, в котором тот подтверждал число мардикеров, выделяемых Джизаком, и заверял полковника в своей преданности. Никаких намеков на недовольство населения в донесении не проскользнуло. Значит, Мирзаяр скрыл все. А ведь Рукин ехал на совет аксакалов, долженствующий завершить дело найма и отправки мардикеров. Завершить торжественно, празднично.

— Хорошо, — поднял руки полковник, — между властями и народом бывают иногда столкновения. Мингбаши Мирзаяр не прислушивался к вашим требованиям и, как видите, пострадал за это. Успокойтесь, разойдитесь мирно по домам, потом все решим.

Чувствуя, как накалены джизакцы, уездный начальник попытался обещаниями охладить страсти, отвести от себя опасность.

— Не верьте ему, мусульмане! — крикнул всадник. — Сейчас он сулит вам блага, а вернется в Пятиречье — прикажет полицейским арестовать всех, кто отказался идти в мардикеры. А тех, кто отомстил мингбаши, повесит на площади. Правитель стоит за правителя, как грешник за грешника. Смерть мучителям народа!

Он пустил коня прямо на пролетку.

Полковник и его спутники стояли около экипажа, сняв фуражки, всем своим видом подчеркивая сдержанность и миролюбие, но полицейские держали оружие наготове. Выстрел встретил всадника. Правда, полицейский Камал промахнулся и угодил не в того, в кого целился, а в безоружного мыловарщика. С воплем «алла!» тот упал на землю.

Раздалось еще несколько выстрелов. Возможно, уездный начальник и его спутники сумели бы разогнать передовую группу всадников, но в это время подоспела масса джизакцев. Восставшие бежали на выстрелы, задохнувшись от усталости, мокрые от пота, возбужденные до крайности.

Плотным кольцом народ окружил пролетку, и выхода из этого кольца не было.

— Уйдите с дороги! — крикнул переводчик, чувствуя, что пробиться сквозь живую стену не удастся даже на лошадях.

Голос его утонул в гуле толпы, гуле угрожающем. Тогда уездный начальник вынул пистолет и выстрелил в воздух. Он намеревался испугать людей. Но никто не вздрогнул, никто не отступил. Наоборот, кольцо стало суживаться. Джизакцы шли бесстрашно вперед, к центру, где находилась коляска.

Какой-то десяток шагов отделял восставших от свиты полковника. Рукин не выдержал. Нажал на спусковой крючок револьвера раз, другой, третий. Он стрелял в упор, прямо в лица идущих. Открыли огонь и сопровождавшие уездного начальника полицейские, капитан Златоглавый. Треск выстрелов заглушил на время гул толпы. Возможно, она онемела от неожиданности. Кто-то упал, кто-то схватился за голову.

Но это были уже последние выстрелы. Кольцо сжалось. Прокатился сдавленный гул, похожий на вздох и стон одновременно. Кулаками джизакцы расправились со своими мучителями. Вырваться удалось лишь полицейскому Сабиру. Обезумевшая от страха лошадь прорвала кольцо восставших и унесла с собой всадника. Правда, мундир его был разорван и шапка снесена, но о шапке ли человеку думать, когда сама жизнь на волоске.

Спасся и Мулла Хидир. Еще раз спасся в этот день. Какой-то мягкосердечный кожевник в суматохе укрыл его своим чапаном. В детстве они жили на одной улице и играли у одного арыка. Прошрое помешало кожевнику быть строгим к врагу и к самому себе.

Восставшие свершили суд и расправу над уездным начальником. Власть местная в Джизаке была уничтожена. Хозяином уезда вроде стал народ. Понимали ли джизакцы, что осуществлено ими за эти несколько часов восстания? Уезд без правителей, без ненавистных мингбаши и наместников генерал-губернатора!

Но свободы никто не почувствовал. Наоборот, после расправы над уездным начальником всех охватила тревога. За полковником Рукиным стоял еще кто-то, более высокий и более сильный. Этот высокий и сильный еще не знает о случившемся. Наконец, в Пятиречье казарма, полная солдат, готовых в любую минуту выступить против народа.

И вот в эту объятую тревогой толпу всадник на буланом коне бросил слова:

— Не все черные силы сломлены. Братья, пока осталось у врага зло, величиной хотя бы с муху, надо его уничтожить. Идемте на Пыльный холм, разгромим казармы, сожжем канцелярию уездного начальника, чтобы пепла даже не осталось от нее!

Он выхватил кривую саблю и поднял ее над головой.

— Во имя бога!

Не всем джизакцам хотелось идти в Пятиречье. На многих пало сомнение. Конечно, бой с уездным начальником и его свитой окончился успешно, но нужно ли дальше лить кровь? А что кровь будет, это понимал каждый. Мирные в сущности люди, в гневе готовые на все, сейчас поостыли. Человек звал их дальше, против чего-то общего, неясного, далекого. Там не будет мингбашин, не будет полицейских, не будет полковника Рукина — тех, кто мучил джизакцев. И готовы ли они, державшие в руках лишь косы и кетмени, идти за всадником? Он, наверное, и сам не понимал этого. И бог весть, что рисовалось ему в будущем Будущем, которое грядет через какие-нибудь часы. Тот, кто ведет людей, должен иметь не только горячее сердце, но и острый ум. Что способна сделать толпа ремесленников, в порыве гнева поднявшаяся на своих угнетателей? Сбросить их Никто из гончаров, мыловаров, кузнецов не думал о дальнейшем. Да им и некогда было думать. Все произошло за какие-нибудь полдня. И все в пути — от базара до Ташлака. Не думал и человек, ставший проводником джизакцев. А может и думал, но не как караванщик, заботящийся о сохранении богатства, а как игрок, ставящий в порыве вдохновения и азарта все, что есть, и даже то, чего нет.

— За мной! — кричал он. И толпа, заколебавшаяся на какое-то мгновение, снова двинулась по пыльной дороге.

Всадники помчались вперед, как и прежде. Окрыленные первой победой, они летели смело навстречу опасности и готовы были смести все на своем пути. Опасность оказалась ближе и серьезнее, чем они ожидали.

Подполковник Афанасьев вывел солдат из казармы и перегородил дорогу. Говорили, что он шел на выручку полковнику Рукину и, увидев толпу, дал команду приготовиться к бою. Ему уже было известно о восстании в Джизаке.

Всадники сдержали коней. Небольшой группой они не решались напасть на солдат. Подтянулись остальные. Вся дорога была запружена людьми — конными и пешими.

Младший офицер вышел вперед к толпе и по поручению Афанасьева передал ультиматум:

— Немедленно повернуть назад!

Стоявшие в первых рядах с возмущением отвергли приказ:

— Мы не для того пришли сюда, чтобы возвращаться!

Смелчаки стегнули коней и кинулись на цепь солдат. Раздался залп. Один из всадников на всем скаку рухнул под ноги своему коню. За ним приняла пули остальные.

Залп следовал за залпом. Толпа дрогнула. Крики раненых вызвали смятение, и вся огромная масса людей попятилась, опрокидывая и давя шедших сзади. Еще несколько выстрелов — и началось паническое бегство. Не организованные, не спаянные единой целью, не подчиненные никому, тысячи джизакцев ринулись назад, в город, под укрытие дувалов и стен.

Это их встретили мы с отцом на базаре. Лавиной катились беглецы, ничего не видя перед собой, ни перед чем не останавливаясь. Людей гнал ужас...

Долго бы еще длился рассказ о минувшем дне. Каждый припоминал что-нибудь особенное, поразившее его, и старался вставить в повествование дяди Джуры и брата Манзура. На нашей крыше собралось немало соседей. До самого утра, наверное, не иссякли бы слова. Но вдруг на улице раздался крик женщины:

— О правоверные, помогите!

Все повскакивали со своих мест, пытаюсь разглядеть, кто кричит, кто зовет на помощь. Оказалось, это жена уста Джалала. Муж ее пошел искать сына и примкнул к толпе, направлявшейся к Пятиречью. Сейчас женщине сказали, что он ранен и лежит в арыке, недалеко от Ташлака.

— Помогите, правоверные!

Наверное, такие крики раздавались и в других махаллах, и не только крики, но и стоны, и вопли — кто-то не вернулся, кого-то ранили, а кто-то уже покинул этот бранный мир, не успев проститься со своими близкими. На нашей улице пока кричала лишь жена уста Джалала.

— Надо помочь женщине, — сказал мой отец. — Лучше всего сходить вам с Манзуром, — обратился он к дяде Джуре. — Вы были там и место хорошо знаете.

Я думал, дядя откажется: ночь на дворе, всюду рыскают солдаты, да и силы иссякли — весь день дядя и брат были на ногах. Но он согласился. Спустился с крыши, взял носилки и вместе с Манзуром вышел на улицу.

— Ой, не простое это дело, — покачала головой матушка. — Мыслимо ли отыскать человека в такой темноте.

— Темнота — благо, — возразил отец. — А если Джалаал жив, голос его сам укажет дорогу.

Матушка горестно вздохнула:

— Великий урожай несчастий соберет эта ночь. Слышишь ли ты нас, всевышний?

Матушка затихла, а я, пользуясь тем, что наступила наконец тишина, принялся рассказывать сестрам про свои злоключения. Мой рассказ был не менее интересным, главное, понятным всем, так как порядки школьные сестры хорошо знали, а домулле Миртажанга видели не раз. Когда я дошел до того момента, где решалась судьба моя, и назвал число прутьев тала, предназначенных для моей спины, матушка прервала меня:

— И дети не избавлены от кары. Что же творится такое...

— Молчи, ташкентская... Твой сын испытал лишь страх. Не убей народ мингбаши — пришлось бы вкусить ему и соль розог. Благодарю бога за милость!

Мне хотелось продолжить рассказ, я уже вошел во вкус и осенился вдохновением, которое, как известно, толкает человека на всякого рода добавления и преувеличения. мышь делает лисицей, а лисицу слоном. Пять прутьев, предназначенных для моей спины, меня уже явно не устраивали, и я торопливо подыскивал другое, более внушительное число. Однако отец не оценил мой порыв и сказал строго:

— Оставь нас со своими историями, мальчишка... Как бы не пропустить нам крика о помощи...

После этих слов мы все смолкли. Я прикрылся одеялом, так как предрассветный ветерок нес знобкий холод, и смотрел на небо, усыпанное звездами. Их было так много, и они так красиво и мирно сияли, что невольно забывался страх, и все, что случилось днем, казалось далеким, ненужным. Только вот образ растерзанного мингбаши, вдруг возникавший перед глазами, возвращал к минувшему. Тогда я смежал веки и мысленно произносил: «Не было! Не было! Ничего не было». Ко мне возвращался светлый покой. Ненадолго возвращался, потому что в это время матушка поднималась на локти, вслушивалась в тишину и озабоченно шептала:

— О боже, какая длинная ночь... Почему не возвращаются Манзур и Джура?

Не спавший отец — никто, видимо, не спал — успокаивал ее:

— До рассвета еще далеко. Вернется твой сын...

— Дай бог!

— Ночь всегда лучше утра, — продолжал он. — Кто знает, каков будет рассвет.

— Не ломайте над этим голову. Что суждено, того не миновать.

— Это верно, — согласился отец. — Но что именно суждено? Я думаю, они не успокоятся на расстреле людей около Пыльного холма. Ведь убили, кроме Мирзаяра, Мирзахамдама и полицейского Камала, еще и двух заместников генерал-губернатора. До него это известие дойдет, а от него и до самого царя. Вряд ли белый царь ответит на бунт благодарностью. К тому же беспорядки могли произойти и в других уездах. Пока мы тут лежим, генерал-губернатор советуется с царем. Возможно, судьба наша уже решена.

Начало светать. После сказанного отцом я со страхом смотрел на небо, словно вместе с первыми лучами должно явиться что-то ужасное — начнется пожар или расколется мир. Матушка поднялась первой и сидела на курпаче, вслушиваясь в звуки улицы. Лицо ее за ночь осунулось, глаза лихорадочно блестели. Думая, что остальные спят, она старалась не производить шума, даже вздыхала тихо-тихо.

Наконец мы увидели брата и дядю Джуру. Они торопиво шли домой по улице, еще погруженной в сон. Мы тотчас повскакивали с постелей и спустились во двор.

Манзур был страшно измучен, едва держался на ногах, но не лег отдыхать, он отвечал на наши бесчисленные вопросы, где уста Джалал, нашли ли они его и как он себя чувствует.

Оказалось, что уста Джалала уже нет в живых. Он умер, когда Манзур и дядя Джура несли его в город. Пуля попала ему в мочевою пузырь и причинила много страданий. Бедняга мучился, лежа в арыке, стонал, звал на помощь, но все покинули место расстрела, и голос раненого не находил отклика. Манзур и дядя Джура по стону обнаружили несчастного. Он уже терял сознание и в короткие минуты прояснения просил пить. Воды поблизости не было — вокруг выжженная солнцем земля и камни. Раненого положили на носилки и осторожно понесли. Путь в город был труден. По дороге идти нельзя — патрулируют казачьи разъезды, остается только тропка, огибающая поля и сады. Жена уста Джалала, шедшая следом, торопила Манзура и дядю Джуру: она боялась, как бы он не умер дорогой. И все же он умер. Прямо на кладбище. Чтобы сократить путь, решили подойти к Каландархане со стороны мазаров. Пока пробирались через могилы, уста Джалал затих. Навсегда затих.

Мулла, который весь вечер хоронил убитых, был еще на кладбище и разрешил предать земле тело Джалала. Он сказал, что восставшие погибли за веру, как войны ислама, и для них не нужен саван, как не нужно и обмывание. Нести

домой труп ни к чему, война предадут земле на поле брани.

— Значит, он уже похоронен?! — горестно воскликнула матушка.

— Да, мы вырыли ему могилу... Теперь пусть близкие совершат обряд прощания с бедным Джалалом, — ответил брат. — Идите, пока в городе тихо...

Едва взошло солнце, взрослые покинули двор и направились на кладбище.

Было действительно тихо. Так тихо, что сердце замирало от какого-то ожидания. Я боялся выходить за калитку. Боялся, вдруг свершится предсказанное отцом. Свершится как раз в тот момент, когда я окажусь на улице.

И я не переступил порог.

БЕЛЫЙ ФЛАГ

У меня в руках белый флаг. Небольшой флаг, длиною в локоть, насаженный на палку. С ним я смело хожу по улице и даже забираюсь в конец Каландарханы. Первый день он висел надо мной высоко. Мне казалось, что так лоскут будет виден издали и солдаты его сразу заметят. И, конечно, не посмеют стрелять. Есть приказ — человека с белым флагом не трогать.

И как это мы раньше не знали о белом флаге, о его чудодейственной силе — бегали по окраинам, прятались, дрожали от страха. Впрочем, приказ, наверное, вышел лишь вчера, потому что утром все сделали себе флаги из белой бязи. Вначале было все-таки боязно высовываться на улицу, а вдруг это уловка, обман, и едва покажешь нос, как хлопнет выстрел. Но опасения быстро развеялись. Кто шел с белым флагом, того не трогали.

Странно было видеть первое время людей, размахивающих флагами. Идут по дороге старые или молодые и держат впереди себя палку с белым лоскутом. Нас, детей, это забавляло. Мы умели во всем находить развлечение. Малышей никто не трогал, но они старательнее взрослых выполняли приказ о белом флаге.

— Белый флаг! — вздыхала матушка. — Если бы этим флагом все кончилось, я согласилась бы носить его до могилы. Но, видит бог, людям дали лишь передышку. Царь решает судьбу нашу...

Я слушал горестные слова матушки и тоже вздыхал.

Мне хотелось утешить ее. Но как? Ничего, ничего утешительного не было вокруг.

Жизнь в городе замерла. Люди сидели по домам и жда-

ли. Ждали каких-то событий. Я тоже ждал. Но не нового, а старого, возвращения того, что было привычным и радостным. Как это ни забавно, привычное соединилось в моем представлении с нашей коровой Пеструхой, которую угнали после восстания каратели. Я ждал ее возвращения, и не просто ждал, пытался искать. Мне казалось, что она бродит где-нибудь в садах, не умея найти дорогу домой. Ведь коровы глупы, это всем известно, пока их не погонишь хворостинной, они не пойдут, куда надо. Бегая по улицам, я прислушивался к звукам — не затренькает ли колокольчик нашей Пеструхи, не замычит ли заблудшая. Иногда мерещилось мычание. Сломая голову, бежал я к дувалу, взбирался на него, отыскивая глазами корову. О, если бы она была близко! Я бы кинулся к ней, схватил за веревку и повел домой. Привел и сказал бы матушке:

— Мама, а вот и нашлась... Не надо теперь вздыхать. Все будет по-старому...

И действительно услышал, но не мычание, а стук копыт. Такой особенный стук, когда корова касается ногой земли и копыта прищлепывают глухо: цык-цык! Этот звук раздавался за дувалом в саду и, кажется, приближался ко мне.

Я не закричал радостно, не позвал маму, а бросился навстречу звуку, чтобы изловить скорее беглянку, а потом уже известить матушку. У меня мелькнула даже мысль: солдаты подержали нашу корову, попили молока, а потом отпустили. И она неторопливо идет домой через соседний сад. Идет, пошлепывая своими старыми копытами. Только почему избрала такую странную дорогу — через соседний сад? Впрочем, какое это имело значение, главное, возвращается домой, а там пусть хоть через дувал лезет или спускается прямо с неба.

В один миг я одолел арык, у которого сидел, подбежал к калитке, отворил ее, чтобы поскорее увидеть шествующую корову. И замер... По саду шли солдаты. Трое. Все с винтовками. От неожиданности я попятился назад и угодил ногой в арык. Ну, а где нога, там и весь человек. О том, чтобы встать, я не подумал. Когда видишь солдата, лучше лежать где-нибудь, чем стоять во весь рост, — так говорили постоянно. Вот я и лежал...

Меня поднял, и довольно бережно, солдат.

— Не бойся, не бойся, мальчуган! — проговорил он просто, как говорят знакомые или соседи.

Это было тоже неожиданно. «Добрый человек, — подумал я. — Солдат, а добрый...» Тогда во мне жили убеждения, что само слово «солдат» уже определяет сущность человека:

он жесток, кровожаден, убивает не глядя. И вдруг — «не бойся, мальчуган!» Видимо, убежденность моя быстро исчезла, потому что я сразу откликнулся на ласковое слово и отдал себя на попечение солдату.

Все было хорошо: из арыка меня вытащили, похлопали ласково по плечу, даже улыбнулись. Но угораздило нашего пса Караташа увязаться за мной, проскочить в соседний сад именно в тот момент, когда я стоял уже на двух ногах и довольно дружелюбно смотрел на доброго солдата. Караташ, увидев чужих, оскалил свирепо зубы и зарычал. Вид у него был страшный — шерсть дыбом, глаза горят, вот-вот бросится и разорвет на части. И мог бы такое сделать. Во всей махалле Караташ славился своей злостью и силой. Ни одна собака не могла с ним сладить.

Солдат, что поднял меня из арыка, не обратил внимания на Караташа, а вот стоявший поодаль молодой краснощекий парень струхнул. А может и не струхнул, просто захотел показать себя: поднял винтовку к плечу и прицелился. Прежде чем остальные солдаты, да и я сам, попытались что-то сделать, прозвучал короткий выстрел. Короткий и оглушительный. На секунду мне заложило уши. А когда я снова обрел слух, мир вокруг меня был нем, только Караташ жалобно скулил, вертясь волчком на траве.

— А! — воскликнул я испуганно. — Зачем, зачем?

Добрый солдат стал ругать краснощекого. И третий солдат тоже сказал ему что-то строго, но изменить ничего уже нельзя было. Караташ лежал на траве, и из пасти его шла кровь.

— Жалко собаку, да? — спросил добрый солдат. — Но ты не бойся сам. Он не тронет...

Все это было сказано на моем родном языке. Правда, говорил солдат не очень складно, коверкая слова, однако понять было можно, и это еще больше располагало к нему.

Краснощекий плюнул с досады и направился в наш двор к большой террасе, где сидела мать с соседками.

— Не надо! — снова вскрикнул я, боясь, что краснощекий начнет стрелять в женщин. — Не надо!!!

Возглас мой был обращен к доброму солдату, единственному моему защитнику. Он почему-то улыбнулся и сказал утешительно:

— Не тронет он никого... Понимаешь, не тронет.

Потом взял меня за руку и тоже пошел к террасе.

Краснощекий шагал неторопливо впереди, время от времени ставя винтовку на траву, как ставят палку старые люди, и она, касаясь земли, издавала тот самый звук, который

я принял за стук копыт коровы. Вот, оказывается, какая корова шла за дувалом!

Женщины на террасе встретили нас испуганно. Матушка решила, что солдаты поймали меня и ведут домой. Боясь выразить свое беспокойство, она лишь тревожно смотрела на меня. Остальные женщины, бестолково размахивая белыми флагами, заслонили собой ступеньки и вход в комнаты, где прятались их дочери. Заслонили от шагающего смело краснощекого.

— Что привязался к женщинам?! — крикнул добрый солдат. — Оставь их, они в матери тебе годятся.

Видимо, краснощекий хорошо помнил совет начальства — делай, что угодно душе твоей, на то ты и солдат карательного отряда. И он сожалел теперь, что оказался в компании дряков.

— А ну вас к дьяволу! — проворчал он. Повернулся и отошел от террасы, волоча по траве винтовку. Она опять зацокала, как коровьи копыта.

Не знаю, зачем пришли в наш сад солдаты, что их могло привлечь сюда: желание пожить или поозоровать.

Добрый солдат с любопытством разглядывал женщин, щурил глаза и улыбался в усы. Он был далеко не молод: обильная седина пробивалась на висках, шея испещрена сеткой морщин. Женщины тоже разглядывали его с любопытством. Впервые вот так открыто они находились рядом с чужими мужчинами. Лица обнажены, в глазах никакого смущения. Мне показалось, что женщины забыли о черной сетке, обязательной для каждой мусульманки. Страх и гнев, наверное, отбрасывают условности, которые живут в человеке с детства. Ведь точно так же поступила мать Сафара-чиканака, узнав о наказании своего сына. Она открыла лицо перед самым муллою, сказала ему все, что о нем думала. Не до соблюдения законов шарията было и нашим матерям, когда в дом вошли солдаты. Открыто смотрели они на незваных гостей. Перед врагом не закрываются.

Так, постояв, поглядев на женщин, солдаты, видимо, ушли бы, но тут отворилась калитка и на пороге появилась Таджифари. В одной руке она держала белый флаг, в другой — длинную палку, которая служила ей посохом. За плечами висел старый хурджун, набитый всякой всячиной. Худая и черная, как обгорелая ветвь карагача, с распущенными седыми волосами Таджифари напоминала злую колдунью. Глаза из-под нависших, словно заросли колючего янтака, бровей глядели зло. В них пылал какой-то неукротимый огонь, пугавший нас. Большая, выдававшаяся вперед челюсть и

такие же губы постоянно двигались: и когда Таджифари говорила, и когда молчала. Но чаще всего она говорила, и произносимые ею слова были странными и неожиданными.

Увидев Таджифари, все во дворе оцепенели. Ее появление всегда было тягостным. Она слыла в народе юродивой, могла всякое сказать и всякое сделать. Сейчас при солдатах такой гость был просто опасен.

Гибель мужа усилила недуг Таджифари. Она ходила по улицам и дворам и искала убийцу. Стоило только напомнить ей о несчастье, как начинался приступ неистовой злобы. В такие минуты Таджифари была страшна: глаза закатывались, лицо перекашивалось, изо рта шла пена. Делая странные движения руками, она принималась бегать по кругу, громко выкрикивая: «Хув! Хув!»

Вот и сейчас, увидев солдат, Таджифари сразу изменилась. Взгляд ее стал мрачным, губы скривились.

— Ага, здесь они! — произнесла Таджифари злобно. — Думают, я простила им своего старика? Как бы не так!

Женщины закачали головами, выражая этим свое беспокойство и свою беспомощность. Что можно сделать с потерявшей разум, как предотвратить беду?

— Сестра, — обратилась к ней ласково одна из старух. — Не будь слепой, не ступай в пропасть.

Несчастливая скинула с плеч хурджун и посмотрела на женщин таким взглядом, словно хотела пристыдить их.

— Другому неведомо, как болит душа человека. Конечно, вам что! Не ваши мужья и не ваши сыновья погибли. Мой старик покинул этот мир, и я должна отомстить...

Солдаты, не понимая смысла сказанного, улыбались, глядя на нелепое одеяние и странные движения юродивой. Особенно забавляло это краснощекого. Он громко смеялся, будто присутствовал на комическом представлении. А Таджифари тем временем засучивала рукава и, делая большие шаги, стала приближаться к солдатам и именно к тому краснощекому.

— Таджи! — взмолилась моя матушка. — Не трогай солдата. Или ты хочешь новых несчастий? Тем, что народ убил уездного начальника, никто ничего не достиг, лишь познал горе и слезы. Смирись, Таджи, со своей судьбой, у других она печальнее.

Несчастливая ничего не слышала или не хотела слышать. Выкрикивая свое таинственное «хув, хув!», она принялась кружиться, постепенно сокращая расстояние, отделявшее ее от краснощекого. Как всегда во время припадков, глаза Таджифари полезли на лоб, лицо исказила гримаса злобы, на

губах засинела пена. В руке она по-прежнему держала белый флаг и водила им перед своим лицом, словно заслонялась от чего-то. Солдат громко смеялся. Потешным казался ему этот танец старухи. Наверное, он и не замечал, что Таджифари все больше и больше приближается к дереву, под которым краснощекий устроился.

Я не выдержал и крикнул:

— Тетя Таджи, он застрелит вас!

Это она услышала, но движения своего не прекратила, а только выше подняла флаг.

— Не застрелит, — ответила она. — А ну, попробуй выстрели! — обратилась Таджифари уже к солдату. — Кго издал закон о белом флаге? Кто? Царь! Он тебя накажет за смерть несчастной Таджифари... Он тебя повесит...

Старуха вдруг протянула к краснощекому худые руки свои с согнутыми, словно клещи, пальцами. Теперь солдат почуял опасность и выставил вперед штык.

Женщины вскрикнули:

— Ой, ой! Спаси ее всевышний!

А Таджифари бросила флажок, открыла грудь перед штыком и в беспамятстве застонала:

— Убивай, злодей! Убивай! Ну!

Она была уже в черном пару, как говорили женщины. Волосы свисли на плечи, заслонили мокрыми прядями лицо. Пена высохла, и губы стали синими. Таджифари задыхалась...

— Опусти винтовку! — приказал краснощекому добрый солдат. — Старуха больная, не видишь разве.

И краснощекий, уступая требованию старшего, неохотно опустил оружие, но глаза его продолжали опасно поглядывать на безумную, которая все еще бесновалась перед ним.

Наконец Таджифари поняла, что ее не убьют, что над ней лишь потешаются, и зарыдала. Я никогда не видел такого выражения отчаяния и горя. Старуха тряслась, и слезы лились из ее глаз крупными каплями. Чтобы как-то утешить ее, добрый солдат подошел к ней и тронул рукой седые волосы.

— Зачем плачешь, женщина? Слезами горю не поможешь. Сядь, успокойся!

Удивительно, Таджифари стихла. Простое слово утешило ее, слово, произнесенное солдатом, которого она была готова до этого задушить собственными руками.

— У тебя горе, у нас горе, — продолжал солдат. — Все мы народ подневольный. А мужа твоего мы не трогали. Не видели мы твоего мужа, понимаешь?

— Все равно убили, — снова заплакала Таджифари. — Ваш царь убил... У-у, злодей... Отомщу!

Женщины стали просить, чтобы матушка моя увела куда-нибудь сумасшедшую. Ее одну Таджифари слушалась.

— Милая, — обняла несчастную матушка. — Куда ты шла, не за водой ли? Вот у тебя кувшин в хурджуне. Он пустой. Не сходить ли нам к колодцу ишана и не набрать ли свежей воды детям? А? Пойдем, милая, кувшин я сама понесу...

Таджифари посмотрела на матушку как-то жалостливо, закинула кувшин за плечи и, рыдая, выбежала на улицу.

— Бедняжка, — сказал добрый солдат. — И утешить ее некому.

→ Бог утешит, — вздохнули женщины. — До нее ли сейчас людям, своего горя не испытать за всю жизнь.

Не знаю, смирилась ли Таджифари со своей утратой или нет. В этот день она была тихой и даже словом не выразила своей боли, когда солдаты, испив чаю, покинули наш двор. Наверное, все же не смирилась. Потом она все ходила по городу и искала солдата, что убил ее мужа. В скитаниях и поисках закончилась ее странная жизнь. Как-то утром Таджи нашли мертвой в зарослях кустарника возле дома ишана...

Еще одна душа покинула Джизак в те черные дни. Исчезла тетушка Марьям.

Страх не затуманил наш разум, не изгнал из сердца любовь. В ту первую ночь, ночь без рассвета, матушка не раз вспоминала сестру свою и все спрашивала нас:

— Неужели она не придет? Неужели не чувствует, как тяжело нам?

Мария Александровна в ту ночь не пришла к нам. Не пришла и на следующий день.

— Уж не случилось ли что с ней? — беспокоилась матушка. — Канцелярию сожгли, а ее комнатка на самом краю стоит...

— Уже не стоит, — ответил отец. — Один пепел остался.

— Ой! — сокрушалась матушка.

Когда ввели белый флаг и можно было ходить безопасно по городу, брат Манзур пробрался к базару, вернее, к тому месту, где находился базар и стояла канцелярия мингбаши. Комнатки тети Марьям не было уже. Была груда саманных кирпичей и два обгорелых бревна. Он спросил людей, живших недалеко от базара, не видели ли они русскую женщину. Никто не видел. Не до нее было людям в день восстания. Лишь один мальчик оказался приметливым. Он

сказал, что перед самым пожаром полицейские вывели русскую женщину из канцелярии и погнали по дороге в Самарканд. В руках у нее был узелок и маленький чемоданчик, который брала она с собой, отправляясь к больным. Женщина плакала, а полицейские ругались и грозили ей нагайками.

Обо всем этом Манзур поведал матушке. Она покачала горестно головой:

— Ой, сестра, сестра! Не кончился твой печальный путь в жизни...

Отец по-своему истолковал весть об исчезновении тетушки Марьям.

— Если русских не щадит царь, то что ждет нас, джизакцев...

Он не ошибся. Джизакцев ожидала страшная расплата.

ДЕНЬ ПРОКЛЯТИЯ

— Светает, вставайте!

Все ждали этого дня и боялись его — дня наказания Джизака. Вечером и даже ночью он казался еще далеким, этот день. Помню, когда я засыпал, измученный стонами и слезами матери и горестными пророчествами отца, небо было удивительно добрым и спокойным. Все в ясных звездах. Они успокоили меня и заставили сомкнуть веки. Кажется, я не спал: окунулся куда-то в мягкую пустоту на мгновение и тут же очнулся. Звезд уже не было. Одна или две, последние, трепетали в блесклой синеве и на моих глазах погасли. Вокруг проступали силуэты деревьев. И было холодно, как всегда на рассвете.

Отец горопил:

— Вставайте скорее!

Куда он спешил? Если верить его же словам, сказанным вечером, всех ожидала смерть. Царь после долгих раздумий подписал приказ об уничтожении Джизака — гнезда повстанцев. Для этой цели к городу подкатили пушки, и с восходом солнца снарядами снесут все живое. Кто-то видел, как везли орудия. Город окружен войсками, это тоже видели. Бежать некуда. И все-таки отец торопил:

— Скорее, скорее!

Одеваться не надо. Все одеты. В узелках завязаны лепешки. Отец и матушка спускают нас, дрожащих и плачущих, с крыши и ведут к хаузу — водоему, пересохшему за лето.

— Здесь самое надежное место от снарядов, — шепчет отец. — В ямы снаряды не попадают.

Это такая же наивность, как и все, что предполагалось и осуществлялось для спасения людей во время и после восстания: ночные бодрствования на крыше, прятание вещей в колодах, приношение жертв святым, отсиживание на пустах. Намерения карателей никто точно не знал, и поэтому меры предосторожности никогда не оправдывали себя. Не помог нам, конечно, и хауз, хотя он и был глубок и вместил в себя многих матерей с детьми.

Едва поднялось солнце, город загудел голосами людей. Нет, не стрельбой пушек и ружей. Лишь голосами. Нас нашла в хаузе соседка.

— Вылезайте! — крикнула она. — Солдаты гонят всех на площадь. Бегите куда-нибудь, спасайтесь!

И, не дождавись ответа, первая побежала. Куда, неизвестно.

Шум все усиливался. Я вылез из хауза и глянул на улицу. Там творилось что-то неопишное. Толпы людей, подгоняемые солдатами, двигались в сторону базара. Пыль, поднятая ногами, повисла над улицей густым туманом и все закрыла собой. Лишь в просветах мелькали чьи-то тела. И над стоном тысяч голосов звучала команда солдат:

— Жур! Айда!

Слово «айда!» звучало в тот день часто и было связано с шествием в трагическое неизвестное, поэтому его запомнили все — от мала до велика. Запомнили на всю жизнь. И когда возникал в мыслях неповторимо страшный день, вместе с образом идущей толпы, вместе с гулом ее повторялись невольно и слова: «Жур! Айда!»

Нам тоже пришлось идти — хауз не помог. Солдаты требовали, чтобы мы вылезли из своего укрытия.

— Жур, жур!

Вылезли. Сопротивляться было бесполезно. Присоединились к толпе, и она потянула нас вперед. Быстро потянула. Все будто торопились на свою казнь. Смерть все-таки была наречена нам, так говорили вчера старики. И вот теперь минута ее приближалась.

— Неужели аллах не видит отчаяния своих детей? — шептали матери, утешая плачущих малюток. Многие шли с грудными детьми на руках.

— Проклял вас всевышний, — отвечали старухи. — Проклятие всему роду джизакцев.

— Но дети! За что всевышний карает детей? Они-то ведь ничего не совершали! Они безгрешные...

— Я же говорю, проклятие всему роду...

Мне было непонятно; почему люди в такую минуту ре-

шают странные вопросы. Надо кричать, просить милости, наконец, броситься на солдат — их не так уж много — и спасти себя борьбой. Зачем так робко подчиняться силе? Зачем умирать? Я не хотел умирать, и то, что все толкали меня вперед, навстречу смерти, тянули куда-то, вызывало протест. Глаза мои искали ответа у матушки. Ей одной я доверял, ее одну видел во всем страшном людском море. Но матушка молчала. Она смотрела вперед скорбными глазами, прижимала к себе младшего братика и шла. Шла как все.

Почему-то именно матушка своей обреченностью поразила меня. Я вдруг понял: спасения нет. И прижался к ней лицом, к ее платью, сжал рукой подол, подчинился неизбежности. А внутри стыл ужас, и хотелось плакать. Но я не плакал. Только губы, помню, дрожали. И зубы тихо-тихо постукивали.

Губы дрожали и потом, когда нас привели на базар. На бывший базар. Теперь от него ничего не осталось, кроме обуглившихся бревен и саманных кирпичей. Вначале, я даже не догадался, где мы остановились. Даже медресе Нуритдина Ходжи не узнал. Высились каменные колонны и безглавые минареты. Я часто бывал здесь раньше, взбирался по темному проходу наверх и оттуда, с макушки минарета, смотрел на город, на реку, на расстилавшийся внизу базар. Все как на ладони лежало, любуйся, рассматривай. Чаще всего взбирался не один. Мы стрекотали вверху чижами, спорили и иногда так расходились, что имам или азанчи сгоняли нас, грозя кулаком.

Куда девалась верхушка минарета, размышлял я, глядя на медресе. Такие мысли способны возникнуть лишь у ребенка. Страх не в состоянии заглушить любопытства, и, пока люди шумели на площади, я предавался размышлениям. Наверное, это счастье юности — отталкивать от себя горе. И если оно уже слишком близко, искать спасения у матери. Так именно я и поступил, когда огромная площадь наполнилась, и гул толпы стал оглушительным. Матушка сидела на земле, к ней жались сестры, на руках она держала братика, а я устроился рядом. Тепло материнского плеча успокаивало меня.

Не знаю, зачем так долго нас держали на площади. С рассвета до полудня люди мучились под открытым небом, принимая на себя весь жар летнего солнца и изнемогая от жажды. Вставать с места запретили, тем более передвигаться. Сейчас же следовал окрик солдата и щелканье затвора винтовки. Жажда, а порой и другие потребности вынуждали людей просить разрешения уйти с площади. Ответ был все

тот же — шелканье затвора. И люди садились снова на землю, набирались терпения. Однако терпение имеет край, как всякая чаша, какой бы глубокой она ни была. Одна из женщин оказалась беременной, и именно в этот день бог призвал к жизни нового джизакца. Страшный крик пронесся по площади. Крик обезумевшей от боли матери. Ее надо было вынести куда-то с глаз людей, помочь принять ребенка. Женщины, подняв руки, стали умолять офицера выпустить ее. Он ответил руганью:

— Не для того собрали, чтобы распускать!

Мать билась у самого края площади. Туда она переползла с помощью соседок. Боль и стыд толкали ее на роковой поступок. Женщина пала к ногам солдата. Солдат стоял с винтовкой наизготовку, преграждая путь. И вдруг отступил. Молча отступил. Сделал он всего один шаг. Но все поняли, что стоил он ему многого.

— Святой человек! — зашумели люди на площади. — Бог дал ему сердце, хотя он и неверный.

Измученные и разгневанные джизакцы благодарно вздохнули. Их тронул поступок солдата. И тут же ужаснулись. К солдату подбежал офицер, отнял винтовку и стал бить по лицу нарушившего приказ.

Я, поднявшись на цыпочки, наблюдал всю эту сцену и передавал сидящим. Матушка впервые за день оживилась.

— Все несчастны, — сказала она. — Солдат такой же раб, как и мы. Бог будет ему защитой.

— Будет ли, — покачала головой соседка. — Царь непослушных не милует. Расстреляют, наверное, этого русского.

— Сколько же смертей примет сегодня площадь...

Соседки замахали на матушку руками.

— Не говори так. Не зови смерть. Неужели белому царю мало крови, пролитой народом?.. Он не посмеет убить детей.

К разговору женщин присоединились мужчины. Каждый высказывал свои предположения. «Весь Джизак соберут здесь и погонят в Сибирь», — говорили одни. «Зачем столько хлопот? — возражали другие. — Целый месяц дороги, кормить надо.. Здесь расстреляют». Что бы ни говорилось в этот день, конец был один — смерть. И люди старались стогнать ее от себя. Женщины плакали, мужчины читали молитвы.

Я так много слышал о смерти, что перестал воспринимать это слово. Оно притупилось и уже не вызывало боли и страха, как прежде. Лишь когда другие предавались отчаянию и слезам, мне становилось жаль всех и самого себя тоже. Тогда я прижимался к матушке и всхлипывал. Но ед-

ва посторонний шум или чьи-либо громкие слова раздавались на площади, чувство жалости покидало меня и мгновенно появлялся интерес.

Мы находились на южной стороне площади, недалеко от кургана. Здесь еще пожар окончательно не угас. Кое-где дымилась балка, глели тряпки, и это мешало дышать, грело землю, и без того нагретую лучами солнца. Южная сторона особенно тщательно охранялась солдатами. Видно, начальники боялись, что народ побегит через курган в степь. И вдруг совершенно неожиданно строй разделился на две части — одна отошла на запад, другая на восток. Курган оголился.

Чуть загихшая площадь снова возбужденно зашумела: люди почувствовали в движении солдат какую-то опасную для себя затею. А тут еще кто-то крикнул:

— На нас направляют пушки!

Верно, около медресе я увидел несколько орудий, дула которых были повернуты к площади. Конные упряжки выкатили их на открытое место и здесь остановились. Артиллеристы отпрягали лошадей.

Больше я не успел ничего разглядеть. Матушка за рубаху притянула меня к себе, обняла и зашептала:

— Не смотри! Закрой глаза и молись.

Теперь мне стало страшно по-настоящему. Глаза закрыл, но молиться не мог. Не знал, что надо говорить в такую минуту. Да и вообще слова не шли на ум. Ничего не шло. Сердце сжалось в ожидании выстрелов. Матушка тоже не молилась. Она крепко-крепко прижимала к себе меня и маленького братика.

А рядом кто-то громко повторял:

— Лонлоха иллоху. Мухаммади расулолло...

Стоял истошный вой. Тысячи простертых к небу рук что-то просили, требовали, а может, слали проклятия. Да, похоже было, пришел конец. Жутко было находиться в этой толпе, ожидающей смерти. Не хватало сил слышать крики и стоны.

Пушки молчали. Вместо выстрелов раздался громкий рокот какой-то машины. Он приблизился к нам и затих. Я поднял голову. Недалеко от строя солдат остановился автомобиль. Знакомый автомобиль. Несколько раз мне довелось видеть его на улицах Джизака. В нем ехал генерал-губернатор. Самого губернатора не разглядел тогда. Сейчас он вышел из машины, держа в руке какую-то бумагу. Возможно, это был не губернатор, кто-то другой. Но лицо важное, потому что к нему сразу подбежали несколько военных

с золотыми погонами. Подошел и высокий грузный мужчина в черном одеянии. Лицо его украшала борода, длинные волосы спадали до плеч, на груди блестел большой крест. Этот высокий человек в черном принял от приехавшего бумагу и вместе с военными направился через площадь к медресе. Они шли мимо нас, сидящих на земле, и никого не видели, ничего не слышали, головы их были подняты гордо вверх, губы сжаты. А мы снизу глядели на них с тревогой и надеждой. Каждому хотелось по глазам офицеров узнать, что написано в бумаге, как решил судьбу джизакцев царь.

На возвышении военных ждал молодой парень, тоже в форме, и все сразу узнали в нем сына убитого мингбаши Мирзаяра — Аждарбека. Стройный, пухленький, с маленькими усиками над приподнятой губой, он был так не похож на остальных джизакцев, поверженных в пыль и страх, почерневших от горя. Аждарбек принял от человека в черном бумагу, приложил ее к губам и поклонился военным. Потом сделал шаг вперед и поднял руку, требуя внимания. Площадь сразу замерла. Людям хотелось узнать, что их ожидает.

— Мусульмане! — громко произнес Аждарбек. — Слушайте приказ царя. Слушайте, неблагодарные, посмевшие нанести оскорбление его величеству, поднявшие руку на его слуг. Слушайте и внимайте!

С каждым словом голос Аждарбека становился все громче и долетал до самых отдаленных участков площади. Впрочем, он мог быть и тише. Народ так присмирел, так затаился, что услышал бы не только слова, но и дыхание говорившего.

— Его величество государь император сочли возможным простить вам столь неприятное оскорбление и проявить жалость к своим неразумным подданным: уповая на бога и следуя добрым побуждениям, заменяет смертную казнь ссылкой на вечные времена в степи. Ни повстанцы, ни их дети никогда не должны вернуться назад, ни переселиться в другое место. Нарушившие этот запрет подлежат расстрелу...

Люди, кажется, онемели. Даже вздоха не проронил никто. Страшным и неожиданным оказался приговор царя. Несколько минут назад ждавшие смерти теперь не хотели принимать дарованную им жизнь. Она была равной смерти. Вечная ссылка, вечное изгнание, проклятие всему роду джизакцев.

Аждарбек хотел продолжить чтение приказа, но не смог. Люди наконец очнулись и выразили свое отчаяние криком:

— А-а!!!

Не знаю, слышала ли земля когда-либо подобный стон своих детей. Как не разверзлась она, как не рухнул Джизак! Народ забыл о предостережении, забыл о винтовках, направленных на площадь, поднялся, готовый ринуться прочь с несчастного места.

Аждарбек замахал камчой, что держал все время в левой руке, визгливо завопил: ему надо было утихомирить джизакцев, дочитать приказ царя. Но разве воробей в состоянии перекричать голос бури? Тогда раздалось несколько выстрелов из винтовок. Люди нехотя, не сразу смолкли и опустились на землю.

Сын мингбаши откашлялся — попытка успокоить толпу ему обошлась дорого: он сорвал голос. Впрочем, это не такая уж большая утрата, кому нужен был голос мирзаяровского отпрыска? Лаять можно и охрипшим. Кашляя и глотая слюну, Аждарбек дочитал приказ. По нему джизакцы делились на две части — одна направлялась в степи Кили, другая — в Учтепа.

Тут же солдаты стали делить народ. Прикладами и саблями разбивали толпу, растаскивали в разные стороны. Началась такая кутерьма, что светопреставление, о котором пишется в святых книгах, показалось бы образцом порядка. Каждая семья хотела быть вместе, и потому жены звали мужей, матери детей, сыновья отцов. Кое-кто оказался рядом. Самым печальным было наше положение. Отец, как всегда, придумал хитрость и вместе с моим старшим братом исчез утром в каком-то переулке. Теперь матушка не знала, где его найти. С малышом на руках, в окружении дочерей, она растерянно смотрела по сторонам, надеясь увидеть где-нибудь мужа и сына.

— Зови отца! — просила она меня. — Кричи!

Я кричал, звал отца, брата, но голос мой тонул в гуле толпы. Ведь и другие кричали, и другие искали близких. Меня охватило отчаяние — что теперь будет с нами? Сейчас погонят в степь, и мы больше не увидим ни отца, ни брата. Да и как будем жить? Ведь ничего нельзя взять с собой — с чем вышли из дому, с тем и отправимся на вечное поселение.

Только мать одна способна выстоять против невзгод и испытаний, которые готовит ей постоянно судьба. Слез я не увидел в ее глазах. До того она плакала, видя, как приближается неумолимое несчастье, сейчас надо было спасти детей, надо было заменить им отца, набраться мужества. Схватив меня за руку, она ринулась к тому месту, где стояли

военные, где красовался в новенькой форме Аждарбек. И прошла, неся на руках ребенка, вытягивая из людского потока меня и дочерей. А меня вытягивать было нелегко: я путался между чужих ног, натыкался на потные животы, плечи, спины.

— Таксыр! — крикнула она Аждарбеку. — Будьте милостивы, таксыр! Мой муж и сын, имя и честность которых вам известны, где-то на площади. Пусть солдаты разрешат им присоединиться к семье сейчас или потом, в степи... Я подожду их, таксыр...

Он мог не ответить, этот отпрыск мингбаши, мог сделать вид, что не слышит. Но он ответил:

— Иди! Нечего напрасно ждать. Простись со своим мужем и сыном. Их нет больше...

Я думал, матушка упадет прямо здесь, перед возвышением. Разве человек в состоянии после всех бед, обрушившихся на него, принять еще одну? Принять самую страшную. Матушка некоторое время стояла молча, смотрела на Аждарбека, пытаясь понять сердцем сказанное им.

— Иди, женщина! — повторил сын мингбаши.

Матушка повернулась, и я снова не заметил слез в ее глазах. Они были сухими.

И мы пошли на вечное поселение...

ИЗГНАНИЕ

Голая степь. Такая голая, что не видно на ней ни дерева, ни кустика. Но не гладкая — местами волнятся на ней невысокие холмы, похожие на горбы верблюдов. Когда и отчего они здесь возникли, знает ли кто? Вряд ли. Такой уж сотворил ее всевышний, видимо. И вот многие годы, сотни лет, а может, и тысячи высятся холмы, бесстрастно, молча глядя на все, что творится вокруг, на рождение весенних тюльпанов, на смерть летних трав, сожженных солнцем, на дым песка, поднятого ветром, на пляску зимней метели, на караваны птиц, пролетающих то на юг, то на север, на восход и заход звезд. Много, многое видели холмы. Но впервые им пришлось лицезреть людское горе. Тысячи людей лежали на земле, истерзанные усталостью, и предавались короткому сну. Лежали в степи у подножья холмов.

Мудрые старые холмы, выдавшие мир еще в пору его сотворения, и я, двенадцатилетний мальчишка, сделавший всего несколько шагов в жизнь, — вместе мы познавали, что такое изгнание. Люди лишились крова, очага, постели, лишились всего близкого, родного, и их теперь приютила степь.

Нет, не приютила, просто они упали на землю, потому что не было сил идти дальше. Здесь их застала ночь. Ночь, которая в месяце саратан тепла, как шерстяной полог, и темна, как дно колодца.

Все лежали, но не у всех глаза были закрыты сном. Я не спал. Видения дня толпились в моей разгоряченной голове и требовали какого-то объяснения. Мне по-прежнему прошедшее и настоящее казалось змой выдумкой, наваждением, которое вот-вот рассеется, исчезнет. Уйдет ночь, и все станет прежним — светлым, понятным, добрым.

Вот уже который день я жду этого пробуждения. Никак не хочет детское сердце смириться с несчастьем, что обрушилось на нас. Может быть, поэтому все происходящее мне кажется ненастоящим, вымышленным, и, может быть, поэтому я мало плачу. Мои глаза открыты. На площади перед мечетью меня занимали солдаты, пушки, сбитая снарядом маковка минарета, здесь, в степи, я рассматриваю холмы, стараюсь понять, откуда они взялись, смотрю на небо, усыпанное звездами, жду восхода луны.

Мы теперь одни с матушкой — я имею в виду старших в семье. Сестры не в счет — они или маленькие, или уже замужем. Брата и отца убили — так сказал Аждарбек. Солдаты увидели их бегущими и застрелили. Это тоже никак не укладывается в моих чувствах. Наверное, когда пройдет время, утрата станет реальной, я смирюсь с ней. Пока несчастий так много, что принять их одновременно невозможно. Матушка тоже не плачет. Молчит и смотрит потухшими глазами куда-то вдаль. Что-то думает. Что, не знаю.

Я рад, что она заснула. Может, к ней вернуться силы и она станет прежней. Обязательно прежней, иначе мы все погибнем...

По степи бежит ветерок, знобкий ветерок, видимо, скоро утро. Холод заставляет меня поежиться, вспомнить, что я не дома, что все вокруг настоящее и оно теперь всегда будет со мной.

Луны нет, но небо какое-то прозрачное, словно высечено отблеском далеких огней. И степь оттого бкютана голубоватой дымкой, и все на ней видно — близкие и далекие холмы, и силуэты спящих людей, и кромка земли, подступающая к самому горизонту. Вот только нашего Джизака не видно. Он где-то там, за степью, за холмами. Далеко мы ушли от него. Ушли навсегда.

Родной город кажется мне теперь необыкновенным. Даже сказочным кажется — и улицы, и сады, и Каландархана с ее хаузом. И я смотрю на край степи и рисую в своем вооб-

ражении наш дом, тихий, светлый, радостный. Да, у потерянного ножа рукоятка всегда золотая... О, если бы вернуться домой!

Пока я так мысленно брожу по Джизаку, в том месте, куда направлен мой печальный взгляд, появляется темная точка. Возможно, не одна точка, а несколько, но они слились и представляются чем-то единым. Точка движется, растет и начинает делиться. Забыв о Джизаке, я весь отдался вниманию. С тревогой и любопытством слежу за странными силуэтами. Вот уже ясно различается лошадь, она идет в середине, слева и справа — люди. Двое мужчин. Идут они медленно, устало. Шаги негромко, но явственно звучат в тишине ночи.

Когда мужчины подвели лошадь к нашему табору и остановились в нерешительности, я вздрогнул от какого-то неясного предчувствия. Лицо одного из мужчин показалось мне знакомым. В темноте я уловил черты брата Манзура, убитого вчера.

— Ака! — неволью вырвалось у меня. — Брат!

Это был Манзур. Он подбежал ко мне — живой, а может, воскресший, обнял меня. Засмеялся радостно.

— Слава всевышнему...

Мне хотелось спросить, правда ли, что его расстреляли и похоронили под дувалом суфи Оймата, но я не решался произнести эти слова. Да и не успел. Подошел отец, тоже воскресший, прижал меня к себе и произнес взволнованно:

— Дети мои...

Я стал целовать его глаза, лицо, бороду. И заплакал. От счастья.

— Папочка, сказывается, вы живы... Живы.

Отец, не понимая всего вопроса, ему подумалось, что долгое отсутствие очень встревожило нас, и заторопился согласиться со мной:

— Живы... живы...

Проснулась матушка. Горе и боль, давившие ее сердце, разомкнулись, дали волю слезам.

Счастье наше было шумным. Встревоженные соседи поднимали головы и испуганно спрашивали:

— Что случилось?

Я крикнул что было мочи, наверное, на всю степь:

— Отец и брат мои воскресли!

Мог ли я подумать, что наша радость всего лишь капля светлая в темном море человеческого несчастья? У кого-то вернулся отец, ну и что из этого, если бы вернулась своя

бода для всех, тогда бы засмеялась, а может, и заплакала от счастья вся степь. Теперь люди лишь кивнули головой и вздохнули.

— Вернулись, ну, слава аллаху... Он еще помнит нас, обездоленных.

Кто-то объяснил чудо по-своему:

— Можно ли верить этому выродку Аждарбеку... Он от злости готов всех объявить покойниками.

— Да, если Аждарбек не сделает человеку больно, спать не будет... Весь в отце!

Воскрешение чорбазарчи и его сына не стало событием для всей степи. Повздыхав и покачав головами, люди поворачивались на другой бок и засыпали. Засыпали, хотя земля и была голой и жесткой, — измученные тела требовали отдыха, к тому же предстояли новые испытания и муки, надо было набраться сил. Лишь некоторые проявили любопытство и задали отцу несколько вопросов: как там в городе, не слышно ли чего нового? Он рассказал, что в Джизаке тишина: все жители покинули свои дома, а город окружен войсками, никого не пропускают внутрь.

— Как же вы прошли? — поинтересовались наши соседи.

— Упросили солдат.

— А это возможно?

— Сами видите... Уже в степи мы с сыном наткнулись на патруль. Их было четверо. Они обыскали нас, развернули одеяла, проверили мешок, — не знаю уж, что им надо было, — и отпустили. Манзура даже по плечу похлопали: «Баранчук, баранчук!»

— Выходит, солдатам от нас ничего не надо? — удивились соседи.

Отец пояснил рассудительно, он умел во всем находить истину:

— Что солдаты! Они, как и мы, невольный народ. Что велят командиры, то и делают. Не ударь солдат бедняка, его самого ударят, а то еще и расстреляют.

— Да, — соглашались соседи, — солдаты в страхе перед офицерами, а уж офицеры — чистый божий гнев, так из глаз молнии и сверкают.

До самого рассвета длился разговор, и только когда над степью, как стон, пронесся голос муэдзина: «Облоху акбар-облоху!», люди стихли. Вся земля покрылась бугорками поднявшихся на колени джизакцев. В полутьме, предшествующей восходу солнца, эти силуэты, слегка покачивающиеся вперед и назад, казались призраками. Я тоже опустился и сложил ладони на коленях. Предстоял первый разговор с

богом, допустившим наше изгнание из дома, а может быть, наказавшим джизакцев за какие-то грехи.

Со страхом и надеждой люди ждали этой встречи с богом. Вдруг снизойдет всевышний к ним, несчастным, и утешит. Никогда, наверное, верующие не испытывали такого благоговения и такой преданности своему пророку, как в этот предрассветный час, стоя на коленях в степи. Каждому хотелось быть услышанным, и уж если на камнях мечети он вкладывал в молитву все свое старание, то здесь, на пустынной земле, это старание удвоилось. Но судьба не помогала мусульманам. Когда муэдзин прокричал: «Халла алапалох! Халла алаассалох», а затем закончил призыв к молитве словами «лоилоха иллолло!», верующие сложили ладони для омовения. Тут кто-то сказал огорченно:

— Воды-то нет. Что же будет с омовением?

Да, люди стояли на сухой земле, настолько сухой, что и трава стала жесткой и колола ноги.

— Слишком велик наш грех, бог отнял право на омовение...

Мне тоже показалось, что всевышний отвернулся от джизакцев. Отсутствие воды тому доказательство. Однако нашёлся среди изгнанных знаток корана и успокоил мусульман:

— Когда нет воды, — говорил пророк, — соверши омовение песком...

Ему поверили. Людям надо было выйти из затруднения, которое встало на их пути. Мужчины засучили рукава, будто в самом деле собирались коснуться воды, и ладонями тронули лица. Я сделал то же.

Потом все поднялись и пошли к тому месту, где несколько минут назад звучал голос муэдзина. Отец, прежде чем последовать примеру соседей, предупредил матушку:

— Там, в мешке, пшеница, ее надо бы поджарить детям, но не торопись с этим делом. Вокруг голодные, хорошо ли самим есть, чувствуя взгляд неуголенного? Вернусь, тогда разведем огонь...

Люди шли к муэдзину, надеясь узнать что-либо о грядущем дне. Вставало солнце и вместе с ним тревожная дума — что дальше? За ответом пошел и отец.

Едва мужчины скрылись в предрассветном тумане, я принялся донимать матушку просьбами:

— Поджарьте пшеницу...

Матушка не отвечала, да и что она могла сказать мне — рядом лежали и сидели изголодавшиеся соседские дети. Наконец она не вытерпела, сняла одеяло с ведра, в котором был виноград, и вынула несколько кистей. Оказывается, ночью

отец привез, кроме пшеницы, и виноград. Я протянул руки к гроздьям.

— Сынок, — остановила меня матушка, — видишь этих ребят, они со вчерашнего дня не видели ни крошки. Несколько ягод помогут им утолить боль голода. Отдай малышам эти кисточки...

У меня самого горело все внутри. В руках кисть винограда, и ее надо отдать соседским детям. Не без сожаления я протянул ее хныкающим малышам. Справедливости ради следует сказать, что несколько ягод мне удалось по пути отправить в собственный рот — соблазн был слишком велик! Но только несколько ягод. В награду за подвиг матушка выдала мне целую кисть. Тут же, подогнув под себя ноги, я принялся расправляться с нею, и, наверное, расправился бы в несколько минут, но случайно глаза мои наткнулись на соседского мальчика Хакимджана-худои. Он был братом этих самых хныкавших малышей. Старшим братом. Ему не досталось ни ягодки, и теперь, мучаясь голодом, Хакимджан с болью смотрел на мои руки, торопливо отправлявшие виноградники в рот.

Нужно же было моим глазам наткнуться на этого Хакимджана-худои именно в то время, когда мне выпало счастье наконец наполнить желудок сладким виноградом. Мог ведь увидеть вместо него пучок сухой верблюжьей колючки или холм, которых бог весть сколько в степи, в крайнем случае, вообще ничего не увидеть, так нет, перед моими глазами возник голодный Хакимджан. Что он голодный, сомнений не было. Каждую виноградинку, отправляемую мною в рот, Хакимджан сопровождал таким грустным взглядом, что она невольно застревала у меня в горле, и он подталкивал ее, проглатывая собственную слюну.

Не надо объяснять, почему я разделил кисть порозну, вторую половину протянул Хакимджану-худои. Не надо также описывать, как принял свою долю мальчишка и во сколько секунд он ее уничтожил. Пока я вернулся на свое место, с виноградом было покончено. В руках у Хакимджана не оказалось ни одной ягодки. Да что ягодки! Косточки и стебелек тоже исчезли. Голод не отделяет съедобное от несъедобного.

Я расстался с виноградом, но зато приобрел друга. Хакимджан подошел ко мне и сел рядом. Раскосые глаза его не были уже такими грустными, да и были ли такими прежде? Наверное, я ошибся. Он улыбался, как улыбаются все мальчишки, которым вдруг повезло. Правда, позже они опять погрустнели, это когда Хакимджан сказал, что его отца за-

брали солдаты и хотят повесить. Повесить как одного из зачинщиков бунта. Вот мать его и плачет поэтому все время...

Мне захотелось утешить нового друга, и я привел в пример историю с собственным отцом и братом, которых будто бы убили вчера, а ночью они появились в степи. Не знаю, утешился ли Хакимджан-худои, но чудо помогло нам на время забыть несчастье, постигшее всех. Мы оживленно разговаривали, не забывая, однако, о голоде, который через какие-нибудь полчаса снова стал терзать нас. Кисточка винограда не смогла насытить два огромных, так нам казалось, мальчишеских желудка. Очень скоро разговор перешел на еду — чем утолить голод? Мешок с пшеницей лежал под одеялом, и ничей взгляд не падал на него. А что если проглотить зерно нежареным, небось не лопнут от этого наши животы!

Брат подтвердил, что не лопнут. Просто жареная пшеница вкуснее, потому ее и бросают в раскаленный котел. Нужно ли думать о вкусе в такой момент, главное — наполнить желудки. С этой мыслью я стал пробираться к мешку. Ползком, как вор. Стыдно было. Никогда прежде не браа я ничего без спросу, а тут решился на преступление, совершал грех. Минуту назад матушка, слыша наши жалобы, напоминала старую историю: «В давние времена, — сказала она, — дети были терпеливыми. Им говорили: вот посеют пшеницу, сленят тандыр, а когда поспеет урожай, испекут лепешки... И дети ждали. А вы? Не можете дотерпеть до возвращения отца с молитвы...» Мы ответили, что можем. И не смогли.

Нехорошо, повторял я про себя, не надо грешить, но повторял слишком вяло и полз к мешку с пшеницей. Матушка не заметила, как нырнул под одеяло и принялся воевать с завязкой. Она оказалась крепкой и хитрой. Мои слабые пальцы не могли ничего сделать с бечевкой, намертво затянувшей верх мешка: отец умел хорошо завязывать, какими-то сложными узлами. Не только пальцы, но и зубы оказались бессильными перед чародейством отца. Тогда я принялся искать дырку. Во всех мешках, что попадались мне за короткую мою жизнь, бывали дырки, а в этом ее никто не просверлил — ни человек, ни, мышь. И ткань плотная. Под душным одеялом я вспотел, измучился и ничего не добился. Вот если бы был нож, тогда зерно посыпалось бы ручьем. Но ножа не было. Разочарованный и злой я выбрался из-под одеяла. И вовремя: матушка, беседовавшая до этого с соседкой, обернулась и сказала:

— Вижу, вы истомились в ожидании завтрака. Сходите за оккураем, а я пока приготовлю котел. Знаете, что такое оккурай?

— Как же, — ответил брат, — его жгут под котлом вместо дров.

— Тогда торопитесь. Пусть и Хакимджан с вами пойдет, больше соберете.

Мы побежали в степь. Особенно торопился мой братец, ему хотелось как можно скорее скрыться с глаз матушки и отведать сырой пшеницы. Едва мы свернули за ближний холм, он потребовал своей доли добычи. Я показал пустые ладони.

— Куда же ты дел? — со слезами в голосе спросил братец.

— Оставил в мешке. Он слишком крепко завязан.

Ответ расстроил брата. Он отказался идти дальше и опустил на землю.

— Есть хочу!

— Вот соберем оккурай, и матушка поджарит пшеницу. Знаешь, какая вкусная!.. — И я принялся расхваливать предполагаемый завтрак.

Братец не дал мне договорить, вскочил с земли и крикнул:

— Если все дело в оккурае, идемте скорее. Я соберу сноп этого глупого оккурая.

Я тоже намеревался собрать сноп, но удача не сопутствовала нам. Вблизи табора и за холмом рос лишь янтак — верблюжья колючка, пришлось идти дальше в степь, к желтевшим зарослям камыша. Пока мы шагали, оберегая ноги от укулов янтака, солнце поднялось над горизонтом и начало припекать. Вступал в свои права летний день, как всегда в саратан горячий и злой. С трудом нам удалось все же разыскать оккурай. Он рос среди густых кустов янтака. Никогда прежде мне не приходилось вытягивать его из земли. Оказалось, что это не так просто. Степные растения пускают корни очень глубоко, а оккурай глубже всех. Легче, кажется, вырвать человеческий зуб, чем одолеть упрямый, глупый оккурай. Я, правда, справлялся с ним, а вот слабенький Хакимджан ничего не мог поделаться с толстым стеблем. Он ободрал руки, занозил пальцы, но ничего не добыл, кроме слез. Тогда я сказал:

— Мы с братцем будем вытягивать, а ты собирай и складывай в одно место.

Дело, хоть и не быстро, продвигалось, и на чистом месте начала расти горка оккурая. Работая, мы поглядывали

на солнце, что поднималось все выше и выше над степью. Видимо, отец уже вернулся в табор, а если вернулся, значит, пришло время жарить пшеницу. Эта мысль подгоняла нас, и мы старались изо всех сил. Кроме нас, оккурай собирали и другие джизакцы. У дальнего холма стайка людей что-то выискивала. Они то опускались к земле, то поднимались, медленно двигаясь к горизонту. Вначале я не обратил внимания на это непрерывное движение, потом меня заинтересовало, сколько оккурая нужно людям, чтобы так долго возиться с ним. Мы втроем натаскали горку и все с одного места, а они чуть ли не полстепи обошли, и все им мало.

— Там, кажется, не оккурай, — сказал братец. — Пойдем посмотрим.

— Хорошо сказать — пойдем, — ответил я недовольно. — У меня все ноги в колючках. На каждую пятку собрал по сотне.

— Э, что такое колючки, когда нас ждёт клад.

— Какой клад? — удивился я.

— Или ты думаешь, люди просто так гнутся к земле через каждый шаг, — ответил братец. — Не богу же они там молятся.

И он решительно направился к дальнему холму.

Пришлось и нам с Хакимджаном последовать примеру брата. Оберегаясь злых кустиков янтака, которые будто нарочно подставляли под пятки острые иглы, мы, перескакивая с одного чистого места на другое, заспешили к золотым россыпям. Это действительно оказались золотые россыпи. У дальнего холма спела пшеница. Кем-то брошенная, с налитыми колосьями, она выбивалась между кустиков янтака.

— Эге-ге! — кричал брат издали. — Здесь целое поле! Теперь мы поедем вволю...

На первый колос я наткнулся, когда вынимал из ноги колючку. Он склонился, тяжелый, к моему лицу и даже кольнул его острыми усиками. У меня не хватило сил противостать соблазну, и, забыв о колючке, я сжал руками колос и потер его, выдавливая спелые зерна. Они посыпались на землю, но тотчас были подобраны и отправлены в рот. Хлеб! Это был хлеб. Сладковатый, пахнущий мукой, теплый от солнца. Набив полный рот зерен, я торопливо разжевывал их, наслаждаясь вкусом еще не испеченной, но уже готовой для отправки в тандыр лепешки.

За первым колосом последовал второй, третий. Ко мне присоединился Хакимджан. Я научил его растирать зерно ладонями. Так, уподобляясь молотилке и мельнице, мы смело орудовали на краю поля, наполняя желудки пшеницей.

Брат звал нас к себе. Но разве могли мы, голодные, мечтавшие все утро о хлебе, оторваться от зрелых колосьев? Тогда он сам подошел к нам. Подол его рубахи вздулся, во все стороны торчали колючие ости — брат собрал снопы пшеницы. В то время, как мы думали о собственных желудках, он заготавливал хлеб для всей семьи.

— Сними рубаху! — сказал он. — В нее войдет мера зерна.

Я разделся, и вместе мы соорудили из рубахи что-то вроде мешка. В него стали складывать колосья. Хакимджан сделал то же, теперь втроем мы убирали кем-то выращенный урожай и довольно быстро «сжали» край поля. Мимо нас проходили мужины и женщины с полными платками, рубахами, халатами.

— Много ли пшеницы в степи? — спросил я брата. Меня беспокоило будущее.

— Дня на два хватит, — ответил он.

— Разве она не везде растет?

— Растет, наверное, везде, да не везде ее сеют... Это ведь чье-то поле.

— А если увидит хозяин? — встревоженно спросил я.

— Не увидит. Хозяева ушли, когда узнали, что сюда гонят джизакцев.

— Значит, это наша пшеница?

— Конечно...

Я помог брату взвалить мешок на спину, а сам взял влязку оккурая. Счастливые, мы возвращались в табор.

На полпути нам повстречался Адыл, мой старый друг. Это было так же приятно, как и открытие пшеничного поля. Оказалось, что семья Адыла расположилась чуть дальше нас, на совершенно голом месте. Но рядом с ними был колодец и, следовательно, вода, без которой нельзя было жить в степи.

— Перебирайтесь к нам, — сказал Адыл. — Вместе лучше.

Да, вместе, конечно, лучше. С этой мыслью и с этим желанием мы пришли на свое место. Здесь нас ожидал разговор родителей.

— Попроси дитя нарубить хворосту, а сам засучивай рукава, — сказал отец. Он давно вернулся, приготовил очаг и ждал оккурая.

Матушка хотела тоже что-то напомнить нам о неразумности сыновей, но увидела за спиной брата мешок, наполненный колосьями, и лицо ее посветлело.

— Ну, отец! — воскликнула она. — Не торопись ругать

детей своих. Они хлеб принесли. И немало. День будем сытыми... А там и всевышний о нас вспомнит.

— Прося бога об урожае, не забудь посеять зерно, — заметил отец. — Хорошо, что сыновья памятливы...

Похвала ободрила нас, и мы тут же рассказали о пшеничном поле и колодеце.

— Видите! — всплеснула руками матушка. — Не было пшеницы — нашлось пшеничное поле, не было воды — нашелся колодец. Что ни говорите, аллах милостив.

— Да, — согласился отец. — Упавший с дерева радуется, что внизу растет трава, а не камни...

Пожевав каленой пшеницы и запив ее горьковатой водой, мы стали собираться в путь: отец и мать решили перевезти наши пожитки поближе к колодцу. Одежда, циновки, котлы и чайники навьючили на лошадей, остальную мелочь водрузили на плечи и двинулись к дальнему холму. Не одни мы оказались такими рассудительными — соседи тоже поднялись и пошли к колодцу.

Старики нас отговаривали: там соленое место, много песку, но отец не послушался никого.

— Зато там вода, — ответил он. — А без воды какая жизнь...

БЕДНЯКА И НА ВЕРБЛЮДЕ СОБАКА УКУСИТ

На новом месте было пустынно и почему-то неуютно. Холм стоял близко, но не защищал от солнца и ветра. И ночью и днем вихри гуляли по степи, обжигая нас то огнем, то холодом.

Недавно здесь жили казахи. Это они вырыли колодец и посеяли пшеницу, а когда узнали, что джизакцев гонят в степь, сняли свои юрты и ушли неизвестно куда. Следы становища мы обнаружили рядом с колодцем: несколько очагов, большой котел и деревянное ведро. Еще выселись горки кизяка — топлива из сухого навоза. Ведро предназначалось для колодезной воды, которую доставали с помощью длинной веревки. В котле жарили пшеницу.

Когда мы появились у колодца, жаждущих было так много, что каменного барьера, заслонявшего источник, никто не мог разглядеть. Да что разглядеть! К нему подступиться нельзя было. Огромная толпа жалась к колодцу. Над каждой головой торчал или кумган, или ведро, или пиала. Все хотело пить.

Два-три старика пытались вразумить народ. Кричали до хрипоты:

— Мусульмане! Правоверные! Опомнитесь! Одним глотком не утолишь жажду, одним колодцем не оросишь всей степи. Отойдите от источника. Пусть главы семейств станут друг за другом и возьмут столько воды, сколько нужно для омовения взрослого и сохранения жизни младенца...

Кое-как удалось оттеснить толпу и установить очередь. Несколько крепких джигитов взялись черпать воду из колодца. Ведро за ведром поднималось вверх и распределялось между джизакцами. Кумганы и пиалы наполнялись влагой, и с трудом главы семейств подавляли в себе желание тут же осушить до дна чаши. Жажда была невероятной. С неба жгло солнце. В лицо бил горячий ветер. И все же люди не пили, несли воду своим семьям.

От колодца началась наша жизнь в степи. Но одной водой существовать человек не может. Говорят же, если появилась в пустыне живая душа на ногах, то знай: первая ее забота о желудке. Многие из джизакцев неделями не видели лепешки, о шурпе и говорить не приходится. Жареные зерна пшеницы — наша пища, но и она на исходе. Поле, что оставили нам казахи, быстро опустошается, выскивать колосья становится все труднее и труднее. Иногда полдня мы с братцем рыскаем по степи, чтобы собрать немного колосьев.

Запах печеного зерна, чуть горьковатый, заменил все запахи степи. Он постоянно витает над табором, и по нему даже ночью легко установить, где живут джизакцы.

Наш очаг почти постоянно горит: когда кончат стряпню матушка, приходят с горстями пшеницы соседки. Отец вырыл очаг в первый день нашего поселения, и с тех пор огонь не гаснет. Вечерами, сидя у пламени, мы вспоминаем наш дом, мечтаем о вкусной маставе или плове. Мечтаем мы, дети. Взрослые полны забот о завтрашнем дне. Поэтому они мрачны и молчаливы.

Когда воспоминания иссякают и огонь в очаге становится тусклым, мы идем спать. У нас есть дом. Так мы зовем шалаш, постресенный отцом из стеблей оккурая. Он спасает семью от жгучего солнца днем и от холодного ветра ночью...

Ох, этот ветер! Никогда не думал я, что он станет нашим лютым врагом. Мальчишками мы зазывали его на наши крыши, чтобы запустить воздушный змей. «Эй, ветер, твоя жена умерла, бери кетмень и беги-и!» — кричали мы. А он не хотел прилетать, сердил нас своею ленью. Здесь, в степи, ветер вспомнил, видно, наш зов, примчался невесть откуда.

Издравле существует пословица: «Бедняка и на верблюде собака укусит!» Именно так случилось с нами в степи. Из-

гнанные из родного города, лишённые крова, джизакцы испытывали на себе ещё и гнев природы.

В полдень, самый обычный полдень, когда на небе горело солнце, а в очагах пылали стебли оккурая, из-за холмов вдруг вырвался ветер и кинулся на табор. Такого ветра я не помнил за всю свою жизнь. Он обрушил на нас тысячи стрел, свирепых, безжалостных, разящих все живое. В одно мгновение табор был сметен и развеян по степи. От шалашей не осталось и следа — стебли оккурая летали в воздухе, как птицы, и вместе с ними платки, халаты, одеяла. Огонь из очагов бесчисленными искрами и угольками взметнулся ввысь, на людях загорелись одежда, волосы. Тучи песка мчались, словно волны в бушующем море, застилая небо и солнце. Оттуда же, из-за холмов, кружась, выполз песчаный столб и двинулся на людей. Начинаясь с земли, он постепенно поднимался все выше и выше, пока не достиг неба.

Джизакцы пали ниц, чтобы не оказаться в потоках смерча. Я тоже лег на землю, прижался к ней, замер. Через мою спину и голову что-то перекатывалось, било меня, царапало. Под рубашку и штаны забился песок и крутился там, обдавая тело жаром. Песчинки были горячими, будто их калили на огне. Тюбетейку мою давно унесло, и я закрыл голову руками.

Рядом кто-то дрожащими от страха губами произнес заклинание:

— А ну, кухонный нож, перец! А ну, кухонный нож, перец!..

Я знал, что когда беснуются дивы, надо повторять эти слова, иначе духи могут искалечить человека — скривить ему рот или нос, омертвить ноги. Будто бы дивы боятся ножа и перца. Так рассказывала моя матушка. Сейчас бесчинствовали дивы, и надо было защитить себя заклинаниями, произнося смешную фразу о кухонном ноже и перце. Почему-то я не прибег к помощи слов: то ли язык от страха прилип к небу, то ли само событие никак не вязалось с представлением о дивах. Слишком реальным был смерч. Позже я признался матушке, что молчал во время урагана. Молчал, а дивы меня не покарали. Матушку несколько озадачило мое кощунство, но она нашла, что ответить.

— За тебя другие произносили клятву. Я молилась...

Признаюсь, ответ матушки меня не убедил. Я, кажется, не поверил ей.

Однако вернемся к урагану. Он был свирепым и коротким. Всего полчаса бесчинствовала песчаная буря, но принесла много зла. Когда ветер улетел, люди ещё некоторое

время лежали ниц, боясь повторения урагана. Потом постепенно пришли в себя и занялись розысками вещей. Мы тоже бегали по степи и собирали пожитки. Тюбетейки и платки затерялись среди зарослей колючки, вещи потяжелее лежали за колодецем под толстым слоем песка. От шалашей, конечно, не осталось и следа.

Со слезами и проклятиями люди принялись восстанавливать табор — очищали очаги, отгребали песок от колодца. Мужчины пошли к Тукирсаю за камышом. Говорили, что там его заросли, а мы, мальчишки, подались к большому холму собирать оккурай и пшеничные колосья. К вечеру все вернулись на место. Дети несли зерно и стебли оккурая, взрослые — снопы камыша. Отец привез камыш на лошади.

— Будем строить камышовую хижину, — сказал он. — Обмажем ее глиной и так перезимуем. Живут же казахи в юртах...

Этой ночью и началось строительство хижины. До рассвета горели костры и трещал тростник, связываемый в плотные щиты — будущие стены. Трудились все — от мала до велика. Руки наши были все в ранах и ссадинах. Лишь к утру табор заснул.

Три дня длилось строительство, и вот в степи вырос городок, похожий на большое поле, усеянное копенками сена. Люди перебрались в хижины и затихли. Но ненадолго. Пала новая беда — иссяк колодец. Верно говорили старики: «Одним источником не оросишь всю степь». Опять стоны и слезы. Жажда страшнее голода. Джизакцы стали молить всевышнего о дожде. Но какой дождь летом! Небо даже облачком не затуманивалось — синее, ясное, с огненным солнцем в зените.

Старцы собрались на совет. Все трудные вопросы в степи решали седобородые. От них ожидали избавления от всех напастей и бед. И старики постановили: вырыть новый колодец. Мужчины взялись за кетмени. Вместо одного вырыли два глубоких колодца. И когда наверх подняли первое ведро с водой, вся степь загудела от тысяч восторженных голосов.

— Вода! Вода! Слава всевышнему!

Даже свои заслуги, свою решимость мусульмане адресовали богу, хотя все подтверждало полное равнодушие неба к нашим страданиям. Ни одного чуда не произошло в степи, пока там жили джизакцы, ни одной слезы не обронили ангелы, летавшие в синеве, как огромные аисты, ни одного зерна не протянули святые голодным.

А вот люди оказались сострадательнее. В один из дней, когда зерно до последнего зернышка перекечевало с поля в наши желудки и новый страх, страх перед голодом, охватил всех, из глубины степи к камышовому городку потянулся караван верблюдов. Мы увидели его утром. Настороженно и удивленно смотрели джизакцы на таинственных пришельцев. Что несет им этот караван?

Это были казахи-кочевники. Самый старший из них слез с лошади и жестким, как у всех степняков, голосом произнес:

— Ассалам алейкум! Мир вам!

Джизакцы радостно зашумели и обступили пришельцев. Первые гости показались им вестниками добра — ведь никто за время изгнания даже не приблизился к табору, никто не одарил обездоленных теплым словом. А тут и слово и улыбки

Старик казах обнял такого же старика джизакца и сказал: — Мы из племени Босимбек... Слух, который разносится по степи, подобно ветру, и доходит даже до дальних аулов, поведал нам о вашем горе. Кто лучше казаха знает, что такое голод и что такое жажда? На новом месте человеку всегда трудно, поэтому примите от нашего племени немного зерна и мяса...

С этими словами старик отвязал повод лошади, которая шла за караваном, и передал своим спутникам. Тут же животное зарезали и стали делить между джизакцами. Одновременно из мешков рассыпали зерно по тюбетейкам и платкам.

Трудно рассказать, какими словами и поклонами отвечали джизакцы на щедрость степняков. Все вокруг огласилось радостными возгласами, женщины плакали от счастья, дети плясали. И, конечно, каждый торопился разжечь огонь и поставить на него котел. Давно джизакцы не ели шурпы, да еще с мясом.

Я вертелся около каравана, разглядывая верблюдов, увешанных по казахскому обычаю цветными лентами и бусами. Погонщики ушли в один из самых больших камышовых шалашей, чтобы отдохнуть с дороги и поговорить с нашими отцами о судьбе человеческой, о несчастье, которое постигло джизакцев. Не знаю, что решили старики, видимо, дело ограничилось соболезнаванием. Но и слово участия тоже было дорого изгнанникам. Во всяком случае, когда беседа окончилась и казахи вышли из шалаша, их провожал весь табор. Люди обнимали дорогих гостей, помогали им взобраться на верблюдов и лошадей, долго шли за караваном, произнося

добрые напугствия, махая руками и кланяясь. Я бежал рядом с лошадей старика. Мне было интересно смотреть, как он правит своим конем, как, покачиваясь в седле, бормочет что-то и иногда хмурит брови. До самых камышей так бежал я, выполняя неосознанный долг гостеприимства, прощаясь с людьми, что подарили нам хлеб и мясо.

Здесь, у камышей, мы расстались. Караван потянулся в бескрайнюю степь, за холмы и заросли тростника, а я вернулся в табор.

Дара казахов хватило ненадолго. Снова по степи забродили джизакцы в поисках пшеничных стеблей и съедобных кореньев. Какими-то неведомыми путями отчаянные йигиты добывали кукурузу и даже рис. Говорили, будто ночами они, тайком от казачьих разъездов, пробирались в дальние аулы и кишлаки, и там выпрашивали или выменивали на вещи зерно. На джизакцев нельзя было смотреть без сострадания. Они похудели, потемнели, прокоптились, кажется, до самых костей. Ветер и солнце иссушили кожу, и она шелушилась, собиралась морщинами. Губы мои, например, потрескались и кровоточили. Во рту вечный скрежет песка, на глазах красная опухоль от того же песка и ветра. И ко всему этому — вздутые голодные животы. Мы, словно волчата, рыскаем всюду — не встретится ли где зернышко или корешок. Нора суслика — находка. Целой ватагой штурмуем ее, пытаюсь вызволить несчастного, насмерть перепуганного зверька.

И все же, несмотря на голод, на почти дикие условия существования, жизнь продолжалась. Однажды ночью мы проснулись от крика младенца — в степи родился новый человек, сын не то гончара, не то кожевника. Но чаще люди просыпались от воплей — кто-то покидал этот мир, мир страданий и унижения. За холмом вырастали одна за другой могилы. Муллам не убавлялось работы, и в степи они собирали медяки и гривенники, горсти зерна, щепотки соли. Горе всегда усиливает веру в чудо. Игались и свадьбы — роднились шалаш с шалашом, табор с табором. Все обряды при этом соблюдались: по степным «махаллям» проводили жениха и невесту, пели песни, гремела дойра, заливался сурнай. Но вот пиршества не было. Все обходилось касой чистой колодезной воды.

Дочь старшей сестры вышла замуж тоже в степи. Помню, Норанбуви, так звали ее, горько плакала перед свадьбой, и не потому, что не любила жениха или не хотела покинуть отчий дом, — ей было обидно терять радость, которую несет с собой праздничное торжество. Ведь голодным людям не до

веселья, а весь дастархан состоял из блюда с жареной пшеницей и пиал, наполненных водой.

Жизнь продолжалась, но она становилась все невыносимее. Впереди осень, потом зима с морозами и метелями, а джизакцы защищены лишь камышом. Все чаще и чаще раздавались голоса отчаяния:

— Лучше смерть скорая, чем муки бесконечного голода.

Молитвы не помогали. Никто на небе и на земле не внимал жалобам джизакцев. Слезы — а их было пролито море — высыхали, чтобы снова оросить глаза наших матерей.

Старики разуверились в могуществе мулл, поняли, что под лежащий камень вода не течет. Как-то они собрались в шалаше и стали думать — кому адресовать мольбу о спасении изгнанных.

Помню, послов — самых старых и самых мудрых джизакцев — посадили на лошадей, проводили за холмы. Провожали мужчины, и было их много — чуть ли не все, кто жил табором у старого и новых колодцев. Седобородые восседали на конях, одетые в светлые халаты, предназначенные для торжественных случаев, головы венчали большие белоснежные чалмы. И послы и провожающие молчали, в глазах стояла тревога — никто не знал, чем кончится эта поездка. Вернутся ли старики?

Весь день табор ждал возвращения послов. Люди выходили на ровное место и смотрели в степь. Старики приехали перед закатом солнца. Джизакцы обступили своих посланцев и забросали их вопросами. По лицам стариков можно было догадаться, что привезли они хорошие вести. Оказывается, их гостеприимно принял командир охраны и пообещал передать просьбу уездному начальнику.

— Теперь все во власти бога. Будем терпеливы и благодарны, — сказал самый старый из послов.

И вот джизакцы, набравшись терпения, принялись ждать решения своей судьбы. Во время утреннего намаза, и в полдень, и вечером раздавались молитвы. Джизакцы просили милости у всевышнего.

Первое время мольба была горячей. Люди считали, что от силы слова, от обилия слез зависит их счастье. Мне матушка постоянно напоминала о себе:

— Молись, дитя мое... Молись!

Матушка, да и остальные джизакцы, не ведали об истинной силе, творящей чудо. Вся Россия была охвачена волнениями. Рабочие бастовали в Петрограде, Москве, Баку, Ивандиново. Положение царских войск на фронте было тяжелым. В деревнях вспыхивали голодные бунты. Назревала револю-

ция. Трон Николая покачивался от ударов, которые становились все сильнее и сильнее. Страх вынуждал царя идти на уступки.

Этого не знали загнанные в безводные степи Учтепа джизакцы. И если бы даже узун-кулак — длинное ухо — донес весть о событиях в России, слуги неба легко обратили бы ее в знамение бога, в проявление воли всевышнего. Никто из них не хотел связывать восстание в Джизаке с волнением против самодержавия в России. Веротолкователи изображали его как священный бунт мусульман. Поэтому и спасение искали у пророка, к нему обращались за содействием. И когда наступил час, переменявший судьбу изгнанников, священнослужители призвали джизакцев воздать хвалу и благодарность аллаху. До истины не додумались или, вернее, не хотели додумываться. Она была им не нужна, не выгодна, мешала. До камышовых хижин Учтепа она не дошла.

Не ведал о ней и я; конечно. Мир передо мной расстился лишь до холмов, а что за ними, мы, мальчишки, не знали. И вот из-за этих холмов, подобно птице или весеннему ветру, прилетела весть.

Как обычно, мы собирали в степи пшеничные колосья и забрели далеко-далеко. Камышовое селение наше исчезло с глаз, и только по змейкам дыма угадывалось в желтом мареве. Был полдень, солнце, как всегда, пылало всю свою силу, и наши головы и пятки хорошо его чувствовали. Занятые делом, мы редко поднимали глаза, поэтому, когда Адыл сказал: «Кажется, кто-то скачет вдаль», я не сразу разогнул спину и не сразу глянул в сторону холмов. Лишь после нового возгласа: «Верно, скачет», я выпрямился и посмотрел.

В самом деле, со стороны Джизака приближался всадник. Приближался довольно быстро. Над ним вилось легкое облако пыли, и оно все росло и росло. Даже издали было видно, как поднимается рука человека, вооруженная камчой, и как резко падает: всадник нахлестывал коня.

Почему-то мы напугались и заторопились домой. Подобрали колосья, уложили их в растянутые подола рубах, побежали что было духу к табору. Я говорил, что в тот день мы забрались очень далеко и, конечно, не могли быстро одолеть такое расстояние. Всадник догнал нас еще в степи, у холмов.

— Эй, вы, голопятые, куда спешите? — окликнул он нас и сдержал своего скакуна, который был весь в пене и катужно дышал.

— Домой! — ответили мы испуганно.

— А что это у вас в подолах?

Мы показали колосья пшеницы и объяснили, что собираем их в степи. Всадник удивился и посмотрел внимательно на сбитые в охапки верхушки, стеблей.

— И что же будете с ними делать?

— Жарить и есть...

Он был наивный человек, этот всадник, не верил, видно, что можно питаться жареным зерном. Или никогда не пробовал его. Но говорил он искренне, и голос его звучал ласково.

— И это вся ваша еда?

— Вся...

— Не густо, — покачал головой всадник. — А я хотел потребовать с вас награду за радостную весть.

Усы его раздвинулись в веселой улыбке, и глаза лукаво сощурились.

Мы дружно сцепились в незнакомца:

— Какую весть, дяденька?

— Какую! Дайте хоть колос, — сказал всадник.

Я и Адыл протянули ему по целой горсти колючих колосков. Предчувствуя что-то необыкновенное, мы готовы были все собранное в степи бросить ему в руки.

Взамен получили одно лишь слово. Какое слово!

— Свобода!

Трудно передать, как мы его приняли. Вначале онемели от счастья. Смотрели на всадника широко распахнутыми глазами, в которых были и изумление, и восторг, и благодарность. А потом заорали, будто сумасшедшие:

— Ур-ра!!! Свобода! Свобода!

Всадник кивал головой, подтверждая сказанное, и тоже готов был, кажется, кричать вместе с нами. Он улыбался во весь рот, обнажая ряд белых веселых зубов.

— Изгнание отменено, — еще успел он сказать нам, перед тем как хлестнуть коня и снова поскакать. — Возвращайтесь домой!

Вот оно, выражение свободы, — возвращайтесь домой! Что еще может означать это слово? Ничего! Да нам и ничего больше не нужно. Домой! В родной Джизак!

И мы бежали с Адылом по степи и орали до хрипоты, до зесна в ушах:

— Домой! Домой!

А в таборе уже все поднялось. Толпа окружила всадника и смеялась и плакала. Под ноги коню бросали самое дорогое, самое необходимое — кто чапан, прямо сняв его с плеча, кто бельбаг, распоясавшись, кто шапку или тубетейку.

Женщины выносили сюзаны и курпачи. За такую радостную весть ничего было не жалко! Гора подарков росла, и скоро всадника не стало видно под этими приношениями. Он прижимал руку к сердцу, кланялся и шептал:

— Да будет ваше возвращение счастливым!.. Мир и благословение Джизаку...

Снявшие чапан или бельбаг и одарившие гонца обнимали детей, подбрасывали их, целовали. Брат кидался на шею брату, сосед — соседу. Никогда я не видел такого удивительного проявления радости — радости, которая охватила всех. И где все это происходило? В степи. Голой степи, сожженной солнцем, иссушенной ветрами.

Через час, а может, и раньше, табор снялся с места и потек по равнине в сторону Джизака. Нагруженные скарбом, с детьми на руках люди шли дорогой, которая была полита недавно их слезами. Теперь она казалась им благословенной. Они спешили, не обращая внимания на жестоко палящее солнце, на жажду, что с первых шагов уже поселилась в них и начала донимать. Но что солнце, что жажда? Впереди Джизак. Родной Джизак, и путь к нему открыт...

Я иду вместе со всеми. Иду домой. Для меня нет ничего дороже и светлее, чем наш сад и двор, где прошли радостные дни детства, где все мило сердцу. И перед глазами стоят тихие деревья, пылают огонь очага, дремлет вода в хаузе...

Все, как прежде...

Не могу, не хочу думать, что там пыль и пепел!

А там — пепел... Только пепел.

ХОЛМ СКОРБИ

Да, нас встретил разрушенный и испепеленный Джизак. Встретил тишиной. Первыми звуками, которые родились в городе после месяца безмолвия, были стоны и вопли женщин, павших на камни своих жилищ.

И все-таки это был родной дом. Знакомая калитка, знакомая супа, приветливые деревья. Мы расселись на пороге террасы и сложили свои пожитки, принесенные из табора.

— Начнем жить снова, — сказала матушка, вытирая слезы. Грустно сказала, и мы поняли, что жить снова нелегко, и радость надолго-надолго покинула нас.

Вокруг, в соседских дворах, тоже плакали матери. Возвращение превратилось в праздник печали. Вместо того, чтобы петь песни и веселиться, люди вздыхали и роняли слезы. И опять слезы эти были не последними.

Уже на другой день стало известно, что уездный началь-

ник назначил новых мингбаши и элликбаши, — нашлись среди джизакцев люди, пожелавшие служить царю. Нашлись желающие взять в руки плеть и палку и обрушить их на головы обездоленных. Раскопали где-то и списки мардикеров, те самые списки, из-за которых вспыхнуло восстание и пролилась кровь. Все пошло вспять.

Поползли до Джизаку слухи:

— Полиция ловит зачинщиков бунта. Кто выдаст Дамина, первым бросившего камень в мингбаши, тому обещают много денег.

Дамина никто не выдавал, а может, его и не было в Джизаке. Нигде не было. В степи люди не встречали гончара. А вот остальных главарей поймали, и теперь они сидят в тюрьме. В кандалах оказались и двое товарищей моего старшего брата — Урдушмат и Курбанбай. Обоих я знал и не раз видел на гап-гаштаках. Урдушмат был добрым парнем, защищал меня, когда брат хотел прогнать с вечеринки. А Курбанбай считался в махалле заводилой молодежи, сильным и смелым человеком. На него я смотрел с восхищением. Теперь этих двух джигитов должны казнить. Так говорили соседи, так говорил мой отец! Казнить! Я еще не представлял себе, что это значит, но страх и боль сжимали сердце, когда слово «смерть» произносилось кем-нибудь. А казнь и есть смерть, только насильственная.

Судьба уготовила мне еще одно испытание — заставила увидеть смерть.

Все дни, после того как стало известно о новой мобилизации на тыловые работы, молодежь проводила в Каландархане. Озабоченные и удрученные джигиты толпились на аллеях, прислушиваясь к каждому слову, залетавшему в город. Мы, мальчишки, тоже вертелись в Каландархане.

В то утро на аллеях было особеннолюдно. Чего-то ожидали джизакские парни. Возможно, приказа царя. Ведь списки давно составлены и уточнены. Поэтому, когда в Каландархану въехал на своей мохнатой длинногривой лошаденке глашатай Эргаш, толпа смолкла. Все повернулись к всаднику.

Кто не знал весельчака Эргаша! Всегда улыбочивый, с лукавым прищуром глаз, он казался нам олицетворением доброты и спокойствия. Любого встречного Эргаш приветствовал душевным словом, а если затевал разговор, то пересыпал свою речь смешными словами, от которых даже самый скучный человек начинал улыбаться. К старому и малому он обращался одинаково: «Деточка моя!» Это обращение стало вторым именем Эргаша. Увидев глашатая, люди гово-

рили: «Вон Деточка идет!» Мы тоже, встречая на улице Эргаша-ака, кричали громко: «Здравствуйте, дядя Деточка!» Он, смеясь, отвечал: «Здравствуйте, деточки мои!» Не знаю, чем жил этот человек, но жил легко, с улыбкой, хотя благополучия и тем более довольства в облике его заметно не было. Он ходил в поношенном яхтаке, в таких же поношенных штанах и дырявых кавушах, но на голове красовалась чистая синяя чалма, аккуратно повязанная

Эта чалма была и сейчас на Эргаше-глашатае. Одна она осталась от прежнего «деточки», ибо яхтак состоял из тысяч заплат, штаны обтрепались, кавуши широко разинули пасть — и пальцы ног глядели из-за стремян на свет божий.

Эргаш-глашатай был маленького роста, но вместе со своей маленькой лошадию все же возвышался над толпой. Прежде чем начать речь, он приосанился, поклонился людям, упер черенок камчи в правый висок, как это делают муэдзины, и произнес нараспев:

Мир вам, люди,
Мир обездоленным джизакцам!
Кто слышит меня, пусть внемлет,
Кто услышал, пусть передаст другому!
Братья мои, малые и великие,
Бодрствующие и немощные:
Мельники, запорошенные мукой,
Мясники, испачканные кровью,
Кузнецы, задымленные горнами,
Гончары, породнившиеся с глиной,
Дехкане — труженики земли,
Чайрикеры и мардикеры,
Кснюхи и пастухи,
Матери и сестры!

Так обычно звучало вступление к приказу, который объявлял глашатай. Но люди насторожились. Тон был тревожный и скорбный, слова Эргаша будто пробивались сквозь слезы. Если бы даже не звучала тревога и скорбь, ее услышали бы люди. После восстания и разгрома Джизака все ждали только печальных известий. И они не ошиблись.

Глашатай запел еще громче и взволнованнее:

Братья, сомкните губы, чтобы не застонать,
Остановите сердце, чтобы не заплакать.
На высоком кургане стоит столб,

На столбе тугая петля!
Петля эта ждет друга нашего и защитника,
Смелого и мужественного,
Честного и бесстрашного,
Бросившего камень в злодеев, что мучили народ,
Ждет несчастного Мухаммади,
Сына рода Хамраевых:
Последние часы он видит небо,
Последние часы в родном Джизаке,
Руки его тянутся к детям,
Губы шепчут слова прощания,
А палач уже торопит,
Уже накидывает саван!
О люди, о сыны Джизака!
Не оставьте обреченного одного,
Разделите боль умирающего!
Кто сидит, пусть встанет,
Кто стоит, пусть заторопится!
Бегите к кургану, люди добрые,
Там ждет вас Мухаммади!

Глашатай Эргаш смолк, стер слезы с лица. Потом сказал тихо:

— Казнь состоится в полдень...

Сказал тихо, но все услышали: Каландархана, подобно кладбищу, была безмолвна, хотя тысячи людей стояли на ее аллеях. Горе молчаливо...

Эргаш уехал на своей маленькой лошаденке, и, пока не утонул вдали стук ее копыт, джизакцы безмолвствовали, слезно ждали возвращения глашатая. Потом заговорили. Какие это были слова? Проклятия и молитвы. Джизакцы посылали тысячи бед на голову убийц, сжимали кулаки, грозили далекому, невидимому царю. И, проклиная, торопливо просили прощения у всевышнего, умоляли принять душу несчастного Мухаммади на небо. Молили пожилые — молодежь только кляла царя.

Потом толпа двинулась через город к холму, туда, где стояла виселица.

Я побежал домой, чтобы сказать матушке о казни. Не столько желание известить ее вело меня туда, сколько потребность поделиться чувствами, которые теснили сердце, мучили, бросали в отчаяние. Матушка уже все знала. Она обняла меня и произнесла горестно:

— Пойдем и мы, сынок! Это не зрелище, а молитва перед похоронами. Пусть Мухаммади увидит, как любит его

народ, как принимает на себя часть его мук. Это укрепит его силы, поможет перешагнуть мужественно страшный порог...

Мы пошли.

Еще недавно курган был цветущим садом Джизака. На склонах ютились дома, зеленели сады, бежали во все стороны бесчисленные тропы. Гудел, шумел, суетился и трудился курган. Он как бы стекал всеми своими строениями на базарную площадь, раскинувшуюся у подножия. Вместе с базаром курган был снесен артиллерийским обстрелом, перепахан, сожжен. Теперь он напоминал пустырь со следами дувалов, стен и очагов. На самой вершине, среди камня и пепла, стоял высокий столб с перекладиной и петлей.

Виселица! Вот она такая. По-узбекски ее называют «дор», то есть канат. Обычно мы под этим словом подразумевали натянутую веревку, по которой передвигаются канатоходцы во время представления. В Джизаке славился канатоходец Ташпулат, и мы бегали смотреть на него и кричали: «Дор! Дор!» Оказывается, «дор» бывает и таким, привязанным к перекладине и заканчивающимся петлей.

Виселица стояла одиноко на вершине, а внизу толпились люди. Они опоясали холм и, как море, подкатывались к нему волнами. Полицейские нагайками и саблями отгоняли джизакцев, теснили к базару.

День прощания с Мухаммади выдался прохладным и ветреным, небо то оголялось, открывая ясную осеннюю голубизну, то затягивалось облаками, и они проплывали над курганом низко-низко, бросая печальную тень. Тень двигалась, и нам казалось, что движутся курган и виселица на нем.

Назначенный час долго не наступал. Я понял: все страшное приходит не сразу. Его надо ждать, надо исстрадаться, измучить сердце, испить всю чашу до дна. Полдень минул, солнце стало клониться к западу, а ничего не происходило. Ноги подкашивались у людей, и они один за другим опускались на землю, на камни и золу.

И вдруг крики:

— Везут! Везут!

Мы повскакивали с мест, чтобы увидеть Мухаммади. Но ничего не увидели. Толпа загораживала дорогу. По ней, должно быть, двигался кто-то. Там стоял шум, оттуда доносилась ругань полицейских и слова команды:

— Назад! Вам говорят, назад!

Наконец дорога вывела невидимое на склон, взгляд мой выхватил из толпы колеса кокандской арбы с навесом из ковра. Арба катилась к вершине, плотно окруженная солда-

тами. Они держали наизготове винтовки, и штыки поблескивали строго. Народ, не обращая внимания на оружие, хлынул к арбе, окружив ее живым кольцом.

— Мусульмане! — завопили полицейские. — Не будьте безрассудными, остановитесь! Или мало пуль вы сглотнули за это время. Поднимите глаза на стены Урды, там пулеметы...

Со стороны крепости, или, как она называлась в Джизаке, — Урда, на толпу действительно смотрели пулеметы. Ни шагу не сделали больше джизакцы, лишь один мальчонка выскочил вперед и с криком: «Папа! Папóчка!» кинулся к арбе. Полицейский Талип перегородил ему путь конем.

— Ты тоже хочешь умереть, несчастный? Эй, женщина, возьми ребенка, двух жертв бог от тебя не требует сегодня...

Чьи-то руки утянули мальчишку назад в толпу, но Талип успел на прощание стегануть его плеткой.

Этого мальчика я знал, звали его Хакимджан, и был он сыном Зия-кары. Почему он побежал к арбе? Ведь на ней везли Мухаммади, так всем объявил глашатай. Или власти совершили обман, скрыв от людей истинное имя смертника? Позже, спустя много лет, Хакимджан объяснил мне свой поступок. «Накануне мы с матушкой были в тюрьме, — рассказал он, — и виделись с отцом. Его вывели к нам в цепях, очень худого и грустного. Но он не плакал. Плакала матушка, ей уже сообщили о смертном приговоре. Двадцать три человека ждали казни, и в числе их мой отец. Подойти к нам близко отцу не разрешили, он стоял шагах в двадцати, охраняемый тюремщиками. Я смотрел на него и не понимал, почему это последняя встреча. Детское сердце слишком маленькое и слишком светлое, чтобы вместить в себя все истины мира. Мне казалось, стоит лишь захотеть, и все переменится: упадут кандалы, разрушатся стены, и отец подойдет к нам, обнимет и скажет что-нибудь ласковое, хорошее. А он сказал: «Надеяться больше не на что. Такова уж воля божья, от судьбы не уйдешь. Сегодня или завтра нас казнят. Прощайте!» Матушка упала, я с братьями начал ее поднимать, а тюремщики увели отца. Он крикнул еще раз: «Прощайте!» Всю ночь мы не спали. Матушка все шептала: «Вот сейчас.. Сейчас он покинет нас...» Перед рассветом ей стало совсем плохо, мы боялись, что она умрет. А утром объявили казнь. Значит, отца еще не убили, значит, мы увидим его снова. Как в тумане я шел к кургану, люди называли имя Мухаммади, а мне слышалось Зия-кары. И вот когда раздался крик: «Везут!», я кинулся к отцу...»

Никто не знал истины. Я — тоже. Арба осгановилась у

вершины, двое солдат сняли с нее носилки, покрытые белым полотном, и понесли к виселице.

— Кто? Кто это? — шумели люди.

— Почему он на носилках и покрыт саваном? Разве он ранен?

— Мы знали его здоровым, — пожимал плечами Талип.

— И мы гоже, — подтверждали джизакцы. — Не так-то легко было надеть на него цепи. Если бы не предательство Махмуда-сокола, неизвестно еще, состоялась бы эта казнь или нет!

Около виселицы солдаты опустили носилки, сняли с них что-то завернутое в белое и положили на скамью, заменявшую помост.

— Кто же это?! — еще громче зашумели люди. — Назовите имя!

Не один Хакимджан сомневался: Семьи двадцати трех приговоренных находились у подножия и ждали казни, и каждый сын приговоренного, каждая мать боялась увидеть родное лицо. Все-таки жила в их сердце надежда... Не убьют. Сегодня не убьют. Он еще будет жить!

То ли желая успокоить народ, то ли соблюдая порядок, двое офицеров вышли вперед и остановились перед толпой.

— Слушайте, люди! — крикнул полицейский.

Толпа смолкла.

Старший из офицеров надел очки, развернул бумагу и громко, но совершенно непонятно для слушающих что-то прочел. Люди уловили лишь одно слово — Мухаммади.

Едва офицер закончил, подбежал Аждарбек и, приняв бумагу, перевел приговор на узбекский язык. Он был длинным, этот приговор, но главное оказалось коротким и стояло в самом конце — смертная казнь через повешение.

Люди способны ждать терпеливо до этого последнего слова, хотя оно уже известно заранее. Или им кажется, что оно не прозвучит, затеряется по дороге. Надежда живет, теплится даже за гранью истины.

— О боже, дай мне умереть вместо него!

Так встретила мать Мухаммади известие о казни. Ее крик разнесся над холмом и ожег всех, словно огонь. Больно и страшно стало людям. Он один, Мухаммади, отдавал жизнь за них, за это огромное людское море, притихшее у подножия виселицы. И люди застонали, заплакали. Что еще они могли сделать!

Саван ожил. Мухаммади услышал крик матери. Наверное, сердце его откликнулось на зов, но губы были сжаты и руки связаны. Мы убедились в этом, когда солдаты отки-

нули саван. Но не сейчас... Сейчас Мухаммади лежал на помосте, прикрытый белым полотном, и полотно это колебалось.

— Дитя мое!

Узник мучался, и народ не мог смотреть на страдание обреченного. Джизакцы закричали:

— Вешайте! Вешайте скорее!

А потом бросили самому Аждарбеку:

— Негодяй, что же ты тянешь! Или мало тебе наших мучений? Хочешь продлить их и на том свете!

Испуганный Аждарбек замахал руками:

— Сейчас, сейчас... Успокойтесь!

И, когда люди затихли, он пояснил причину задержки:

— Перед смертью осужденному дадут слово, последнее слово, и вы его услышите...

Солдаты по знаку офицера подняли Мухаммади и поставили на помосте под перекладину. Аждарбек развязал конец савана, откинул край, и народ увидел узника. Он был обвит веревками, во рту торчал кляп. На глазах черная лента.

— Выскажи свое желание, Мухаммади, — обратился к осужденному Аждарбек. — Закон предоставляет такое право человеку перед казнью.

Солдат вынул изо рта Мухаммади кляп.

— Откройте глаза и развяжите руки, — произнес устало, с одышкой Мухаммади. — Хочу умереть свободным...

Он был измучен ожиданием смерти. Бледное лицо вздрагивало то ли от волнения, то ли от боли. После каждого произнесенного слова Мухаммади облизывал спекшиеся губы.

Просьба осужденного вызвала некоторое замешательство у офицеров, они посоветовались, и старший передал свое решение Аждарбеку. Тот кивнул солдатам, чтобы сняли повязку.

— Глаза откроем, — объявил переводчик узнику, — но руки останутся связанными. Можешь говорить! Ты понял, Мухаммади, это твоё последнее слово, и обрати его к близким. Простись с ними! Не злоупотребляй правом, которое тебе предоставлено. Будь благодарен.

Черная повязка спала с глаз Мухаммади, и он увидел нас, стоявших внизу, под курганом. Увидел небо, плывущие облака. Люди вначале зашумели, будто произошло что-то радостное, потом смолкли. Наступила тишина, неповторимая тишина. Все ждали слов Мухаммади, последних слов перед смертью.

И он сказал:

— Братья! Я счастлив, что могу взглянуть вам в глаза.

Мои товарищи покинули этот мир, простившись с родным Джизаком. Сейчас он разрушен, лежит под пеплом, но он возродится, и вы увидите его счастливым. Увидят дети мои Юсуфджан и Рохатой и тот третий, кого ждет жена моя. Если родится сын, нареки его, душа моя, Уринпалваном, если дочь — пусть носит имя Уриной. Матушка, не зовите смерть свою! Живите, чтобы растить внуков и правнуков...

Он замолчал, и солдаты загоропились накинуть на него саван. Мухаммади замотал головой, сопротивляясь насилью: — Последнее мое желание!

Аждарбек понял, что осужденный хочет сказать недозволенное, и дал знак барабанщикам, стоявшим за виселицей. Те подняли палочки, но прежде, чем раздалась оглушительная дробь, Мухаммади успел крикнуть:

— Желая смерти царю!..

Еще что-то крикнул осужденный — за грохотом барабанов ничего не услышали джизакцы. Петля обхватила шею Мухаммади, палач выбил из-под ног его скамью, и тело в белом саване, несколько раз дрогнув, замерло.

Склоны кургана огласились стонами тысяч людей. Я тоже крикнул, а может, и не крикнул, выдохнул боль, которая сжимала сердце. Оно не принимало смерти...

ВОЗВРАЩЕНИЕ СЫНОВЕЙ

Пролетел над Джизаком ветер смерти, отшумел слезами и стонами и не успел затихнуть, как новое горе пало на город. Мингбаши объявил отправку мардикеров.

Снова слезы! Будет ли им конец, думал я, слушая стенания женщин. И вообще бывает ли жизнь без слез.

Мардикеров провожал почти весь город. Без меня, конечно, не обошлось. Шествие, помню, началось с окраины. После бани, одетых во все новое — светло-зеленые, почти желтые, бушлаты и шаровары, — мобилизованных повели к станции. И следом потянулись семьи: матери, сестры, братья. Все с узелками. Что смогли голодные джизакцы, то принесли с собой — кукурузные лепешки, сушеный урюк и изюм. Каждый отрывал от себя последнее, лишь бы сытой оказалась дальняя дорога. А что она дальняя, никто не сомневался. Ведь мардикеров везли на север. Далекий страшный север. Чего не слышались о нем джизакцы!

В колонне шагал мой дядя. Он был самый бодрый и самый веселый. Так мне казалось. Его тяжелые ботинки громко стучали, шапка заломлена на затылок — всем своим видом он показывал, что не боится ни севера, ни морозов, ни

царя. Дядя Джура относился к числу тех людей, которые никогда не унывают. Я хотел идти с ним рядом и то и дело пристраивался к колонне, но эликбаши и полицейские отгоняли меня, грозили нагайкой.

Впереди мардикеров, в самой голове колонны, шагал джизакский поэт Мухаммади и пел песню:

Провожая нас, не плачьте!
Сердца свои не печальте!
Матери, прощайте,
Сестры, прощайте!

А матери плакали, и сестры плакали. Джизакцы, провожая мардикеров, не надеялись увидеть их снова. На вокзале у эшелона, вытянувшегося цепью красных вагонов, мобилизованных отпевали как покойников. Кое-кто из мардикеров тоже всплакнул. Что ж, впервые в жизни они покидали родной дом и пускались в дальний путь. Один дядя, кажется, не разделял общего уныния. Сев в вагон, он сказал:

— Мы вернемся...

Весело и твердо сказал. И я этому поверил.

Проводили мардикеров глубокой осенью, когда холод уже пал с гор и деревья оголились. Какая-то тревожная тишина поселилась в городе после проводов. И без того пустынный, разрушенный Джизак стал еще пустынней и мрачнее. Улицы обезлюдели. Джизакцы забились по дворам.

Существует ли мир за пределами Джизака, никто не знал. Никто со стороны не заглядывал в город, словно он был заражен чумой или холерой. Его боялись — он наказан...

Новости приносили забредавшие за пределы Джизака в поисках хлеба, не попавшие под мобилизацию отцы или деды. В наш дом новости привозил отец. Привозил часто, но делился ими обычно с матерью. Боялся, что дети сболтнут по наивности что-либо недозволенное соседям и тем самым навлекут на семью беду.

Но однажды отец поведал новость всем. Это было зимой, в самом конце ее, когда особенно зол мороз и свирепы бураны. Мы сидели у сандала, ловя тепло скудных угольков, и пили чай, настоенный на ягодах. Дверь распахнулась — в комнату вбежал отец, взволнованный и просветленный, словно его коснулось весеннее солнце. Он, кажется, даже улыбался.

— Ташкентская! — крикнул он. — А царя-то нет! Нет больше царя...

Мы, дети, разинули рты от удивления. А матушка подняла брови, потом покачала укоризненно головой:

— Если решили шутить, то не таким словом...

— Э-э! Какое там слово. Нет ни слова, ни самого царя. Свергли Николая, понимаешь, гашкентская! С тебя бы надо дорогой подарок за такую весть, да где его взять. Дай хоть пиаалу чая...

Теперь матушка поверила. И как это бывало с ней в минуту сильного волнения, всплеснула руками.

— Вай! Нет царя... Да кто же сверг его? Только богу одному это дано...

— Много ты понимаешь! Николая прогнали русские рабочие. И мы помогли падению Николая... Наливай, наливай чай, да погорячее, надо согреться по такому случаю. Теперь будем ждать еще новостей...

Нет царя! Нет царя! Мне хотелось выбежать на улицу и стучать во все калитки: «Нет царя!»

Но матушка охладила мой пыл. Она сказала:

— Пусть эта новость будет правдой! Но не детское дело разносить ее. Нет страшнее слова, чем «царь».

Она боялась царя, все еще боялась. И напрасно. О свержении Николая уже знал Джизак, и люди высыпали на улицу, горячо обсуждая новость. Город снова зашумел.

Прошло несколько дней, и из тюрьмы выпустили джизакцев, осужденных за участие в восстании. Город встретил их радостно. Я видел Урдушмата Атабаева и Курбанбая Уринбаева, шедших по улице в тюремной одежде. А вечером в чайхане народ слушал их рассказ.

— Нам повезло, — говорил Урдушмат. — Смертный приговор остался в силе, и, не прогони русские Николая, не миновать бы мне и Курбанбаю виселицы. А тут вдруг запахнулась дверь камеры и надзиратель крикнул: «Идите!» — «Куда?» — спрашиваем. «Как куда! — отвечает надзиратель. — На свободу!» И уже у ворот пояснил: «Царя больше нет...»

Вслед за узниками стали возвращаться мардикеры. Поодиночке Худые, измученные, но не печальные, как в день отъезда. Их будто подменили. Покорность во взгляде исчезла, глаза горели живым, смелым огнем. И речи их были смелыми

Мардикеров встречали как героев. И это понятно. Ведь они вернулись из тех мест, где совершилось великое событие — свержение царя. Стоило мардикеру заглянуть в чайхану, как тотчас его обступали джизакцы.

— Ну, как там? — спрашивали они. — Трудно ли?

— Трудно, — отвечал мардикер. — Лучше не вспоминать. И холодно, и голодно, и работа тяжелая: кто в лесу, кто на железной дороге, кто на соляных коях, а кто и в рудниках. Если сказать прямо, нашему человеку, джизакцу, это все не под силу. Но работать надо было: кто не работал, тому не давали хлеба. Вот и прикиньте, как там...

Не все мардикеры умели толком поведать джизакцам о пережитом. Но были и такие, что увидели, кроме заснеженного леса и дымного барака, настоящую Россию, русских рабочих, борющихся с царизмом, и передали увиденное своим землякам. Один такой рассказ я слышал.

— Нам хотелось одного — умереть на родной земле, — вспоминал сын Мумина из Мулкалка. — Но земля наша была далека, и пешком до нее не дойти. Да и жить одной надеждой на смерть нельзя. Оказывается, лучшая дорога человеку — дорога борьбы. Мы о ней не сразу узнали и пребывали в горе и отчаянии. Нашелся человек, который открывал нам глаза. Он пришел со стороны и сказал: «Ассалам вaleyкум!» Нам приятно было услышать это приветствие. Знакомый вроде человек. Имени, правда, не назвал своего, да и мы не спросили. Говорил он по-татарски, и люди его понимали. О чем он говорил? О том, что надо добиваться лучшего питания. В ближайшие дни слова нашего друга мы воплотили в дело. Мардикеров, не способных работать, комендант оставлял в бараке и лишал обеда: «И вы не ходите на работу, не принимайте обед!» — посоветовал татарин. И мы не пошли. Объявили голодовку. Начальники забегали по баракам, сразу же отменили изоляцию для больных и бессиленных, увеличили паек. С тех пор забастовка и голодовка стали нашим оружием против военного коменданта.

— Становитесь настоящими пролетарьями! — хвалил нас татарин.

В барак он обычно приходил с гостинцем: то принесет хлеб, то картошку. Где он доставал все это, мы не знали, но были рады помощи — голод давал себя знать.

Как-то татарин вместо гостинца принес красную матерью.

— Прикрепите к шесту, — сказал он. — Будет флаг. Завтра в два часа загудят все паровозы на станции. Это сигнал. Бросайте работу и идите на привокзальную площадь!

На наших лицах выразились недоумение и тревога. Никто из нас еще не участвовал в демонстрациях и митингах.

— Не бойтесь, — успокоил нас татарин. — Не одни пойдете. На площади будут русские рабочие.

Флаг поручили нести мне. Это большое доверие и боль-

шая ответственность — идти впереди колонны. На полотне написали очень смелые слова: «Конец войне! Долой самодержавие!» написали по-русски, но татарин перевел их нам, и мардикеры запомнили.

В то утро работа не клеилась. Сердце каждого было наполнено тревогой и ожиданием. В полдень к нам подошли русские рабочие, и сразу же раздался гудок паровоза. Одного, другого, третьего. Мы бросили лопаты и стали в колонну вместе с русскими. К нам присоединились еще люди, и когда колонна зашагала к площади, то вся улица была заполнена и стала похожа на весеннее поле, усеянное тюльпанами. Это горели красные флаги и полотнища, призывающие кончить войну. Рабочие пели песни. Под песню очень легко шагалось.

На нас несколько раз нападали полицейские, но русские рабочие давали им отпор — бросали камни, вырванные из мостовой. Никогда еще я не видел такой сплоченности и такой смелости. Оказывается, в сплоченности — великая сила. Только так можно победить.

Это была первая наша демонстрация вместе с русскими рабочими. Потом состоялась вторая. Мы уже поняли, что к чему, и охотно выходили на улицу по гудку. Последний раз рабочие собрались на митинг в день свержения царя. Все поздравляли друг друга, обнимали, целовали. Нам один старый рабочий сказал:

— Ну, братцы, теперь скоро поедете домой. Конец Николашке!

И верно, через неделю началась отправка мардикеров в родные места...

Рассказ сына Мумина произвел на меня большое впечатление. Не жалость, не сочувствие к этим измученным, уставшим людям вызвал он во мне, а восхищение. Дома я поведал все отцу. Он выслушал меня, потом, поразмыслив, сказал:

— Вернулись сыновья Джизака, но не те, которых мы провожали. Совсем не те...

ПОД ПЕПЛОМ — ОГОНЬ

Отец сидит на корточках, прислонясь к столбу, что подпирает террасу, и дремлет в теплых лучах сентябрьского солнца. А может, не дремлет. Но глаза закрыты, и лицо какое-то расслабленное, отрешенное...

Как он изменился за это лето. Постарел, одряхлел, стих. Вот так часами может сидеть на солнце и предаваться своим

невеселым мыслям. Откуда я знаю, что мысли его невеселые? Конечно, отец не делится со мной, да и вообще ни с кем не делится ими, но ведь нетрудно догадаться, что на душе у человека, который вернулся в родной город и увидел пепел. Дом его тоже опустел, и, кроме этих стен и голых деревьев, ничего-ничего не напоминает прошлого.

День-деньской мы донимаем старших мольбой о хлебе. Глухие малыши, особенно мой трехлетний братец, не желают считаться с доводами матушки о необходимости терпения. Она, бедная, и уговаривает, и угрожает, и даже порой шлепает настойчивых просителей, но разве словом, пусть самым добрым и щедрым, утолишь голод? Не утолишь. Только ранишь собственное сердце. А оно у матушки все израненное, поэтому она, шлепнув в отчаянии братца, сама принимается плакать. Много слез нужно ей — ведь горе и тяготы на каждом шагу, их не счесть. И на все — слезы. Хорошо, что они не застлали перед ней дорогу. Она видит что-то, к чему-то идет, стремится. С рассвета она уже на ногах, хлопочет, выскивает, чем бы поддержать семью. Когда она ложится спать, я не знаю. Мои глаза слипаются раньше ее глаз. Мы видим сны, а она все стучит своими кавушами по дорожкам двора, и оттого всем спится спокойнее — значит, утром будет что положить в наш ненасытный рот. Мы мечтаем о пшеничной лепешке, но корж из отрубей нас тоже устроит. И еще как устроит!

Да, матушка не жалеет своих ног. И они у нее неутомимы. А отец сидит. Сидит, прислонившись к столбу, и дремлет на солнце. Одежда его обносилась, истлела, от старого чапана остались лишь спина и плечи. Все прочее — лохмотья. Поэтому он не надевает его, а накидывает на плечи: так дыры менее заметны.

Одеждой отец стал похож на нашего махаллинского попрошайку Шахфайзи. У того был такой же чапан — без ворота, обшлагов и подола. Правда, он надевал его на себя, а отец накидывает, словно этим отстраняется от нищенских лохм. В нем еще сохранилась какая-то гордость от далекого прошлого: в молодости он был кузнецом, потом превратился в коробейника — чорбазарчи и вроде бы вел собственное дело, хотя все оно умещалось в одном хурджуне и существовало с помощью ног и спины. Однако отец считал себя самостоятельным, даже независимым человеком. Теперь он никому не нужен. Город разорен, разрушен, базар сожжен, ряды кузнецов, кожевников, гончаров, мыловаров превращены в пепел. Никто ничего не вырабатывает, и, следовательно, не продает и не покупает. Хурджун отца валяется в сарае, и

его, наверное, уже прогрызли мыши. Впрочем, они могли бы съесть его целиком — вряд ли он теперь понадобится. Так рассуждает отец. И переубедить павшего духом человека не может никто, даже матушка, которая много раз принималась стыдить отца — голод пришел в дом и надо что-то делать для спасения семьи.

— У всех голод, — отвечал отец. — Если и найдется отзывчивый сосед, то сможет поделиться со мной лишь своим несчастьем.

— Не просить милости, а работать я посылаю вас, — объясняла матушка.

— Ха, или есть такие благодетели в Джизаке, что нанимают работников строить дома из воздуха или мечети из воды и за это кормят шурпой с бараниной!..

Матушка всплескивала руками:

— Будто уж нет никакого дела в городе?

— Дела много, но люди сами управляют с ним. Рыть могилы и носить умерших на кладбище — обязанность близких родственников. А ангел смерти Азраил пока еще не призвал меня к этому скорбному делу, да и, дай бог, не призвет слишком скоро...

— Вай, зачем вспоминать Азраила? Лучше бы мне не слышать ваших слов!

Так заканчивались разговоры с отцом о хлебе насущном. Примерно так же — обо всем остальном, что касалось будущего семьи. Вначале, когда мы вернулись с поселения, в сердце отца жила какая-то надежда на перемены. Он суетился, бегал по городу, что-то искал, делился с матушкой своими планами, но постепенно убежденность его стала меркнуть и совсем погасла. Джизак больше не нуждался в нем — это слово дух чорбазарчи. Все чаще и чаще оставался отец дома, все дольше просиживал у террасы, прислонив спину к столбу, и наконец место это сделалось для него постоянным.

И вот сейчас он дремлет на солнце, а я смотрю на него, покачивая люльку — бешик, в которой хнычет голодная моя сестренка. Она всегда голодная: у матушки нет молока. Мне приходится утешать малышку песней. У меня у самого в животе песня и довольно громкая: с утра мы ничего не ели, ждем катырму. Но урчание желудка — это не та мелодия, что навеивает сон, напротив, она прогоняет его. Поэтому я пою сестренке о птичке, о солнышке, обо всем, что приходит мне в голову. Слова, конечно, подбираю самые ласковые.

Баньки, мой барашечек!
Баньки, мой счастливый...

Слова эти я взял из песни матушки, которой она убаюкивала и меня и братьев моих — старая, вечная песня о счастье и радости детства. Но к моей сестричке это так не подходит! Обшарпанный бешик, какие-то тряпки вместо одеяльца и главное — пустой рот. В нем нет даже жеваного мякиша, завязанного в тряпицу и заменяющего соску. Песня, по моему разумению, должна возместить все, вот я и стараюсь — качаю бешик и пою. Пою громко и бешик качаю изо всех сил.

Песня, однако, не заменяет мякиша. Сестричка хнычет, постепенно хныканье перерастает в плач.

— Баиньки, баиньки! — надрываюсь я, желая заглушить слезный крик сестрички, но это мне не удается. Крик, кажется, становится еще громче. Наш старательный дуэт способен переполнить весь дом.

Прерывается дрема отца. Он чуть приоткрывает глаза и, шурясь на солнце, смотрит, как я борюсь с сестричкой за тишину.

— Мать, — говорит он устало, — слышишь колыбельную сына?

Матушка возится с отрубями, дробит и просеивает их, создавая что-то похожее на муку. В воздухе, как монотонный крик птицы, повторяется один и тот же звук: «топа-так... топа-так!» Не отрываясь от дела и не поворачивая головы, она отвечает отцу:

— Слышу... Несчастные дети родились в дни, когда бог разгневался.

— Бог... — не то спрашивает, не то утверждает отец и снова смежает веки.

Братец, проснувшись от моей песни, несколько минут лежит молча, потом вдруг вспоминает о хлебе и принимается канючить:

— Мама, ешь!.. Мама, ешь!..

Тут я догадываюсь, что нарушил сон голодных и тем самым увеличил муки матери. Теперь братец, присоединившись к сестричке, начнет вопить во весь голос: «Хлеба! Хлеба!» Между прочим я сам не прочь включиться в этот хор. Есть действительно очень хочется. Вспоминаю Учтепа и пшеничные колоски, которые можно было найти в степи и насытиться на какое-то время. В Джизаке и этого нет. Оказывается, мы стремимся к лучшему, а приходим к худшему.

Благоразумие останавливает меня от участия в голодном хоре. Все-таки я старший! Делаю вид, что способен терпеть, и пою. Пою колыбельную.

Баньки, мой барашечек!
Баньки, мой счастливый...

Так начинался обычный день в наше доме. Так завершался. Но не все постоянно, как известно. Нарушился порядок. Правда, не с моей и не с отцовской помощью. Новое пришло с улицы...

Однажды утром, когда я по обыкновению качал бешик и напевал колыбельную, когда отец дремал на солнце, а матушка просеивала отруби, отворилась калитка и во двор вошел дядя Джура. Джуру-ака считали человеком бывалым, повидавшим чужие края, знавшим истину. Появление его в любой семье было событием.

Дядя вошел во двор и громко произнес:

— Мир этому дому!

Он все делал шумно, даже говорил громче других. То ли привычка у него такая была, то ли хотел показать, что таиться ему незачем и бояться некого. Отец тотчас очнулся от своей дремы, мать перестала сеять отруби, а младший братишка, прикорнувший у тандыра, поднял голову. Не надо подчеркивать, что и я бросил бешик и смолк. Дядя потревожил всех. К нам он редко навещался, во всяком случае после приезда нашу калитку он распахнул второй раз. Именно это и отметила матушка, приветствуя гостя:

— Что так долго не заглядывали, братец?

— Ха, для того, чтобы заглянуть к вам, надо прежде выглянуть из могилы. А мы все одной ногой уже в другом мире...

Дядя любил говорить не просто, а со скрытым значением. Вот сейчас напомнил нам о голоде, что костлявой рукой касался джизакцев. Люди прозвали дядю «Джура-кантдак», то есть Сахарным Джурой. Давно прозвали. Сейчас бы никто, глядя на лицо и одежду его, не дал такого имени. Прежде он был круглым, румяным, веселым, носил чесучовый яхтак и хромовые сапоги. Говорил приятные, ласкающие душу сладостные слова. Куда девался румянец Джуры-кантдака, где оставил он свой яхтак и сапоги? Дядя пришел к нам в порванном, засаленном ватнике и больших ботинках, видавших виды. И произнес на пороге совсем не те слова, что радуют душу.

Впрочем, от него теперь не ждали сладких слов. Не то время!

Отец поднялся со своего обычного места и направился навстречу брату, обнял его, повел к супе. Угощать было нечем, но долг гостеприимства требовал дастархана. Пиалы и

чайники у нас, слава богу, остались, можно наполнить их чаем, не настоящим — ягодным, положить на поднос несколько сухих ядрышек урюка.

Дядя очень медленно пошел к супе, сразу не сел на старый рваный палас, а долго стоял подле него, переминаясь с ноги на ногу. Всех озадачила такая нерешительность Джур-кандака. Но не это было самым удивительным. Вместо того, чтобы услаждать слух хозяев дома всевозможными посьловицами и поговорками о неисповедимости путей господних и тем облегчить их заботы и тревожения, дядя повернулся ко мне и сказал:

— Растешь, племянник?

Не только сказал, но и посмотрел на меня внимательно.

Если помнит читатель, посещение дядями нашего дома всегда заканчивалось для меня самым неожиданным образом. Когда дядя Ашурмат брал себе в ученики брата моего, я обварил себе кипятком из чайника ноги. Поэтому интерес Джур-кандака к моей персоне вселял в мою душу некоторое смутение, даже страх. И надо сказать, опасения мои не оказались напрасными...

Сев наконец на супу, на этот самый рваный палас, дядя Джура произнес:

— Вырос, вырос племянничек... Совсем йигит.

Тут уж я вовсе встревожился: что это затеял Сахарный Джура? На всякий случай я отвернулся от гостя и стал качать бешик. Правда, песенку больше не напевал, не хотел пропустить разговор, который, безусловно, должен был коснуться меня.

Вначале, естественно, взрослые говорили о всякой всячине: и о здоровье тети, и об осле, что сдох у соседа, и о собаках, что по ночам разрывают могилы на кладбище. Потом отец спросил:

— Слышно ли что-нибудь о завтрашнем дне: народ голоден и раздет. Что дальше-то?

Такой вопрос можно было задать только дяде Джуре. Он побывал в России, повидал многое и должен был знать, умирать нам или жить.

— Дальше будет иначе, — ответил дядя.

— Ну, это известно, — заметил отец. — День на день не приходится. А вот как иначе?

— Это один бог знает, хотя краешком глаза и мы увидели кое-что... — Дядя вновь произнес слова, заставившие всех открыть уши. — Чудо где-то в пути, но час, когда оно предстанет перед нами, еще далек.

— Э-э! — вздохнул отец. — Дождемся ли мы?..

Дядя покачал головой.

— Если бы мир имел вершину и этой вершиной оказался Джизак, тогда все было бы проще. Мы за своими холмами ничего не замечаем. А мир-то велик. Всюду голод и всюду разруха. Как говорили в старину: придет время, когда плов будет чудотворцем, а хлеб пророком. Это время пришло. Чем дольше продлится война, тем тяжелее станет народу. Война — главное зло. С ней надо бороться. Я сам видел, как шли русские рабочие по улицам и несли в руках флаги со словами: «Долой войну!»

— Рабочие? Это что же значит по-нашему? — полюбопытствовал отец.

— Такие мастеровые, как я или ваш сын Манзур, только служат в больших мастерских. Их называют фабриками, заводами. Солдаты тоже отказываются воевать. Когда мы рыли окопы, один сказал нам: «Зря, братцы, стараетесь мы не думаем здесь вшей кормить. Хватит, повоевали за царя-батюшку!» В общем, не за горой день, когда солдаты скинут своих начальников и бросят винтовки...

Тут отец осуждающе покачал головой:

— Сбросить начальников! Такое мы пережили. Есть мудрые слова: «Из-за одного может пострадать тысяча, а из-за тысячи тысяча тысяч...» Бей эликбаши, убивай уездного начальника! Какой же урожай собрал народ? Имели Джизак, теперь довольствуемся золой. Говорили, не пойдем в мардикеры, а побывали и в мардикерах. Ну хоть на грош получили пользы?

— А как же! — оживился дядя. Он, видно, только и ждал этого вопроса. — Или не свергнут царь Николай?.. Да и под пеплом непотухшие угли. Жар в них...

Отец согласился:

— Может, и жар, но его уже не раздуешь до пламени. Свергнув же царя, лишились хозяина, а без хозяина земля не существует...

— Будет хозяин, — убежденно заявил дядя Джура. — Временное правительство — оно есть временное, сами господа его так назвали. Не думает оно о завтрашнем дне — войну не кончает, хлеба не дает...

— Да что хлеба, — поддержал наконец дядю отец, — воды нет в городе! Слыхано ли это!

— Сами видите, как затянулась петля на шее народа, — еще более оживился Джура-кантдак. — Вот и выходит, что без чуда не обойтись...

— Э-э, чудо... — проворчал отец. — Придет ли твое чудо!

Тут в разговор вмешалась матушка. Она отложила сито, стряхнула с рук отруби и сказала:

— Если в месяце тридцать ночей, то из них пятнадцать темных и пятнадцать светлых. Не будьте столь нетерпеливы, муженек. Дождемся чуда. Ведь не одни мы думаем о хлебе, у всех пусто во рту. Как ни говорите, Джура-ака многое повидал в мардикерах, ему верить надо. Лишь шайтан живет без надежды. Придет время, и мы будем рассказывать людям про эти тяжелые дни...

Хмурый отец мой вдруг улыбнулся, потом даже засмеялся. Что-то развеселило его в словах матушки.

— Вот какая она, моя ташкентская! Сама голодна, а говорит — сыта. Что ж, пусть сбудутся твои желания!

— Сбудутся, сбудутся, — охотно подтвердила матушка, и глаза ее сделались такими светлыми, словно она действительно верила в сказанное. Я думаю, это было оттого, что ей очень хотелось счастья своей семье.

— Видящему Мекку легче к ней идти, — заключил отец.

— Конечно, вот испеку катырму, поедим, что бог послал, и один тяжелый день, считайте, позади...

Дядя лукаво усмехнулся:

— Не торопитесь его провожать, сестрица. Пусть и мне перепадет кусочек катырмы.

— Вай, зачем напоминать? Гость — тот же хозяин, ведь закон дедов еще не забыт в Джизаке!

— Забыт-то не забыт, да не все его блюдут, — заметил дядя. — Есть же притча про двух сестер. Зашла однажды старшая к младшей по-родственному узнать, как у той житье-бытье, а младшая в это время пекла катырму. Катырма была одна, и не хотелось ей делиться с гостьей. Взяла да и села на горячее тесто. Старшая заметила это и говорит: «Времена-то голодные пройдут, а вот зад себе ты напрасно ошпарила...»

Матушка и отец рассмеялись. Я тоже не удержался от улыбки. Забавную притчу рассказал наш гость. С приходом его немного светлее стало в нашем доме. Ко всякому случаю у него была припасена история, и он ее тут же выкладывал нам. Истории были поучительными, и все сводилось к тому, что нельзя так просто сидеть в ожидании чуда, нельзя уповать только на судьбу и бога.

Матушке понравились притчи Джуры-кантдака. Она быстро применила их к нашей семье.

— Я вот тоже говорю муженьку, под лежащий камень вода не течет. Делайте что-нибудь, а он и слушать не хочет.

— Ха, — поднял руки, будто призывал в свидетели всевышнего, дядя, — женщина, у которой на руках дети, всегда права.

Их слезы падают на ее сердце, а отец лишь слышит плач... Между прочим, из-за детей я, собственно, и пришел к вам.

Сказав это, дядя снова посмотрел на меня и снова внимательно. Тут уж нельзя было не догадаться, кого именно из детей имеет в виду гость.

— Назиркул теперь старший у вас, а руки его ни к чему не приспособлены. А что, если отдадите его мне в ученики? Думаю я раскопать свою кузницу и приняться за старое дело. Серпы и кетмени людям вроде нужны...

Отец сразу замкнулся, словно не было перед этим ни веселого разговора, ни улыбок. Видно, предложение дяди прозвучало для него укором — сам, мол, не способен семью прокормить, детей на ноги поставить, посторонним приходится заботиться. А матушка, напротив, оживилась. Правда, предложение Джур-кантадака несколько расходилось с тем, что рисовала себе матушка в мечтах. Поэтому, прежде чем высказать свое мнение, она грустно вздохнула:

— Не суждено, видно, моему Назиркулу быть муллою. Святой Шахи-Зинда не услышал молитв наших, не открыл дорогу посвященному. Пока чертово колесо крутится в обратную сторону, все дальше и дальше отходят от нас желанья. Пусть среди слуг чудотворца будет и один кузнец. Ремесло никому еще не мешало. Берите Назиркула, Джура-ака, будьте ему и наставником и кормильцем...

Я давно уже затих — не то, что песнь, дыхание, кажется, не слетало с губ моих. Решалась судьба, будущее мое, можно ли в такую минуту пропустить хоть слово. И качать бешик тоже нельзя. Не до него просто. И, как это ни странно, сестренка не шумит, не плачет, словно поняла всю важность момента...

Последнее, что я услышал, было уже приговором. Дядя принял условия матушки, но выразил это довольно странной фразой. Он сказал:

— Не беспокойтесь, сестра. Я голоден — и Назиркул голоден, я сыт — и Назиркул сыт...

Не слишком ясное обязательство. Оно не гарантировало мне ежедневную лепешку, о которой я мечтал сейчас. Остальное меня уже не интересовало — ни семейные дела дяди, ни жалобы матушки на трудную жизнь.

Помню, уходя, Джура-кантадак еще раз глянул на меня, теперь как на своего помощника, и сказал:

— Утром, когда взойдет солнца, будь у кузницы!

Я кивнул.

А отец за меня, за всех нас поблагодарил дядю:

— Каждому дыханию твоему спасибо, за посещение спасибо...

ВЕТЕР РОССИИ

«Я голоден — и Назиркул голоден, я сыт — и он сыт», — сказал вчера дядя.

Увы, он был из тех, кто постоянно голоден. Это я понял, когда мы сели у развалин кузницы. Дядя положил с собой кетмень и тешу и не положил горбочку, в которой мастеровые обычно приносили еду. Не понадобилась, видно, торбочка. Нечего было в нее класть. Для желудка предстоял пустой день. Если дядя будет голоден, мне придется по уговору последовать его примеру.

Но чем-то все-таки кормить помощника надо, и дядя, пока мы шли через базар и отыскивали следы кузницы, преподносил мне обильную словесную пищу. Во-первых, он до небес возносил мою аккуратность: я вовремя пришел на работу, — и мою смелость: не всякий возьмется за трудное дело ковать серпы и кетмени, не говоря уже о подковах, которые надо не только делать, но и прибивать к ногам лошадей, а лошади бывают всякие. Наконец, восхищался моим благоразумием: я верно оценил положение и отбросил никому не нужную затею с изучением священных книг и избрал ремесло. Не мольба о хлебе насыщает человека — руки кормят мир. Слово хорошо лишь на сытый желудок. Сам дядя, между прочим, неплохо пользовался словом даже на голодный желудок. Когда мы проходили мимо мечети и имам спросил дядю, почему он, вместо того чтобы молиться, спешит чуть свет по своим мирским делам, тот ответил:

— Я впрок прочел все молитвы, когда был сыт. Еще осталось несколько про запас.

Не знаю, какими глазами посмотрели на дядю верующие, вышедшие из мечети, но имам раскрыл их от удивления так широко, что, казалось, они выкатятся из орбит.

Меня тоже поразила смелость дяди: правоверный не должен был отвергать молитву. Не случайно имам испугался. Я, честно говоря, тоже струхнул: а вдруг кара всевышнего падет на нас, падет именно в тот день, когда решено откопать кузницу. Лучше бы не гневить небо перед важным делом. Но что значили мои опасения!

И вот мы сидим на холмике, образовавшемся из обломков кирпича, обуглившихся стоек и перекладин, смешанных с золой, и смотрим себе под ноги. Там, внизу, в земле — горн, наковальня, молот, клещи и многое другое, составляющее богатство кузнеца. А может, ничего этого уже нет...

Работы много, и работы тяжелой, а желудка пусты. Во всяком случае мой желудок совершенно пуст. Тогда я, что-

бы обратить на себя внимание, задаю вопрос, конечно, не о желудке и не о том, почему он поет с самого утра песенку. О базаре: зачем каратели разрушили его?

Дядя поднимает брови — вопрос слишком наивен. Не так уж мал я, чтобы не знать причин. Но все же поясняет:

— Джизак поднялся отсюда. Здесь родилась смута...

И уже без удивления, а с какой-то грустью спрашивает:

— Знал ли ты эти места до восстания?

Оказывается, дядя тоже не лишен наивности. Как не знать мне родного города! Эти улочки и закоулки я избегал вдоль и поперек. Все там, за обгоревшим карагачем, стоял дом тетушки Зиннат. К празднику Курбана и Рузы она шла детям новые тубетейки. И мне тоже. Целую неделю я торчал в доме тетушки, чтобы своим видом напомнить о традиции, поторопить добрую Зиннат-апу. Здесь мы играли в чижика, чехарду, куликашки Э. да мало ли было веселых игр! По садам и полянам ребячий ватаги носились с утра до вечера. Мы с Адылом любили взбираться на деревья или крыши и оттуда, с высоты, изучали богатые дворы. Именно богатые дворы привлекали наш взор. В них росли удивительные цветы. А какие ковры и паласы красовались на айванах и супах! Сколько птичьих клеток висело над хаузами! Однажды я так увлекся созерцанием цветов в чужих дворах, что свалился с крыши и разбил себе лоб.

— Значит, любуясь богатыми дворами, ты украсил свой лоб шишкой? — усмехнулся дядя.

— Не берите, — обиделся я. — Вот шрам.

— Вижу, вижу, — кивнул дядя. — Шрам — важное дело, память о прошлом. Эти развалины тоже память...

— О чем? — снова задал я наивный вопрос. Впрочем, для меня он не был наивным. Какую роль могут играть обгоревшие балки и груды золы?

— Несмышлениш! — вздохнул дядя. — Камни, что под нами, не простые. В них разочарование и надежда народа. Боль сердца в них. И чем дольше они будут перед глазами, тем острее эта боль. Царь хотел, чтобы пепел лежал вечно и предостерегал народ от всего смелого и решительного. Не догадывался царь, что под пеплом — огонь. Сдуй пепел — и там жар негасимый...

Я понял это в прямом смысле и стал пристальнее вглядываться в груды золы. Дядя скривил губы в усмешке.

— Не гот жар, — сказал он. — Эх, несмышлениш... Ну да время откроет тебе глаза... Примеся-ка за дело!

Он сложил ладони и тихо пропел:

— Избавь нас от несчастий. Мы их переживем, но пусть других они не коснутся!

Я тоже присел на корточки и повторил вслед за дядей молитву, хорошо известную мне еще по школе. Это была строфа из корана, прекрасная строфа, напоминающая человеку о братьях его, идущих дорогой несчастий. И сейчас и тогда мне казалось, что дядя Джура не молился, он выразил стихом свои чувства. А возможно, привычка начинать все с обращения к всевышнему понудила его произнести несколько слов из корана. Так делали ремесленники в Джизаке.

Взяв кетмень в руки, дядя снова пропел:

— Эй, его величество Дауд-пир!

И только после этого взмахнул кетменем и ударил по слежалой золе. Комья сухой глины, смешанные с пеплом, полетели в стороны. Вначале железо билось о твердый слой, звенело; скрежетало, но с каждым новым ударом звон становился все глуше, потом вовсе исчез, и кетмень лишь посапывал, врезаясь в землю.

Пока дядя снимал верхний слой, я сидел на камнях и наблюдал за работой. Мне хотелось поскорее увидеть жар, что таился под землей. Я даже представлял себе, как вдруг после удара кетменя вырвется пламя и обдаст дядю. Его спокойствие пугало и восхищало: освобождает огонь и не боится!

Полетели черные, словно закопченные, комья. Запах горелого остро ударил мне в нос. Где-то близко был жар, сейчас он вырвется из-под земли и забушует. На всякий случай я отодвинулся от места, где орудовал кетменем дяди. Издали лучше и, главное, безопаснее наблюдать за огнем. Но торжественность ожидания разрушили слова дяди:

— Собирай угольки и железо! Это для нас с тобой теперь — золото.

Вместе с землей действительно стали вылетать кусочки угля, гвозди, обломки подков, покрытые налетом ржавчины. И чем глубже вгрызался кетмень в заваль, тем больше было этих черных и бурых осколков. Я принялся собирать их и складывать в кучки. Кучки росли, и это меня радовало. Если попадалась целая подкова или лезвие серпа, я вскрикивал от восторга:

— Ой, какое золото!

Дядя, усталый, облитый потом, поворачивался и кивал удовлетворенно:

— Складывай, складывай... Все пригодится.

Мои сокровища пополнились киркой, цепью, клещами. Я мог считать себя уже богачом. Но дядя все не успокаивался, ему этого было мало, он рыл и рыл землю. Через силу

дыл. Было слышно, как натужно дышит он, как покусывает губы, когда кетмень слишком глубоко впивается в землю и вытаскивать его надо, напрягшись до последнего. Лицо дяди при этом бледнело, а глаза туманились.

Мне прежде не приходилось работать большим кетменем, да и робость мешала предложить свои услуги дяде, но, заметив, как покачнулся он, перекидывая большой ком земли, я все же сказал:

— Отдохните, я попробую покопать.

Дядя посмотрел на меня благодарно и протянул кетмень.

— Попробуй...

Я серьезно отнесся к делу и прежде всего к церемонии, которая его сопровождает: поплевал на ладони, взмахнул кетменем и произнес:

— Эй, его величество Дауд-пир!

Затем опустил с силой кетмень. Он, конечно, не впился в землю, а отскочил, ворчливо звякнув. Но недовольство кетменя не особенно меня смутило, смутило огорчение дяди. Оно-то и заставило меня снова взмахнуть кетменем и снова опустить на землю. На этот раз железо воткнулось довольно глубоко, солидный ком откололся, и я ловко выбросил его наружу.

Дядя улыбнулся с явным одобрением. Работа пошла. А если работа пошла, значит, я уже окрестился как мардикер.

— Эй! — кричал я, распаяясь и занося высоко над головой кетмень. — Эй, его величество Дауд-пир!

Прямо скажу, я оказался удачливым мардикером. Всего третий или четвертый раз опустилс я мой кетмень, как раздался лязг железа и, кажется, полетели искры. Я подумал, естественно, о пламени, которое случайно открыл в земле, но дядя снова разочаровал меня. Он поднял руку, призывая меня остановиться, и сказал:

— Наковальня!

Сказал так, словно кетмень наткнулся не на железо, а на золотой клад. Впрочем, для дяди наковальня тогда была дороже золота.

— А ну-ка, дай мне кетмень!

Он не стал копать, а пощупал пальцами острие и покачал головой.

— Только о наковальню он мог так погнуться. Кажется, цель наша близка...

Дядя опустилс на колени и принялся разгребать руками землю в том месте, где вспыхнули искры. С загадочной улыбкой, словно фокусник, намеревающийся удивить лю-

дей чудом, он колдовал в ямке: то опускал глубоко ладонь, то уводил ее в сторону, то задерживал в какой-то задумчивости, то вдруг торопливо выбрасывал наружу. И наконец застыл.

— Она... — сказал он со вздохом.

Надо было радоваться, а дядя почему-то загрустил. Померкла улыбка на лице, и глаза подернулись дымкой горечи. Понял, наверное, дядя, как мала удача. Что в наковальне проку? Нет ни мехов, ни железа, ни угля. Ничего нет, кроме этой наковальни...

Однако отступать поздно. Да и другого выхода нет. Одна надежда — кузница!

— На сегодня хватит, — сказал дядя. — Считаю, великое дело сделали... Возьми ведро и сходи за водой, а я покуда наковальню отрою...

Не знаю, зачем дядя послал меня за водой. Надобности в ней не было. Но я пошел: взял ведро и направился к арыку, чтобы зачерпнуть побольше воды, которая в это время года особенно чиста, никто не мутит ее: поливы закончены, лишней раз опустить руку в воду и то боязно — холодно. Наполнив ведро, я вернулся. Наковальня еще не была открыта, да дядя, видно, и не пытался это сделать — кетмень лежал на земле в том самом месте, где был брошен мною. Зато дядя покинул лунку. Он сидел около груды железных обломков и разламывал на две половинки лепешку. Разламывал старательно, не спеша, боясь обронить крошки на землю.

Вид хлеба опьянил меня. Не помню, как опустилось ведро, кажется, угодило на камни и пролилась вода, облила ногу. Я сел против дяди и стал глядеть на лепешку. Знал, что делать так нехорошо, что выказать голод стыдно. Но все наставления матушки забылись, все забылось. Не голько забылось — исчезло. Я видел хлеб, один хлеб.

Процедура деления закончилась. В руках у дяди оказались две половинки лепешки. Придирчиво и бесцеремонно я взвесил взглядом обе доли и установил несоответствие — одна была чуть поменьше. Сразу родилось подозрение: вот для чего дядя отправил меня за водой, ему хотелось тайком произвести раздел и засунуть в рот большую долю. То, что я был мальчишка и еще ничего не сделал для дяди, меня несколько не смущало. Если нанял ученика, то и корми его! Вот как представлял я отношения между кузнецом и его помощником.

Что прочел дядя в моих глазах, неизвестно. Возможно, испуг, возможно, недовольство или обиду, но он протянул

мне большую долю. Слова, упрек молчаливый, даже брань не смогли бы сделать того, что сделал этот кусок лепешки. Большой кусок. Я покраснел, словно окунулся в горячую воду.

— Нет, — сказал я. — Это не моя доля.

Откуда взялось мужество для такого поступка, ведь я был страшно голоден! Без сожаления вернул большую половинку дяде и взамен получил меньшую. Немедленно она была направлена в рот и стала исчезать нежеванной.

Не буду говорить о том удовольствии, которое я испытал, глотая сухие, грубоватые, невесть на чем замешанные куски лепешки. Они пахли хлебом, и этого было вполне достаточно.

— В России, — сказал дядя, — все же перепадал нам кусочек мяса. Редко, но перепадал. Все больше кормили кашей и щами. Есть такая еда у русских... А здесь и отрубной катырмы не видишь! Но ничего... — произнес дядя многозначительно.

Слово было непонятное, да и незнакомое. Прежде я его никогда не слышал, но чем-то оно меня задело, и хотя в эту минуту мне, прямо говоря, было не до слов, все внимание сосредоточилось на половинке катырмы, которая катастрофически быстро уменьшалась, я все же спросил дядю, что означает таинственное «ничаво».

Он улыбнулся, почесал зачем-то затылок и сказал, глядя поверх меня в невидимо далекое:

— Что означает?! Если скажу, ничего не означает, как наше «оббо!» или «хош...», то будет неправда, потому что и «хош» слетает с человеческих губ не всегда, а лишь в нужный момент, когда требует того душа. Так и «ничаво» порождено душой, а она, пора знать тебе, все понимает и все чувствует...

Дядя помолчал, что-то вспоминая, потом, не торопясь, стал рассказывать.

— Валили мы как-то в лесу сосны. Зимой дело было... Мороз страшный, без рукавиц до топора дотронуться нельзя — прилипнут ладони. А если оторвешь, так с кожей. Потом всю руку бросай, она уже мертвая. Слотнешь открытым ртом воздух — сожжешь все внутри.

От голода и от холода народ падал, как те деревья, что мы рубили. И больше всего, конечно, наши падали: не по силам им стужа. Ну, а русские, должен тебе сказать, против мороза стойкие. Им он не так страшен. Вот они и утешали нас: мол, ничего, держитесь только. Помню, один старик, ну не совсем старик, но с сединой, увидел наши слезы и сказал:

«Ничаво!» Да еще по плечу меня похлопал. Хоть смысла и не было в том слове, но я понял, что оно многое означает и даже надежду дарит человеку.

Про царя тоже сказал старик: «Лютует государь-батюшка, но ничаво!!!» Строго так сказал и брови нахмурил. Понимаешь теперь, что значит «ничаво»?

Я вроде понял, хотя и не очень ясно представлял себе его конкретный смысл. Главное, оно подходило к нашей теперешней жизни: сейчас нам плохо, отрубяных лепешек и тех, нет, но отчаиваться не надо, наступит и наш день!

Кончилась катырма — я не заметил, как последний кусочек исчез во рту, — обед завершился. Дядя запил его водой, вытер ладонью усы. Сделал он это так, будто сытно поел. Я при всем желании и старании не смог повторить церемонию: кусок катырмы не утолил голода.

— Ничаво, — повторил дядя. — Только шайтан живет без надежды, а мы люди...

ВОЗМУТИТЕЛИ СПОКОЙСТВИЯ

Каждый день мы с дядей совершали прогулку по Джи-заку. Только пусть читатель не думает, что это было праздное времяпрепровождение. На пустой желудок, честно говоря, никто не захочет ходить по городу и любоваться развалинами. Мы ходили от кузницы, которая уже поднялась из пепла, к чайхане Урдушмата.

Зачем мы находились в чайхане? Если вы думаете — пить чай, то ошибаетесь. Во-первых, у нас для этого не было денег, во-вторых, кто пьет чай, не пообедав и не собираясь это сделать в будущем? Полоскать же желудок можно арычной водой, она рядом с кузницей и ничего не стоит. Последнее имеет немаловажное значение для нас.

Теперь ясно, что ходили в чайхану Урдушмата не чаевничать. Зачем же? Вначале я тоже не понимал этого. Один случай помог мне получить ответ на возникший еще тогда вопрос.

Но прежде — дорога к чайхане.

Дядя обычно шел впереди, я чуть сзади. И не потому, что не поспевал за ним — ноги у меня были крепкие и быстрые — просто мое положение ученика, мальчишки и племянника требовало какой-то дистанции. Как-никак он дядя, у него на висках седина, за плечами целая жизнь. Притом взрослому человеку иногда хочется побыть наедине со своими мыслями, зачем же крутиться перед глазами, мешать ему думать. А что мысли у него важные, я не сомневался. Все в нашей

семье считали дядю Джуру человеком умным и рассудительным. К тому же он побывал на тыловых работах, повидал мир, знал то, чего не знали остальные джизакцы. Вообще мардикеры считались в городе самыми сведущими, самыми интересными людьми, и в числе них дядя. Джура чуть ли не самый интересный. Он мог ответить на любой вопрос, вступить в спор с самым мудрым человеком в городе и переспорить его, высмеять любого духовника, начиненного цитатами из корана. А уж в делах, касающихся политики, равного ему не было. Мне кажется, что как учитель он больше воспитывал мою душу, чем руки. Во всяком случае кузнечное ремесло оставалось для меня пока еще ведром, лежащим на дне колодца, зато истины жизни я пил щедро. Чашу мне обычно протягивал сам дядя.

Вот и сейчас, в дороге, он прервал свое молчание, остановился и, кивнув в сторону холма, сказал:

— Ты знаешь, что это?

Он показал на столб, сохранившийся со дня казни на вершине холма.

Я кивнул.

— Теперь по всей земле такие столбы с перекладиной, — продолжал мрачно дядя. — Сколько в России их — не счесть!

— Разве царь русских не любил? — удивился я.

— Русских — не знаю, а бедных точно — не любил. Рабочих он вешал, расстреливал, ссылал в Сибирь. Временное правительство продолжает дела царя, но рабочие все равно не сдаются. У них есть главный, который зовет к борьбе... Зовут его Ленин...

— Он тоже русский? — спросил я.

Вопрос несколько озадачил дядю, он, видимо, точно не знал, кто такой Ленин, и ответил как смог:

— Наверное, русский, хотя говорили мне о нем разные люди. И татары говорили...

В моей голове рождались противоречивые мысли: почему царь сам русский, а русских не любил? И почему, свергнув царя, люди продолжают мучаться? Все эти вопросы я, конечно, задал бы дяде, если не в дороге, то в чайхане, куда уже подходили мы, но зрелище, которое предстало перед нашими глазами, сразу исключило это намерение.

На супе, где обычно пьют чай посетители, сидел полицейский Юлдаш и лил слезы. Сам по себе этот факт мог поразить любого джизакца. Плачущий полицейский! Но это было еще не все. Лицо Юлдаша, его мундир свидетельствовали о каких-то страшных событиях, пережитых им. Огромные синие рубцы лежали на лбу и щеках, из носа и ушей

текла кровь. Не в лучшем состоянии были и руки — их чем-то исполосовали. Двумя распухшими кочерыжками полицейский утирал слезы. Утирал и хныкал:

— Из любви к вам, джизакцы, я так страдаю. Удары, предназначенные другим, падают на мою голову...

Мы с дядей еще не знали, что здесь произошло, и поэтому недоуменно поглядывали то на Юлдаша, то на чайханщика Урдушмата.

Читатель, наверное, помнит и того и другого. Юлдаш-полицейский был в свое время грозой нашей махалли. Его камчу хорошо знали все мальчишки, да и не только мальчишки. Блюститель порядка появлялся неожиданно из-за угла и опускал плетку на голову зазевавшегося джизакца. Особенно неистовствовал он около домов богатеев, а сад Хафизбая оберегал пуще собственного глаза: в этом саду отдыхал уездный начальник Рукин. Перед самым восстанием, почуввав грозу, Юлдаш покинул пост полицейского, снял мундир и подался куда-то. С приходом к власти Временного правительства Юлдаш снова вернулся к своей должности, которая теперь именовалась «народный полицейский». Новое название ничего не изменило ни в поведении, ни в облике Юлдаша. По-прежнему он расхаживал по улицам в синем кителе, обшитом пуговицами с изображением двуглавого орла, по-прежнему грозил всем камчой.

Главной заботой Юлдаша стала чайхана Урдушмата. Он постоянно околачивался здесь. Нетрудно было догадаться, почему так интересуется полицейского бедная чайхана. Всякое скопление джизакцев вызывало беспокойство уездных властей и прежде всего нового мингбаши Аждарбека, давнего слуги господ эксплуататоров. А под крышей чайханы Урдушмата народ толпился постоянно. И толпился не случайно: тут можно было узнать новости, отвести душу откровенным разговором, получить совет от хозяина. Хозяин-то был не простой. Один из зачинщиков бунта в Джизаке, ярый противник царя, жертва расправы. Февральская революция спасла его от казни. Читатель помнит, что именно Урдушмат в числе первых помчался к канцелярии главного мингбаши. Это он согнал с седла моего отца и захватил лошадь, чтобы быстрее учинить расправу над мучителями народа. Смелый, решительный и мужественный человек продолжал оставаться врагом богатеев, опасным врагом. Вокруг него всегда были люди, впитывающие крамольные идеи Урдушмата.

Беспокойство властей все усиливалось. В один из дней, когда посетители чайханы вели себя особенно шумно, Аждарбек послал полицейского Юлдаша закрыть пристанище го-

лодных и босоногих. Приказ поступил за несколько часов до нашего появления здесь. Юлдаш подошел к Урдушмату и объявил ему волю начальства.

— Брагишечка, — сказал он робко: геперь Юлдаш остерегался джизакцев, — не сердись на меня, но чайхану надо закрыть... Хоть на неделю...

— Даже на один день не закрою, — ответил Урдушмат-ака.

— Вай! — всплеснул руками Юлдаш. — Зачем так? Скажи, подумаешь, дашь ответ завтра.

— Не хочу тебя еще раз утруждать приходом. У тебя другое дело есть — лизать миски хозяйской собаки. Беги во двор Аждарбека, там, кажется, бросили кость!

— Не насмехайся над Юлдашем. Я человек подневольный, войди в мое положение. Ну что тебе стоит закрыть чайхану на недельку?

Тут вмешался народ:

— Не вздумай послушаться его, Урдушмат! Чайхана принадлежит джизакцам, и джизакцы не простят тебе этого.

А Курбанбай, здоровенный детина, способный одним ударом свалить быка, подошел к Юлдашу и сказал:

— Если ты не понимаешь, когда объясняют языком, то мы растолкуем тебе руками...

— Что ты, братишечка! — залебезил полицейский. — Я все понял, но и вы меня поймите...

— Ну коли понял, так о чем разговор? Проваливай! И не называй нас братишечками, твои братья — дворовые псы Аждарбека. Вот мы придумаем тебе хвост, и ты ничем не будешь отличаться от них.

Поощряемый смехом и возгласами джизакцев «правильно, правильно!», Курбанбай поднял веник, лежавший возле самовара.

— Братцы! — взмолился полицейский. — Не совершайте греха!

— Ишь ты, — усмехнулся Курбанбай. — Оказывается, полицейские отличают грех от воздаяния. Твой друг Сабир получил по заслугам, камней на него не пожалели.

Курбанбай намекал на расправу с полицейскими в день восстания.

— Э-э, зачем дергать за ногу покойника? — испуганно пролепетал Юлдаш. — Я не Сабир...

— Тогда поступи, как Камил!

Лицо Юлдаша оживилось, на нем заиграло что-то похожее на улыбку.

— Камила спасла лошадь. Каждый мусульманин должен иметь хорошего коня. Я всегда об этом говорил...

— На пути к Пятиречью конь его спас, — согласился Курбанбай. — Но от расплаты не избавил. Совесть заставила Камила перекинуть через сук веревку и пристроить в петлю свою голову

— Оббо! — снова захныкал полицейский. — Ты хочешь, чтобы Юлдаш повесился?

Тут вставил свое слово Урдушмат-ака:

— Разве в наших желаниях дело? Мертвый должен лежать на кладбище, а не ходить среди людей и помахивать камчой.

— Я — мертвый?! — в ужасе раскрыл глаза Юлдаш. — Бог тому свидетель, что я живой и забочусь о живых. Кого я тронул? Кого?

— Попробовал бы тронуть нас, — заметил Курбанбай. — Мы с тебя и с твоего хозяина Аждарбека шкуру бы сняли да натянули на барабан. На весь Джизак гремел бы!

— Вяжи! Вяжи ему хвост! — закричали джизакцы.

Понимая, что дело оборачивается довольно нежелательно для него, Юлдаш подобрал полы своего кителя и кинулся наутек. Полицейский действительно напоминал подбитого пса. Вслед ему неслись крики:

— Не забудь про Камила!

Известно, подбитая собака далеко не уходит. Побродив около чайханы, Юлдаш заметил на пустыре мальчишек, игравших в кости.

— Эй, джигиты, примите меня в игру! — сунулся к ним полицейский.

— А вы умеете играть? — смехом ответили мальчишки.

— А как же! Хоть в ащички, хоть в орехи, хоть в «кулок чузма».

— Нет, нет, не верим! — продолжали веселиться ребята.

— Сейчас поверите... — Юлдаш, лукаво подмигивая, стал неторопливо вытягивать из кармана ащичку. — Во! Сыграем?

Он ловко подбросил кость и, пока она совершала замысловатый полет до земли, хлопнул ладонью по голенищу сапога, как обычно делают азартные игроки.

— Алчи! — удивились мальчишки.

С таким ащичником было рискованно состязаться.

— Ну что? — торжествующе спросил Юлдаш. — Бросайте вы!

Ребята растерянно переглянулись.

— Боятесь?! — усмехнулся полицейский. — И правильно

делаете. Эта ашичка заколдованная. Она не проигрывает...

— Ну?! — Десятки глаз впились в волшебную кость и почти столько же рук готовы были пощупать ашичку или хотя бы дотронуться до нее, если, конечно, разрешит это сделать хозяин.

— Выиграть ее невозможно, — пояснил Юлдаш. — Но смелому джигиту я могу ее подарить... Кто из вас самый смелый?

Станный вопрос. Лучше бы полицейский спросил, кто самый несмелый. Не было такого!

Каждый молча смотрел в глаза Юлдашу и этим хотел показать, что именно он достоин награды.

— Между прочим, — мягко сказал полицейский, — как у вас идут дела дома? Все ли в порядке?

— Все, все в порядке! — заторопились отделаться от ненужного вопроса ребята.

— Это хорошо. Мир и спокойствие не самое ли дорогое в жизни?.. А вот не хотят люди пребывать в тишине Мутят воду, сбивают с пути истинного джизакцев. Вы, наверное, замечали таких — ведь весь день на улице, у чайханы. Перед вашими глазами вся махалля. Кто мне такого смутьяна покажет, тому сразу отдам эту ашичку. Да что ашичку! Кусок бязи на штаны и рубаху. Нужна небось бязь? А? Вон как оборвались, все срамные места видны...

Кусок бязи! Это соблазнительно. Но кто видел смутьяна? Какой он?

Юлдаш-полицейский угадал вопрос и тут же растолковал мальчишкам:

— Всякий недовольный войной и Временным правительством — смутьян...

Временным правительством недовольны были многие, войной — все. Но это свои, джизакцы, отцы и братья. Если они смутьяны, значит, их надо предать? Так предлагает Юлдаш-полицейский. Предать за эту ашичку, пусть даже заколдованную, за кусок бязи. И он называет это смелостью!

— Я смелый, — вдруг объявляет Мирза-слепой. Слепой по прозвищу. На самом деле Мирза видел лучше других. Это отец его был безглазым. — Дайте ашичку!

— Больно просто ты решил дело, — засмеялся Юлдаш. — Надо проверить сначала... Я брошу ашичку, а вы побежите, кто первым найдет ее, тот получит награду.

Мирза-слепой напрягся, расставил ноги, приготовился к борьбе — он хотел во что бы то ни стало получить беспроигрышную кость.

— Э, нет! — покачал головой полицейский. — В беге Мирза самым быстрым, тут и состязаться нечего. Лучше устроим «кулок чүзма» — длинное ухо. Пусть смелость про-
увят все.

И Юлдаш поднял руку, намереваясь кинуть в толпу мальчишек кость. Суть игры заключалась в том, чтобы захватить первому ащичку и унести ее. Остальные должны не допустить этого — броситься на удачника, схватить его за уши и тянуть, пока он не выпустит кость или не вывернется. Прибежавший с трофеем к хозяину считается победителем.

Перед тем как выпустить из рук ащичку, Юлдаш-полицейский предупредил:

— Вижу, все хотят отличиться, отстоять честь джигита, поэтому, кроме ащички, обещаю еще и десять орехов. Вот они! — Юлдаш вытянул из кармана горсть скрежещущих и пощелкивающих шаров и показал мальчишкам. — А ну, кто самый смелый!

И кость полетела на поляну.

Что тут произошло, трудно вообразить. Ватага кинулась вперед, но не за ащичкой, а за Мирзой-слепым, который, конечно, первым плюхнулся животом на кость и прикрыл ее. Остальные падали уже на Мирзу. Руки счастливчика вцепились в ащичку, а руки мальчишек — в его уши. И то, что они достигли своей цели, стало ясно по визгу Мирзы.

— Ха-ха-ха! — покатывался со смеху полицейский. — Так его! Добивайтесь награды. И ты, Мирза, не уступай. Помни, кроме беспроигрышной ащички, еще и десять орехов. Да что десять... Пятнадцать кладу. Слышишь, пятнадцать!

Увлеченный зрелищем, Юлдаш не заметил, как на поляну въехал всадник на гнедом жеребце. Не простой всадник. Аждарбек! Мингбаши Аждарбек, новый хозяин города.

Как и положено хозяину, он выглядел торжественно. Халат из банораса, щемящий глаза золотой и серебряной нитью, был накинут на синий суконный камзол, перепоясанный дорогим ремнем. Слева свисала сабля с серебряной насечкой. Ремень этот и эту саблю видели мы на отце Аждарбека, убитом джизакцами во время восстания. Мингбаши держался в седле с достоинством, глядел на окружающее свысока, чуть приопустив веки и брезгливо сжав губы.

Изменился ли за это время Аждарбек? Простой писарь и переводчик уездного начальника, выполнявший роль подручного при подавлении джизакского восстания, стал теперь мингбаши. Он сменил солдатскую гимнастерку на халат правителя. От прошлого осталась лишь нагайка, которой Аждарбек стегал джизакцев, изгоняемых из города. Этой нагайки

испробовали многие: молодой каратель старался изо всех сил. Легла она и на плечи моей сестры Кандым, не поспевавшей за толпой бегущих в степь людей.

Мой однокашник Мирза-слепой говорил, увидев кого-нибудь из учеников в обнове:

— Тот же ишак, но с другим седлом.

Аждарбек оставался Аждарбеком, хотя и был одет теперь в халат мингбаши. Черного шакала не скроешь даже под белой шерстью. Душа и зубы остались у него шакальи. Эти зубы он и показал на полянке.

Аждарбек не окликнул Юлдаша. Слишком много чести для полицейского слышать свое имя из уст мингбаши. Хозяин только кашлянул. Этого было достаточно, чтобы Юлдаш обмер. И не один Юлдаш — все обмерли. Застывшими от ужаса глазами мальчишки смотрели на мингбаши.

— Чайхана открыта?! — не то спросил, не то утвердил Аждарбек.

— Открыта... — прошептал трясущимися губами полицейский.

— А что я приказал тебе?

— Приказали закрыть... Но эти бесстыжие мардикеры не хотят слушаться. Они угрожали мне...

— И ты сбежал, сын праха!

— Сбежал, мой бек!

— Трусливый пес!

— Пес... Но я выполняю ваш приказ, господин.

— На том свете?

— Почему все гонят меня на тот свет?!

— Потому что на этом тебе делать нечего.

Аждарбек взмахнул нагайкой, и она со свистом опустилась на голову Юлдаша. От такого удара, наверно, могла отлететь голова, но слетела только шапка, великолепная шапка полицейского, которой так гордился Юлдаш. Не знаю, стал бы он спасать что-либо другое, но за шапкой наклонился, и тут новые удары посыпались на его голову. Стараясь уберечься от плети, Юлдаш побежал. Но разве можно пешему уйти от конного? Аждарбек пришпорил своего жеребца, и тот в несколько скачков настиг беглеца.

Бегущего, а потом уже упавшего Юлдаша мингбаши стегал и стегал, пока не переломился черенок камчи. Отбросив плетку, Аждарбек потянулся к сабле. Исклестанный, облитый кровью, Юлдаш почуял страшное в этом жесте мингбаши. Бежать он не мог, и пополз, ища защиты в толпе людей, уже собравшихся на поляне. Однако Аждарбек не для того распал на себя, чтобы так просто закончить расправу. Он бро-

сил клинок вслед Юлдашу и, наверное, угодил бы в затылок, но промахнулся, и лезвие, ударившись о камень, отскочило и ранило старика, находившегося рядом.

Кровь полицейского почему-то не тронула людей, а малиновая струйка, сбежавшая со щеки старика, вызвала гнев. Толпа грозно загудела, как когда-то перед восстаньем.

Пыл Аждарбека сразу охладился. Подняв саблю, минг-баши всадил ее со злостью в ножны и ускакал.

Так смерть миновала Юлдаша, и он оказался на супе чайханы Урдушмата-ака.

— Из любви к людям страдаю, — повторил полицейский, плача навзрыд. — Из любви...

Мы с дядей сели напротив и сложили свои инструменты у ног. Я думал, что дядя, глядя на плачущего полицейского, станет выражать соболезнование, а он, напротив, усмехнулся:

— Кого ж вы любите? — спросил дядя Джура.

— Народ, — ответил, глотая слезы, Юлдаш. — Я же народный полицейский.

— Э-э, Али ходжа или ходжа Али, какая разница! Прежде вы служили тысяцкому Мирзаяру, которого народ закидал камнями, теперь служите тысяцкому Аждарбеку. Если прежде были черным псом, то теперь стали белой собакой...

Все вокруг засмеялись. Никому, никому не было жалко полицейского. Почувствовал Юлдаш, что народ считает его врагом и даже не вздохнет, если случится беда с ним, если тот же Аждарбек засечет собственного слугу до смерти. И Юлдаш встал с супы. Встал с трудом и побрел по пыльной дороге.

Около пустыря его обступили мальчишки. Я видел, как Мирза-слепой протянул руку полицейскому, показывая ащичку, которую с боем отстоял и за которую требовалась награда.

— Вот она! — кричал Мирза. — Дайте орехи!

Юлдаш-полицейский не остановился, даже не посмотрел на мальчишек. Не посмотрел на уши Мирзы, горящие красным огнем и казавшиеся вдвое больше, чем обычно. Тогда ребяташки стали кричать хором:

— Будьте справедливы, отдайте орехи Мирзе! Он забрал их своими ушами!

Теперь Юлдаш остановился и прохрипел:

— Прочь! Прочь с моих глаз!

Прохрипел, и хрип был не человеческий, так мне почудилось. Он походил на стон или вопль раненого животного. Мальчишки в страхе кинулись врассыпную.

Юлдаш постоял немного, покочал своей окровавленной головой, потом высыпал из кармана орехи, прямо на землю высыпал, и пошел напрямик через пустырь, неизвестно куда. Долго синий камзол его маячил перед нашими глазами...

ДЕНЬ НАДЕЖД

Звуки кузницы — стук молотков и звон железа — я слышал прежде обычно издали. Они были веселыми, эти звуки. И их было много в Джизаке: длинные кузнечные ряды тянулись на базаре. Иной раз как заведут перестук, все окрестные махаллы наполняются волшебной музыкой. «Э-э, — говорили тогда старики, — дал бог мастерам работу!»

Теперь я сам творил эту музыку. Правда, пока еще робко. Дядя не всегда доверял мне молотки, но когда доверял, музыка звучала громко и весело. Так во всяком случае я считал и старался вовсю. Думаю, что мой молоток был слышен во всем Джизаке. Навернсе, был слышен: весь город примолк, и кузниц было слишком мало, если не одна наша.

Чумазым я тоже был пока один, если не считать дядю. Кузницу с помощью братьев, то есть моего отца, Аширмата-ака и Отавая-ака. дядя поднял, и в ней запылал горн. Ну, а где огонь, там и дым, а где дым, там и копоть К тому же, как известно, без угля нельзя развести огонь, вот я и украсился копотью. Железо тоже, между прочим, обладает способностью красить, особенно когда заржавеет.

И что удивительно, я гордился этими красками и шел через город с высоко поднятой головой. Кузнец! Себя я считал кузнецом, хотя другие не считали и называли просто учеником Джуры-ака. Но какое это имело значение! Главное, никто не отрицал моей причастности к кузнечному ремеслу. В душе я был уже кузнец. На железо смотрел глазами дяди Джуры, особенно если это железо было превращено в подкову, кетмень или топор. Мне хотелось понять, хорошо ли превращено, смог бы дядя сделать так или лучше. О своих способностях умалчивал, поскольку их пока еще никто не замечал, да и были ли они? Это могло определить лишь будущее.

Пока я имел дело с углем. По утрам разжигал огонь в горне, раздувал его с помощью мехов, которые дядя соорудил из старой шкуры, лежавшей в нашем доме как ковер. Появлялся дядя в одно и то же время и с одним и тем же выражением лица — оно было хмурым и озабоченным. Но не злым. Клад в нишу сверток, и я знал, что там лепешки — наш завтрак, обед и ужин. Знал, какая лепешка дядина, ка-

кая моя. Мы по-прежнему все делили пополам. Торжествовал уговор, объявленный Джурой-ака при найме меня в учение: «Я голоден — и Назиркул голоден, я сыт — и он сыт». Все еще трудно было установить—голодны мы или сыты. Но лепешка была каждый день. Значит, почти сыты. Мои сверстники иногда не видели и лепешки.

В течение дня дядя редко разговаривал со мной. Кузнецам вообще трудно вести беседу — такой стук и' звон стоит, что ни одного слова не разберешь. Лишь в промежутках между разговором большого да малого молотков Джура-ака вставлял несколько скупых замечаний, относящихся к работе, давал мне совет или порицал за что-нибудь. Заказчиков он тоже не баловал многословием: спросит, что надо, оговорит цену и назначит день, когда прийти за заказом. Единственное, что могло отвлечь дядю, это известие о возвращении кого-либо из России. Мардикеры мало-помалу собирались в Джизак, «слетались к родному гнезду», как говорила моя матушка. Приезжали по двое, по трое, а то и поодиночке. Вся махалля сразу же узнавала о появлении «нового джизакца», его дом моментально наводнялся соседями, и они не уходили, пока не получали исчерпывающие ответы на свои многочисленные вопросы. Людей интересовало все — как жили, что делали мардикеры в далеких краях, и хотя рассказы «новых джизакцев» почти ничем не отличались от рассказов уже «старых джизакцев», прибывших весной, сразу после свержения царя, их выслушивали с огромным интересом и вниманием. В конце следовал главный вопрос: «Как будет дальше и когда кончится время Временного правительства?» События в России стали волновать джизакцев, оттуда, с севера, ждали перемен. А кто, кроме очевидцев, кроме мардикеров, мог поведать людям новости?

Самым нетерпеливым и самым любопытным в городе был, кажется, мой дядя. Стоило кому-нибудь обронить слово «приехал», как Джура-ака оставлял клещи и молоток.

— Кто, кто? — допытывался он у прохожего.

И пока не узнавал, кому посчастливилось вернуться в Джизак, не отпускал человека. А вечером, после работы, тащил меня в чайхану Урдушмата, чтобы узнать все подробности.

Однажды в кузницу забежал мой дружок Адыл. Правильнее было сказать залетел, как залетает весной в дом птица, так стремителен, возбужден и радостен был Адыл. Лицо его сияло, даже оспинки на щеках посветлели.

— Приехал! — крикнул он с порога. Крикнул знакомое слово.

Я не стал спрашивать, кто приехал: в семье Адыла давно ждали отца.

Дядя вылез из ямы, в которой стояла наковальня, обнял за плечи Адыла.

— Отец, значит? Ну, вернулось счастье в дом...

На глазах дяди, кажется, блеснула слеза. Никогда я не видел его таким взволнованным. Он плакал и улыбался. И с чего было плакать — отец Адыла чужой нам человек, дом их стоит вдали, дороги не пересекаются. Неужели общая судьба, судьба мардникера способна так сблизить людей?

— Теперь наших собралось немало, — продолжал дядя — Как отец, здоров?

— Здоров, — кивнул Адыл. Но, немного подумав, добавил: — Правда, ухо одно болит... Отморозил.

— Ухо это ничего. Другие легкие поперепортили... На всю жизнь. — Дядя закашлялся. Последнее время он стал часто забиваться в кашле: отвернется от наковальни и борется с приступом. Наверное, дым горна и запах окалина душили его. — Главное, чтобы сердце не заморозить... Без сердца — конец...

Не знаю, понял ли последнее Адыл. Думаю, понял, потому что глянул на меня как-то значительно.

— Чем бы тебя наградить за радостную весть? — сказал дядя Джюра и стал озираясь, отыскивая в кузнице что-либо подходящее. Но ничего не нашел: не подкову же дарить мальчишке! — Ладно, будет за мной, — развел руками дядя. — Запомни...

Адыл благодарно улыбнулся.

— Хорошо, дядя Джюра... А я вот что захватил вам... — Он полез за пазуху и вытянул оттуда кусочек сахара. Маленький, величиной с орех, потемневший от пыли и частого прикосновения рук. Вытянул и подал мне. — Папа привез из России...

Сахар! Уж не помню, когда я держал его на ладони. А вкус вовсе забыл. Так бы и отправил этот серый орешек в рот! Но рядом были дядя и Адыл. Я разбил орешек на три части прямо тут, на наковальне, и протянул один Джюре-ака, другой — другу Адылу, третий оставил себе.

Дядя отстранил мою руку.

— Ну, я свою долю съел, когда еще мальчишкой бегал по базару. Оставь себе или матушке отнеси. Дома у вас найдется рот для этого сахара...

Рот, конечно, найдется, даже целых два — маленькие братишка и сестренка. И я, не скрывая радости, затолкнул

сахар в тряпицу, что матушка повязала мне в виде поясного платка.

— Папа еще хлеб привез, — сказал Адыл. — Белого хлеба... Правда, он засох... но вкусный. Мы его в воде размачиваем.

— Да-да, — закивал головой дядя и улыбнулся чему-то, верно, пришедшим воспоминаниям. — Главное, сам вернулся. Благодарю, сынок, тех, кто сверг царя, кто вернул свободу отцу твоему.

Адыл озадаченно посмотрел на Джуру-ака и тихо, почти шепотом, произнес:

— Рахмат. Спасибо...

И побежал домой.

Мы с дядей снова принялись за работу — я вытягивал из горна полосу железа, сияющую голубовато-розовым светом, клал на наковальню, а Джура-ака бил по ней молотком, превращая в тонкий длинный серп. Нам заказали крестьяне несколько серпов.

Вечером после работы, не в тот день, другой, дядя повел меня в дом Хафизбая. Читатель помнит этот дом — красивый дом с садом, где отдыхал иногда уездный начальник полковник Рукин. Помнит читатель и самого Рукина, навестившего Хафизбая накануне трагических событий. Тогда перед уездным правителем были расстелены дорожки, и сам хозяин, склонившись в почтительном поклоне, встречал важного гостя. Вход охраняли двое полицейских, а незадачливый Юлдаш ударами плети разгонял главным образом мальчишек, надоедливой стаей вившихся у ворот.

Сегодня ворота Хафизбая открыты настежь — ни хозяина, ни полицейских, ни сторожей. Народ входил сюда как в собственный дом. Здесь собирались мардикеры, вернувшиеся с тыловых работ, ну и, конечно, беспокойные джизакцы — все, кто был разут, раздет и голоден. По босым ногам и рваной одежде легко можно было установить участников этого первого в городе митинга.

Дядя вошел в дом Хафизбая с гордо поднятой головой. Хмурость с лица его слетела, и оно светилось какой-то торжественностью. Меня он пропустил вперед, давая этим понять, что мое место — среди трудового Джизака, среди тех, кто бос и голоден. Между прочим, я действительно был босым, а штаны мои состояли из одних заплат.

Мардикеры отличались от босоногих своей рабочей одеждой. Все они были в светло-зеленых рубашках и такого же цвета брюках, а на ногах красовались большие и, наверное,

очень тяжелые ботинки. Я так думаю, потому что при ходьбе ботинки эти издавали громкий стук, такой непривычный для мусульманского города. Завистливый взгляд мой чаще всего останавливался на красивых ремнях, которыми были опоясаны мардикеры. Такой ремень мне очень хотелось иметь.

Народу набралось много. Кроме мардикеров и чайрикеро-ров, кроме босоногих из нашей махалли, в саду оказались и жители соседних махаллей. Их легко можно было узнать по чалмам, тибетейкам и большим шапкам. Все расселись на айванах, супах, а кому не хватило места, устроились прямо на земле, подложив под себя собственные ноги.

Многоликая толпа занимала мое внимание недолго. Быстро отыскал я среди джизакцев незнакомого человека в русской одежде. Отыскал быстро не только потому, что человек был в незнакомой одежде, но и потому, что все смотрели на гостя. Да, это был гость. Потом я узнал его имя — Хайдарбек Абдуджаббаров. Он сидел среди мардикеров, помусульмански скрестив под собой ноги, и беседовал с другим гостем, одетым во все русское. От них, от этих двух незнакомых людей, джизакцы чего-то ждали. Ждали нетерпеливо, взволнованно. Я тоже ждал, хотя и не понимал, почему. Видимо, мне передавалось общее настроение.

Наконец, когда сад наполнился до отказа, а за воротами столпились мальчишки и женщины, незнакомец поднялся и через узенький проход между плотно сидящими людьми прошел к самому высокому айвану, взобрался на него. Все сразу затихли.

— Товарищи! — сказал он. Сказал только это слово и сразу удивил джизакцев. Никто прежде не слышал его, хотя оно и существовало, но не адресовалось вот так людям, незнакомым людям. У меня почему-то вздрогнуло сердце. — Товарищи, мы собрались, чтобы вспомнить тех, кто стремился к свободе и отдал за нее жизнь, чтобы обдумать, почему же этой свободы мы не достигли...

Незнакомец говорил очень спокойно, не повышая голоса, не взмахивая рукой, но людей его слова взволновали. Каждый представил себе пережитое, огонь Джизака и ветры степи, слезы угоняемых и крики раненых. Все представили себе. А гость продолжал:

— Мы думали, что, убив Мирзаяра и Рукина, мы навсегда избавимся от поработителей. Мы горько ошиблись. Злодеев много, очень много, и самый главный из них — царь. Он расправился с народом за смерть своих слуг, изгнал джизакцев, сжег город, расстрелял и повесил невинных людей.

Джизак превращен в пепел, реки высохли, сады погибли, пришел голод.

Сидевшие перед оратором застонали, закачали горестно головами. Тогда гость поднял руку, чтобы успокоить людей.

— Не вы одни страдаете. Весь народ России повергнут в нищету и страдания. И везде борцов за свободу убивают, ссылают, мучают. Свобода прекрасна, но завоевать ее одной рукой, даже двумя невозможно. Их отрубят угнетатели. Один кишлак или один город не в состоянии одолеть врага. Но сообща, объединив усилия, можно достичь цели. Дальше дорогой борьбы простой народ должен идти в одном строю, крепко держась за руки. Русские рабочие уже свергли царя и тем избавили все народы России от первого и главного угнетателя. Теперь предстоит сбросить с шеи трудящегося люда приспешников царя, проложить себе дорогу к настоящей свободе... Да здравствует свобода!

Все было неожиданно, даже это — да здравствует! И люди закричали радостно:

— Да здравствует свобода!!!

Закричали мардикеры. Я тоже закричал, громко и весело, но голоса своего не услышал в хоре мардикеров. Им помогали и остальные джизакцы. Двор Хафизбая содрогался от гула, и стекла на веранде звенели.

Двор, я уже говорил, был переполнен. Однако есть ли хурджу, в который нельзя было бы еще втиснуть что-нибудь? С улицы лезли любопытные джизакцы. Мальчишки оседлали деревья.

Едва стихли выкрики, гость снова заговорил:

— Вы знаете, товарищи, а кто не знает, пусть услышит: среди нас находится друг джизакцев Алексей-ака, русский рабочий, железнодорожник. Будем же гостеприимны, братья джизакцы.

Оратор захлопал в ладоши, и все захлопали. С супы поднялся тот самый человек в русской одежде и направился к айвану. Был он невысок ростом, сухощав, с копной светлых волос. Карие глаза глядели весело. Гость на ходу поправил тонкий ремешок, перепоясывавший коричневую рубаху, и ловко, как молодой, вскочил на айван. Как молодой, хотя было ему лет сорок, а то и больше. Вскочил, и я увидел сапоги с заплатой на заднике, но хорошо смазанные гуталином и начищенные до блеска.

Мы хлопали в ладоши, а Алексей-ака кланялся и прикладывал руку к сердцу. Но не улыбался, как обычно улыбаются гости, серьезно смотрел на людей, и лишь глаза доволь-

но и озорно светились. Потом заговорил. Заговорил по-русски.

Слов никто не понимал, но все слушали внимательно. И я слушал, пытаюсь догадаться, о чем говорит гость. Одно слово я понял. Слово — Ленин. Его произнес дядя Джура, когда мы работали на пепелище кузницы.

Гость остановился почему-то и посмотрел на стоящего рядом оратора. Тот кивнул, заговорил по-узбекски. Он переводил речь Алексея-ака. Она оказалась, как мы и предполагали, доброй и сердечной. Русский рабочий знал о наших бедах и сочувствовал джизакцам.

— Братья! — сказал он. — Более несчастных и обездоленных, чем вы, трудно встретить, хотя я и объездил немало городов. За свою смелость и за свою любовь к свободе вы жестоко наказаны, но не сломлены. В вас еще есть силы, и их надо соединить с силами русских и других рабочих. Надо продолжать борьбу за лучшую долю, за свободу. Наш вожьд, наш учитель товарищ Ленин говорит, что, только объединившись, угнегенные смогут одоеть врага и обрести счастье. Сила на нашей стороне, и мы сумеем добиться цели. Вы голодны?

— Голодны!!! — ответили джизакцы.

— Лишены воды?

— Лишены!

— А вода в руках нового правителя Джизака?

— У него!!!

— Возьмем же хлеб и воду, братья! Это наш хлеб, наша вода!

Сад так гудел, что весь город, казалось, присоединил свой голос к нам. Все поднялись и вышли на улицу. Вышли и стали колойной. Впереди оказался человек с красным флагом. Полотно, едва его подняли над головой, заплескалось, овеянное ветром.

Все это было ново и удивительно. Никогда еще Джизак не видел ничего подобного. Красный флаг на улице, и под ним мардикеры, готовые на борьбу.

Внутри у меня все трепетало от волнения и восторга. Что-то великое и тревожное, еще не осознанное юным сердцем, раскрывалось передо мной, оно звало и пугало. Я не знал, способен ли принять это великое и тревожное.

Но когда мардикеры четким шагом двинулись по улице, двинулись к дому правителя, я пошел следом. Пошел за красным флагом...

Книга вторая



ВРЕМЯ
БЕЛЫХ
АИСТОВ

ЕСЛИ СЕРДЦЕ ШИРОКО, ОДНОЙ ИЗЮМИНКОЙ СОРОК ЧЕЛОВЕК НАКОРМИТЬ МОЖНО

— Кто хоть раз насытился хлебом Джизака, вернется сюда даже из Мекки!

Так сказал Джайнак-амаки, переступив порог нашего дома и протягивая руки, чтобы обнять моего отца, да и всех нас, стоявших в удивлении посреди двора.

Почему в удивлении, спросите вы? А потому, что, вернувшись голодными и босыми в свой родной Джизак и застав его разрушенным, мы утратили надежду увидеть снова своих близких. И вот увидели.

Вы спросите еще, откуда взялся дядя Джайнак? Не было у Назиркула такого дяди и слово амаки никак к нежданно-негаданно вошедшему в дом человеку не подходит. Э, ошибаетесь. Дядя Джайнак, верно, ни с какой стороны не приходился мне дядей, но как назовешь пожилого соседа, будучи сам мальчишкой, у которого под носом лишь недавно высохло. Амаки! К тому же дядя Джайнак был не просто соседом. Сосед живет рядом, в одной махалле с тобой, в ближней, наконец, махалле. Джайнак-амаки жил бог весть где, на краю Джизака, а может, и за Джизаком. Не было у него дома. Все отняли у него еще до восстания, с клочка земли согнали, один старый котел оставили. А что делать с котлом, в который нечего класть и который не на что ставить — очаг-то каблуком кованого сапога мингбаши раздавил. Однако взвалил на плечи котел амаки, взял за руку жену и пошел куда глаза глядят. Не в степь, не в горы, не в Самарканд и не в Бухару. Глаза джизакца не глядят за холмы, что окружают родной город. Разве уйдешь с земли предков? Нашлась крыша, приютившая Джайнака. И не одна. Стал он соседом всех джизакцев. Нашим тоже. Вот только с какой стороны, неизвестно. Все потерял амаки. Не потерял лишь веры в жизнь и эту добрую улыбку. Она и сейчас светилась на его лице.

Вместе с дядей Джайнаком вошел во двор медник

Азизхан, внешне ничем не примечательный человек. Узнать трудно. Куда девались его длинные пышные усы? Где оставил огромную чалму, напоминавшую гору белой халвы? Почему забыл обвязаться цветным шелковым бельбагом? А сапоги? Можно ли сменить веселый, отливающий золотом хром на мрачные кавуши с бесчисленными заплатками? Можно, иначе не шагал бы так смело медник Азизхан и не выставлял бы далеко вперед свои длинные ноги, обутое в заплатанные кавуши. От прошлого у медника остался лишь молоток, который он засунул за простой тряпичный поясной платок, и держал на нем широкоу костистую ладонь. Этим молотком Азизхан выводил чеканку на медных чайниках и подносах. Стук его слышался во всей махалле...

И еще вошел во двор Мирбайзи Миразим-оглы, уже вовсе неприметный человек — бесцветный, тощий, тихий. Бесцветный лицом и одеждой. Даже тюбетейка на его голове была неизвестно какого тона — все стерло время и солнце. Но, как говорится, ценность человека не исчисляется стоимостью одежды. Мирбайзи знал грамоту, и не только знал, но и мог применить на деле, о чем красноречиво свидетельствовал карандаш, засунутый кончиком за тюбетейку над правым ухом. Почему над правым? Потому что Мирбайзи, как и все грамотеи на земле, пользовался правой рукой, желая что-то написать на листе бумаги, а правая рука, как известно, легче достает карандаш из-за правого уха, нежели из-за левого. Это проверено всеми, в том числе и мной, когда-то пытавшимся познать грамоту у муллы Миртажанга.

Вот так вошли в наш дом люди из нового мира. Да, нового мира, потому что старый канул в вечность и возврата ему не было. Произошло известное всем Джизакское восстание, свершилась Февральская революция, пронесся сметающий все тяжелое и горестное вихрь Октября. Настало время, когда униженные и обездоленные смогли поднять голову и взять в руки собственную судьбу.

Нелегким было, однако, начало нового мира. Все, что способно задержать, сломить, обезножить, встало на его пути. Вначале голод, потом тиф набросились на людей. Джизакцы не успевали хоронить павших. В поисках хлеба наша семья исходила дороги, ведущие к благодатному Самарканду. Но хлеб в тот год всюду был дорог. Не плодоносила земля, да и сеять было нечего. Верно ведь, сколько ни наклоняй пустой кувшин, вода все равно не вытечет. Последнюю одежонку сняли с себя и выменяли на горсть муки, почти нагими горели в тифозном огне. Еще более голодными и более тощими вернулись домой. Да, верно, насытившийся

когда-то румяной лепешкой у родного очага снова протягивает к нему руки, хотя тот давно потух и уголья разметены ветром.

— Как ни красивы голубые купола Самарканда, — добавил к сказанному Джайнаком-амаки медник Азизхан, — а глаз ищет собственную балахану, пусть она будет крыта хоть серой глиной.

— Так-то вот, — согласился Джайнак-амаки и протянутые им для объятия руки достигли наконец отца и ласково коснулись его спины. — И полный ковров дом без людей пуст, а пустой с людьми — полон. Сыны Джизака дома — это уже большое счастье.

Мой однокашник Мирбайзи, последним вошедший во двор, счел возможным, несмотря на свой юный возраст, вставить несколько слов в разговор почтенных мужей. Это было удивительно — у него и усы еще не пробились.

— Есть ли люди несчастнее джизакцев...

Самое удивительное было то, что почтенные мужи, имеющие не только усы, но и бороды, отозвались на слова безусого Мирбайзи.

— Несчастье джизакцев не в душе, а на плечах. А с плеч не только пыль, но и рваный халат можно смахнуть, — сказал Джайнак-амаки. — Для этого и вошли в этот дом слуги новой власти. А ну, сынок, внеси-ка в список всех, кто здесь живет!

Я не ошибся, узрев великую полезность в нахождении карандаша над правым ухом Мирбайзи. Он ловко извлек его оттуда и, послунявив губами, приготовился писать.

Нехитрая процедура, последовавшая за этим извлечением карандаша из-за уха Мирбайзи, почему-то насторожила меня, может быть, даже напугала. И чтобы не оказаться в числе первых, внесенных в список, я тихо-тихо спрятался за спину отца. Сделать это непросто: спина отца была тощей, а я уже вырос и давно не походил на мальчишку; плечи мои, увы, не заслонялись отцовской спиной.

Меня заметили, и хотя не первым, но все же занесли в список. Этот карандаш, вылезший из-за уха, вывел на бумаге мое святое имя: при рождении я, как известно, был посвящен какому-то сподвижнику пророка и даже носил несколько лет косичку на голове, вызывавшую умиление матушки и насмешки сверстников. Теперь вместе со святым попал в число голодающих джизакцев. Не так уж плохо было попасть в список мечтающих о хлебе. Это, конечно, не лепешка, вынутая из тандыра, но всё же какое-то напоминание о ней. Когда знаешь, что она существует на свете и

предназначена тебе, как-то не слышишь голодного урчания собственного желудка. И все-таки бумага в руках Мирбайзи не случайно настрожила меня. Едва карандаш вывел мое имя, как возникло препятствие. Нет, не связанное с обещанной лепешкой. Мне оказалось почти пятнадцать лет. За бегом в поисках хлеба я не заметил, как пробежали годы. Пятнадцать лет! Юноша. Такой же, как этот Мирбайзи с карандашом за ухом. Подумать только!

За мои пятнадцать лет и ухватился Джайнак-амаки.

— Так-то вот,— произнес он удивленно, будто никто в Джизаке не рос и не достигал моего возраста, одному мне лишь удалось каким-то образом похитить у господ бога полтора десятка лет. Злоумышленником я и предстал перед амаки. — Так-то вот, если тебе пятнадцать лет, пойдешь в школу.

— Пока еще четырнадцать,— уточнил отец и рукой задвинул меня за свою спину. Он всегда был противником учения, дети, говорил он, должны знать не коран, а ремесло.— До пятнадцати Назиркул не дошел.

— Ну, раз дошел до четырнадцати, так дойдет и до пятнадцати,— рассудил дядя Джайнак.— Разве дорога кончилась?

В действительности я уже дошел до пятнадцати — остались какие-то месяцы. Но садиться опять на циновку в мечети и долбить под палкой учителя коран мне никак не хотелось.

— К мулле Сабиру? — спросил я тихо, и голос мой дрогнул. Нет, я еще не плакал, но слеза уже торопилась к горлу и щекотала его.

— Не-ет,— как-то весело и певуче ответил амаки.— Пойдешь в новую школу. Видел большой белый дом, что в начале базара? Там во времена Николая обучали детей баев и мингбаши. Теперь товарищ Ленин дал указ: пусть в этой школе учатся только дети бедняков. И ты должен учиться...

Я посмотрел на папу. Из-за спины его, естественно, я все еще не решался выглянуть.

— В новую школу,— неопределенно произнес отец и тем как бы выдал свое колебание. Красивый белый дом на краю базара тронул его чувства.— Там, где учились дети мингбаши... Кто бы мог подумать... Вай-вай!

Отцу хотелось порассуждать. Он пока еще не думал о собственном сыне, просто удивлялся переменам, произошедшим в Джизаке. Рассуждения, однако, прервала матушка, стоявшая на террасе и внимательно слушавшая Джайнака.

— Пусть учится... Пусть станет домла.

Видеть меня учителем было заветной мечтой матушки. Разве могла она упустить случай пристроить сына в школу — какую-нибудь школу? Сколько раз водила меня матушка к учителям, сколько лепешек испекла, желая умиловать бедняцким подарком неприступного Миртажанга! И вот — сами зовут ее Назиркула в школу. Сами! Можно ли тут раздумывать?

— Пусть! — крикнула она и почему-то расплакалась. Доброе сердце было у моей матушки.

— Да, да, — спохватился отец и вытянул меня из-за своей спины. — Конечно, пусть учится... Ему все равно сейчас делать нечего.

— Значит, пойдешь в школу, — утвердил амаки.

Честно говоря, для себя я еще не решил этого вопроса. Страх перед наказанием все-таки жил во мне и был связан со школой. Последний день у муллы Миртажанга завершился, как известно, крепкой затрещиной, которую мулла отвесил мне за нарушение поста. Ожидали меня еще розги, смоченные в воде для гибкости. Только сообщение об убийстве мингбаши помешало приведению в исполнение приговора Миртажанга. Как видите, нелестное мнение сложилось у меня о школе, и трудно было от него избавиться. А то, что дядя Джайнак назвал школу новой, так ведь это лишь название. Какова она, эта школа, чем она отличается от старой?

Однако все ждали моего ответа, и, главное, ждал амаки, и надо было произнести свое «да» или «нет».

— Пойду!

— Ну и хорошо, — улыбнулся дядя Джайнак. — Новая школа откроет тебе глаза на мир. А мир велик и удивителен! Так ведь, братец Азизхан?

Медник кивнул, соглашаясь, хотя в эту минуту, надо полагать, его не занимали размеры вселенной. Как говорят, если тебе тесны сапоги, что пользы от того, что мир широк. Сапоги не жали Азизхану. Не могли жать по той простой причине, что не было на нем сапог, зато латанные и перелатанные кавуши беспокоили медника. Большой палец правой ноги бесстыже вылезал из кавуши и смотрел на небесную голубизну, а Азизхан в свою очередь смотрел на палец и смущался. Уважаемому человеку и к тому же пожилому человеку — то и другое имело прямое отношение к меднику — не так-то приятно представлять перед людьми в таком виде. Как ни старался Азизхан упрятать палец в кавуш, ему никак это не удавалось. Дырка была намного больше пальца.

Мирбайзи, который что-то писал в своей тетради, тоже

кивнул. Таким образом, все были согласны с тем, что мир велик и удивителен и что узнать об этом можно в новой школе.

— Так-то вот, — заключил дядя Джайнак. — Теперь все от мала до велика внесены в список махалли. Какое бы благо ни сотворила новая власть, оно коснется вас, потому что вы сыны ее. Не обессудьте, если поначалу благо это не окажется великим. На пустом месте — а Джизак теперь пустое место — трудно собрать даже горстку пшеничных зерен. Как бы то ни было, однако каждый день станете получать по ковшику густой ли, жидкой ли горячей пищи.

Мы повеселели от этих слов амаки, посветлели наши лица. Да, да, черное лицо матушки — а дума о куске хлеба кого не сожжет огнем забот — стало вроде бы белее. Ожила матушка. И опять слезы потекли по ее худым морщинистым щекам.

— О слава вам, братец Джайнак! — прошептала она.

Отец скрестил руки на груди и низко поклонился.

— Благодарим...

— Да не меня надо благодарить, — смущенно ответил амаки, — а Советскую власть. От нее все идет.

Отец снова прижал руки к груди и снова поклонился.

— Советскую власть благодарим.

Джайнак-амаки как-то недоуменно посмотрел на отца, словно поступок его был непонятен ему. Он даже нахмурился.

— Э-э, а что такое Советская власть, вы хоть знаете?

Вопрос был простым, совсем простым. Что объяснить, и так понятно. А вот встрепенувшись, чтобы легко ответить, отец тут же стушевался. Не оказалось у него слов, что ли, или, напротив, их было слишком много, и он второпях не мог собрать и расставить их по порядку. Он поскреб под тибетейкой затылок, желая, наверное, помочь делу (говорят же, что мысли у нас в затылке) и сказал:

— Знаю... От племянника слышал, Джуры-кузнеца.

— Это уже большое дело, — весело отозвался амаки, в глазах его вспыхнул знакомый мне с детства смешливый огонек. — Что же говорил ваш племянник?

Джайнак-амаки, намереваясь услышать что-то любопытное, прошел к земляной супе и уселся на краешек, застеленный старым паласом. Таким старым, что и назвать его паласом уже нельзя было, как нельзя было назвать кавушами латаные и перелатанные галоши медника Азизхана. Впрочем, в кавушах медника еще можно было ходить, хотя из них и вылезал большой палец, а наш палас уже ни на что не го-

дился. Если бы кто вздумал заслониться им от дождя, то все дождевики оказались бы у него на голове, а взгляни на ясное небо, то сочтешь все звезды, горящие над Джизаком. Но кому в Джизаке считать звезды, да еще на голодный желудок! Поэтому палас лежал, как ему и полагалось, на супе, и травинки, выраставшие из нее, пробивались сквозь его основу на свет божий. И все же мы любили свой старый палас, он напоминал нам о существовании в мире настоящих ковров, на которых люди сидят и пьют чай. Так вот, на старый палас наш опустился Джайнак-амаки, а потом медник Азизхан. Безусый Мирбайзи тоже собирался опуститься, но в самую последнюю минуту передумал. То ли побоялся нарушить этикет, то ли не испытывал желания коснуться голый земли — палас-то был дырявый. В почтительной позе Мирбайзи зыгнул перед супой и, заложив карандаш за ухо, приготовился слушать, о чем будут толковать старшие.

— Так что же сказал вам племянник? — повторил дядя Джайнак, и лукавые огоньки еще ярче загорелись в его глазах.

— Сказал, что Советская власть делает всех равными и что главный в Советской власти — Ленин.

Амаки должен был поразиться такой осведомленности моего отца и похвалить его: не всякий человек в Джизаке мог произнести подобное, лично я впервые услышал такое и был горд за отца, да и сам отец испытывал удовольствие. Голова его была высоко поднята.

А Джайнак-амаки не поразился. Как сидел на супе, так и продолжал сидеть, и смотрел, улыбаясь, будто ничего особенного не произошло.

Тогда отец добавил:

— И еще сказал мой племянник, что Ленин — хороший человек.

— Э-э,— пропел как-то неопределенно Джайнак-амаки.— Знать половину — это лучше, чем знать четверть или совсем ничего не знать. Спасибо и за это вашему племяннику... Однако кого в мире много, так это хороших людей, но Лениным они не смогут стать. Ленин стал Лениным потому, что собрал обездоленных и повел их на борьбу за свободу и счастье против богатеев и тиранов.

— Значит, сердце его полно жалости к бедным? — уразумел суть отец.

— Надо думать,— согласился дядя Джайнак.— Кто их, этих бедных, не жалел. Но милостыней не будешь счастлив. Из чужих рук хлеб горек. Ленин поднял обездоленных, что-

бы они добыли счастье своими руками, и научил, как это сделать. Теперь делаем...

— Да,— коротко подтвердил медник Азизхан.

Отец понимающе закивал головой, он был у нас быстр на мысль; дело, правда, всегда отставало, но тут уж ничего не изменишь. Таким, говорила матушка, создал его бог.

— Вы сказали, братец Джайнак, что лучше знать половину, чем четверть или совсем ничего не знать. Теперь я знаю целое. За это благодарность. Нам бы тоже хотелось быть причастными к делу, приносящему счастье.

— Как говорится, желание — половина богатства, — одобрил намерение отца дядя Джайнак.— Не оставляйте своего желания только зернышком пшеничным, пусть оно даст всходы. Революция совершилась, а борьба еще идет, и враги наши пытаются подняться и взять нас за горло.

При этих словах амаки лицо отца стало строгим. По натуре своей он был человеком смирным, даже робким. Когда на улице слышался шум, он затворял калитку, а в пазы ворот опускал засов. Звать его на борьбу — это все равно, что пытаться без дров разжечь тандыр. Он был полной противоположностью моей матери, решительной и смелой. Не знаю, дожили бы мы до этого дня, не будь с нами матушки. Просыпаясь утром, я искал глазами маму, и если она оказывалась на ногах, спокойно принимал день грядущий — будем сыты, будем живы. Так, наверное, встречал утро и отец. И вот теперь он услышал о борьбе. Первым желанием его, наверное, было поскорее затворить калитку, отгородиться от событий. Но разве отгородиться, если события вместе с дядей Джайнаком и медником Азизханом уже вошли в дом? Во всем облике амаки были тревожность и взволнованность. Он был именно таким, как и в предгрозовые дни шестнадцатого года, когда шел во главе толпы к мечети.

Худее, правда, стал Джайнак, чернее стали пронзительные глаза его, и огонь в них горел ярче. Вот улыбка, добрая, согревающая, осталась прежней. Прежней была и одежда, будто время не трепало ее, не истончало. На голове та же высокая голубая чалма. Голубоватая, вернее сказать, цвет только угадывался в складках; солнце хорошо потрудились, стараясь выбелить ткань и тем приблизить Джайнака к служителям культа, но до конца дело не довело. Амаки любил голубой цвет. Бельбаг у него тоже был голубым. Когда-то, конечно. Сейчас лишь тень. Странно, что вообще сохранился поясной платок, ведь прошло столько времени! А может, это другой бельбаг? Способен человек иметь два бельбага.

Первый бросил — второй надел. Только почему платок так замахрился и отоцал — узкая полоска всего лишь. Она с трудом держит тыквенную табакерку, засунутую между бельбагом и стареньким чапаном, кажется, ткань вот-вот расплывется и выпустит табакерку, и та со стуком упадет на землю, рассыпая зеленый насвай.

— Так-то вот, — продолжал Джайнак, не обращая внимания на перемену, произошедшую в настроении отца. — Революция в один день не делается, брат мой Сафар. Это мы с вами, подняв дубинки над головой мингбаши, думали, что стоит лишь опустить их на проклятого Мирзаяра, и жизнь переменится. А Мирзаяр — не один, как не один и белый полковник Рукин. Надо разрушить весь старый мир. Это и объяснил беднякам Ленин. И настоящая революция началась с объединения обездоленных и большой войны с царем и богатеями.

— Царя Николая стукнули, — сказал не щедрый на слова медник и кулаком показал, как это сделали. Кулак у Азизхана был большой и жилистый и упал он на колено, будто молот. Окажись на месте колена голова того самого царя, не уцелеть бы ей. Я думаю, и колено от удара заныло. — Стукнули... Богатеев тоже...

Медник снова поднял кулак

— Не всех, — добавил к сказанному медником Джайнак. — Врагов революции еще много. Хайдарбек говорит, они ходят, как почтенные люди, заложив руки за спину, а в руках у них нож.

— Прозорливый человек Хайдарбек-ака, — согласился отец. Он не знал, кто такой Хайдарбек, так я думаю, но обнаружить свое невежество не хотел. Самолюбие не позволяло.

— Еще бы! Председатель ревкома должен видеть лучше всех. Ему доверена судьба джизакцев. Известно ведь, сотню чабанов возглавляет лишь один, но достойный. Хайдарбек все знает. Ленина видел и говорил с ним. Верю я этому человеку. Тридцать лет искал Джайнак счастья, а путь к нему никто не мог указать. Кого только ни спрашивал, перед кем ни открывал уши! Одни говорили терпи, другие — надейся, третьи — проси бога. Поступай, как учили святые, советовали улемы и домля.

— Пропади эти ничтожные улемы! — приговорил божьих слуг Азизхан. Он все решал просто и сурово.

— Да, да, — поддержал медника отец. Ему тоже не нравились улемы. — Я хорошо знаю это продажное племя. Мирза Хашим просветил меня.

Дядя Джайнак повернулся к отцу и посмотрел на него с усмешкой:

— Это тоже ваш племянник?

— Нет, нет. Это Хашим-урус.

— Непонятное имя.

— Он учился в русско-туземной школе и погому получил прозвище Хашим-урус.

— Вот ведь, — покачал головой медник. — А я все удивлялся, что это его так странно зовут.

— Мирза Хашим ругает улемов и хвалит дела русских, — продолжал отец, видя интерес гостей к своим словам. — Говорит, огненную арбу кто выдумал? Урус. Ружье без фитиля кто выдумал? Урус. А кто додумался, чтобы слова за сто верст летели по проводу? Опять же урус.

Дядя Джанак рассмеялся.

— У вашего Мирзы Хашима есть голова. Он хорошо ею пользуется. Верно ведь, русские все это принесли нам. Что же еще говорил Мирза Хашим?

— Он спросил меня: «А что сотворили улемы? Кто видел их чудо?»

— Ха! Есть у этого Мирзы Хашима голова. Есть... Что же вы ответили?

— Я говорю, улемы учат нас познавать бога. Указывают путь к святости. Мирза Хашим замахал на меня руками: «Бог познается разумом, а путь улемов грешный. Недаром говорит народ: «Делай то, чему учит мулла, но не делай то, что делает он сам!» Верно ведь. Женятся божьи слуги на десятилетних, имеют по четыре жены. Не подлость ли это?

— Пропади они пропадом, ваши улемы! — повторил медник.

— Отчего «мой»? — без обиды отстранил от себя родство с улемами отец. — По мне их хоть век не будь. Готовы стянуть с человека последнее. Стыда нет.

— Только ли стыда? — покачал сокрушенно головой дядя Джайнак. — Если по пальцам считать, чего нет у улемов, придется и кавуши с ног снять.

— Да еще к соседу за тремя пальцами сходить, — хмуро добавил медник.

— Считали, значиг, уже? — полюбопытствовал Джайнак. — Грешны улемы.

Отец, поняв шутку, засмеялся, но смех у него получился беззвучный, от слабости, что ли, или от застенчивости.

— Уж чего-чего, а грехов у улемов, как волос у ишака.

Так обернулся разговор про улемов. Не любили этих святош в Джизаке, да и где их любили? Алчность, блудли-

вость и жестокость божьих слуг была известна всем, даже нам, детям. А может, детям больше, чем взрослым. От меня требовал приношений мулла Миртажанг, на моих глазах сек розгами и подвешивал за ноги к потолку мальчишек, мне драл уши и отпускал затрешины. Костлявыми, трясущимися от вожделения руками ловил пятаки и гривенники, брошенные сынками богатеев, целовал, прикладывал их ко лбу, пел своим козлиным голоском молитвы во славу толстосумов. О, это был лицемерный скорпион! За что же любить слуг всевышнего? Их ненавидели. Ненавидели, но боялись. Что стоило приближенным творца, пользуясь его доверием, выклянуть у него наказание для усомнившихся в справедливости неба. Теперь потеряли страх. Дядя Джайнак и раньше-то не испытывал робости. Помню, как он однажды заставил меня и моего друга Адыла искать на небе ангелов. Шел снег, и тетушка Адолят сказала, будто снег слетает с плеч ангелов, ведущих хоровод под облаками. Не увидели мы, конечно, ни одного белокрылого, и по этому случаю дядя Джайнак весело изрек: «И не увидите. Разве можно увидеть то, чего нет?..»

Сейчас смеялись все, в том числе и мой не особенно храбрый отец. Даже я, хоть и не положено было мне по возрасту выражать свое отношение к словам взрослых, хихикнул. Один Мирбайзи никак не принял шутку, сделал вид, что не слышал ничего. Или не понял. Сравнение греховности улемов с волосами осла его покорило. Мирбайзи был ревностным учеником муллы Миртажанга.

— Так-то вот, — поднялся с супы дядя Джайнак. — Врагов у нас много.

Он причислил духовных пастырей к врагам голодных джизакцев. Или я ослышался. Такого еще никто не говорил. Есть отчего заробеть. Я перестал улыбаться, отец — тоже. Мирбайзи испуганно поднял руку, чтобы поправить карандаш: тот, кажется, собирался вылететь из-за большого уха.

— Пойдемте, братец Азизхан! — позвал дядя Джайнак медника. — Казаны в Каландархане, видно, уже поставили. Чем-то надо наполнить их... — Он досадливо почесал своей загорелой пятерней затылок. — Всевышний не бросит в них ни риса, ни джугары.

Медник согласно закивал головой и тоже поднялся с супы.

— Это было бы чудо, братец Джайнак. А где оно? Я не видел его в горне, плавя медь. Вы видели у себя в поле?

— Так-то вот, — усмехнулся дядя. — Коли нет чуда небесного, будем искать земное.

Он повернулся к нам, поклонился, приложив руки к груди.

— Утром, как только взойдет солнце, идите в Каландархану. Густым ли, жидким ли наполним каждую касу.

И направился к калитке. И тут мы увидели, что на одну ногу дядя Джайнак припадает, и сильно припадает. Почему-то сразу я этого не заметил, а сейчас, провожая гостя, даже почувствовал его хромоту, боль чужую почувствовал. А ведь и прежде Джайнак хромал. Забыл я об этом...

Ночь я почти не спал. К голодному сон идет издалека и никак, никак не приблизится. Вот если бы у меня в желудке была большая лепешка или хотя бы маленькая, даже совсем маленькая, ну в ладошку, а то и с пол-ладошки, сон бы поторопился. Прежде, давно-давно, по вечерам в четверг, когда мы ели плов или шурпу с бараниной и остатки сала снимали ломтиками хлеба и отправляли в рот, хотелось спать уже за сандалом. Не заметишь, как веки соединятся, будто их слепили медом, и проваливаешься в какую-то сладкую пустоту. Однажды я так вот уснул и опрокинул стоявший на углях чайник, и ожег ноги. Больно было. Но это только раз. А засыпал-то я каждый вечер. Вместе с солнцем почти. Оно — за тополя, я — на курпачу.

А голодному не спится. В эту ночь мне не спалось, может быть, потому, что я боялся пропустить миг, который назначил дядя Джайнак: «Как только взойдет солнце...» Кто знал, когда оно взойдет. Ведь не предупреждает солнце о своем появлении, не трогает рукой моего плеча, не шепчет, как матушка: «Назиркул, сыночек, вставай! Пора уже...» Как же я узнаю о восходе? Я не узнаю о восходе, значит, не поспею в Каландархану на раздачу того самого жидкого или густого, что варится в больших казанах. Давно не попадало мне в рот это жидкое или густое, пахнущее пшеницей или джугарой. И еще саюм. Вдруг чудо совершилось, и в котел попал кусок бараньего сала!

И все же сон пришел. Издалека, не торопясь, но пришел и заколдовал меня перед самым рассветом. Назначенный дядей Джайнаком миг я пропустил. Когда глаза мои открылись, яркие лучи солнца уже проникли через дымоход в комнату и упали на мое лицо.

Я все сразу понял и едва не заплакал от досады. Народ уже в Каландархане! Коварный колдун отнял у меня то самое жидкое или густое. Я оглянулся. Отца в комнате не

было. Остальные спали — и мама, и сестры, и братья. Значит, еще не поздно.

Осторожно на цыпочках я вышел из комнаты и направился к калитке. Скоба со створки была скинута, и мне ничего не стоило приоткрыть калитку и через узкий просвет глянуть на улицу. Там было тихо и безлюдно. Никто, кажется, не собирался в Каландархану. А сама Каландархана, почти скрытая от меня двумя рядами шелковицы, казалась спящей. Или казаны с жидким или густым уже опустели, или их еще не ставили на огонь.

Не думая ни о ком, а только о самом себе и своем пустом желудке, я вышел из калитки и, шлепая босыми ногами по холодной пыли, направился к Каландархане.

Я уже рассказывал об этой достопримечательности нашего города. Странствующие монахи устроили на берегу хауза себе пристанище и время от времени появлялись здесь пестрой шумной толпой. Для нас, детей, да и для взрослых, шествие каландаров было всегда событием. Монахи приплясывали, лохмотья развеивались на ветру, воздух сотрясаясь от гула голосов. Каждый монах был чем-то примечателен — то одеждой, то лицом, то ужимками, и мы во все глаза глядели на удивительных, непочтанных, казавшихся дикими людей. Нас влекло к ним и в то же время отталкивало. Рядом с ними было интересно и страшно. Пастырь каландаров — ишан — жил в Каландархане постоянно и считался почти что святым. Его опасались, ему издали кланялись и уступали почтительно дорогу.

Шагая по улице, я, конечно, не думал о каландарах. После нашего возвращения в Джизак мне не приходилось встречать странствующих монахов, и никто не встречал их в нашем городе. Они жили подаянием, а кто, будучи голодным, способен протянуть хлеб бездельнику монаху? Я думал о казанах, которые кипели в Каландархане. Занятый этими мыслями, вернее, одной мыслью насчет густого и жидкого, я не заметил мальчика, так же, как и я, торопящегося к Каландархане. Хорошо сказано, «торопящегося». Ноги мои действительно несли меня подобно скакуну, почувшему запах свежего клевера, а мальчик шел, едва переступая ногами. Впрочем, все это я заметил позже, когда обогнал спутника и тот окликнул меня: «Назиркул!»

Я оглянулся, потому что голос показался мне знакомым и потому что к имени моему мальчик добавил слово, трогающее душу: «джураджан — дружок».

Это был Адыл. Как же я не узнал его сразу?

Мы обнялись. То есть я обнял его. И удержал. Адыл

едва не упал от моего прикосновения. Он мог бы упасть и от прикосновения ветерка, так худ и слаб был. Рука его, оказавшаяся в моей ладони, походила на тонкую сухую камышинку.

— Адыл!

Он был рад встрече. Но радость друга показалась мне печальной. Адыл припал к моему плечу и заплакал.

— Мама моя... умерла.

Вот несчастье из несчастий. Мои глаза тоже наполнились слезами. Жаль тетушку Муслиму, и самого Адыла жаль.

Вытирая ладонью мокрое лицо и горестно вздыхая, друг мой поведал о бедах, вошедших в их дом. Верно говорят: беда одна не является. Прежде потерялся отец и старший брат Адыла Сали. Они ушли в Худжаиджахон, чтобы добыть хлеба, и не вернулись. Тетушка Муслима, ожидая мужа и сына, выскребла все, что было съестного в сундуках и ящиках, перетрясла все мешки, наконец перетерла в муку траву, что росла во дворе. Но травой, как известно, человек не насыщается, у него только пухнет живот. Живот у Адыла пух, а тело тошало. О матушке и говорить не приходится, она, отдавая все сыну, обрекла себя на голодную смерть. Смерть пришла неожиданно. Для Адыла неожиданно. Тетушка Муслима знала, что расстается с миром, и все молилась, просила бога сберечь дитя. Ну, бог, видно, услышал мольбу бедной женщины, взял ее к себе на небеса, а Адыла оставил на земле. Оставил, а хлеба не дал. Должно быть, и мальчишку собирался пригласить в свои голубые покои. Подросел дядя Джайнак, зачислил Адыла на ревкомовское питание. Сказал: «Надо бы слабым привезти пищу домой, да не на чем. Казан — не корзина с лепешками, на голову не поставишь. Тут уж собери силенки, дойди до казанов сам».

Вот и собрал силы Адыл, только мало их оказалось, на половину пути лишь хватило.

— Пойдем вместе, — сказал я. — Держись за меня.

Пошли.

Это сказано только — «пошли». Кто видел скачущего на одной ноге воробья, знает, что недалеко он ускачет. После каждого скачка переворачивается. Так и мы с Адылом. Хоть и были у нас обеих ноги, да получалось, что всего две на двоих, по одной на каждого. Дружок едва передвигался, и то с моей помощью. Надо бы понести Адыла, да у самого сил нет: я тоже больше питаюсь травой, чем хлебом. Вот ведь невезение. Казаны кипят, может, огкипели уже, лететь надо, а мы стоим.

— Иди,— шепчет мне Адыл и кусает от досады губы.—

Иди, а то и тебе не достанется.

Как уйти от товарища? Как бросить его? Ему жидкое или густое важнее, чем мне. Не проживет без него. Грусть в глазах Адыла такая, что сердце мое сжимается.

— Всем достанется,— отвечаю я уверенно — Ни один рот не обнесут. Кто записан в тетрадь Мирбайзи, будет сыт. Вот отдохнем и пойдем дальше.

Говорю уверенно, а сам уверенности не испытываю. Улицу уже заполнили люди с мисками и ведрами в руках. Они спешат к Каландархане. Обгоняя нас, они оглядываются и смотрят недоуменно, почему мы отдыхаем. Никому и в голову не приходит, что ноги не подчиняются нам.

— Иди! — повторяет Адыл.

Я сержусь.

— И ты пойдешь. А ну-ка!

И тяну его изо всех сил.

— О мама... мамочка... — всхлипывает Адыл.

Но идет.

Мою долю возьмет отец, не пропадет жидкое ли, густое ли, а долю Адыла получить некому. Выкрикнут фамилию, смешную фамилию: сын Салима Хураза, то есть Салима Петуха (вспыльчивый и задиристый, как петух, был в молодости отец Адыла, вот прозвище и пошло по Джизаку), а никто не отзовется. И ковшик, предназначенный бедному другу моему, выплеснут обратно в казан. Только от одной такой мысли становится мутрно.

— Скорее, скорее, Джураджан!

Со стороны мечети Ниджонлик показались двое мужчин в халатах и чалмах. Один высокий, длиннолицый, с обвислыми усами, другой пониже, покруглее и без усов. Это Саиднасим и Шакир-суфи, всем известные в махалле люди. Известные тем, что постоянно спорят и никак не могут отыскать истину. Вот и сейчас, едва занялось утро, а они уже взбудоражили махаллу своими громкими голосами.

— Бог справедлив: кто мусульманин душой и телом, тому лепешка, кто только телом — тому пол-лепешки, а кто вовсе не мусульманин, тому уголек из тандыра, — проскрипел, как арбяное колесо в жару, Шакир-суфи.

— Выходит, в Джизаке нет ни одного мусульманина?

— Э-э, почему же?..

— Да потому, что все едят угли вместо лепешек, — развел руками Саиднасим. — Да и уголь скоро кончится.

— Это безбожники. Они наказаны. А те, кто верует...

Саиднасим засмеялся и сразу же стал кашлять. Он всег-

да кашлял, когда громко говорил или смеялся. Что-то обрывалось у него внутри.

— Вы-то мусульманин только телом... Живот у вас не большой.

Шакир-суфи схватился за живот, будто хотел уберечь его.

— Не богохульствуйте, уважаемый! Моя душа...

— Души вашей не видно. Мусульманин душой и телом получает, как вы изволили сказать, целую лепешку. Где она? Только у ишана лепешка. Его живот что канар риса.

— Не богохульствуйте! — взвизгнул Шакир-суфи. — Ишан — слуга пророка. Он благословлен самим аллахом, и, оскверняя его имя, вы совершаете грех.

В это время за мечетью послышался шум, и такой громкий, что голоса спорящих мгновенно утонули в нем, как гонет в вое ветра стрекот сороки. Но это был не ветер. Гудела толпа. Люди что-то кричали, следуя за арбой, выкатившейся из двора ишана. Просто бы выкатилась, так никто не обратил бы внимания. Арба и арба, бог с ней! А тут окружили кольцом и руки положили на арбу, будто хотели сбересть. И было что беречь. На арбе высились мешки с зерном. Огромные мешки, это когда во всем Джизаке невозможно было сыскать и одного зернышка.

И тут сказал высокий с седой бородкой клинышком Саиднасим. Это был не стрекот сороки, его нельзя было заглушить.

— Вот везут пшеницу ишана. Что же пророк не защитит своего слугу?

— Оббо! — прокричал Шакир-суфи, и лицо его передернулось от гнева. — Глаза бы мои не видели этого святотатства.

— Зачем же закрывать глаза, уважаемый? — усмехнулся Саиднасим. — Преградите путь народу, остановите голодных!

— Ишан Бабахан Саидзада — попомок святых. Белая кость. Кто возьмет хоть горсть его зерна, станет проклятым.

— Не мне, им скажите, — продолжал насмеяться над суфи Саиднасим. — Может быть, они не знают, что ишан потомок святых, остановятся. Или повернут арбу назад, во двор Бабахана.

Впереди арбы шел дядя Джайнак. Шел, высоко подняв голову и твердо ставя ноги. Твердо, а ведь одна нога у него была больна. Давно больна, еще с юных лет. Он не чувствовал немощи, забыл, что калека. Когда добываешь хлеб для голодных, становишься сильным.

За первой арбой из ворот ишана выкатилась вторая.

Я сказал, что впереди арбы шел Джайнак. Верно, шел. Но на несколько шагов его опережал Бурича — низенький, кругленький старичок. Он бежал, нет, катился и кричал:

— Закрома ишана отыскали!

— Отыскали закрома!

— Есть пшеница и ячмень!

— Хлеб есть!

Я вспомнил холостяцкие вечеринки гап-гаштаки и веселого Буричу. Когда Барака Назар напевал свою забавную песенку «Блоха моя драгоценная», Бурича, кривляясь, избражал блоху, и все надрывались от смеха. Он был, как и сейчас, маленький, кругленький, вот только без бороды. Говорят ведь, маленькому коню бог пышную гриву дает. Так и с Буричой получилось. Подарила ему судьба бороду. И какую! До пояса. Вся краса его в этой бороде. Ничего больше нет примечательного. Вот, правда, еще глаза. Маленькие, острые, живые. Они сверкают на волосатом лице Буричи, как две росинки на мшистой земле. Удивительные глаза: они смеются. Смеются в самую неподходящую для этого минуту, как вот сейчас, например, когда голодные джизакцы отбирают хлеб у ишана, и все возбуждены и встревожены. А Бурича смеется; то есть глаза его смеются. Да, веселый старичок. Хотя какой Бурича старичок? Он ровесник моего старшего брата. Лишь из-за бороды и морщинистого лица прозвали его бобо — дедушка. А поседел он во время восстания. Многие поседели в те дни. От горя или от страха.

Белая длинная борода Буричи металась во все стороны, когда он бежал впереди дяди Джайнака и кричал:

— Хлеб ишана!

— Пшеница и ячмень из его закровов!

— Сто канаров зерна!

Арбы скрипели звонко под тяжестью пшеницы, словно подтверждали правоту слов Буричи.

— Вот, вот,— покачал осуждающе головой Шакир-суфи.— Не ваш хлеб, а ишана. И тот, кто подстрекает людей к грабежу слуг пророка, тот дьявол. Конец света наступает. О правоверные, остановитесь!

Саиднасим в сердцах плюнул.

— Не конец света, а конец ишана. И поделом ему, пусть лопнет его толстое брюхо!

— О, и вы хотите быть прокаженным?! — взвизгнул Шакир-суфи.

— Я хочу быть сытым,— ответил Саиднасим и решительно зашагал к арбам.

Только какую-то минуту Шакир-суфи пребывал в одиночестве. В следующую минуту его окружили ротозеи, которым даже голодный желудок не мешает быть любопытными. Впрочем, никто не знал, пуст или полон их желудок. Ту самую половину лепешки, что имел суфи, надо полагать, имели и они. А те, кто ест из одного котла, хорошо понимают друг друга. Ротозеи поняли Шакира-суфи.

— Ваша правда, уважаемый. Раздавая руками — и птицу не накормишь, — сказал один.

— Лишь неверный способен причинить боль духовному пастырю, — добавил второй.

— Гнев аллаха падет на голову безбожника Джайнака, — заключил третий.

Так сказали любопытные, и слова их пришлось по душе Шакиру-суфи.

Но что слова! Ими не заслонишь ишана от беды. И Шакир-суфи стал призывать джизакцев к действию. Он крикнул:

— Преградите путь безбожникам!

— Верните зерно Бабахану!

— Поверните арбы!

Выкрикнул все это своим скрипучим голосом суфи, но арбы не повернулись. Никто не преградил путь безбожникам. Никто не собирался возвращать зерно Бабахану. Туго набитое в большие мешки, оно уплыло от ворот ишана. Арбы, окруженные толпой голодных, упрямо двигались в сторону Каландарханы.

Мы с Адылом пошли следом.

Попасть в Каландархану было не так-то просто. Люди сгрудились у входа, образовав заслон, который нельзя было никак пробить. Вот только когда появились арбы, груженные зерном, народ расступился.

— Хлеб! Хлеб! — закричали и заплакали женщины.

Вместе с арбами в Каландархану вошли и мы. Адыл совсем потерял силы, и я втянул его в ворота за руку.

— Оставь меня! — просил бедняжка Адыл. — Дай отдохнуть...

— У казанов отдохнешь, — отвечал я.

У казанов, правда, отдых не предусматривался. Они были окружены плотной стеной человеческих тел, и я лишь догадался, что за стеной этой варится атала. Где еще могли находиться котлы?

Мы отыскивали свободное дерево — все деревья и стены Каландарханы были облеплены людьми, искавшими опо-

ры,— и прислонились к нему. Тонкие ноги Адыла, однако, не держали его, и он опустился на землю.

— Э-э,— запротестовал я.— Земля-то холодная!

— Пусть,— обреченно ответил Адыл. Глаза его закрылись, и он впал в какую-то бессильную дремоту.

С появлением продовольственной комиссии, доставившей зерно, Каландархана ожила. Люди задвигались, зашумели. Поднялись стук и звон. Чашки, миски, ведра, все, что прихватили с собой джизакцы, заговорило на своем глиняном и железном языке. Все требовало аталы.

Вы знаете, что такое атала? Лучше бы вам не знать той аталы. Я вспоминаю клейкую жижу, приготовленную из воды и поджаренной муки, с содроганием. Конечно, если аталу делать по правилам, на молоке или масле, с подрумяненным луком, то можно и пальчики проглотить. Но о каких правилах говорить, когда ни молока, ни масла, ни самой муки нет, а та мука, что добыта с великим трудом, делится на части, пока эти части не становятся едва видимыми, и когда из таких частей попадает в казан. Это атала голодного года.

Вспоминать о ней можно, конечно, с содроганием, но грех быть неблагодарным атале. Она спасла народ от голодной смерти. Низкий поклон поэтому глубокому ковшику, который разливал густое ли, жидкое ли по пиалам и мискам джизакцев.

Тогда, сидя на земле под шелковицей, Адыл сказал:

— Если бы разрешили люди, я один выпил бы полный казан.

Сказал он это, отдохнув и придя в себя после трудной дороги от дома до Каландарханы. Хотя какая это грудная дорога? Прежде мы пробегали улицу, не передохнув. Пока перепел прокричит свое пит-пиль-дык, мы пролетаем от своих каалиток до мечети Ниджонлук. Вот как было. Сейчас дорога отняла у нас все силы, а друга моего повалила наземь. И он не очнулся бы так быстро, не разлейся по Каландархане аромат кипящей аталы. Аромат поднялся над казанами и потек по саду, и был таким аппетитным, что пробудил дремавшего Адыла. Я думаю, он мог пробудить даже мертвого, если тот успел попасть на небеса и дух аталы достиг голубого царства. А как же иначе, ведь пар из котлов всегда поднимается в небо. Это я сам видел.

— Лопнет же твой живот,— ответил я, хотя в душе завидовал фантазии Адыла. Действительно, неплохо было бы припасть губами к казану и пить, пить аталу.

— Пусть лопнет, зато наемся досыта. Иди, скажи, Адыл беретя одолеть казан.

Он не шутил, мой бедный Адыл. Глаза его горели таким голодным огнем, такой решимостью, что он, пожалуй, нырнул бы в котел с аталой, чтобы насытиться наконец.

— Ладно,— сказал я, несколько смущенный.— Каждый захочет выпить казан. Казанов всего два, а людей — тысяча.

Это убедило моего друга, а может, и не убедило. Просто он понял, что никто не даст ему казан аталы, так как голодные люди мечтают всего лишь о черпаке жидкого или густого. Однако он по-прежнему смотрел голодными глазами на котел и глотал слюну. И губы его дрожали.

Я решил отвлечь Адыла. Показал пальцем на супу и спросил:

— Кто этот человек с красной повязкой на рукаве?

Уловка моя удалась. Адыл оставил в покое казаны и повернулся к возвышению в конце двора.

— Дядя Джайнак Разве не помнишь?

— Какой Джайнак? — сделал я вид, будто первый раз слышу это имя.

— Забыл! Мы зимой, еще до изгнания в степь, ходили к нему за семенами дыни.

— А? Он дал тебе «бурикалла» — «волчью голову»... Помню, помню. Жена его все сердилась, что не верит дядя Джайнак в ангелов, а потом угощала нас жареной кукурузой. Убили ее солдаты...

— Да нет же... — поднял испуганно руку Адыл, словно я пытался упомянуть о чем-то запретном, вызывающем боль. Он вспомнил маму свою.

Назад, однако, сказанного не вернешь. Мне пришлось лишь пожалеть о некстати выскользнувшем слове и при- молкнуть.

Тут на супу поднялся дядя Джайнак.

— Братья! Сестры! — крикнул он. Только криком можно было перекрыть гул, стоявший в Каландархане.

Не сразу стихли голоса людей, не все поняли, чего от них хотят, не все увидели на супе человека с красной повязкой.

— Братья! Сестры! — повторил дядя Джайнак, когда установилась наконец тишина. — Каждому дан язык, но надо ли заставлять его трудиться без усталости? Пусть отдохнет, а уши поработают... Слушайте, дорогие! В этих котлах атала. Ваша агала. Но чтобы каждый мог утолить голод и получить то, что ему предназначено, пусть наберется терпения. Разом все рты не наполнишь. По очереди. Соблюдай порядок, мы быстро управимся с трудным делом. Станьте же один за другим, и пусть тот, кто окажется дальше от котла,

не тревожится, не мучает свое сердце страхом. Записанный в тетрадь Мирбайзи Миразим-оглы — хозяин этих котлов. У него ключ от сундука с хлебом. Но, нарушая порядок, бегая от котла к котлу, он может потерять свой ключ, а значит, и черпак жидкого или густого. А потерянный ключ, как вы знаете, братья, найти нелегко. Так будьте благоразумны. Берегите ключ от аталы. Она приготовлена из зерен, собранных на бедной, бесплодной, разоренной земле Джизака. Вы поняли, братья?

— Поняли! — отозвалась толпа.

— Не надо повторять тому, кто плохо слышит?

— Не надо.

— Так берегите ключи, дорогие!

Пока говорил дядя Джайнак, все понимали его, все соглашались с ним, но едва он кончил и сошел с супы, как люди снова загудели, задвигались.

— Я за той тубетейкой.

— Эта чалма за мной...

— Где халат с прорехой на спине?

— Откуда взялся зеленый чапан?

Так говорили люди, отыскивая свое место в очереди. На список, составленный Мирбайзи, никто не надеялся. Бумага бумагой, а собственные глаза надежнее, они не подведут. Мы с Адылом сели — всем было велено сесть — за какой-то женщиной с большой деревянной миской на коленях. Место не то, чтобы близкое к казану, но и не далекое. Во всяком случае, если идти от ворот, то нельзя миновать нас. Мой отец оказался совсем рядом с котлом, шагах в трех. Это уже почти рай!

Атала пахла чудесно. Я уловил даже горечь лука, поджаренного на кунжутном масле. Наслаждаться бы мне ароматом аталы, мечтать о мгновении, когда она из котла попадет в черпак, а из черпака, обжигая мои пальцы, переселится в чашку и затем в желудок — мой желудок! О, как он разговаривает, какие слова произносит, какие выводит рулады! Не всякая крылатая певунья сравнится с ним. С кем вот только разговаривает? Если со мной, то напрасно, потому что я этого языка не понимаю и песен его не люблю. Если с чашкой, то она покуда пуста и безмолвна. К тому же она глупа, как все чашки, сделанные из тыквенной коры, и ничего, абсолютно ничего ответить не может.

Так вот, мне бы наслаждаться ароматом аталы, мечтать о том мгновении, когда она из котла попадет в мой словоохотливый желудок, а я стал раздумывать над вещами, не связанными с предстоящим удовольствием. Даже наоборот,

исключающими его. Я увидел Хакимджана, мальчик, из нашей махаллы, и его двух братьев, стоявших у ворот. Они, словно потерянные, жались к стене, не зная, как уцелеть в этом гудящем людском море. Малыши плакали, а Хакимджан утешал их.

— Позвать бы Хакимджана, — сказал я Адылу. — Ведь останется без аталы.

— Люди не разрешат.

— Я попрошу.

— Ты слышал, что говорил Джайнак-амаки: нарушивший порядок теряет право на пищу.

Слышал, конечно, но помочь малышам все же надо. Я встал, привел Хакимджана и его братьев и усадил впереди себя.

Что тут началось!

— Бесстыжие! — закричала женщина, сидевшая сзади. — У моих детей крадут аталу!

— Тетушка, — загородил я собой малышей, — они же сироты. Их отца повесил на площади Николай.

— Ха! Если их отца повесили здесь, то моих сыновей заморозили в Сибири, нет, пусть идут назад.

— Правильно, — поддержала женщина впереди. — Выбросьте бесстыжих!

Да, жестоки бывают люди в голоде. Сердца их каменеют.

Я посадил Хакимджана на свое место, а сам пошел в конец, к воротам.

— И я с тобой! — попросился Адыл.

— Нет, тебе нельзя. Там ты не выступишь.

Добраться до края очереди мне, однако, не удалось. В ворота въехали трое всадников. Первый, на гнедом коне, был старшим из них, и как только он придержал своего скакуна, остановились и остальные.

По Каландархане пронесся шепот. Да, шепот. Все смолкли, пораженные внезапным появлением всадников, и лишь пробежало восторженное, негромкое, как ветерок:

— Хайдарбек пришел! Хайдарбек!

Вот он, Хайдарбек! Ревком Джизака. Я узнал его, хоть в такой одежде — зеленой гимнастерке, перепоясанной ремнями, — не мог представить себе того мардикера, который выступал на митинге в саду Хафизбая. Вместе со всеми, блосоногий мальчишка, я прошел тогда робко в голубые, расписные ворота и стал у стены, не понимая, что происходит. Люди были возбуждены, ждали чего-то, и все смотрели на супу, где сидел русский человек в коричневой рубашке ря-

дом : Хайдарбеком Абдуджаббаровым. Тогда ни я, ни мои сверстники не знали его имени, оно стало известно позже. Позже назвали и имя русского — товарищ Алексей. Оба они выступали на митинге и говорили такие слова, от которых становилось всем и радостно и страшно, и сердце замирало от ожидания чего-то неведомого и удивительного. Вот тогда-то и пошли джизакцы за красным флагом. И я пошел. Не ведая, конечно, что это дорога моей жизни.

Теперь Хайдарбек — рядом. Шагни только — и окажешься возле коня, протянешь руку — и коснешься его клинка, сверкающего серебряной насечкой. Клинок небрежно спадает вдоль бедра, но он грозен: стоит его выхватить, как лезвие вспыхнет белым пламенем. Остановленный крепкой рукой Хайдарбека, конь жует удила и пританцовывает, глаза бросают черные молнии. Он любит степь, простор, кажется, пусти его, и он перемахнет через сад Каландаров, через стены и мечети, взлетит в небо. Ах, какой конь!

Я застыл в восхищении. Смотрю на гнедого, на клинок с серебряной насечкой, а на самого Хайдарбека не смею поднять глаз. Каким должен быть йигит, оседлавший такого скакуна? Я уже забыл простое лицо мардикера, костистое, загорелое, сутуловатую фигуру рабочего человека. Хайдарбек представляется мне сейчас батыром из сказки, могучим, солнцеликим. Не дотянешься до него, не коснешься его одежды.

Но сказочный образ вдруг растаял. И не потому, что я поднял глаза на всадника. Не посмел я этого сделать. Всадник сам опустился ко мне. Стукнули о сапог ножны клинка, закрипели ремни, зазвякала уздечка, и рядом со мной оказался человек в зеленой гимнастерке. Это был тот же самый мардикер, с тем же простым лицом рабочего, с той же задумчивой и чуточку грустной улыбкой. Только глаза у него теперь были строгими и озабоченными.

Батыр! Пусть не такой, как в сказке, а батыр. Сильный, смелый, решительный. Гроза богатеев. Не зря же с одного боку у него висит клинок, а с другого — наган. Ими он и разит врагов.

Хайдарбек оставил коня своим спутникам, а сам пошел к супе, в противоположный конец Каландарханы, где были дядя Джайнак и медник Азизхан. Люди засуетились, стали годниматься, чтобы освободить Хайдарбеку дорогу, но он усаживал их обратно мягким прикосновением руки. «Не надо, говорил он, я не мингбаши, забудьте прошлое. Забудьте!» Старикам вежливо объяснял: «У вас слишком мало сил, чтобы стоять. Ведь аталу еще не раздавали. Сядьте, отец!»

Черное галифе с красными полосами по бокам двигалось то влево, то вправо. Хайдарбек обходил сидящих и не скоро добрался до супы. А когда добрался, прежде что-то спросил у Джайнака и лишь потом поднялся на возвышение.

Все, конечно, повернули головы в сторону супы и приложили руки к ушам. Людям надо было услышать слова председателя ревкома, ведь не случайно он явился в Каландархану и тем более не случайно поднялся на супу. Должен что-то сказать. Я тоже приставил к ушам ладони.

Шум в Каландархане, однако, стоял такой, что не только с другого края двора, рядом ничего не ухватишь. Поэтому Джайнак крикнул:

— Сестры! Утихомирьте детей. Насколько возможно... Да, да, насколько возможно. С вами будет говорить председатель ревкома товарищ Абдуджаббаров.

Женщины утихомирили, сколь возможно, своих детишек. Именно, сколь возможно, а это то же самое, что вовсе не утихомирили: плач в Каландархане раздавался по-прежнему. Зато сами взрослые примолкли. А это уже почти гишина.

Хайдарбек положил правую руку на эфес клинка, а левую засунул за ремень портупей и сказал громко:

— Матери многострадальные, отцы мои, братья, сестры, ассалам алейкум! Мир вам!

— Ваалейкум ассалам! — ответили люди.

— Да будет долгой ваша жизнь! — пожелал собравшимся Хайдарбек.

— Пусть вы достигнете высоких степеней! — эхом отозвались джизакцы.

Хайдарбек вытянул руку из-за ремней и поднял ее над головой. Он, как и Джайнак, попросил тишины. Самого трудного сейчас. Старики прикусили языки свои, женщины стали укачивать детишек, совать им грудь, чтобы не пищали — вроде бы помогло. Голос Хайдарбека стал слышен.

— Сердце радуется добрым словам вашим, — произнес он. — Но похвалу нужно заслужить, многое надо сделать, чтобы принять от людей благодарность. В этом многом есть и такое, что спесобно заставить вас задуматься и даже испытать сомнение. Кое-кто, пожалуй, напугается. Вот и не знаю, как сказать...

— Говорите! — потребовала Каландархана. — Мы не из трусливых.

— Это всем ведомо, — согласился Хайдарбек. — Делом доказали свою смелость.

Дядя Джайнак решил помочь председателю ревкома.

— Если ваши слова способны насытить голодных, не смущайтесь. Мы проглотим их с радостью.

Смех прокатился по Каландархане.

— Проглотим! Проглотим!

— Словами не насытишься,— улыбнулся Хайдарбек.— Да и нет у меня таких слов. Но известно: найдешь растопку — и снег загорится.

— Вот такая растопка и нужна нам,— поклонился председателю ревкома дядя Джайнак.— Снега много, хотя и лето в Джизаке...

Хайдарбек ответил тоже поклоном.

— Попытаемся...

Он повернулся к сидящим в первых рядах. Там были старжки. Сплошные белые бороды, чалмы, посохи. Слова, которые могли бы растопить снег, Хайдарбек почему-то адресовал седобородым джизакцам.

— Положение, дорогие соотечественники, серьезное. Оно, как в поле, когда дехканина, взявшегося за омач, вдруг окружили волки. Ему бы пахать, сеять хлеб и кормить детей, а волки хотят вонзить клыки ему в горло. Волков много, он — один. Так получается и с нашей молодой страной. Окружили ее враги: Германия, Англия, Америка, белогвардейцы. У всех острые клыки. все рычат, набрасываются. Только оступись, только выпусти из рук палку, тут же сожрут тебя.

Старик, сидевший около казана, распахнул чапан и показал свою тощую грудь.

— Нами не насытишься, одни кости.

— Зверю все равно — кости ли, мясо ли. Ему бы проглотить. Неужели сунем голову в пасть волку?

Конечно, никто не хотел быть проглоченным, никто не хотел возвращаться к старому. Помнили расстрел Джизака. Но что могли они сделать для своей защиты? Люди молчали.

Хайдарбек пытливо смотрел в лица стариков. Ждал ответа.

Нашелся способный ответить. Высокий, плечистый гончар, которого все звали «глиняным тополем», поднялся и сказал:

— Если с волками идет тиран Николай, пускать их нельзя. Никак нельзя! Но чем подпереть дверь, в которую лмятся враги? Ведь мы от голода так ослабли, что и посох не способны держать в руках, а не то что топор или кетмень.

Хайдарбек закивал понимающе, он принял слова гончара.

— Верно сказано. Голодны мы. Что ж, за кусок лепешки снова придется тянуть байское ярмо? Зажили, видно, рабы от камчи, сошли мозоли с коленей, можно пасть ниц перед угнетателями, просить милости? Так, что ли, братья? Деды говорили: «Живот голоден — уши в покое». И еще говорили: «Не трогай голодного, не трогай раздетого!» Голодные и раздетые — мы с вами. Неужели не дадим отпор, если трогают? Неужели позволим богачам накинуть на нас петлю? Революция вырвала бедняков из кабалы. Теперь, встав во весь рост, обездоленные должны защитить свободу, себя защитить!

Дядя Джайнак захлопал в ладоши. Не сразу его подержали, сначала вспыхнули хлопки в первых рядах, потом огонь перекинулся на всю Каландархану — и она горячо зааплодировала.

Недолгим был, однако, этот огонь. Угас быстро. Люди ждали тех слов, которые были обещаны им Джайнаком, слов, способных насытить голодных. Председатель ревкома догадался об этом.

— Я сказал вам про волков, которые нас окружили, — продолжал Хайдарбек. — Злые они, и самый злой из них — голод. Он жесток. Молись, лей слезы — не пощадит. Многие наши сестры и братья стали его жертвами. Вот с этим главным врагом и призвал нас бороться товарищ Ленин. Одолеть голод!

Вчера я вернулся из Самарканда. Там прошло собрание членов партии. Большевики решили дать бой голоду. Взять на учет голодные дети. Образована комиссия содействия, которая налаживает раздачу пищи в Самаркандском уезде. Мы были в нескольких пунктах помощи. Первые миски уже наполнены аталой. В Джанбае есть партиец по имени Мирзаходжа Уринходжаев. Комиссия, руководимая этим человеком, обеспечивает горячей пищей три с половиной тысячи голодных. Вот ведь какой хороший человек, щедрый какой! Я спросил его, где хранит он пшеницу, из которой готовят гуджу и аталу. Знаете, что мне ответил добрый человек? У меня два амбара. Один амбар бая, другой — ишана.

По Каландархане, как ветерок, пробежал веселый смех. Как ветерок, он был и коротким и сразу стих. Кто-то на кого-то шикнул: амбар ишана не то место, где должны хозяйничать правоверные!

Хайдарбек переждал, пока снова придут в себя джизакцы, и спросил стоящего рядом Джайнака:

— А в чьем амбаре хранит свое зерно продовольственная комиссия махалли? Я вижу, казаны кипят, варится ата-

ла, сейчас люди получают мало ли, много ли, но все же горячего.

Вопроса этого ждал дядя Джайнак. Ждал, но изобразил смущение и растерянность, будто слова председателя ревкома застали его врасплох. А час назад я видел дядю Джайнака, смело шагавшего впереди арб, груженных зерном ишана. Даже тени смущения не было тогда на его лице.

— Так-то вот,— развел руками дядя Джайнак.— Без вашего ведома, товарищ ревком, мы проверили закрома ишана. И оказалось, что у господина Бабахана зерна больше, чем могут съесть он, его жены, свекровь тетя, дети и внуки за десять лет. Да что за десять — за сто лет. Правда, у господина Бабахана большой живот...— Дядя Джайнак руками обвел широкое пространство вокруг своего тощего живота, и все в Каландархане засмеялись: джизакцы знали, как толст ишан.— Но и в него не войдет канар пшеницы. С помощью бельбага Азизхана-ака, а у него поясной платок не то что аршин в мануфактурной лавке Кадырбая,— джизакцы снова засмеялись: Кадырбай славился в городе плутовством,— мы обмерили все животы в доме ишана и оставили зерна столько, сколько положено на двадцать едоков. остальное привезли сюда. По секрету скажу, мы не отстали от джанбайцев: у нас тоже два подвала, но в разные дворы ходить не надо, оба находятся у господина Бабахача. На всякий случай амбары очистили. А то у ишана в доме, говорят, много мышей, как бы не испортили пшеницы. Соседи видели, как одна мышь,— дядя Джайнак еще раз обвел широко руками вокруг своего тощего живота,— одна мышь спускалась ночью в подвал с пустым мешком, а поднималась с полным. Я думаю, очистив амбары господина Бабахана, мы избавили мышей от трудной работы. Как вы считаете, товарищ ревком?

Хайдарбек, слушая Джайнака, тоже смеялся, хотя и не так громко, как сидевшие у казанов джизакцы. Вопрос застал его в тот момент, когда он пытался спрягать улыбку, которая слишком уж по-хозяйски расположилась на строгом лице.

— Что же вы, Джайнак-ака, ко мне обращаетесь, спросите у черноглазых махалли Простые люди лучше меня знают, как защитить зерно от мышей, они теперь хозяева хлеба и воды.

Дядя Джайнак поклонился сидевшим у казанов старикам.

— Скажите свое слово, люди!

Те, кто только что смехом одобрял слова Джайнака,

вдруг онемели. Голодные, готовые на все ради куска хлеба, они не находили теперь силы, чтобы произнести простое «да»!

— Что же вы затаили дыхание? Или святейший ишан запретил вам говорить?

Тягостный вздох разнесся по Каландархане:

— Грех!

Дядя Джайнак протянул руку в сторону кипящих казанов.

— Тушите огонь! Если грех открывать амбары в доме Бабахана, то еще больший грех утолять голод зерном из этих амбаров...

В дальних рядах кто-то пискнул:

— Нельзя трогать даже иголку ишана.

Пискнул едва слышно, но в Каландархане стояла такая тишина, что и этот писк долетел до Джайнака.

— Кто сказал, будто нельзя трогать даже иголку ишана? — спросил он.

— Шакир-суфи, — выдали джизакцы пискнувшего.

— Поднимитесь, Шакир-суфи! — попросил Джайнак.

Зачем ему понадобился ишанский прислужник, неизвестно. Может, хотел убедиться в трусости суфи: пискнуть пискнул, а встать не посмеет и тогда появится повод отчитать слугу пророка.

А Шакир-суфи поднялся. Рыжий, с непомерно большой головой на короткой шее, с круглыми, отвисшими, как у старого пса, ушами, он был смехон и жалок. Мальчишки всегда над ним потешались. Издали, правда. Лапа у суфи была длинная, и отважившийся приблизиться оказывался в когтях суфи. Он не отвешивал оплеуху смельчаку, не пинал его. Одной рукой суфи зажимал голову мальчишке, а другой делал щелчок в лоб или затылок, предварительно смахнув с жертвы тубетейку. Щелчок указательным пальцем, даже не самим пальцем, а только ногтем. И зеленые глаза суфи, обычно пугливые; бегающие от предмета к предмету, застывали при этом, делались желтыми. Говорят, когда лиса грызет зайца, глаза ее тоже желтые. Сейчас они были зелеными.

— Я весь внимание, — произнес Шакир-суфи, и уши его, кажется, шевельнулись.

— Значит, иголкой ишана нельзя пользоваться?

— Грех великий... Она освящена всевышним

— Слава богу, иголка нам не нужна. Шить нечего! — развел руками Джайнак. — А как быть с зерном? Хлеб у мусульман священен. Прежде, чем положить его в рот, мы возносим благодарность всевышнему. Вам ведомо это, Шакир-суфи?

— Да,— склонил голову суфи.

— Следовательно, не только в амбаре ишана, в каждом дворе мусульманина, на каждом дастархане — хлеб священ. Еще в поле аллах благословил его. Пот дехканина — молитва, которую услышало небо. Так ли я говорю, Шакир-суфи?

— Именно так, уважаемый.

— Как поступает истинный мусульманин, когда видит оброненный в пыль хлеб? Очищает его и кладет на возвышение. Великое благо вкусить этот хлеб. Поделиться с голодным лепешкой — жертва, угодная богу. Разве не услышал ишан желание всевышнего?

— Не... не услышал,— пролепетал Шакир-суфи

— Вы знаете все тайны ишана?

— Истинноверующий читает мысли своего наставника...

Ишан не слышал.

Джайнак пожал плечами.

— А почему народ слышал?

— Это греховные слова, уважаемый. Они противны богу. Всевышний открывается только святым... только слугам пророка...

— Слугам пророка, имеющим уши. Вы глухи, Шакир-суфи. Вы и сейчас плохо слышите. Плачут голодные, стонут умирающие, крик детей не смолкает ни днем, ни ночью. Где же ваши уши? Или они повернуты только к ишану?

Саиднасим, тот, что спорил с Шакиром-суфи на улице, крикнул:

— И уши повернуты, и рот повернут. У суфи в животе лепешка ишана!

— Вот в чем суть! — покачал головой дядя Джайнак. — Перепел поет тому, из чьих рук получает просо. Не мысли ишана вы читаете, Шакир-суфи, а клюете его зерно

— С благословения хозяина,— заносчиво ответил Шакир-суфи. — А без благословения оно обратится болезнью. Даже умирая с голоду, мусульманин не должен трогать хлеба ишана. Ишан проклянет нечестивца...

Дядя Джайнак потемнел лицом. Слишком злобным было карканье суфи.

— Предупреждение суфи мы выслушали. Теперь будем решать. Две арбы стоят во дворе. Что делать?

— Возвратить зерно ишану! — за всех ответил Шакир-суфи и обвел двор устрашающим взглядом. — Гоните лошадей назад!

— А что скажете вы, люди Джизака? Власть ваша, мы только слуги. Приказывайте! — тяжело произнес Джайнак.

Снова пала тишина в Каландархане.

Хайдарбек почувствовал, что люди колеблются, что страх перед карой божьей велик. Джизакцы вроде бы отодвинулись от пахнувших поспевшей аталой казанов.

— Видно, не хватает смелости у наших братьев, — вздохнул Хайдарбек. — Где она? Вся Россия говорит о мужестве джизакцев, поднявших руку на угнетателей. А угнетатели были сильны, во главе их стоял царь. А теперь перед вами всего лишь толстобрюхий Бабахан. Революция заключается в том, чтобы отнять богатство у толстосумов и отдать его народу. Отнять, слышите? Сами они не отдадут. Их грудью защищают шакиры-суфи, прихлебатели и блюдолизы.

Горячие слова произносил Хайдарбек. Они могли зажечь даже робких и слабовольных, таких, как мой отец. И они зажгли. Каландархана зашумела:

— Всем поровну! Всем поровну!..

Дядя Джайнак воспользовался моментом и крикнул:

— Кто за то, чтобы хлеб был общим, поднимите руку! Лес рук мгновенно вырос в Каландархане.

Джайнак не смог скрыть радости и счастливо улыбнулся.

— Рахмат! Рахмат, дорогие! А кто за то, чтобы пшеница осталась в амбарах ишана?

Первый раз руки подняли все, никто не мог отказаться от хлеба, который обещал им Джайнак. Теперь некоторые заколебались — правильно ли поступили, хлеб ведь ишанский, его все-таки надо вернуть Бабахану. Вторично поднять правую руку нельзя. Конечно, у человека есть еще одна рука — левая, но как-то не принято ею пользоваться. Неверная она, левая. И не подняли.

— Итак, арбы остаются во дворе. Разгружайте зерно, йигиты, ссыпайте его в наш общий амбар. Будем сыты, братья!

Наконец прозвучали слова, способные утолить голод. Люди задвигались, каждому хотелось приблизиться к казанам, к той самой атале, которая была почти отнята у них угрозами Шакира-суфи и теперь снова возвращена.

Старик, державший в трясущихся руках касу, поднялся с земли и сказал:

— Рахмат тебе, Джайнак!

Другие тоже стали подниматься.

— Рахмат! Рахмат!

Дядя Джайнак смутился. Не свой хлеб отдавал он народу, а хлеб, отобранный у ишана. Но пресечь поток хвалебных возгласов не было сил. Шум стоял ужасный.

— Разливайте! — попытался перекрыть голоса джизакцев Джайнак. — Разливайте аталу. Всем поровну! Ковшик на живую душу. Ковшик!

Кашевары стали разливать. Густой пар валил из котлов, поднимался над Каландарханой, таял в прозрачном весеннем небе.

Пахло аталой. Чудесно пахло аталой. Ведь это был хлеб.

Тот, кто получил первый свой ковшик, нес его бережно, боясь не только пролить, но и застудить. Горячая атала источала аромат, а это почти что еда. Голова кружится, и тело тяжелеет. Нетерпеливые не могли удержать себя и припадали к краю касы губами, чтобы ощутить огонь аталы, проглотить хоть каплю.

Люди думали только о горячей атале, видели только аталу, слышали только аталу: она булькала в котлах, она пела свою сытую песенку. И, конечно, никому и в голову не приходило, что кто-то может не думать о ней, отказываться от нее и даже проклинать.

А был такой. Шакир-суфи.

Когда загремели ковши, разливая аталу по мискам и чашкам, он схватил Саиднасима за руку и прохрипел:

— Смерть! Смерть!.. Не прикасайтесь к тому, что проклято ишаном!

Саиднасим вырвал руку, будто она была не в ладони суфи, а в когтях коршуна.

— Уйдите, уважаемый. Сытому здесь не место. А если уж придет смерть, то она не минует и вас. Ведь в желудке вашем тоже хлеб ишана.

Шакир-суфи сверкнул своими зелеными глазами и удалился. Он оказался единственным в Каландархане, не испробовавшим аталы.

Председатель ревкома подождал, покуда люди опустошат первый казан, а сделали они это быстро. Во всяком случае, испуганный Шакир-суфи еще не успел добежать до калитки ишана и сообщить ему печальную весть об исчезновении священной пшеницы в грешных желудках джизакцев, как последний черпак опустился в котел и выгреб оттуда остатки аталы. И вот когда последний черпак опустился в казан, Хайдарбек сказал Джайнаку:

— Вы одержали за одно утро две победы. Подняли на ноги голодных бедняков и сбили с ног сытого ишана. Не знаю, которая из побед важнее. И та, и другая на пользу Советской власти.

Хайдарбек вернулся к своему гнедому скакуну, что ждал его у ворот, нетерпеливо перебирая ногами, и вскинул-

ся в седло. Сделал он это легко и красиво. Ремни, перепоясывающие гимнастерку, закрипели громко, посеребрянные ножны клинка, ударившись о сапог, глухо звякнули. Конь, повернутый круто, чуточку присел на задние ноги, потом поднялся на дыбки и почти с места понес всадника ходкой рысью. Хайдарбек склонился под воротами, чтобы перекладина не сбита с головы каракулевый тельпек, а за воротами выпрямился и так полетел на своем коне мимо дома ишана. Следом, шагах в трех, скакали йигиты Хайдарбека, вооруженные винтовками.

Не знаю, сколько бы я стоял так, замороженный, не коснись моего плеча рука Адыла.

— Я уже получил аталу,— сказал он и протянул мне чашку.

Не для того протянул, чтобы я полюбовался содержимым или попробовал то самое густое или жидкое, приготовленное из ишанской пшеницы. Ему хотелось похвастать: как ловко справился он с аталой. Чашка будто и не видела похлебки. Да и видел ли ее сам Адыл? Небось только прильнул губами к чашке, как атала испарилась. Подумаешь, один ковшик! Друг мой собирался выпить казан.

— Дядя Сафар тоже получил аталу,— добавил Адыл.— Поможем ему донести ее до дому.

Отец уже шел к воротам. Он склонялся набок, словно в руке его были не шесть ковшиков аталы, а полное ведро. Большое зеленое ведро, из которого, сколько ни черпай, не вычерпнешь всего, что-то останется. Сытое было ведро.

Хитро придумал отец. А может, не придумал. Ослаб просто, ему и шесть черпаков не под силу нести.

Я схватил с другой стороны дужку ведра и тоже склонился.

Так мы понесли аталу домой.

Сзади шел Адыл и беспокойно повторял:

— Не спешите! Прольете аталу... Прольете...

Чудной Адыл. Разве могли мы пролить аталу? Это была наша жизнь.

РЕКА, ВПАДАЮЩАЯ В МОРЕ, ВОЗНИКАЕТ ИЗ РУЧЬЯ...

Дом Зухры-апа находился довольно далеко от нас — в махалле Рабатлик. То, что он находился далеко, не особенно удручало меня. Прошагать из конца в конец города (а какой наш город? Заберись на минарет — и увидишь весь Джизак) не составляло большого труда. Топашь босыми ногами по горячей пыли, напеваешь себе песенку и не

замечаешь, как дворы Уратепе сменяются дворами Рабатлика.

Долгая дорога меня не пугала. Пугали ее повороты. Тянется, тянется вдоль глухих глиняных дувалов, под ветвями развесистых карагачей и талов и вдруг выбирается на кладбище Кабз-мазар. Заметьте, не к гузару с чайханой, не к берегу Наймана, в тенистую прохладу тополей, а на выжженные солнцем могильные камни. Кладбище. Этим все сказано. Хотя не все. Кабз-мазар — старое кладбище, такое старое, что никто из джизакцев и не помнит, когда положили сюда покойника.

Ну то, что оно старое, не такая уж особенность. Мало ли на свете старых кладбищ. В Самарканде, я слышал, есть кладбище, где захоронены сподвижники самого Шахи-Зида-авлие, того самого святого, которому я пожертвован при рождении и в честь которого ношу надоевшую мне косичку. Святой этот, надо полагать, жил в то время, когда Джизака нашего и в помине не было, не говоря уже о Кабз-мазаре. Так что старое кладбище, будь оно трижды старым, всего лишь старое, ничего в этом особенного нет. А наше Кабз-мазар особенное. На нем водились духи. Самые настоящие духи, которых нигде в другом месте не сыщешь, даже если будешь пытаться это сделать.

В каком именно месте Кабз-мазара нашли они себе пристанище, не знаю, да и никто, видимо, не знал. Духи-то бесплотны. Сидят себе у могилы, обратясь полевой мышью, или таятся в хаузе с мутноватой от водорослей водой и квакают по-лягушачьи или того удивительней — порхают с ветки на ветку, как птицы. Ты думаешь, это скворец или воробей, а на самом деле — дух. Зазевайся только, попадешь ему в лапы. Почему в лапы? Не знаю точно, бывают ли у духов лапы, но ведь должны они чем-то хватать свою жертву. А что духи хватают, известно в Джизаке всем.

Удивительно, что ко взрослым духи относились благосклонно, даже покровительственно. С шейхом они были просто на короткой ноге. Ему ничего не стоило убедить их прийти на помощь какому-нибудь недужному джизакцу, избавить его от болей в животе.

Почему-то духи избрали для своих забот именно животы джизакцев. Не головы и не руки, а ту часть тела, которая наполнялась пловом, шурпой, лепешками. Пустые животы, естественно, их мало интересовали, если не сказать большего, — вовсе не интересовали. Поэтому шейх и не брался договариваться с духами об исцелении тех, кто не находил в своей кассе кусок мяса или горсть риса. Урчание голодного

желудка не считалось болезнью. Возможно, они и стали бы лечить пустые животы, но кто будет вознаграждать их за это трудное дело? Шейх, прежде чем шепнуть духам о нужде человеческой, протягивает открытую ладонь к несчастному и до тех пор не сожмет пальцы, покуда не окажется в руке достойная его забот мзда.

Лучшая награда шейху — курица, джня или стопка лепешек. Но лечить от голода живот, принося за исцеление вареную курицу, все равно, что снимать одежду с нагого человека. Не только шейх, сами духи легко это поняли и отстранились от бесплодного дела. Поток жаждущих исцеления иссяк, ну, а вместе с ним иссякли и запасы шейха. Он хоть и был накоротке со святыми, однако что могут дать голодному хранителю мазара бесплотные духи? Дух есть дух, коснись его той самой рукой, которая открывалась для подаяния, и она пройдет насквозь. Пустота. А пустоты у самого шейха больше, чем достаточно.

Животы, однако, имеются не только у людей, но и у прочей живности — у овец, коров, лошадей, например. Магическая сила Кабз-мазара распространялась на все, что передвигалось с помощью ног и могло добраться до «святого места». Конечно, с лошади или с той же самой овцы ничего не получишь за исцеление, поржет или поблеет — и вся благодарность, а то еще и боднет или копытом угостит. Но, бог разумын, сама-то овца не пойдет к «святому месту», если только не заманит ее туда клочок травы, пробившийся у хауза. Овцу, ну и уж тем более корову, приведет на Кабз-мазар хозяин. Озабоченный, наивный, как все хозяева овец и коров, он легко поймет, каким способом достигается чудо, и уж наверняка вложит что-нибудь в ладонь шейха. Если не съестное, то хотя бы звонкое. Медь или серебро. Лучше серебро, пусть оно и глуше звенит, но зато ярче взблескивает.

Именно в такой момент, когда пришедший за помощью совершал жертвоприношение, проше говоря, выискивал в своем бельбаге серебряную монету, я оказался у Кабз-мазара. Это было хорошим предзнаменованием. Духи, как и шейх естественно, интересуются поясным платком простака-крестьянина, вернее, его содержимым, и не заметят мальчишку, тихо крадущегося вдоль изгороди. Одним глазом следя за несчастным, другим отыскивая тропу, я мог бы одолеть опасное пространство, именуемое «святым местом».

Около хауза, вырытого посреди мазара, стояла арба с впряженной в нее огромной серой лошадью. Может, она и

не была огромной, обыкновенная лошадь, каких много в Джизаке, но мне она показалась величиной с хорошего верблюда. Лошадь водила ушами и косилась то на шейха, протянувшего руку, то на меня, крадущегося вдоль невысокой изгороди. Лошадь и испортила все дело. Я даже думаю, что это была не лошадь. Зачем лошади смотреть на мальчишку, который идет себе мимо мазара к сестрице Зухре? Незачем. Но об этом потом. Пока что она спокойно стояла и помахивала хвостом, отгоняя назойливых мух, а ее хозяин отыскивал в бельбаге мелочь. Шейх же, задумчиво опустив голову, ожидал, когда содержимое поясного платка перекочет в его ладонь. Я не предполагал, что помощь духов требуется не крестьянину, а самой лошади и, шагая вдоль изгороди, ловил момент сотворения чуда. Мне рисовалась картина удивительная, сказочная. Просто ведь не изгонишь недуг из человека. Помню, когда косматая старуха лечила мою матушку от простуды, во дворе варили козье мясо, в доме жгли керосиновые плашки, хор женщин выкрикивал заклинания. Теперь ничего не варилось, не было огней, не произносились таинственные слова. Пока не произносились. Шейх еще не получил жертвенного подношения. Наконец крестьянин отыскал серебряную монету, отдал ее хранителю Кабз-мазара и стал освобождать у лошади подпругу. Тут я понял, что живот болит у лошади и что именно ей придется иметь дело с духами.

Как ни был я напуган, как ни велика была опасность привлечь к себе внимание духов, таинственные события на Кабз-мазаре заставили меня остановиться. Да, да, остановиться прямо против хауза, где крестьянин ослаблял подпругу у серой лошади и где уже собирались невидимые существа, творящие чудо. Впрочем, что значит невидимые. На моих глазах к хаузу прилетели воробьи и, оживленно чиркая, стали прыгать около коняги, как раз с той стороны, где у нее находился хвост. Лягушки, правда, не повылазили из хауза, и мыши не сбежались, хотя могли и сбежаться.— разве увидишь их с дороги? — до хауза шагов пятьдесят, небось, а то и все сто. Мне их не было видно, а они меня узрели. Я не воробей, и не лягушонок, голова торчит выше изгороди. Тут не только прозорливый дух, самый последний слепец заметит.

События, между тем, разворачивались, как им и положено, по всем колдовским правилам. Взяв лошадь под узду, крестьянин совершил с ней круг по берегу хауза, один и второй: потом остановил ее и принялся тихонечко посвистывать, понуждая конягу облегчить себя. Лошадь повела

ушами, помахала хвостом, разгоняя воробьев, но того, чего от нее ожидали, не сделала.

С исцелением пока ничего не получалось.

Шейх, худой, сгорбленный старец, почесал свой острый, едва прикрытый несколькими волосинками подбородок и изрек:

— Яд входит легко, а выходит трудно. Черная сила держит его. Гоните, гоните лошадь, не давайте ей останавливаться. Если семь кругов не помогут, то помогут семьдесят.

Крестьянин покачал головой: то ли поверил шейху, то ли нет, но совет принял. Снова повел свою «серую» вокруг хауза. Воробьи полетели следом. Теперь без хлопотливого чириканья. Шествие было унылым.

«Может, это просто воробьи, а не духи,— подумал я.— Что-то странно ведут они себя, ни один на моих глазах не превратился ни в ангела, ни в джинна. Чирикающая и перескакивая с места на место, не сотворишь чуда. Превратились хотя бы в ворон или лягушек, или змей, сбросили бы с себя глупые серые перья. Так нет же, как было восемь воробьев — я сосчитал их сразу,— так восемь и осталось.

Обыденность событий меня, скажу прямо, разочаровала. Никакой таинственности, никакого волшебства. Да и разговор, который произошел после седьмого круга между дехканином и шейхом, был скучным.

Дехканин, вытирая пот со лба, сказал:

— Таксыр, господин мой, не ошибся ли я, отсчитывая повороты?

— Не ошиблись... Ровно семь кругов.

— Тогда почему бедное животное не чувствует облегчения?

— О-о! — многозначительно опустил веки шейх. — Семь — это еще не семьдесят. Дар ваш... — слуга божий повертел в руке николаевский гривенник, — не так велик, чтобы за короткое время разглядеть его святым оком. — Шейх поднял руку к небу, указывая этим на око всевышнего. — Будьте щедрее, уважаемый.

Крестьянин снова полез в бельбаг, чтобы отыскать там второй гривенник. Поиск на этот раз был долгим. Может, второго гривенника и не существовало вовсе, крестьянин лишь испытывал терпение шейха. Если это так, то напрасны были его труды. Старец умел ждать, и не родился еще на свете человек, способный перехитрить его. Шейх закрыл глаза и тем как бы выразил свое равнодушие к стараниям крестьянина: пусть ищет свое серебро, пусть тратит время, дан-

ное ему богом. У самого шейха этого времени — тьма. Вечность целая.

— Вот, таксыр! — нашел все же второй гривенник крестьянин. — Могу ли я надеяться, что лошади моей коснется исцеляющая рука святого?

С лица шейха спала отреченность. Он открыл глаза и глянул на монету, как глядит птица на зерно.

— Не питающий надежду — шайтан. Молитесь! Если жертва ваша будет угодной святому Кабз-ата, он ниспошлет исцеление. Лошадь не должна стоять. Сделано лишь семь кругов. Помните! Всего лишь семь, а святой требует семьдесят.

Крестьянин вздохнул горестно. Тропка вокруг хауза казалась ему бесконечной. Придет ли на семидесятом круге исцеление! Кто знает? Гривенники ушли, а недуг остался. Однако делать нечего. Гривенник не лошадь. Бог с ним, с гривенником. Сохранилась бы надежда. Говорит же шейх: только шайтан живет без надежды. Будем кружить.

Повел опять дехканин свою серую лошадь вокруг хауза и поскакали опять за ней воробьи. Они тоже жили надеждой.

Так и не произошло чуда. На моих глазах во всяком случае. А опасность я на себя навлек. Теперь-то уж пройти незамеченным мимо мазара не удастся. Все видели меня, даже шейх. О злых духах и говорить не приходится, они насмотрелись на глупого зеваку вдоволь, ждут не дождутся, когда он оторвется от «священной изгороди» и зашагает по пустынной дороге к своей Зухре-апа.

Почему-то больше всего я боялся сейчас серой лошади. Как-то странно она косила на меня глаза. Смотри себе на шейха, от него зависит твое исцеление, на хозяина своего, наконец на воробьев, чирикающих у твоего хвоста, так нет, ее интересует мальчишка чужой махалли. Выждав момент, когда арба, совершая круг, стала удаляться от изгороди и ко мне была обращена не голова, а хвост лошади, я пустился бежать. Пыль, взметенная моими босыми ногами, поднялась облаком и заволокла все, в том числе и мазар. Меня не видели за этой плотной стеной, и я ничего не видел.

Однако пылью от мира не загородишься. Что она, пыль? Я назвал ее стеной, а какая она стена, на глиняный дувал и то не похожа. Всего лишь кисея золотистая, которую вскинули над головой, покружилась она в струе ветра, постояла задумчиво над дорожным кустом и осела.

Так получилось и на этот раз. Я пылил где-то за мазаром, а у самого «святого места» дорога уже очистилась и

все было ясным и прозрачным, словно после весеннего дождика. Но прежде, чем пыль осела, я услышал, кроме топота собственных ног, другой топот, более громкий и более тяжелый. Скакала лошадь. Копыта падали на дорогу, как пудовые булыжники. Такие копыта были только у серой лошади, впряженной в арбу крестьянина.

Да вот и сама арба! Скрип и грохот колес летел над дорогой. Меня догоняли. Я улавливал даже звук камчи, зло нахлестывающей серую лошадь. Теперь уже стало ясно, что серую. Не случайно косила она на меня свои огненные глаза. Баччаджиш — пожиратель детей!

Ужас охватил меня. До этого я бежал, просто бежал, перебирая вяло ногами, как ленивый ягненок, теперь мчался степным джейраном. Ветер свистел у меня в ушах. Правда, ветра я не слышал. Ничего не слышал, кроме топота копыт и грохота колес. Топот этот был оглушительным и становился все громче и громче, будто накатывался гром.

Могут ли вырасти у мальчишки крылья? Так сразу, по одному желанию, в короткое мгновенье? Могут. У меня выросли. За спиной я ощутил их стремительный взмах. Я полетел. Ноги уже не касались земли, они только совершали движения, помогали крыльям. Вперед, скорее!

Да, я летел, но топот не стихал, не отдалялся. У этой серой лошади, наверное, тоже были крылья. Большие черные крылья смерти. Она настигала меня.

Губы мои что-то шептали, кому-то я молился, кого-то звал. Маму, кажется. Кого еще можно звать в минуту опасности? Должно быть, слезы текли ручьями из моих глаз, и лицо мое было мокрым.

Мысленно я корил себя за то, что решился идти к Зухре-апа и тем навлек беду на собственную голову. Можно было не ходить, можно было даже не думать о доме в махалле Рабатлик. Ведь каждый раз, отправляясь на другой конец города, я испытывал страх. И все-таки шел. Шел потому, что в доме Зухры-апа мне давали пиалу, наполненную машкичири — густой кашей из риса и маша или затирухи из кукурузной муки, а если в день моего прихода не готовили ни кашу, ни затируху, то просто отламывали кусок лепешки и клали передо мной на дастархан. Муж Зухры-апа ездил куда-то далеко за холмы, в те края, где был хлеб, и привозил то кукурузу, то рис. Немного, но все же привозил. Вот и посудите, мог ли я в слишком уж голодные дни не посетить дом Зухры-апа? Не мог. Будь на дороге не то чтобы мазар, а сама преисподняя, пошел бы в махаллю Рабатлик. За хлебом куда не пойдешь!

Баччаджиш настигал меня. Крылья его были сильнее и быстрее моих. Почти рядом уже стучали копыта серой лошади, грохот колес теперь походил на хохот ликующего пожирателя детей. «Тара-рах-тах-тах! Ах, попался! За-ду-шу! За-гры-зу!»

Я летел. Нет, это мне казалось, что лечу, на самом деле я бежал, напрягая последние силы. Ноги мои подкашивались, воздуха не хватало. Я глотал ту самую пыль, которая поднималась рядом со мной.

Когда человек бежит, то, конечно, касается земли, а земля, как известно, не такая ровная и не такая гладкая, чтоб на ней не споткнуться. Камень ли, выбоинка ли, бугорок ли — все цепляется за ноги. Зацепилось и за мой непутевый палец. Слишком большим он у меня вырос. Вечно ему достается, только поспевай заживлять ранки и охаживать ушибы. Нашелся на дороге камень, которому очень понравился этот мой большой палец, и он решил с ним поздороваться. Ну, а когда они поздоровались, я со всего маху шлепнулся в пыль. И не только шлепнулся, но и пропахал дорогу лбом и носом.

Конец!

В другом случае я бы вскочил тут же и снова бросился бежать, но в этот раз не шелохнулся.

Обреченность сковала меня, не то что бы сдвинуться с места, дыхнуть не решаюсь. Будь что будет! Лежу, жду, когда схватит меня пожиратель. Только гулко, тоскливо стучит сердце и текут слезы.

Кругом тишина. Смолкли копыта, перестали греметь колеса. Кто-то робко подошел ко мне. Произнес:

— Назиркул, что ли?

Баччаджиш, оказывается, знает мое имя. Впрочем, духи все знают, на то они и духи. Могут даже говорить голосом близкого человека. Вот и сейчас зазвучал голос мужа сестрицы Зухры.

— Жив, что ли?

Меня не обманешь. Откуда здесь взяться Нармураду-ака? Неоткуда. Пусть пожиратель думает, что я меж тв. Мертвых духи, наверное, не едят. Баччаджиш душил детей и потом высасывает их кровь. А душил можно только живых.

— Жив, кажется!

Голос все же слишком похож на голос Нармурада-ака. Трудно так подделаться под чужой голос. А вдруг это сам Нармурад?

Я осторожно повернул голову и одним глазом глянул на человека, а может, и не человека, а пожирателя детей. Оказался человек.

— Нармурад-ака?!

— Я самый... Узнал?

— А вот тебя трудно узнать. Что случилось?

Мне стало легко, так легко, будто огромный камень сняли с моих плеч. И от этой легкости я обессилел, не могу подняться, ни произнести ничего. Смотрю на Нармурада-ака и глотаю слезы радости. А только что они были горькими.

Из моего пальца текла кровь. Нармурад-ака сокрушенно покачал головой:

— Эх, глупыш ты эдакий, надо смотреть на дорогу; так не то что палец, ногу потерять можно. Ну, лезь на арбу, поедем.

Он поднял меня за плечи и повел к арбе. Я прихрамывал. Боль, которая в страхе не ощущалась, теперь проявила себя во всей остроте. Будто в палец мой вонзились горячие иглы. Борясь с болью, я все же заметил, что арба была не пуста. На ней сидела женщина без чачвана. Не мусульманка, следовательно, иначе не посмела бы предстать перед мужчинами с открытым лицом. Но это еще не все. Она была русской.

За всю свою жизнь мне довелось видеть лишь двух русских женщин — жену полковника Рукина и тетюшку Марьям, фельдшерицу канцелярии мингбаши, названую сестру моей матушки, но я почему-то сразу понял, что спутница Нармурада-ака тоже русская. То ли слишком белым было ее лицо, то ли серые глаза глядели смело и добро, то ли цвет волос, светло-каштановый, казался уж слишком необычным. В раскованности какой-то, в смелости. Будто это была птица вольная, захочет и полетит...

Она улыбнулась мне ободряюще и подняла руку, останавливая Нармурада-ака и меня тоже. Взяла какой-то ящичек и, держа его под мышкой, прыгнула с арбы прямо в пыль. Снова улыбнулась смущенно и присела на корточки возле меня. Пальцем потребовала, чтобы я поднял ногу.

— Ах-ах, бедняжечка,— сказала она.— Небось больно. Ну, потерпи, сейчас пройдет. Сейчас...

Думаю, что именно так она сказала, потому что другие слова не говорят, успокаивая поранившего ногу мальчишку. Тогда я ничего-ничегошеньки не понимал, так как не знал ни одного русского слова. Но доброту и заботу почувствовал. А это не лучше ли любых слов, даже самых красивых. Рука ее с ваткой, смоченной какой-то пахучей жидкостью, еще не коснулась моего глупого пальца, а я уже почувствовал облегчение, даже боль утихла. Но когда коснулась, я едва не вскрикнул. Ватка обожгла меня.

— Ничего, ничего, — сказала русская женщина. — Так всегда бывает. Это ненадолго...— И подула на палец.

То ли от слов, то ли от лекарства боль, верно, стала стихать. Во всяком случае терпеть я уже мог. Улыбнулся даже.

Палец мой обмазали чем-то, нарядили в тюрбан из белой материи и кончики ее завязали. Потом Нармурад-ака торжественно поднял меня на арбу, помог взобраться туда же русской женщине, сам сел на оглобли. Тут только заметил я, что лошадь под ним была вовсе не серая, а гнедая. Небольшая лошадь. Как она умудрялась так громко стучать копытами? Для этого надо иметь огромные подковы, с пуд весом. А их не было.

Нармурад-ака тронул лошадь, и арба, весело скрипя колесами, покатила по дороге. Некоторое время мы молчали. Происшествие выбило всех из колеи, и никто не знал, с чего начать разговор. А может, его и не нужно было начинать. Русская женщина не знала нашего языка: что она скажет? Я знаю язык Нармурада-ака, да не смею открыть рта. Стыдно. Нармурад-ака догадывается об этом и молчит, чтобы не заставить меня краснеть.

С полверсты мы проехали, а то и больше. Кабз-мазар остался далеко позади, прежде чем Нармурад-ака решился нарушить молчание.

— Зачем человек бежит, когда за ним никто не гонится? — спросил он, полуобернувшись и рассматривая меня любопытным взглядом.

— Гонится, — ответил я и сразу облился краской.

— Кто же?

— Баччаджиш.

— Почему же мы не видели его, хотя ехали следом?

«Вас-то я принял за пожирателей детей», — хотел сказать я, но не решился. Это было бы смешно и оскорбительно для Нармурада-ака.

— Его нельзя увидеть, он дух, — пояснил я как мог.

— Если его нельзя увидеть, как же сумел сделать это ты, или глаза тебе дала сова?

— Я услышал.

— Ха! — усмехнулся Нармурад-ака. — Разве Баччаджиш кричал?

— Нет, он стучал копытами и скрипел колесами.

Нармурад-ака схватился за живот.

— Копытами стучал мой конь, а колесами скрипела арба, на которой сидела русская сестра. Или мы похожи на волков, что набрасываются на детей? Наслушавшись бред-

ней, в самом деле попадешь в беду. Палец-то твой ни за что пострадал.

Пристыженный, я опустил голову. Верно ведь говорят, страх бежит впереди человека. Не героем выглядел я во всей этой истории с Баччаджишем.

Русская женщина заметила мое огорчение и попыталась утешить. Она погладила меня по голове и наткнулась на косичку, знак моего жертвования святому Шахи-Зинда.

— Баранчук — барышня?

— Нет, нет! — покрутил головой Нармурад-ака. — Баранчук... Назиркул. — Он показал на косичку. — Мусульманский закон.

— А-а! — протянула русская женщина. — Мусульманский закон... Я понимаю... Аллах!

— Аллах, — подтвердил Нармурад.

Так они поговорили. Не знаю, поняли ли друг друга. Может быть, и поняли. Я все понял: косичка-то была на моей голове.

Снова наступила тишина. На этот раз она длилась долго, почти до самого конца пути. Мы несколько раз сворачивали, объезжали возникавшие вдруг на дороге деревья, перебирались через арыки, вязли в жидкой грязи, версту целую одолели, пока не уткнулись в какой-то дувал.

Нармурад-ака спрыгнул с лошади, подошел к калитке и постучал рукоятью камчи в резные створки.

— Кадыркул-ака, хо, Кадыркул-ака!

Двор был, кажется, пустым и отозвался на оклик лишь глухим эхом. С деревьев сорвались воробьи, закружили над садом.

Нармурад-ака снова постучал.

Скрипнула далекая дверь айвана, зашаркали кавуши по сухой земле, и створка калитки медленно, будто нехотя, приоткрылась. Из проема высунулась голова хозяина — не старого еще мужчины, но уже с проседью в бороде.

— Кадыркул-ака, ассалам алейкум! — сказал учтиво наш возница. — Вот привез вашу дочь!

Хозяин вскинул глаза на арбу, наткнулся сначала на меня, а потом уже на русскую женщину. Она ему приветливо улыбнулась. Недоумение и замешательство в первую минуту возникло во взгляде Кадыркула-ака, но лишь в первую минуту. Он не сразу, должно быть, сообразил, откуда взялась вдруг русская женщина. Но вспомнил что-то, и лицо его озарилось радостью.

— Ваалейкум ассалам! Пожалиста, пожалиста...

Хозяин толкнул сильной рукой створку и вышел на ули-

цу. Был он широкоплеч, костист, по ужасно худ. Рубаха на нем висела, как мешок на сухой жерди.

— Салам! — ответила на приветствие гостя.

Оказывается, гостя знала несколько узбекских слов и даже применяла их в нужный момент, хотя были они не совсем точными, переделанными на русский лад. Когда хозяин, названный нашим возницей Кадыркулом-ака, пригласил ее в дом, она произнесла именно такое—полурусское-полуузбекское:

— Мамашка бар?

Кадыркул-ака закивал утвердительно.

— Бар, бар... Пожалиста!

Я понял гостью, хотя первый раз услышал такое слово: «Мамашка». Мне понравилось угадывать слова, возникала какая-то волнующая душу общность. Сама гостя мне тоже понравилась. Она ласково смотрела на всех, ну и на меня, конечно, и как бы согривала своим взглядом. Мне показало, что она всему рада, тому, что видела, и тому, что должна была увидеть. И удивление ее было светлым. Узнав, что мать Кадыркула-ака дома, гостя стала пылливо вглядываться в тенистый полумрак сада, ожидая появления нового незнакомого ей человека, но заранее приятного. Улыбка не сходила с ее лица.

Не обращая внимания на свою покалеченную ногу, я принялся помогать госте спуститься с арбы. При такой высоте и двух огромных колесах спуск не так-то просто осуществить. Но есть ли неосуществимое?! Через минуту гостя была уже на земле и входила в дом Кадыркула-ака.

Меня никто не приглашал в дом, но никто и не закрывал передо мной калитку. Вместе с русской гостьей и Нармурад-дом-ака я оказался во дворе. Навстречу нам вышла мать хозяина — рослая, костистая, как и Кадыркул-ака, женщина в голубом ситцевом платье с огромной рыжей заплатой на боку. Заслоняя по мусульманскому обычаю лицо платком, она протянула госте руку. Женщина знала, что так принято у русских, и ждала ответного движения, а гостя вдруг обняла ее и прижалась к седым волосам старой женщины. В глазах хозяйки блеснули благодарные слезы.

Последним во двор вошел Нармурад-ака. Он нес на плече небольшой узелок, наполненный не то зерном, не то мукой. Наверное, мукой, потому что щека его была замарана чем-то белым. Узелок перешел в руки удивленного и смущенного хозяина.

— Благодарим гебя, доченька! — сказал он. Голос у него при этом вздрогнул. Богатства большего, чем горсть муки, не было в те дни в Джизаке.— Благодарим!

Я все еще не мог уяснить, почему Кадыркул-ака, называя гостью доченькой, произносит это слово не просто уважительно, как, скажем, девушку из чужой семьи или подругу дочери, а с каким-то значением, словно хочет подчеркнуть, что она действительно близкий ему человек. Вроде бы приучает ее к новой для нее роли в жизни. Передавая узелок матери, Кадыркул-ака так прямо и сказал:

— Дитя, почитающее родителей, благословенно богом. Будь такой всегда, доченька. Появление твое в отчем доме — праздник. А ну-ка, матушка, испеките-ка поскорей катырму. Без дастархана какое торжество.

Старушка провела гостью к супе и усадила ее там, а сама заспешила к тандыру, чтобы приготовить ту самую катырму, что должна была украсить торжество и, главное, наполнить наши желудки. Я уже причислял себя к участникам торжества, представляя его себе в виде обильного дастархана.

— Братец, вы понимаете что-нибудь по-русски? — спросил озабоченно хозяин нашего возницу Нармурада-ака.

Тот развел руками.

— Не больше вас.

— Значит, всего три слова: пожалиста, давай-давай, хорошо. А этого, я думаю, мало для разговора с дочерью?

— Мало. Но ведь и это богатство, вас теперь можно звать Кадыркул-урус.

Хозяин лукаво подмигнул Нармураду-ака.

— А что! Если моя названная дочь русская, почему бы и мне не быть русским. Плохо ли звучит: Кадыркул-урус!

— По-моему, хорошо, — кивнул Нармурад-ака.

— Я тоже так думаю. И все же с богатством из трех слов счастья не сотворишь. Надо знать хотя бы сто. Есть ли в махалле человек, знающий сто русских слов?

— Есть, — ответил Нармурад-ака. — И не сто, а целую тысячу.

Глаза хозяина раскрылись в изумлении.

— Тысячу?

— Да, да.

— Кто же это?

— Худайберды, сын Абдусагата.

— Может, я ослышался?

— Нет, не ослышались, сын Абдусагата. Он вернулся из Верного совсем русским. Говорит без запиночки, поспевай только ловить слова.

Кадыркул-ака погладил свою убеленную сединой бороду.

— Кто бы мог подумать! Таким нескладным был отец, в детстве мы все потешались над ним. Спросишь Абдусагата, где рот, а он показывает на уши. Выходит, правильно говорят, если захочет бог наградить человека, то не станет любопытствовать, кто его родители. Дарит и все...

— Так что же,— не угадав ход мыслей хозяина, произнес Нармурад-ака,— звать Худайберды или не звать?

— Мал небось,— рассудил он.

— Не велик, да что рост! Ноги к языку не приставлены.

Видимо, рост мало беспокоил Кадыркула-ака, он думал о возрасте. Не хотелось ему в разговоре с дочерью иметь посредником мальчишку. У самого борода, а собеседник — безус. Может, слова такие придут, что только седому человеку и слышать их.

— Ноги, конечно, к языку не приставлены. К языку голова приставлена,— раздумчиво произнес он и тем раскрыл свои опасения.

— Ну, голова у Худайберды крепкая, тибетейка с нее не спадет.

— Ладно, зовите своего Худайберды,— согласился хозяин,— пусть поговорит с моей дочкой. Ей, верно, приятно будет слышать русскую речь.

Нармурад-ака мгновенно исчез в калитке и через какую-то минуту вернулся, ведя за руку очень смуглого и очень тонкого подростка И очень стеснительного. Увидев бородастого хозяина, паренек вспыхнул и опустил застенчиво глаза. На голове его ярко горела цветастая тибетейка, та самая, про которую Нармурад-ака сказал, что она не спадет. Тибетейке, верно, трудно было упасть с головы Худайберды: слишком круглой и слишком большой она была. С моей, например, головы тибетейка часто падала. Знаток русского языка произнес приветствие по всем правилам и сделал это неторопливо, из чего я заключил, что он мальчик умный и знает цену достоинству. О том же говорила и его осанка. Он стоял прямо, гордо подняв голову. Одежда его была чистой, без единого пятнышка, хотя и с заплатами, но они были сделаны так, что шва не заметишь. Больше всего меня поразили его штаны, они не были протерты на том месте, где всегда протираются у всех мальчишек.

Худайберды, не в пример мне, произвел на всех приятное впечатление. Хозяин обнял его и прижал к сердцу.

— Здравствуй, сынок, рады видеть тебя. Совсем йигит стал. Вот живем в одной махалле, а не замечаем, как растут наши дети. Скоро и борода появится, а? Появится, как ты думаешь?

Знаток русского языка смутился и почему-то провел рукой по своему подбородку. Признаков бороды там не было.

— Появится,— не дождавшись ответа Худайберды, заключил хозяин.— Печалиться о ней не следует, придет день, и всевышний пошлет то, что положено йгиту. Просим на супу! Познакомлю тебя с моей русской дочкой. Поговори, порадуй ее душу.

Хозяин поднялся на террасу, взял там небольшую скамеечку, сбитую из тополевых жердей, и поставил на супу перед гостьей.

— Сделал, чтобы удобно было,— пояснил он Худайберды.— Русским, говорят, трудно сидеть на курпаче.— А дочери своей сказал лишь одно слово.— Пожалиста!

Гостья кивнула и улыбнулась. Скамеечка ей понравилась. Забавная, вообще-то, была скамеечка, ни на что не похожая: ни стул, ни табурет, ни стол, и сбита не слишком умело, но крепка и удобна. Гостья опустила на нее и прикрыла всю своей широкой, как шатер, юбкой. Сказала:

— Рахмат.

Кадыр-ака засиял

— Скажи моей дочке, что для нее сделал я эту скамейку,— торопливо приказал он Худайберды.

Худайберды кивнул и перевел слова хозяина. Слов-то было совсем немного, а говорил Худайберды долго. Очень долго. И отвечала гостья тоже долго. И все время улыбалась и смотрела на Кадыркула-ака, на своего названного отца.

Лопотал Худайберды здорово. Без запиночки. Я голько рот раскрывал, пораженный, как он это ловко вынимает из своего невидимого бельбага слова. И сколько их там у него? Когда он вдруг по какой-то неизвестной мне причине останавливался, мне казалось, что вот наконец слова кончились и Худайберды не сможет больше ничего сказать. Иссяк запас. Хотя Нармурад-ака и заверил всех, будто у Худайберды целая тысяча слов, но ведь и тысяча это всего десять сотен и последняя сотня израсходована. Мы не считали их, этих слов, слишком быстро они слетали с губ Худайберды, однако даже полный мешок изюму, если вытаскивать по одной яголке и класть себе в рот, рано ли, поздно ли опустеет. Бельбаг Худайберды не пустел, тысяча не кончалась.

Нармурад-ака был доволен, кивком головы он встречал и провожал каждую фразу и поглядывал многозначительно на нас: смотрите мол, какого знатока я вам привел. Как без него обошлись бы в таком трудном деле, тут и сам бог не поможет.

Кадыркул-ака, наоборот, был недоволен, даже встревожен. Он никак не мог взять в толк, почему так долго переводит Худайберды его простое слово о скамейке и почему так много слов произносится в ответ. Воспользовавшись паузой, он спросил Худайберды:

— Неужели на одно узбекское слово приходится десять русских? Так мы станем богатыми людьми.

— Нет, нет,— мягко пояснил Худайберды.— Дочь ваша уже поблагодарила своего отца по-узбекски, произнеся «рахмат!»

— Так о чем же тогда вы столько говорили?

Худайберды смущенно опустил глаза.

— О любви...

Кадыркул-ака остолбенел. Всего, всего ожидал он, но не этого. На лице его изобразилось сначала удивление, а потом негодование.

— О чем?!

— О любви,— повторил тихо Худайберды и вспыхнул стыдливо. Ему самому слово это нелегко было произнести. Однако ничего зазорного оно в себе не таило. Худайберды объяснил:

— Дочь ваша чтит своего названного отца, и сердце ее полно гордости за него. Такого честного, трудолюбивого и доброго человека должно уважать и любить.

Теперь пришел черед Кадыркула-ака смутиться и потупить глаза. Он не ожидал такого признания в верности от названной дочери. Все-таки она была иной веры. Не мусульманка.

Худайберды угадал мысли хозяина и сказал:

— Вера не должна людям мешать быть братьями. Тот, родной ее отец, беспокоился, не побоятся ли вы, Кадыркул-ака, различия языка и бога, и не закроете ли перед названной дочерью своего сердца. Но вы не закрыли. Это поняла ваша дочь сегодня...

— Да, да...— прошептал Кадыркул-ака. Он был тронут. Повлажневшие глаза его смотрели на улыбающуюся и тоже взволнованную дочь. Он был благодарен.

— Когда вы помогли ее родному отцу обнести изгородью лесничество,— продолжал Худайберды,— и отец предупредил вас, что работу придется приостановить, так как начальник отказался платить, вы, Кадыркул-ака, не прекратили работу, вы сказали: «Что начато, должно быть конечно. Нет денег, но есть доброе слово, и с ним тоже можно жить, запивая чаем и заедая лепешкой». И закончили дело. Отец ее назвал вас тогда братом. «Смотри, дочка,— сказал

он, — этот человек, желая доставить людям радость, готов взвалить на свои плечи гору».

Не одного Кадыркула-ака взволновали слова русской гостьи. Мне тоже стало радостно. Оказывается, этот Кадыркул-ака необыкновенный человек. Добрый человек. Никогда мне не приходилось делать открытия, и вот, кажется, я сделала первое. И помогла в этом русская женщина, дочь Кадыркула-ака. Как, должно быть, хорошо иметь такого отца. Она счастлива...

Хозяйка дома, та самая костистая, высокая старуха, вынесла на подносе горячие катырмы и положила перед гостьей и переводчиком. Кадыркул-ака срезал кисть винограда, свисавшую с густой лозы прямо на супу, и опустил рядом с лешками.

— Угощайтесь, дорогие!

Катырма была тут же разломана на куски и разложена между гостями. Не обошли и меня. Кадыркул-ака признал все же паренька с разбитым пальцем своим гостем, что было весьма кстати, так как желудок мой, несмотря на отчаянные попытки с моей стороны усостить его, громко требовал наполнения.

Хорошо было бы сразу отправить выделенный мне кусок катырмы в рот, а заодно и кисть винограда, но церемония принятия пищи исключала подобную торопливость. Надо было спокойно откусывать или отламывать маленькие кусочки хлеба, класть их на язык, затем отщипывать от кисти виноградинки, по одной и отправлять следом. И опять-таки не спеша. Всем хотелось есть, я думаю, очень хотелось, однако никто и вида не подал, что голоден. Наверное, это хорошо.

Самым равнодушным оказался Худайберды. Он отщипнул лишь одну виноградинку. Пальцы у него при этом дрожали, не знаю, от голода или напряжения. Выдержка мальчишки поразила, даже напугала меня. Ведь он был ровесник мне. ну, может быть, на год старше, а вел себя, как взрослый. Не только умом, но и характером Худайберды отличался от нас, мальчишек махалли Уратепе. Так вот, отправив в рот лишь одну виноградинку, он счел возможным продолжить рассказ.

— Дочь ваша, Кадыркул-ака, спросила меня: как ты, сын мусульманина, решил изучить русский язык. Я ответил, что, будучи в Верном, посещал русско-туземную школу, а решил так же, как решились вы стать дочерью мусульманина, будучи сами христианкой. «Да, наши судьбы схожи», — согласилась она. «А как твой отец относился к русским?»

«Он дружил с ними»,— ответил и. Ведь мой отец вместе с русскими строил дорогу Арысь — Верный. На строительство его пригнала нужда. Вы помните, Кадыркул-ака, как мы похоронили матушку? Отец заложил землю, чтобы купить саван, уплатить мулле и могильщикам. Земля стала чужой, и скоро нас с нее прогнали. На строительстве отец и дядя делали насыпь, раскидывали шпалы, а я кипятил чай рабочим и разносил по участку. Меня там все звали Богданом. Почему, не знаю. Наверное, от Худайберды. Берды хорошо слышится, когда зовут издали. Один русский инженер сказал как-то отцу: «Мальчик у вас памятный, русскую речь знает, ему бы учиться». Отец развел руками: «До этого ли нам? Денег нет». — «Деньги не нужны»,— объяснил русский. — «Если согласны, я отправлю мальчика в русско-туземную школу!» Отец подумал и согласился. Отвезли меня в Верный, поместили в школу. Там я пробыл до смерти отца. Теперь вернулся домой...

— Не больно сладкая твоя жизнь, Худайберды,— вздохнул Кадыркул-ака.— Слушать и то больно...

— Дочь ваша то же самое сказала.

— Большое, значит, у нее сердце,— сказал Кадыркул-ака.

— Большое, как у того русского инженера...

Гостья, внимательно следившая за разговором и улавливавшая по выражению лица собеседников, о чем идет речь, протянула руку и ласково тронула плечо Худайберды. Сказала что-то по-русски.

— Переведи! — потребовал Кадыркул-ака.

Как и в первый раз, Худайберды опустил смущенно глаза.

— Переведи! — повторил хозяин.

— Дочь ваша советует мне поехать к ним в лесничество, помогать ее отцу. Там нужен человек, знающий два языка.

Глаза Худайберды смотрели на Кадыркула-ака извинительно, словно просили прощения. Он считал себя виноватым перед хозяином дома.

Добрый Кадыркул-ака посуровел.

— У нее есть отец? — произнес он жестоко, с обидой в голосе.

Верно ведь, Кадыркул-ака считался отцом этой русской женщины. А раз так, то она должна была, прежде чем звать Худайберды в лесничество, испросить совета.

Гостья поздно поняла это. А когда поняла, исправить ошибку было уже нельзя. Отчаяние изобразилось на ее лице.

— Ата! — произнесла она испуганно.

Худайберды поспешил на помощь госте:

— Дочь спрашивает вашего позволения, Кадыркула-ака.

Сердце хозяина не было приспособлено для зла, поэтому оно легко с ним рассталось. Кадыркула-ака снова улыбнулся доброй, светлой улыбкой.

— А разве нужно мое позволение?

— Нужно.

— Ну, если так, то счастливой тебе дороги, Худайберды. Будь сыном брата моего, Егочли-тура — хозяина над бревнами.

Он обнял мальчишку и похлопал отечески по спине, а тот вдруг припал к его плечу и застыл так. Плечи его почему-то вздрагивали. Оказывается, не так уж много выдержки было у Худайберды, а я ему завидовал.

Впрочем, я и сейчас ему завидовал. Как мне хотелось быть на его месте. Неожиданно пустяковый случай привел меня в этот удивительный дом, свел с совсем незнакомыми людьми, и они почему-то стали мне дороги. Так дороги, что хоть проси чуда сделать тебя Худайберды, вот этим тонким, смуглым мальчишкой, сыном Кадыркула-ака и еще какого-то Егочли-тура, братом доброй улыбающейся русской женщины.

Может быть, чудо и свершилось бы, но торопливый Нармурад-ака помешал делу. Он сказал строго:

— Ну, пора. Пошли. Там ждет нас Зухра-апа.

И мы ушли.

Сердце мое, однако, осталось в этом добром доме.

ЕСЛИ БЕДНЯК ЕСТ КУРИЦУ, ТО ИЛИ ОН БОЛЕН, ИЛИ КУРИЦА

И вот в эти трудные дни, когда утро начиналось с беспокойной мысли: дожить бы до вечера, а вечер — дотянуть бы до утра, родители мои решили устроить той. Не знаю, кто их надоумил в голод объявить праздник, но объявили, и не только объявили, начали к нему готовиться.

Какие мысли приходят к человеку на пустой желудок. Где бы достать хлеба! Поэтому, прослышав о предстоящем торжестве, я стал рисовать в своем воображении обильный дастархан с румяными лепешками, сладким изюмом, ароматным чаем. Я уже чувствовал запах плова, который дымился в огромных казанах посреди двора. Картина была настолько яркой и ощущение реальности настолько сильным, что, когда отец ввел в калитку телка величиной с козу и привязал его к колышку у дувала, я даже не подумал, что это

имеет какое-то отношение к предстоящему празднику. Лишь слова отца, произнесенные после завершения несложной процедуры водворения теленка на предназначенное ему место у дувала, несколько отрезвили меня.

— Ташкентская, — сказал он, — зарежем теленка, а ты с головой и с ногами сваришь его в казане! Лучшего угощения по нынешним временам не придумаешь.

Предстоящий праздник сразу потерял для меня свою привлекательность. Да что привлекательность! Разочаровал. И не одного меня. Матушка, увидев козу, то есть теленка, разрыдалась. По худому лицу ее полились такие обильные слезы, что отец, чего обычно не бывало, принялся утешать матушку:

— Не плачь попусту. Зачем сокрушаться по тому, чего нет? Если аллах вместо десяти дынь послал одну, не бросать же ее. Разрежем на кусочки, пусть не насытятся все, зато каждый ощутит сладость спелого плода. Нигде не сказано, что жертва богу должна быть весом в сто пудов. И один пуд — тоже жертва. Лишь бы принести ее. А я думаю, телок пуд потянет...

Слезы матушки стали еще обильнее.

— Ой, ташкентская, — растерялся отец, — не горевать надо, а радоваться надо. Сколько людей забрал голод, а твоего младшенького не тронул. Дай бог, вырастет, женим его и тогда устроим праздник, какого не видывала махалля. А теперь главное, соблюсти закон, сделать руку мальчика «праведной».

С отцом я, пожалуй, согласился бы. В конце концов братик мой совсем маленький, что он понимает в праздниках. Он и не видел еще ни одного. Но матушка произнесла такое, что меня обдало холодом.

— А Назиркул, — сказала она, глотая слезы, — Назиркул-то как? Ведь мы решили женить его.

Отец сделал большие глаза и с испугом глянул сначала на матушку, потом на меня. Должно быть, не вовремя матушка раскрыла тайну. Но, как говорится, сказанное подобно птице, стоит ее выпустить, как начнет она скакать с ветки на ветку.

— Оббо! — вздохнул отец. — Коли решили, то женим... В один день сотворим два угодных богу дела.

Теперь широко открыть глаза пришлось мне. От изумления. То, что меня собирались женить, было не самым главным в данном случае. Главным было то, что объявлялись два праздника — и еще каких! — а во дворе один-единственный тощий теленок ростом с козу. Тут есть от чего

изумиться и впасть в отчаяние. Где пудовые котлы, где горы лепешек, где мешки с изюмом? Где шелковые одеяла? Где ковры и бархат? А карнай? На свадьбе без карнаев уже не обойтись. Они должны реветь на всю махаллю. Да что на всю махаллю! На весь Джизак!

Вид у меня был настолько растерянный, что матушка перестала плакать и поспешила ко мне на помощь.

— Назиркул, сыночек... Не пугайся! Ты еще мал, четырнадцатую зиму лишь увидел, какая тут женитьба! Но бог велит думать о ближних. Мастоң, твоя нареченная, погибнет, если мы не возьмем ее к себе. Голод ведь, сам знаешь! А ввести в дом девочку без свадьбы не разрешает шариат.

Я смутно помнил о какой-то помолвке с Мастоң, когда меня, пятилетнего, заставили укунить ее ушко, вернее, коснуться только. Может, и не помнил, узнал от взрослых. О Мастоң, как о невесте своей, никогда не думал и, попадая в дом Зухры-апа, которая приходилась ей сестрой, не замечал маленькую девочку с косящими глазами, да и она меня, наверное, не замечала. И сейчас мысль моя не останавливалась на Мастоң. Как голодный, а голодные ужасные эгоисты, я оценивал создавшееся положение, пересчитывая все на лепешки: в доме семеро просящих хлеба, появится еще восьмой — тоже просящий.

— Хорошо, — ответил я матушке, и голос мой при этом дрогнул. — Если Мастоң ждет гибель в собственном доме, пусть войдет в чужой дом!

— В наш дом, — поправила меня матушка.

— В наш дом, — неохотно и не сразу повторил я.

На этом разговор о свадьбе и закончился. До самого праздника никто не возвращался к нему, не пытался возвращаться к нему и я. Женихом меня не называли. Со мной обращались по-прежнему, как с мальчишкой: «Эй, Назиркул! Куда ты подевался, непутевый? Станешь ты, наконец, взрослым?» В дом должна была войти невеста, а я бежал босым, в чужой рубахе и в чужих портках с заплатами на самых нескромных местах. Объявление свадьбы не внесло никаких перемен, не сделало меня йнгитом ни в собственных глазах, ни в глазах близких. Оно не оторвало меня от детства. Я все еще мечтал о большом бумажном змее, который из моих рук мог бы взлететь в небо, ждал весны, чтобы взобраться на Джизакские холмы и искать там подснежники. Взрослым мальчишку делает время, а его как раз не оказалось. Едва ввели во двор теленка, как все закрутилось, заторопилось, и вот уже день свадьбы.

Той устроили во дворе.

Была поздняя осень. Прошли холодные дожди, и земля раскисла. Ступишь ногой — и к подошве сапог прилипнет огромный, как верблюжья лапа, ком грязи. Дорогу, так ту совсем развезло. Гости добирались до нашей калитки, подняв полы чапанов выше колен и вытаскивая с невероятными усилиями кавуши из вязкой жижи. Это были махаллинские старики — тощие, сгорбленные, унылые. Ни на одном я не увидел праздничного халата. Да что праздничного, хотя бы без заплат.

Заложив руки за спины, как и полагается седобородым, старцы чинно проследовали через двор к террасе, скинули на пороге кавуши и расселись вокруг дастархана. Столик по такому торжественному случаю был покрыт скатертью, но на скатерти лежало всего лишь несколько лепешек — все наше богатство. Впрочем, в то время это действительно было богатством.

Старики засунули озябшие ноги под столик, ближе к углям сандала, и стали ждать главного угощения — шурпы из того самого теленка, которого три дня назад привел мой отец.

Наконец шурпа, переместившись из казана в глиняные касы и тарелки, оказалась на дастархане. Голодный огонь горел в глазах стариков, но никто, прежде чем была сотворена молитва, не коснулся тарелки. А когда коснулся, то сделал это неторопливо, церемонно, будто был сыт и только из уважения к хозяину и после его настойчивых просьб принимался за еду. Истинное состояние гостя выдавали лишь руки — они дрожали, когда кусочек лепешки обмакивался в шурпе и потом подносился ко рту.

Гости были не мои, пока не мои. Они пришли на той по случаю совершения обряда над моим младшим братом. Обряд сотворил парикмахер Шади после того, как была съедена шурпа и кукурузные лепешки, после того как со скатерти собрали и отправили в рот все крошки. Старцы снова помолились: надо было отблагодарить бога за то, что он принял под свою длань еще одного мусульманина.

Солнце перевалило за макушку самого высокого тутовника Каландарханы, когда явились мои гости — парни из нашей махалли. Глины на их сапогах было поменьше, чем у стариков, то ли шли осторожнее, то ли земля подсохла за день. А вот заплат на чапанах было, пожалуй, больше, чем у стариков. Где их только не понаставили заботливые руки матерей, и чем только не понаставили. О цветах уж и говорить нечего: от желтого до красного, от зеленого до синего. Впрочем, я тут переборщил. У некоторых йигитов заплат не

было на чапанах. И не потому, что их не успели пришить. Не было самих чапанов.

Церемония повторилась, йигиты прошли на террасу, сели за дастархан и принялись за телячью шурпу. Я стоял у порога и смотрел на парней с каким-то тревожным ожиданием. Мне казалось, что вот сейчас произойдет то самое удивительное, именуемое праздником, к которому готовилась наша семья. Не одним только теленком, которого съели и даже косточки обглодали, все кончится. У отца, конечно, не было денег, чтобы пригласить музыкантов, но и без денег мог бы кто-нибудь затрубить в карнай там, на улице, за нашим дувалом, ударить по тугой коже дойры, засвистеть в сурнай. Я верил в сказку, жил во мне еще мальчишка, хотя люди и делали из меня взрослого. Йигиты помолились, поднялись с дастархана, и ничего, ничего необыкновенного не произошло. За калиткой было тихо, не то что карнай, петух не прокричал.

Дядя взял меня за руку и ввел в круг йигитов.

— Поздравляем тебя с праздником, — сказали парни, — поздравляем с невестой.

Праздник, значит. Ничего необыкновенного уже не произойдет, если дошло до поздравлений. Я прижал руку к сердцу и поклонился йигитам. Но сделал это неловко, смущаясь от тех слов, что мне предназначались.

Старший из парней, не раз присутствовавший на свадьбах, Курбанбай-палван взял на себя роль распорядителя.

— Где сарпо? — спросил он.

Жениха полагалось нарядить в новую одежду, которая находилась в узле. Брат Манзур держал этот узел, вернее узелок, и, услышав вопрос Курбанбая, стыдливо протянул его распорядителю.

— Вот все, что есть... Как-нибудь уж нарядите Назиркула.

Горечь, таившаяся в словах этих, не дошла до меня, да и смысл сказанного не был принят: зачем в такую минуту жениху испытывать разочарование? Он ждет чуда. Все еще чуда! Вот развернут платок и все ахнут: «Ну повезло же тебе, Назиркул!» И я улыбнусь, радостно смущенный: «Повезло!»

Курбанбай-палван освободил один из концов платка, сунул руку в узелок и стал там шарить. И чем больше старался, тем растерянее становился его взгляд.

— А где же сладости? — повернул он голову к Манзур. — Халва где?

Брат знал, что в узелке нет сладостей, и теперь, уличен-

ный в том, что не предупредил Курбан-палвана, виновато опустил голову. Густая краска залила его лицо.

— Если на весы кладешь не барана, а сарпо величиной с воробья, то и гирию клади не пудовую. Многого не достает в узелке.

Теперь Курбан-палван покраснел. Понял, что узелок собран по времени и искать в нем шелк да бархат не надо. И я понял это, и сделалось мне грустно. Последняя надежда на чудо померкла.

— Что ж, — сказал старший йигит. — Не пудовую, так не пудовую. А ну, жених, раздевайся! В праздничном наряде положено предстать перед невестой. Каким бы ни был тощим узелок, что-то в нем есть.

Он тряхнул узелком, словно там находилось что-то звонкое, и оно должно было, зазвенев, всех поразить, и прежде всего меня.

Не зазвенело ничего в узелке, но это не смутило Курбанбая. Торжественно, словно совершалось магическое действие, он вытянул из свертка рубашку, развернул ее и посмотрел на меня оценивающе. Рубашка была большой, такой большой, что в нее могли влезть двое Назиркулов. Шили-то ее для старшего брата, а он головы на две выше меня. Примеряя ее, я вспомнил, как дня три назад Зумрат-апа, жена брата, вывешивала во дворе белье после стирки и в числе многих рубах и штанов была и эга с надорванным воротом.

Весельчак Урдушмат, помогавший старшему йигиту наряжать меня, не удержался от острого слова.

— Не пугайтесь, — сказал он. — Рубашка и штаны длиннее Назиркула всего лишь на высоту кукурузного стебля. Пока мы дойдем до невесты, жених подрастет.

Йигиты расхохотались. И не от одних только слов Урдушмата. Вид мой был в самом деле смешным: на тощих, как у журавля, ногах болтались широченные штаны брата, рукава рубахи свисали чуть не до колен.

— Вот и хорошо, — стараясь сдержать смех, кивнул Курбанбай. — Тому, кто растет, одежда нужна с запасом. Да и, как говорится, рука переломится — рукав прикроет, голова расколется — скроет тюбетейка. Дайте-ка сюда тюбетейку.

Старшему йигиту подали тюбетейку, и он водрузил ее на мою голову. Она пришлась мне впору, и причин для насмешек на сей раз не было. Не спали с ног и сапоги брата — их держали несколько пар портянок.

Самым неподходящим оказался камзол. В сравнении с ним даже рубаха, доходившая рукавами до колен, не выглядела такой уж смешной. Это было женское пальто, черное

шерстяное пальто с бархатным воротником. За этот воротник Курбанбай-палван держал его, с удивлением рассматривая, словно диковину какую-то. Ни один жених еще не появлялся перед невестой в русском женском наряде. Я буду первым.

— Что ж,— произнес озадаченный Курбанбай,— камзолы всякие бывают, этот, я думаю, тебе подойдет.— И старший йигит накинул мне на плечи пальто, добавив при этом с улыбкой: — Он шит точно на твой рост.

Все, что вынимали сегодня из праздничного узла, я узнавал. Узнал, конечно, и пальто. Его принесла нам еще до Джизакского восстания нареченная сестра моей матери Мария Александровна, или, как мы звали ее, Марьям-апа. Принесла вместе с другими вещами, боясь, что полиция, производя обыск в ее каморке, заберет все. А обыскивать должны были: ведь сын Марии Александровны преследовался царским правительством как революционер и сама Марьям-апа находилась под надзором полиции. Во время восстания она исчезла из города, а брат спрятал ее вещи вместе с нашей швейной машиной в вырытой под домом яме и тем сберег. Сейчас матушка, видно, решила воспользоваться пальто, чтобы как-нибудь нарядить меня перед свадьбой. Ничего другого в доме не было. Не голым же выпустить жениха на улицу, как-никак зима почти.

Когда я застегнул пуговицы и расправил широкий, соборанный в сборки подол, Урдушмат развел восхищенно руками.

— Не жених, а русская барышня!

Насмешником был Урдушмат, от острого языка его трудно было уберечься, тем более мне, наряженному в женское платье.

— Повязывай скорее бельбаг! — решил спасти меня Курбанбай.— И надень ему чалму. Девушки чалм не носят.

Не знаю, спасли ли меня поясной платок и голубая чалма, наверное, спасли, потому что йигиты перестали лукаво улыбаться, даже Урдушмат и тот сделал строгое лицо — в чалме я выглядел взрослым.

— Хорош! — сказал Курбанбай-палван, отступая на несколько шагов и издали оглядывая меня.— Сегодня Назиркул вполне достойный жених, а завтра как бог распорядится: или подарит тебе бархатный чапан, или повесит на шею латаный хурджун.

Бархатный чапан меня вполне бы устроил, уговаривать тут не пришлось бы. Да и кто откажется от одеяния, предназначенного, может быть, для самих принцев? А вот лата-

ный хурджун Курбанбай упомянул напрасно. С латаными хурджунами ходили бедные из бедных, обездоленные из обездоленных. Перекинут через плечо переметную суму — ишака и лошади нет, а о верблюде и говорить нечего — и бродят по кишлакам в поисках куска хлеба. Хотя и в шутку все это было сказано, а не развеселило. Стало мне жаль себя, сердце заняло от какого-то недоброго предчувствия.

— Не тоскуй, Назиркул, — обступили меня йгиты и стали утешать. — Скоро увидишь свою избранницу.

Будто о невесте думал я. Тревожила меня собственная судьба, мальчишеские мечты покидали меня, и я не мог, не мог их остановить.

ПЕТУХ, КОТОРЫЙ КЛЮЕТ ЗОЛОТОЕ ЗЕРНО, УМИРАЕТ С ГОЛОДУ

Так уж, видно, было суждено мне — всю жизнь измерять дорогу от дома нашего до дома Зухры-апа. И в зной и в холод шагал я, борясь со страхом, как бы не схватил меня у старого мазара злой дух и не превратил в черепаху, или птицу, или того хуже — в лягушку, что живет в арыке, и каждый раз, одолев благополучно страшное место, добирался до заветной калитки и громко стучал в нее, чтобы отворили поскорее. Не по своей воле совершал я этот трудный путь, матушка посылала: «Иди, говорит, Назиркул, узнай, как там твоя тетя? Жива, здорова ли?» И я шел. Разве можно послушаться матушки!

Нынче я направлялся в нелюбимый мною дом без понуждения, по собственной воле. Там находилась моя невеста, и обычай требовал появления жениха у нареченной перед тем, как мулла назовет их имена вместе.

Грязь на улице была такой обильной, что самый безрассудный и самый смелый не решился бы идти посреди дороги, там и ишак с его длинными ногами увяз бы по уши. Мы двигались поэтому около дувалов, где земля пообсохла и сапоги не вязли в жидкой глине. Йгиты держались возле меня, стараясь заслонить от любопытных, если вдруг придет кому-нибудь в голову выглянуть из калитки. Наряд мой наверняка вызвал бы насмешку, впрочем, предосторожность была напрасной: сурнай не пел, а без него кто мог догадаться, что по улице ведут жениха.

Путь нам предстоял далекий — на другой край Джизака. По пути следовало заглянуть к родственникам, близким и дальним, выслушать их поздравления и получить подарки. Жениха обычно осыпали сладостями, которые к нему в рот

не попадали, их растаскивала веселая детвора. Но сама церемония была радостной и превращала дорогу к невесте в праздничное шествие. На этот раз пришлось нарушить обычай: не то что сладостей, хлеба ни у кого не было. Горькую улыбку могли лишь подарить жениху близкие. А на что мне горечь? У меня самого ее предостаточно. Минувя дома родственников, мы направились прямо к невесте.

Сапоги наши месили глину, месили старательно, словно мы собирались потом лепить из нее кирпичи. Занятие это не из веселых, поэтому рассказывать о нем не стоит, да и времени займет немало. Вместо того, чтобы описывать войну наших сапог с неподатливой глиной и смущать читателя повторением неласковых слов, которые произносились нами при встрече с коварными лужами, я лучше познакомлю его с моей невестой Мастон.

Мастон приходилась мне двоюродной сестрой и была младшей в семье, последней, как говорится, в роду. Отец умер прошлой зимой, мать — осенью. Все заботы о доме и домочадцах легли на плечи Зухры-апа. Впрочем, и при родителях было то же самое. Без старшей дочери семья Захида-бобо не продержалась бы дня. Несчастье стояло у порога дома, будто ожидая, когда кто-нибудь забудет закрыть калитку. И дождалось. Но это произошло уже в канун голода. А прежде Захида-бобо считали счастливым отцом: у него росли красавицы дочери и самая красивая из дочерей Зухра — Утренняя звезда. Она и верно была прекрасна, как утренняя звезда.

Совсем маленьким я любил бывать в их доме. И любил потому, что Зухра-апа ласково встречала меня и говорила такие слова, от которых детское сердце радостно замирало. Сердитого Захида-бобо я не замечал, будто его вовсе и не было в доме. Никого не замечал. Потом стал замечать. Наверное, повзрослел, а может быть, Захид-бобо стал еще злее. Желание стучаться в их калитку у меня пропало. И матушке приходилось придумывать разные способы, чтобы заставить своего Назиркула пойти навестить любимую тетю.

Обычно она начинала с того, что прикладывала пальцы к глазам и печально произносила:

— Что-то дергается моя левая бровь. Не к добру это. Не случилось ли что с твоей тетей, сходил бы, проведать.

Я откладывал коран, который зубрил: каждый ученик должен был ежедневно выучивать по несколько стихов, и молча глядел на матушку. Идти мне не хотелось, но и послушаться матушки не мог.

— Ну что же ты стоишь? Или тебе не жаль собственной тети?

— Жаль, но, может, с ней ничего не случилось.

— Как же не случилось, когда моя левая бровь дергается.

И матушка принималась поглаживать бровь. Потом целовала пальцы и прикладывала их к глазам.

— Бровь у вас и так дергается,— замечал я робко.

— Ты мастер перечить,— начинала сердиться матушка.— Слов глупых у тебя во рту больше, чем зерен в кукурузном початке, а умных — ни одного. Если бровь дергается, значит, душа неспокойна.

— Пусть душа ваша успокоится, схожу я к тете.

— Так бы сразу и сказал. Доброе дело надо делать с охотой. Обрадуется тетя, когда увидит племянника.

— Не знаю Она всегда спрашивает, отчего сестрица не навестит ее.

— Э-э, и тут ты вставляешь неумное слово. Ну пойду я, а кто тесто замесит, кто казан поставит: ведь сегодня четверг, за ним идет святая пятница, небось мулла объяснил тебе движение дней Так что поторапливайся, сынок. Пока думающий думает — делающий дело закончит. Тетя ведь ждет...

— Тетя-то ждет,— попытался я снова избавиться от неприятного поручения,— да дядя не ждет. Ругается, как я прихожу. Злой и жадный он.

— Нельзя говорить так о человеке, который старше твоего отца.

— Все так говорят,— оправдывался я.— Еще говорят, что он арвахурда.

— Опять полезли из твоей головы глупые слова. Почему арвахурда? Откуда ты это взял?

Я не знал, почему арвахурда. А взял это от ребятишек махалли, так они дразнили Захида-бобо. Понять смысл прозвища было трудно. Арвах — привидение, хурда — еда. Если два эти слова приставить к имени, то получится человек, поедающий привидение или долю привидения. Должно быть, Захид-бобо что-то отнимал от этого самого арваха. Привидение то же самое, что душа усопшего. Она понуждает совершать поминки на седьмой, двадцатый, сороковой день и спустя год. Нарушая обычай, утаивая предназначенное душе, родственники как бы поедали ее долю. Говорили, что Захид-бобо из жадности не устраивал поминки по отцу, от которого получил наследство.

Все это я поведал матушке.

— Глупый,— сказала она.— Пусть другие называют, тебе-то повторять зачем? Если один прыгнет с крыши, значит, и второму надо разбивать голову? Так, что ли?

— Нет, но как же мне называть его?

— Захид-бобо. Старого человека положено называть отцом отца. Ему первому поклонись и скажи: «Мир вашему дому!» Он ответит тебе тем же...

— Захид-бобо не отвечает.

— Бог с ним, пусть не отвечает, твое дело поздороваться. Когда мудреца спросили, у кого учиться учтивости, он сказал: у неучтливового. Не подражай плохому — будешь хорошим.

— Значит, Захид-бобо плохой?

— Затвердил свое! Кто знает, какой Захид-бобо, ты еще мал судить о старших.

— Он всех ругает. Тетя плачет, и сестрицы плачут.

— Оббо! Тебя не переспоришь. Вот как задергалась моя бровь, видно, твоя тетя в самом деле плачет.

Матушка сама была готова заплакать. Жалость переполнила мое сердце, и, как сшалелый, я бросился к двери.

— Постой, надень халат, не лето ведь.

Она сняла с гвоздя халат и стала надевать на меня, приговаривая при этом:

— Ты что, глину месил? Весь подол заляпан, скоро до ворота грязь доберется.

Умение мое забрызгиваться грязью известно всей улице. Не знаю, как это получается, но ноги мои всегда попадают в самые глубокие лужи, и комья глины разлетаются спугнутой стаей воробьев. Разлетаются, правда, недалеко, не дальше моего халата и моих штанов. Видимо, это самое удобное и безопасное для них место.

Опустив глаза, я выслушиваю все, что предназначено для неряшливого человека. На моем халате действительно целая сотня засохших комочков глины.

— Дорога такая,— пытаюсь оправдаться я.

— Э-э, глупый! — сердится матушка.— Не дорога выбирает путника, а путник дорогу. Не можешь обойти грязь? Для чего глаза у тебя? Или ты ногами смотришь?

Наверное, я смотрю ногами, а они обуты в кавуши и ничего не видят.

Только я подумал о кавушах, как матушка, словно угадав мои мысли, всплеснула руками.

— Боже праведный, в кавушах столько же грязи, сколько и на дороге! А ну-ка сними, я очищу их.

Тряпкой матушка вытерла кавуши, взяла пучок соломы

и затолкала внутрь, чтобы ногам моим было сухо и тепло. Тепла от соломы не так уж много, но босым ногам рядом с соломой все же лучше, чем с глиной.

Обутый, одетый, с тельпеком на голове я наконец оказываюсь на улице и начинаю свое путешествие к дому Захида-бобо. Вслед мне звучат последние напутствия матушки:

— Шагай осторожней! Подбери полу халата! Если впереди идет взрослый, ставь ногу в его след. Не черпай грязь кавушами, это не шурпа из курицы...

Я киваю, все, мол, понял и главное насчет супа из курицы, и перебираюсь на другую сторону дороги. Здесь чуточку суше, и из-под моих кавуш глина не будет разлетаться, как стая вспугнутых воробьев. К тому же правая сторона приведет меня ко двору тети. Не сразу, конечно; прежде придется миновать перекресток и пересечь большую дорогу, которая соединяет джизакский базар с окрестными кишлаками. Но что такое перекрестки и повороты! Это ведь не кладбище святого с его злыми духами. На перекрестке — люди Много людей. Рядом с ними нестрашно. Три чайханы и бакалейная лавка приманивают я горожан; и жителей джейляу, возвращающихся с базара в степные и горные кишлаки. Огромные пузатые самовары весь день курятся дымком и попыхивают паром. Под казанами не гаснет огонь — что-то варится, жарится в них, и аппетитный запах течет по улице. В холодную погоду здесь вроде бы теплее, а уж веселее — наверняка.

На перекрестке я во все глаза гляжу на людей, лошадей, арбы — по одежде, по сбруе, по колесам пытаюсь угадать, кто откуда приехал. На это угадывание уходит не так уж много времени, ровно столько, чтобы протащить свои изрядно облепленные глиной кавуши через дорогу. Впрочем, его вполне достаточно, я успеваю еще повернуть голову в сторону маленькой лавочки, где сидит сшивальщик посуды — чигачи, и подсчитать, сколько пиал и чайников он уже отремонтировал за утро, — они выставлены напоказ. И не только в сторону лавочки, но и в сторону земляной супы, на которой расположился пекарь Урунбай, и глазом определить, много ли румяной самсы осталось в его тазу. Напрасно матушка говорит, что я смотрю ногами. Нет. Глаза мои все видят и все примечают. Правда, до луж и кочек на дороге дело не доходит. У человека два глаза всего лишь, а кочек сотни. На одной из них я поскользнулся и лечу в лужу. Взмахами рук пытаюсь удержать равновесие, но это не помогает. Кому суждено испачкаться глиной, тот обязательно испачкается.

— Эх, бедняга! — слышу я голос шивальщика посуды. — Так можно расколоться хуже пиалы.

— В такую погоду, не поцеловав землю, трех шагов не сделаешь, — отвечает Урунбай-самсабаз.

Насчет числа шагов пекарь явно ошибся. Их было далеко не три. Но, находясь в луже, стоит ли уточнять. Надо подняться, но это так же трудно, как и не упасть. Ноги разъезжаются в разные стороны.

— Однако выбрал ты самую большую лужу, — замечает Урунбай-самсабаз и берет меня за ворот халата, чтобы подняться. — Сидел бы себе дома и грелся у сандала. Понесла же нелегкая на улицу.

Рука у пекаря крепкая. Как цыпленка вытаскивает он меня из лужи.

— В чем только душа держится? — качает головой пекарь. — Тебе бы по воздуху летать, а не по земле ходить. Куда торопишься-то?

— К тете, — отвечаю я, став наконец на ноги и пытаюсь смахнуть с халата грязь.

— К тете! — делает очень серьезное лицо Урунбай-самсабаз. — А я думал, в Мекку. К тете в любую погоду надо идти.

Шутку пекаря я не понял, но догадался, что тетя много важнее Мекки, если к ней надо идти в любую погоду. Шивальщик посуды рассудил точно так же и добавил:

— Зимой надо выходить из дому, только когда больна тетя или когда дают обезьяньи представления.

У больной тети я бывал часто, а вот на обезьяньих представлениях — ни разу. Да и устраивались ли в нашем городе такие представления — не слышал.

Поблагодарив самсабаза за доброту, я покинул перекресток.

Осторожно ступая, чтобы снова не угодить в лужу, упиравшись руками, словно посохом, в дувалы, я кое-как добрался до тетиной калитки.

Добрался, а вот отворить ее смелости не хватило. За калиткой мог оказаться Захид-бобо, а встреча с ним все равно, что со злым петухом, — сразу набросится и начнет клевать.

Сквозь щель начинаю разглядывать двор. Что можно увидеть в узенький просвет: старую урючину, край террасы и разбитый казан, который вот уже сто лет лежит посреди двора.

У дерева петуха, то есть Захида-бобо, не видно, у террасы — тоже. Под казаном спрятаться трудно не только дяде,

но и настоящему петуху — мал слишком. Путь в ичкари — женскую половину свободен. Я вбиаю голову в плечи, чтобы казаться неприметнее, и открываю калитку.

Конечно, счастливому человеку не стоит труда пройти от калитки до ичкари, он может пройти даже от дома до гузара, но я, как известно, не относился к числу удачливых, поэтому, перешагнув порог, тотчас наткнулся на Захида-бобо. Он вырос передо мной словно из-под земли.

— Явился! — произнес дядя тем самым удивительным голосом, от которого душа уходит в пятки.

Мне надо было ответить: «Да, явился», и поздороваться, как учила матушка, но все слова вылетели почему-то из моей головы, хотя она и была прикрыта шапкой, и язык прилип к гортани. Я еще глубже втянул голову в плечи, не обращая внимания на то, что уши уже уперлись в воротник.

— Молчишь? Здесь ты немой, а дома разговорчивый. Ну говори, зачем явился?

Я кое-как оторвал язык от гортани и прошептал:

— Так...

— Так только на базар с пустым кошельком ходят. Подсматривать да подслушивать пришел?

Как можно решительнее я закачал головой.

— Нет! Тетю навестить.

— Мать послала?

— У ней бровь дергается.

Захид-бобо так и взвился от этих слов.

— Ага, дергается! Сейчас и у тебя начнет дергаться.

Он протянул руку, чтобы схватить меня за ворот. И, наверное, схватил бы, не откройся дверь и не появишься на пороге Зухра-апа.

— Не пугайте ребенка, отец! — сказала она. — От страха он богу душу отдаст.

— Им всем время отдать богу душу.

Захид-бобо переступил порог и так хлопнул калиткой, что она чуть не сорвалась с петель.

— Пропади все пропадом!

Эти последние слова, произнесенные уже на улице, известили меня о конце боя, из которого я вышел невредимым и мог теперь войти в дом. С перепугу, однако, я позабыл, зачем пришел, и бросился к своей спасительнице Зухре-апа, прильнул к ней, как цыпленок, увидевший тень коршуна.

— Ну, ну, успокойся, — обняла она меня. — Ингиту не пристало плакать. И дрожать не надо, дядя ведь ушел.

Оказывается, я плакал. Перед Зухрой-апа мне не хотелось выглядеть жалким, поэтому с помощью рукавов я при-

нялся высушивать глаза, и так старательно это делал, что всю глину, прилипшую к халату, во время купания в луже, размазал по лицу.

— Э-э, да ты упал! — развела руками Зухра-апа. — Пойдем посушимся и обогреемся.

Комната, куда привела меня Зухра-апа, была полна родственников — моих сестер, братьев, их жен и детей. И все они сидели вокруг сандала и наслаждались теплом, что шло от тлеющих углей. Тетя приютилась в дальнем углу. Подперев голову руками, она жалобно стонала.

— Вай-вай! Может ли человек вытерпеть такие муки? Чугунный казан и тот раскололся бы от его кулаков. А каково моей голове?

Видимо, к семейному скандалу угодил я. Хотя трудно было не угодить. — скандалы здесь происходили каждый день, а то и два раза в день.

Слушая жалобы тети, я всем сердцем сочувствовал ей. Небось больно, когда бьют. Глупая детская мысль повела меня к казану, что лежал во дворе, и я рисовал себе картину, как Захид-бобо разбивает его своими страшными кулаками. Так он может и меня сокрушить в один прекрасный день.

— Мамочка, — произнесла Зухра-апа душевно, желая утешить бедную тетю мою. — Вы не перечили бы отцу, не вызывали его гнев.

— Разве волк, нападая на ягненка, ждет, когда тот заблест?

— Эх, мамочка, вы совсем не ягненок.

— Все хотят, чтобы я молча отправилась на тот свет...

Сказав это, тетя залилась слезами. И до моего прихода она, должно быть, плакала. Рукава чапана и платок ее были мокрыми, словно на них целый день лил дождь.

— Ну что ж делать, мы слабы. Такими нас создал бог, — вздохнула Зухра-апа. — Вы же сами учили меня покоряться судьбе. Судьба наша — гнев отца.

— Ох, ох! — билась в рыданиях тетя. — Кончатся ли когда-нибудь наши муки?

Меня самого начал бить озноб. Чужое горе легко трогает детское сердце. Быть в этом доме мне не хотелось, никогда не хотелось, и, не живи здесь добрая сестрица, я обходил бы его стороной. Умела она утешить, умела словно лучом солнца обогреть. Вот и сейчас, успокоив матушку свою, она вернулась ко мне, погладила мою голову, сказала забавливо:

— Грейся, грейся, Назиркул! И халат скоро высохнет, и кавуши очистятся.

Прикосновение ее рук было волшебным, все печальное, злое исчезало, и даже судьба тети не казалась такой безутешной, как минуту назад. И страх куда-то подевался, успокоенный я смотрел на всех, улыбаясь.

На какое-то мгновение Зухра-апа исчезла и вернулась с тарелкой, наполненной доверху жареной кукурузой. Любимое мое лакомство белело, словно гроздь цветущей акации, и оторвать от него глаз не было никакой возможности. Я проследил весь путь тарелки от двери до дастархана, боясь, что вдруг она проплывет мимо или какая-нибудь глупая кукурузинка спрыгнет на пол. Но тарелка не проплыла мимо и ни одна глупая кукурузинка не прыгнула на пол. Зухра-апа поставила лакомство на дастархан между мной и сестрицей Мастоном, нынешней моей невестой, а тогда восьмилетней девочкой с красивыми, чуть косящими глазами. В этих глазах всегда жила лукавинка, и я их побаивался.

— Угощай Назиркула! — приказала младшей сестре Зухра-апа. — Скажи, ешь, пока кукуруза еще горячая.

Если бы я стал ждать, когда Мастоном все это скажет, ни одна кукурузинка в тот день не попала бы мне в рот. Я не помнил, чтобы Мастоном в моем присутствии произносила какие-нибудь слова. Не произнесла она их и сейчас — хмыкнула насмешливо и спрятала лицо под скатертью.

Пришлось Зухре выручать сестрицу.

— Не жди, Назиркул, принимайся за дело!

Тотчас же я запустил руку в тарелку и через какие-нибудь минуты от пышной белой горки ничего не осталось. Мастоном только поглядывала на меня и улыбалась лукаво. Не думаю, что в это время она восторженно шептала: «Какой замечательный у меня жених!» Впрочем, слово жених тогда вообще не произносилось. Да знала ли Мастоном о нашей помолвке? Она была крошкой, когда меня заставили куснуть ее ухо.

В самый веселый и приятный момент — переселения кукурузы из тарелки в мой рот — тетя задала вопрос, никак не относящийся к делу:

— Зачем пришел, сынок?

Я не сразу сообразил, что хочет от меня тетя. Никакой вроде причины для посещения дома Захида-бобо не было. Однако следовало что-то ответить, и я сказал:

— Мама стегала курпачу, и у нее задергалась бровь.

Тетя опять застонала и опять заплакала.

— Тревожится за меня сестрица. Сердце ее отзывается

чужой болью. Вернешься, успокой матушку, мол, все хорошо и тревожиться незачем. Понял?

— Понял.

— А теперь ступай. День на исходе. Темнота — плохой спутник, не заметишь, как с дороги собьешься.

У сандала было хорошо, так хорошо, что и шевельнуться не хотелось, а пришлось. Раз велят хозяева, вставай, надевай свой мокрый халат, суй ноги в холодные кавуши и иди.

Насчет мокрого халата я прибавил с огорчения. Халат был сухим, а кавуши теплыми: Зухра-апа позаботилась обо всем.

— Я провожу тебя за калитку, — сказала она. — А то встретится отец, ему как раз время возвращаться с молитвы.

Должно быть, молитва затянулась, потому что во дворе Захида-бобо мы не встретили. Не столкнулся он с нами и у калитки.

— Ну, теперь не страшно, — выглянула Зухра-апа на улицу. — Возьми вот! — Она сунула мне в руки небольшой узелок с жареной кукурузой: только кукуруза бывает такой легкой и такой звонко шуршащей. Я торопливо прижал ее к халату.

— Маме скажешь: у нас все хорошо! — напомнила сестрица. — Все хорошо.

С этими двумя словами — все хорошо, ничего не прибавляя и не убавляя, я и предстал перед матушкой.

— Говоришь, все хорошо? — переспросила она, пытливо вглядываясь в мои глаза.

— Все хорошо.

— Значит, напрасно, дергалась моя бровь?

— Напрасно.

— Стара я стала, не могу угадать, когда сестре хорошо, а когда плохо.

— Отчего же ей должно быть плохо? — вмешался обычно молчавший отец. — Дом, к порогу которого сыплются золотые зерна, должен пребывать в покое и благоденствии.

— Что вы говорите? — удивилась матушка. — Какие золотые зерна?

— Да не я говорю, а джизакский базар. За такую красоту, как Зухра, золотыми зернами платить надо.

Матушка еще больше удивилась. К удивлению ее прибавилась еще и тревога. Какой-то зловещий смысл уловил она в словах отца.

— Неужели Захид-ака уже взял калым?

— Это никому неизвестно. Но цену старик успел установить.

— Золотыми зернами?

— Старый петух другое зерно не клюет.

Разговор родителей возбудил во мне страшное любопытство. Оказывается, Захид-бобо поедает не только долю привидения, но и клюет золотые зерна. Я наострил уши и вытянул шею: что еще скажет отец? Видно, он знает какую-то тайну, и тайна эта связана с моей сестрицей Зухрой.

То, что Зухра самая красивая, я знал. Все говорили: дочь Захида-арвахурда носит имя утренней звезды, но кто из них ярче, неизвестно. Да и могла ли такая добрая, такая ласковая, такая заботливая не быть красивой? Ее черные глаза поражали всех. Если вдруг они останавливались на мне, я робел и как-то сжимался весь в радостном страхе. И другие боялись ее глаз, считая, что они обжигают, как солнце.

Зухра красивая, но почему к ее порогу сыплют золотые зерна? И куда деваает их Захид-бобо? Мне ни разу не удавалось видеть эти зерна, хотя я подолгу выстаивал у калитки, боясь отворить ее и наткнуться на хозяина.

Матушка, полная любопытства, как и я, забыла про свою дергающуюся бровь, села к сандалу, что тоже не часто случалось, и принялась вытягивать из отца слова, на которые он был совсем не щедр.

— Ну, ну, вынимайте вторую монету, раз положили на руку первую. Сколько же золотых зерен хочет за свою дочь Захид-арвахурда?

Видя, что матушка загорелась любопытством, отец улыбнулся и стал неторопливо поглаживать пальцами усы.

— Без счета.

— Без счета только звезды на небе, — отбросила она шутку отца. — Жениху надо знать, сколько раз запускать руку в бельбаг, чтобы душа тестя возликовала.

— Весы покажут, сколько раз надо запускать руку в бельбаг. Станет на одну чашу Зухра, на другую жених положит деньги. И чтоб деньги перевесили. Так сказал арзахурда.

— Оббо! Уж не весельчак ли самсабаз придумал такую шутку?

— Была бы шутка, так посмеялись бы только. А то плакать придется твоей сестрице. Нашелся жених, что согласен платить по весу.

— Кому же бог послал столько денег?

— Сыну торговца халвой. Кошелек его не умещается в поясном платке.

— Вай-вай! Простому человеку с ним тягаться нельзя! Однако придется ли по душе сестре и братцу этот сын торговца халвой?

— Сестрице твоей, наверное, не придется по душе, а Захид-арвахурда о таком женихе только и мечтает. Для него деньги все равно, что для казана сало: чем больше его, тем слаще плов.

Тайна, которую поведал отец, огорчила бы всякого, а уж матушку просто привела в уныние. Она не только любила Зухру, она видела ее невестой моего старшего брата. Сговор вроде бы давно уже состоялся, оставалось лишь заслать сватов.

— Что же теперь делать?— простонала матушка.

— Поклониться свояку и сказать: поздравляю с женихом,— посоветовал отец.

Будто угли сандала ожгли матушку.

— О нет! Поклониться-то я поклонюсь, а скажу другое: отдайте дочь моему сыну!

— Не узнаю тебя, ташкентская,— развел руками отец.— Неужели станешь просить свояка? Где же твоя гордость!

— От поклона спина не переломится, а счастье детям, может, и добуду.

То, что матушка собирается кланяться этому злому арвахурде, мне совсем не понравилось. Я представил себе, как она, приложив руку к сердцу, склоняет голову перед Захидом-бобо, а он машет кулаками, как делал это сегодня передо мной, и кричит: «Не отдам! Не отдам Зухру!» А матушка все кланяется и кланяется. И так жалко мне стало маму, что слезы едва не полились из моих глаз.

— Не надо ходить к Захиду-бобо!— захныкал я.

Тут родители вспомнили обо мне, а когда вспомнили, то удивились, что я рядом и, значит, все слышу.

— Ты забыл об учтивости,— стала корить меня матушка.— Дети не вступают в разговор старших.

— Да, не вступают,— поддержал матушку отец.— Будем считать, что мы не слышали Назиркула и он ничего не говорил, только подумал.

Я старательно закивал головой, подтверждая, что именно так и было.

— Вот видишь, ташкентская,— рассудил отец,— он только подумал. И хоть мал, а мысль его правильная. Стоит ли кланяться свояку из-за дела совсем безнадежного.

— Э-э! — отмахнулась от меня и от отца матушка. — Лишь шайтан живет без надежды. Чтоб карнай затрубил, надо подуть в него, вот я и подую. Велик ли труд?!

Поклонилась все же матушка Захиду-бобо. В один из дней, не слишком торопясь и не слишком медля, направилась она в дом свояка. Той самой дорогой через гузар — перекресток по размокшей от дождя зимней улице. Так же, как и я, постояла у калитки, набралась смелости, чтобы переступить порог и обратиться с просьбой к Захиду-бобо.

Почему я все это знаю? Да потому, что шел рядом с матушкой, хотя она и не брала меня с собой, и стыдила, и грозилась вернуть. Упрямство мое известно читателю, оно проявлялось одинаково, когда я не хотел идти и когда хотел. Сейчас мне не терпелось увидеть, как матушка станет кланяться Захиду-бобо.

Постояв у калитки, матушка набралась смелости и отворила ее. Я держался, конечно, позади, не выражая желаний предстать первым перед грозными очами арвахурды. В том, что он стоит за калиткой и ждет не дождется, когда кто-нибудь откроет ее, я не сомневался, как не сомневался, что он сразу набросится на нас с кулаками и бранью.

Захид-бобо действительно оказался за калиткой, но когда она отворилась, я не услышал злого окрика, голос Захида-бобо прозвучал удивительно радостно и приветливо.

— Где ты пропадала, Рахат? Я уже хотел посылать за тобой Рахимджана!

Не надо объяснять, что матушка от этих слов сразу повеселела и сказала не менее радостно и приветливо:

— Мир вашему дому, Захид-ака, мир, покой и благополучие. Пусть хозяин пребывает в здравии...

Матушка намечалась еще что-то пожелать Захиду-бобо, но он перебил ее:

— Э-э, как много слов ты произносишь, сестрица! Пока их выслушаешь, день окончится, а дело наше не терпит промедления.

— Что так? — все еще радуясь приветливости хозяина, спросила матушка. — Есть ли дело быстрее ветра и горячее огня?

— Есть! Наше дело горячее огня. Праздник приближается.

Тут матушка несколько поостыла. Упоминание о празднике было явно преждевременным.

— Какой праздник?

— Какой бывает праздник, когда в доме девушка на выданье?

— Свадьба, значит?

— Не говори свадьба, пока жених в дороге, а в казан рис не положен. Сама знаешь, ждешь одно, а судьба преподносит другое. Давай-ка лучше посоветуемся.

Снова повеселела матушка: если с ней хотят посоветоваться, дело, видно, еще не решено.

Вместе с Захидом-бобо она прошла на террасу и опустилась у сандала.

— Не ошиблась ли я, подумав о вашем будущем зяте,— сказала матушка.— Ведь не безразлично отцу, кто возьмет в жены его дочь.

— Не ошиблась,— кивнул Захид-бобо и тоже присел к сандалу.— Кто не знает твоей мудрости, Рахат? Ничто от тебя не скрыто.

— А если не ошиблась, то назову причину, ради которой пришла. Лучше меня свахи не найти, как и не найти зятя лучше, чем мой Манзур.

Лицо Захида-бобо из приветливого стало злым и брезгливым. Губы скривились, глаза вспыхнули гневом. Он превратился в того сердитого петуха, который норовит сразу клюнуть кого-нибудь. И он клюнул матушку.

— Видно, поторопился я, назвав тебя мудрой. Что толковать о женихе, который уже назван? Или не слышала, о ком говорят в махалле?

— Слышала, да не поверила,— ответила матушка.

Еще сердитее стал Захид-бобо, вскинул руки и принялся махать ими, как крыльями:

— Отговаривать меня пришла! Так не трать попусту слов. Сколько свях сюда ходило, калитка с петель едва не сорвалась, а Зухру никто не увел. Иная судьба ей определена.

— Значит, отказываете моему сыну?

— А-а, бестолковая женщина! Или мало намеков было тебе высказано. Не жениха я ищу, а советчика, кто бы помог лучше обделать все это дело со свадьбой.

Подняться бы надо матушке после такого признания Захида-бобо, вроде бы выпроваживал он нас, да не хватило, должно быть, у нее решимости, ну и закон учтивости, о котором она постоянно напоминала мне, не допуская нанесения обиды старому человеку, к тому же еще хозяину, однако огорчение ее было столь велико, что скрыть его она не смогла.

— В советчики я не гожусь. На чужой свадьбе могу быть только стряпухой. Двух рук моей сестрицы небось не хватит для сорока очагов, которые зажгут к празднику.

Не заметил чужой обиды Захид-бобо, чужое для него не существовало, о своем лишь думал.

— До очагов далеко, Рахат. Тут заботы поближе: как бы мне не продешевить с калымом. Дочь отдаешь замуж один раз — один раз и калым получаешь.

— Вы-то все уже на весах взвесили,— съязвила матушка.— Говорят, чаша жениха должна перетянуть...

— Это верно,— закивал головой Захид-бобо.— А вот насколько перетянуть, не знаю.

Он ладонями стал показывать положение весов, поднимая поочередно то правую, то левую. Правая, видимо, относилась к жениху, потому что арваххурда опускал ее все ниже и ниже. Глаза у него при этом блестели как-то особенно. Слишком низко боялся опустить и в то же время очень хотел этого.

— Насколько, Рахат?— спрашивал он матушку, и ладонь его дрожала, словно чувствовала тяжесть золота, которого еще не было.

— На сколько? Вы бы спросили у дочери. Не вам, а ей жить с мужем.

— Э-э, что она понимает. Выберет хоть босоногого, лишь бы пел песни. Твой Манзур ей подходит, он ведь тоже больше двугривенного в бельбаге не носит.

— Он кузнец,— с достоинством произнесла матушка.

— Ха, будто кузнец кует золото! Из железа и меди только пятаки и получают. А о медных пятаках нам говорить недосуг. Так на сколько должна перетянуть чаша жениха, Рахат?

— На сколько тяжел жених.

— О том и думаю... Что болтают на базаре? Велик ли кошелек торговца сладостями? Сафар твой, наверное, знает ему цену.

— В кошелек халвачи никто не заглядывал,— пожалала плечами матушка.— Только называют сына халвачи «ножом базара». Удачлив он в торговых делах.

— Вот-вот, значит, тяжел его кошелек,— заволновался Захид-бобо и торопливо потянул правую ладонь вниз.— Не продешевить, не продешевить... Мудрая ты, Рахат. Все знаешь, все видишь...

— Сестре моей вы хоть сказали о своем решении?—спросила матушка грустно.— Как-никак она Зухре матерью придается.

— Вот ты и скажи... Пусть поплачет.

— Вам золото, а ей слезы.

— Так богом указано: слезы женщины орошают грешную землю.

Говорить о законах жизни Захид-бобо был мастер. Ко-

ран и шариат знал хорошо. Иногда и сам за бога и муллу решал, каким должен быть этот мир, в котором мы все жили.

Слезь, своей сестрицы в самом деле увидела матушка, когда мы простились с Захидом-бобо и вошли в женскую половину. Там уже знали, кто будет женихом Зухры; и многое другое знали, что способно повергнуть в отчаяние.

Матушка сколь могла утешила сестру, хотя и у самой набежали на глаза слезы.

— Судьба, видно, что ж тут убиваться. Примем ее...

Так окончилась история с поклоном Захиду-бобо. Кроме огорчения, ничего не принесла она матушке. Не суждено было брату войти в дом арвахурды женихом — вошел сын торговца сладостями. Немалые деньги отдал он за красавицу Зухру. Сколько именно, никто не знал, потому что перешли они из рук в руки без свидетелей. А когда перешли, никто уже не видел их и, значит, не считал.

Свадьба была богатая. День и ночь горели те самые сорок очагов, которые упоминала матушка в разговоре с Захидом-бобо. Может, их было и больше, кто знает, но я думаю, что и сорока хватало бы на гостей со всей махалли. Аромат плова, шурпы, самсы тек по всему городу, ведь свадьба игралась в двух домах — невесты и жениха, а когда из двух дворов идет аппетитный дух, его вполне хватает на весь город. Помоему, и на другой день до нашего дома долетали запахи жареного мяса, каленого сала и томленного лука. А что бывает вкуснее этого? Ничего! Если не считать, конечно, жареной кукурузы, до которой я, как известно, был большой охотник.

Отыграли свадьбу, отгорели сорок очагов, опустел дом Захида-бобо. Ушла лишь одна Зухра, а казалось, будто никто уже не живет там. Старик велел закрыть на замок калитку, выражая этим намерение никого не принимать. Да и сам перестал выходить из дому. Первое время его еще видели в мечети, а потом и ее забыл, творил намаз во дворе или комнате. Домашние решили, что к отцу пришла немощь и осуждать его за затворничество грешно. Захид-бобо в самом деле изменился — похудел, сгорбился, глаза спрятались куда-то глубоко-глубоко. И если выглядывали иногда из-под седых бровей, то пугливо и настороженно. На любой стук в доме он откликался выкриком: «Кто?» и тотчас шел проверять замок на калитке. В свою комнату старик никого не пускал, а если кто ненароком заглядывал, арвахурда начинал браниться, слал тысячи проклятий на голову ослушника. К осени он совсем занемог, неделями не покидал постели. Когда же выдавался погожий день и силы вроде бы возвращались

к Захиду-бобо, он выползал на террасу погреться в скупых лучах предзимнего солнца, и тогда все пугались его худобы и бледности и молитвой пытались отогнать близкую беду, нависшую над отцом. Белым-белым был арвахурда, как погребальный саван, а может, и еще белее, лишь по-прежнему черным огнем настороженно горели его глаза. О жене и детях он не спрашивал, будто их не было. Только имя Зухры, произнесенное кем-нибудь из домашних, вызывало в нем интерес, и он шептал:

— Зухра... Зухра... Как продешевил я...

Через некоторое время и до террасы уже не способен был доползать Захид-бобо. Постель приковала его навсегда, на ней он и угас. Угас так же неслышно, как и неслышно жил ту осень. Умирая, он не назвал никого, не попросался ни с кем, не произнес слов напутствия. Глаза его оставались открытыми, и в них стоял неизменный страх, теперь уже вечный. Закоченевшая рука сжимала край курпачи, на которой он спал все эти годы.

Под этой курпачой, когда стали обмывать тело покойника, обнаружили сундучок с бумажными деньгами — десятирублевыми, двадцатипятирублевыми, сотенными, истлевшими, распадающимися, как гнилая ткань. Их сосчитали, хотя это и было трудно сделать, и главное, не для чего делать. Деньги были николаевские, не имевшие уже никакой ценности. Прошла революция, и все царское, как и сам царь, было выброшено на свалку. Голодные, холодные смотрели дети на кучку кредиток, как смотрят на камни, которыми нельзя заслонить себя от непогоды.

Меся осеннюю грязь, спотыкаясь на кочках и выбоинах, шел я в голодный и холодный дом моей невесты. То, что он голодный, мне сказала матушка: «Погибнет Масто́н, если мы не возьмем ее к себе». Видно, там одна кукурузная лепешка на пятерых, а пара кавуш — на тронх. Худо, худо всем. И все же мне не рисовались нищета и печальное за-пустение. Память возвращала меня к шумной, веселой свадьбе Зухры-апа, к сорока очагам с пахучими казанами. Я даже улазливал далекую дробь дойры и песнь сурная, и стоило только вслушаться, казалось мне, как они зазвучат громко и явственно. Ожидание чуда еще не погасло. Если не встретило оно меня на нашей улице, так, может, встретит в доме Масто́н. Где-то должно встретить!

Впервые за этот день я проявил нетерпение.

— Не слишком ли медленно мы идем,— заметил я, ни к кому не обращаясь.

Весельчак Урдушмат принял, однако, мои слова на свой счет.

— Я же говорил, что пока мы доберемся до дома невесты, жених вырастет. И полдороги не прошли, а он обрел голос йигита. То ли будет, когда уткнемся в калитку...

Старший йигит пожал плечами.

— Желание вырасти похвально. Что ж, поторопимся! И мы прибавили шагу.

ОДИН ДЕНЬ НЕ ТАКОЙ, КАК ТЫСЯЧА, А ТЫСЯЧА ДНЕЙ НЕ ТАКИЕ, КАК ОДИН

Поторопились мы напрасно. Нас никто не ждал. Ни музыки, ни песен я не услышал, даже человеческие голоса не звучали во дворе. Только лаял соседский пес, потревоженный стуком дверной щеколды.

Все напоминало мне те далекие дни, когда я в нерешительности останавливался перед калиткой и смотрел в щель, пытаюсь разглядеть, нет ли поблизости Захида-бобо. И глядел долго, пока не приходила ко мне решимость. На этот раз топтание у калитки не входило в свадебную церемонию. Старший йигит пнул ногой створку, она отпахнулась, и мы оказались во дворе. Жареным мясом и каленым салом здесь явно не пахло. Единственный очаг под навесом дремал в копти и тишине, давно не зная тепла огня. Валялся посреди двора разбитый казан, тот самый, что встречал меня и раньше. Он даже не изменил своего положения в такой торжественный и важный день, как моя свадьба.

— Э-э,— пробасил старший йигит,— в доме, кажется, никого нет.

— А нам никто и не нужен!— шуткой отозвался весельчак Урдушмат.— Была бы невеста...

В это время отворилась дверь и нам навстречу вышел Рахимджан, старший брат Масто. Увидев меня, он улыбнулся. Не скажу, что улыбка была веселая — мальчишка в странном одеянии мало походил на жениха и потому не мог внушить ни уважения, ни, тем более, восторга. Но улыбка все-таки была, и она означала: хоть и похож жених на цыпленка, но что поделаешь. Слава богу, нашелся человек, который избавит голодную семью от лишнего рта.

Улыбка ободрила меня. Говорят, цыплята вырастают в петухов. Ну, до петуха мне было далеко, петушком хотя бы стать. Гордо подняв голову, увенчанную пышной чалмой, я вошел в мехмонхану — комнату для гостей.

Чуда опять не произошло. Судьба побеспокоилась о том,

чтобы слово это вылетело из моей головы, и оно, наверное, вылетело, потому что, войдя в мехмонхану, я не стал искать примет необыкновенного, самое обычное, знакомое меня вполне устремило бы. Но и тут не обошлось без шутки коварной судьбы, она будто подстерегала меня весь день. Обычного, хорошо знакомого мне в комнате не было. Там вообще ничего не было: голые стены, голый пол, пустые ниши. Мехмонхана походила на заброшенное гнездо совы, вшиду валялись, словно выпавшие перья, клочья ваты из старых одеял, с потолка свисала паутина, из щелей в стенах несло сыростью и холодом.

Бедная Масто́н, подумал я, до чего же плохо ей в этом заброшенном гнезде совы! Впервые мысль моя обратилась к невесте, о которой все это время я даже не вспоминал. Мог я еще подумать о том, как бы поскорее увести ее отсюда, но размышления мои, весьма печальные, прервали два старца, появившиеся неизвестно откуда. Они подхватили меня под руки и повели на террасу.

Здесь должен был совершиться обряд венчания. Имам, сухонький старичок, в такой же пышной, как и у меня, чалме, но только белой, ждал меня и невесту. Ожидание было ему в тягость. Он перебирал четки, и они испуганно прыгали в его нетерпеливых пальцах.

Старец, сопровождавший меня, крикнул в дверь:

— Ведите невесту!

За дверью царил невообразимый шум: кто-то кого-то уговаривал, кто-то плакал, кто-то бранился. Старца никто, конечно, не услышал, и он повторил:

— Ведите же невесту!

На этот раз слова старца коснулись чьих-то ушей, и ему ответил женский голос:

— Погодите! Не можем справиться с девчонкой.

Имам покачал недовольно головой.

— Оббо!

Ему, наверное, впервые приходилось венчать такую странную пару.

— Как же вы не можете справиться с невестой? — возмутился куэвджура (сват со стороны жениха). — Время-то совершения обряда наступило!

Как там удалось справиться женщинам с Масто́н, не знаю, но через минуту они выволокли ее на террасу и за порогом опустили на пол. Сил, должно быть, не хватило бороться с невестой. Она упиралась ногами, кусала руки женщин.

Отчаяние Масто́н меня смутило и напугало. Старец-сват

наклонился над ней и принялся объяснять значение происходящего:

— Ты невеста, встань и подойди к учителю, он должен прочесть молитву. Будь послушной, доченька!

И раньше-то Масто́н не отличалась сговорчивостью. По десять раз мать повторяла ей приказание, и лишь на одиннадцатый она выполняла требование. Единственная просьба старика не возымела потому никакого действия. Масто́н сидела на полу, опустив голову и закрыв лицо руками.

Куёвджура вернулся к имаму и сказал:

— У бога много сынозев и дочерей, и все они разные. Один сам идёт к святому, другой ждёт, когда святой подойдет к нему. По малости лет и неразумению недоступен ей смысл обряда. Приблизьтесь к рабе божьей, учитель!

На лице имама изобразилось такое страдание, будто у него сразу заболели все зубы. Ему не хотелось не только приближаться к глупой Масто́н, но и вообще совершать обряд в этом несчастном доме. Он сделал всего лишь шаг, считая это великим подарком для упрямой девчонки. Взглядом он показал мне на место рядом с Масто́н. Я поспешно опустился на пол, и теперь мы были рядом, как положено жениху и невесте.

Приняв важный вид, я молча смотрел на имама. Масто́н рыдала, рыдала так горько, словно ее собирались не венчать, а казнить. Слезы лились дождем, и она вытирала их ладонями, размазывая по лицу краску. Бедную девочку, готовя к свадьбе, старательно наругали, подвели брови усьмой, чтобы не казалась она слишком бледной и болезненной. Старый чачван, большой и несуразный, видимо, тоже, как и мое пальто, с чужого плеча, закрывал Масто́н с ног до головы. Я не видел ее, и она меня не видела. Впрочем, Масто́н и не желала меня видеть — мы вдруг стали врагами.

Женщина, что привела невесту, держала в руках иголку с ниткой и ждала, когда имам начнет читать молитву. Едва тот открыл рот, чтобы произнести первое арабское слово, как янга, крадучись, приблизилась ко мне сзади, присела на корточки и начала шить строчку на моем чапане. В обряд бракосочетания входят занятные вещи, иногда они нелепы и смешны, но без них свадьба не была бы свадьбой и не оставила бы радостного воспоминания.

Арабские слова текли равномерно, как вода из дырявого бурдюка, и остановить их нельзя было ничем. Имам не обращал внимания на слезы Масто́н, ее вскрипы соединялись с молитвой, и получалась какая-то печальная песнь, которой, казалось, не будет конца

Сам имам знал, конечно, сколько слов предназначено жениху, сколько — невесте. К тому же сегодня он не был особенно щедр и, как мне показалось, отрезал от молитвы большой кусок. В самый торжественный момент, когда, развесив уши, я ловил таинственные слова, имам вдруг прервался.

— Без причины не бей будущую жену, не оставляй ее без средств, если уедешь больше, чем на полгода.

Произнеся это по-узбекски, имам посмотрел на меня с укором, будто я уже успел побить Мاستон.

— Ну!

— Не буду бить, — ответил я виновато.

Имам поглядел свою жиденькую бородку, кашлянул многозначительно, как бы одобряя мое решение, и опять стал лить арабские слова из своего неиссякаемого бурдюка. Они предназначались теперь Мاستон. И снова прервался на самом неожиданном месте и спросил плачущую невесту:

— Согласна ли ты стать женой Назиркула, сына Сафара?

Надо было ответить «да» всего лишь, или, может быть, кивнуть утвердительно головой. Но Мاستон, как известно, ничего не умела делать сразу, а сейчас просто не хотела. Насильно привели ее на террасу, насильно пытались обвенчать. Не зная, как спасти себя, Мастон плакала.

Имам повторил:

— Согласна ли ты стать женой...

Еще пуще залилась слезами Мастон. Однако от имама спастись слезами было невозможно. Лей их хоть целый день, он будет стоять над тобой и повторять:

— Согласна ли... Согласна ли...

Янга — сваха — толкнула ее в бок.

— Ответь «да»! От одного слова язык не отвалится.

Я тоже подумал: от одного слова, конечно, язык не отвалится. Имам вон сколько наговорил, а язык у него на месте. Наверное, Мастон не хочет этой свадьбы, ненавидит меня. Забыла, что мы были друзьями, вместе играли. Еще недавно бегали вокруг казана, в котором жарилась кукуруза, и ловили прыгающие, словно кузнечики, белые шарики. Она весело смеялась, когда схватывала раньше меня такого фыркающего кузнечика.

На помощь пришел услужливый сват. Он сказал имаму:

— Раз не говорит «нет!», значит, согласна. Завершайте обряд!

Все сразу и окончилось. Двух детей объявили мужем и женой. Один горько плакал в это время, другой растерянно

смотрел на окружавших его людей, не понимая, что же произошло в его жизни.

Домой мы возвращались той же дорогой и так же старательно месили глину. Ее вроде бы стало больше или мне так показалось — ноги с трудом передвигались, сапоги то и дело увязали в липкой жиже.

Йигиты молчали, я — тоже. Урдушмат не находил повода, чтобы пошутить, а если самый веселый и самый разговорчивый не находил слов, то где их взять неразговорчивым?

Всем было грустно. Неприятный осадок оставил в каждом свадебный обряд. Мне показалось, что меня обманули. Я не нашел, а потерял что-то. Что именно, не знал, но это потерянное было мне дорого, оно жило во мне и казалось светлым. Четкого облика оно не имело, как не имело и названия. Наверное, и Мастон с чем-то расставалась и потому плакала так горько.

Что же оно, это светлое, единственное?

Дорога длинная, и можно было мысленно поискать утерянное. И если не найги, то хотя бы понять, что это. Голова моя не была еще приспособлена для подобных поисков, в разные стороны вела меня мысль, и все туманнее становилось утерянное. Чем дальше оно отходило от меня, тем острее я чувствовал боль утраты.

Так, наверное, я и не нашел бы ответа, если бы не друг мой Адыл. Его не было рядом, он не месил вместе с нами грязь улицы, не ведал о тех мучительных поисках утерянного, которыми был занят я. Адыл стоял у калитки своего дома и смотрел на меня, возвращающегося от невесты. То, что он стоял у калитки, не было чем-то особенным, — мы часто встречались на улице. Но то, как Адыл смотрел, поразило меня. Мой друг не улыбался, не кричал: «Эй, Назиркул!», не бежал ко мне, радостный и счастливый. Он стоял, держа рукой дверную скобу, и глаза его были грустными-грустными. Грусть эта смутила меня, и я опустил голову. И так, с опущенной головой, шел. А когда поднял ее, Адыла уже не было — калитка захлопнулась.

Мы прошли мимо дома моего друга. Я догадался, что так будет всегда. Не взлетят уже больше наши змеи в голубое небо, не попадут в наши руки первые весенние подснежники, не нарушат покоя улицы наши веселые игры. Адыл остался там, в детстве, меня увели из него.

Около нашего дома йигиты простились со мной — жених уже не нуждался в свите, — и я один вошел во двор.

— Вот и женишок!— встретили меня возгласами приветствия женщины, собравшиеся у нас по случаю свадьбы.

Ко мне подошла матушка, обняла меня и радостно прошептала:

— Счастья тебе, сыночек, пусть дни твои будут светлыми.

Кто-то протянул ей глиняную чашу с сушеным урюком, она взяла горсть и высыпала на меня. Так должны были всю жизнь сыпаться на жениха радости и удачи. Поток плодов обычно сопровождался веселыми возгласами девушек, визгом ребятишек, которые расхватывали сладкие комочки и засовывали их в рот. Сегодня не было ни радостных возгласов, ни смеха, ни ребячьей возни. Стучали только падающие на землю сухие плоды.

— Теперь отдохни,— сказала матушка. — Когда привезут невесту, мы позовем тебя.

— Хорошо.

Невесту обычно привозили в конце дня, когда заходило солнце. Мне даровалось время на раздумье о будущей жизни. Я мог остаться наедине с самим собой, что было самым желанным для меня сегодня. Матушка посоветовала пройти в мехмонхану, но в нее нет-нет да и заглядывал кто-нибудь, поэтому я вроде бы направился в дом, а по пути свернул к калитке, что соединяла наш двор с соседским, и оказался в чужом саду. Здесь было тихо, соседи на время праздника перебрались к нам, и ни одна живая душа мне не встретилась.

В саду стояла деревянная супа. Удобнее места для размышлений и не придумаешь. Но под деревьями было сыро и холодно, каждую минуту мог появиться сосед, твердивший молитву в мечети, лучше поискать уголок поукромнее. Я прошел к лестнице, что была приставлена к стене, и по ней взобрался на чердак.

Высота и одиночество. Отсюда видна наша махалла, погружающаяся в сумерки. Осенний вечер — а он уже вступал в свои права — был пасмурным, и далекие очертания города сливались с небом. Ясно вырисовывались лишь соседние крыши да вершины голых тополей, поднимавшихся над хаузом у дома дервишей. Но и они уже таяли в сизой дымке.

Я сел на снопы клевера, которые лежали на чердаке, и стал думать. Матушка пожелала мне светлых дней. Первый был пасмурным и таким уже останется. Тучи не могут рассеяться сразу, если мы с мамой даже сильно пожелаем этого. Я поднял глаза к небу и стал выискивать звезды. Может быть, одна какая-нибудь, самая маленькая, вспыхнет в вы-

шине, пробьется сквозь облака и глянет на Назиркула. Глянет и подарит ясное утро. Говорят ведь: звезда вечером — утром солнце.

Мне очень хотелось, чтобы утром взошло солнце и все утерянное вернулось ко мне: Мاستон перестала плакать, дружище Адыл вышел из калитки и, как прежде, позвал меня на зеленые холмы искать подснежники. Чтоб я не был женом и мог поступать так, как мне заблагорассудится.

Мысль о могучем солнце была настолько заманчивой, что я решил дожидаться его. Дождаться здесь, на чердаке. Пусть меня ищут, пусть зовут, не откликнусь. А лучше поднимусь прямо на крышу; там солнце появляется раньше.

Я нашел лаз и выбрался через него на крышу. На меня сразу набросился ветер и обдал холодом. Но что может сделать ветер с человеком, который хочет быть ближе к небу? Сколько бы он ни бесчинствовал, я не уйду, не спущусь на землю.

Устроившись поудобнее, прислонившись спиной к трубе, я стал ждать. Вокруг было тихо. Внизу, под деревьями, шелестели опавшие листья, скреблись на чердаке мыши, сонно скрипела под ветром калитка. Все это было привычно, знакомо, и иным я не представлял себе осенний вечер.

Так, в тишине я и дождался бы желаемого. Но судьба не несла в своем хурджуне ничего радостного для меня. Едва я поднялся на крыльях мечты, как их тут же оборвали. Издали, со стороны гузара, донеслась свадебная песня. Женщины славил невесту, которая направлялась в дом жениха. Пели они о Мастон.

Те ли слова у нас, или не те,
кто знает?

Что пожелать сироте,
кто знает?

Сны ее горькие
кто видит?

Имя любимого
кто слышит?

Солнце далеко, а невеста близко. Минует шествие гузар и окажется на нашей улице. Не осуществились твои мечты, Назиркул. Слезай с крыши и встречай невесту. И встречай хорошо, чтобы все увидели, как ждешь ее, как скуцаешь, как торопишься снять с арбы,

Свадебное шествие уже на нашей улице. Песня стала громкой, каждое слово отчетливо слышно.

Улетела птица — отчий дом опустел;
Пролилась водица — таков твой удел.
Нарядись, молодица, чтоб жених посмотрел;
Торопись, молодица, счастья день подоспел.

Изю всех калиток высыпали на улицу ребятишки. Видно, ждали, когда зазвучит песня, и теперь с криком и смехом кружили у нашей калитки.

Да, время спускаться с крыши. Дома уже хватились меня. Матушка в отчаянии: где Назиркул? Где сынок? Посылает братьев искать непутевого жениха. Я слышу, как хлопают двери на террасе, как матушка кричит: «Куда он мог подеваться? Я же послала его в мехмонхану!» «Нет его в мехмонхане», — отвечает брат Манзур. «Посмотри на балахане!» Сестры проверяют сарай. Старшая ворчит: «Не хватало нам забот, придумали жениха! Прячется где-нибудь у соседей...»

Если пойдут к соседям, то окажутся рядом со мной. Надо или спускаться вниз или лезть еще выше. Не колеблясь, выбираю последнее. Уж очень не хочется мне быть женихом. Готов взобраться не только на крышу, но и на самый высокий тополь или минарет, окажись они рядом.

Наш дом чуть выше соседнего. Я цепляюсь за балку, что выступает наружу, подтягиваюсь, закидываю ногу за край крыши — и вот уже земляной настил подо мной. Ползу по нему до противоположного края, и здесь замираю. Меня не видно ни со двора, ни с улицы, а я вижу и улицу, и двор.

По двору бегают, словно спугнутые с насеста куры, мои сестры и снохи. Матушка простерла руки к небу, прося помощи у бога: «Позор на мою голову. Лучше бы я век не знала этой Масто́н, чем теперь стать ее вечной должницей. Вымолю ли я у нее прощение?»

Свадебное шествие уже у нашей калитки. Не на арбе, а на тощей лошаденке сидит закрытая паранджой Масто́н. Слева и справа ее поддерживают женщины — грязь непролазная, копыта лошаденки скользят, Масто́н качается из стороны в сторону, как ветка на ветру, отпусти ее женщины, и она выпадет из седла. Первый раз, наверное, едет верхом, вцепилась ручонками в луку, дрожит от страха.

Ребятишки отворили калитку, невеста, слегка пригнувшись, въезжает в наш двор. Радостные возгласы несутся ей навстречу. Матушка, хоть ей не до веселья — жених пропал, — тоже произносит какие-то добрые слова и улыбается приветливо.

Брат наклоняется к ней и что-то шепчет озабоченно. Мол, нет нигде Назиркула. Что еще он может сказать? Машушка сердито машет рукой. Это значит ищите! Проадем, если не найдете.

Не найдут, думаю я. Слишком высоко я забрался. Кто догадается влезть на крышу? А если и догадается, то не найдет — за трубой меня не видно.

Думаю так, а сам тревожусь. И маму жалко. Что она станет делать теперь? Ведь невесту надо снять с коня, таков обычай, а кто снимет, если жених на крыше? Правда, моих сил все равно не хватило бы для такого подвига, лошадь хоть и костлява, а высока, не дотянутся до седла мои руки. И Мاستон что-то весит. Уроню. Надо ведь не только снять с седла, но и донести до террасы. Опозорю и себя и невесту. Брату Манзуру такая ноша под силу, он выше и здоровее меня, кузнец — одно слово.

Сейчас Мансур, наверное, подойдет к лошади и снимет Мاستон. Ждать дальше нельзя.

Со страхом и надеждой смотрю вниз. Скорее бы подошел Мансур, скорее бы все кончилось.

— Вот где ты!

Не сразу я понял, откуда прозвучал голос брата. Неужели он увидел меня со двора? Торопливо отползаю от края и тут вдруг оказываюсь в руках Манзура. Он берет меня за ворот чапана и поднимает, словно цыпленка, в воздух.

— А еще называется жених! Пропади ты пропадом, несчастный!

Он тащит меня к лазу, толкает в него и вместе со мной спускается сначала на чердак, а потом на лестницу.

Не знаю, как я выглядел, появившись в нашем дворе, должно быть, не очень достойно для такого случая. Однако никто уже не обращал внимания на мой вид, главное, нашелся жених, и все радостно зашумели:

— Жених идет... Жених идет...

Я не шел, меня вел брат, вел и бесцеремонно подталкивал.

— Снимай невесту!

Хорошо сказать — снимай невесту, а как я сниму ее, когда она на лошади, а лошадь выше меня. Рост, однако, не оказался препятствием. Под ноги мне подсунули чурбан, и я сравнялся плечами с седлом. Осталось взять Мاستон на руки.

Был ли еще такой день в моей жизни, не знаю. Говорят, тысяча дней не такие, как один, и один день не такой, как тысяча. Этот был не такой, как тысяча. Меня испытывали

с рассвета до заката, и все испытания были непосильными для мальчишки. Теперь новое. Люди смотрели на меня и на Масто́н, ждали самого важного во всей свадебной церемонии — снятия с седла невесты. Они вроде бы шептали: «Снимет ли? Не уронит ли?» Наверное, и Масто́н шептала: «Ой, уронит! Ой, не донесет!» И я думал: «Уроню!»

Делать, однако, нечего. Манзур подтолкнул:

— Ну!

Я протянул руки к невесте, и тут произошло непредвиденное. Брат Масто́н, сидевший за седлом, отстранил их.

— Прежде награду!

У меня не было ничего, да и никто не предупредил о плате за невесту. Смущенный, я опустил руки. Однако другие знали, что награду потребуют, и тетушка Тансик, стоявшая рядом, подала брату Масто́н приготовленный заранее платок. Не большо́ дорого́й, ситцевый, с красными цветами, но по тому времени все же ценно́сть. Подала и сказала при этом:

— Не обессудьте. Сестрица ваша, Масто́н, стоит чапана, ну да судьба наша такая, считайте платок бархатным чапаном.

Эгамберды не посчитал ситцевый платок бархатным чапаном, и лицо его не расплылось в счастливой улыбке, но принял его, свернул бережно и сунул себе за пазуху.

Теперь я получил право снять невесту. Ухватив Масто́н за талию, стал тянуть ее с лошади. Тянул, тянул, а с места сдвинуть не смог. Брат Эгамберды посмеивался, ожидая, чем это кончится. Кончилось тем, что мне на помощь пришли тетя Тансик и Манзур. Они сняли Масто́н с лошади и передали в мои руки. Легкой оказалась Масто́н, суший ягненок, отощавший за осень.

У гостей вырвался вздох облегчения, будто не жених, а они выполнили важный обряд. Женщины запели «ёр-ёр!», детишки радостно закричали: «Жениху и невесте желаем счастья!»

Как ни легка ноша, а все же ноша, и если у самого мало сил, то и ягненок кажется пудовой овцой.

Пока я слез с чурбана и опустил на землю невесту, сердце мое зашло́сь. Масто́н торопливо приняла женщины, а меня повели в дом.

— Сиди тихо, — сказала тетя Тансик. — Сейчас начнется игра: кто перетянет невесту. Выбери момент, схвати Масто́н и отнеси за полог. Понял?

Я кивнул. Игру в перетягивание мы знали с детства. Это была шуточная обрядовая игра. Выкрасть невесту из цепи

не представляло труда, надо было только выбрать момент, когда цепь разорвется и невеста окажется на половине жениха.

Женщины накрыли меня с головой чапаном, словно паранджой. Ничего не было видно. За игрой я должен был следить как слепой, полагаясь на слух. Выглянуть из-под чапана значит нарушить правила игры, а за соблюдением их следят женщины, которых в комнате собралось десятка два. Они шумно переговаривались, хихикали, подтрунивали надо мной! Иногда какая-нибудь насмешница проверяла, на месте ли чапан, не сдвинул ли я его с глаз, и нравоучительно проносила: «Побудь под паранджой, узнай, каково твоей невесте».

Во дворе шла подготовка к церемонии прославления родственников. Это самое веселое, что есть на свадьбе. Прославления шуточные, и часто шутки не очень безобидные. Кое-кому после такого прославления неловко было смотреть людям в глаза.

Руководила церемонией старшая из женщин, самая голосистая, самая находчивая — айвони. Начинала она с приветствий.

— Салам, если салам! Здравствуйте, если здравствуете! — услышал я ее веселый голос.

Все дружно ответили:

— Алик салам!

Ответили торопливо, потому что за первыми, ничего еще не значащими словами шли главные, ради которых и затевалась шуточная церемония. Не успел хор смолкнуть, как айвони пропела вторую фразу:

— Свекру с белой бородой и морщинистым лицом — наш салам!

Все засмеялись — не было у моего отца белой бороды, не было морщин. Но теперь «бородатый» и «морщинистый» станут его прозвищами.

Хор поддержал айвони:

— Алик салам!

— Свекрови, луноликой, сладкоречивой, — наш салам!

И тут все было наоборот: матушка никак не походила на луноликую, речь ее не напоминала виноградный мед. Колкой и прямой была матушка, соседи это знали. Намек айвони раскусил каждый и ответил смехом.

За матушкой наступила очередь тети. Ее не пощадила айвони:

— Как мыло, гающей, как дыня, прокисшей тетушке — наш салам!

Тетушка сжалась от этой насмешки — она была толста, ворчлива. В самом деле прокисшая дыня.

Хор утвердил злое прозвище:

— Алик салам!

Айвони, взялась за дядю, потом за брата. Хохот стоял во дворе. Я тоже посмеивался под своим чапаном. Уж больно забавные прозвища давала айвони. Не забудут их люди и после свадьбы станут повторять: «белобородый», «сладкоречивая», «прокисшая дыня» и многое, многое другое, смешное и обидное.

Церемония приветствия родственников длилась долго. Родственников у меня было как зерен в кукурузном початке, успевай только вытаскивать. Однако, если даже по одному лишь зернышку тянуть, то когда-то початок опустеет. Опустел и на этот раз.

— Теперь, — сказала самая шустрая из моих телохранительниц, — не пропусти невесту. Начинают перетягивание.

Хор смолк. Кто-то хлопнул в ладоши, наверное, старшая, айвони. Под своим чапаном я ничего, конечно, не увидел, но догадался, что две группы, сцепившись, потянули невесту. Одна группа боролась за меня, другая — за Мاستон. Всякая игра, а это была игра, к тому же шуточная, не обходится без курьезов. Слышался смех, кто-то кого-то обвинял в нарушении правил. Людям хотелось позабавиться, поэтому они не спешили. Мои сторонники знали, что победа за ними, иначе не состоялась бы свадьба, поддавались противникам, вздыхали огорченно. Группа Мاستон в такой момент ликовала.

Мне тоже хотелось участвовать в игре — глупое затворничество кому не надоест. Так бы скинул чапан и бросился во двор. Ну да ждать осталось недолго, раздался победный возглас моих сторонников, я сбросил чапан, вырвался из круга телохранителей, схватил Мастон и понес за полог.

О чем надо заботиться жениху, когда он несет невесту: не упустить ее, не споткнуться о порог, не упасть вместе с дорогой пошей. Но это забота других женихов. Я думал о том, как бы наступить на мизинец своей невесты. До свадьбы мне нашептали: кто первым поставит свой каблук на ногу другого, тот и будет верховодить в семье. Отдать это право Мастон я не мог, не позволяло достоинство йигита.

Бедняжка Мастон не знала, что ждет ее за пологом. Не слышала, наверное, о глупом поверии. Если бы слышала, по-

береглась. А тут едва тонкие кавуши ее коснулись пола, как я придавил их своим сапогом.

Случайно наступишь кому-нибудь на ногу, и то он поморщится. Нарочно же, да еще сапогом — закричит от боли. Мاستон ахнула, опустилась на пол, словно раненая птица. Только теперь я почувствовал, что совершил злой поступок. Хотел поднять Мастон и утешить, но встретил настороженные взгляды женщин: жалеть невесту не к лицу йигиту.

Слезами Мастон свадебная церемония не кончилась. Надо было выполнить еще один обряд. Вошла айвони в сопровождении двух женщин. Они несли зеркало, в котором мы должны были увидеть свое будущее.

— Встань! — сказала айвони Мастон.

С трудом, припадая на больную ногу, девочка поднялась. Айвони властным жестом сбросила с нее паранджу и сблизилась перед зеркалом наши головы.

— Ты видишь свою невесту? — спросила меня айвони.

— Да! — ответил я. В светлом круге действительно отражалось лицо Мастон. Глаза ее, чуть косившие, родинка на правой щеке были совсем рядом. Мне показалось даже, что по щеке бегут слезы. Наверное, ей все еще было больно.

— А ты видишь лицо своего жениха? — обратилась теперь айвони к Мастон.

Та прошептала печально:

— Да.

Ответы наши почему-то обрадовали айвони. Будто мы увидели в зеркале что-то необыкновенное, прекрасное, а не собственные заплаканные лица.

— Теперь вы сошлись навеки, как сходятся земля и небо. Аминь!

Одна из женщин протянула мне пиалу и велела отпить глоток. Сказала при этом:

— Пусть жизнь ваша будет сладкой, как этот шербет!

Я никогда не пил вина и не знал его вкуса, все-таки разобрал, что вместо шербета мне дали сладкий чай.

Айвони оставила нас за пологом, а сама ушла.

Свадьба кончилась.

Потухли светильники на террасе и во дворе. В доме воцарилась тишина.

Я сел в один угол комнаты. Мастон — в другой. Оба уперлись головами в собственные колени, чтобы в дремоте не упасть.

Так и просидели мы до самого утра.

ХОЧЕШЬ НАУЧИТЬСЯ ПЛАВАТЬ — ПРЫГНИ В ВОДУ!

С чего началась моя новая жизнь? Один за другим стали приходить родственники, а родственников у меня было больше, чем пчел в улье, и требовать свои вещи. С меня сняли сначала жениховские сапоги, потом рубашку, потом штаны и наконец тюбетейку.

Зимой босому человеку все равно что стреноженному ребенку — шагу не сделаешь: на улице снег, грязь, ветер. А ходить надо.

Матушка сказала мне:

— Ты теперь женатый человек, надо думать о семье.

Думать, конечно, можно и босому, если ноги под сандалом. Но матушка имела в виду совсем другое — заботу о хлебе насущном. В доме было голодно. Одна лепешка, сколько ее ни дели, остается все же одной. Причем просяная лепешка. Матушка брала клевер, нарезала мелко, поджаривала в казане, катала шарики величиной с яблоко, расплющивала на ладони и пекла в тандыре как самые настоящие лепешки. Правильнее было бы называть их клеверными, а не просяными. Иногда в клевер добавляли немного просяной муки, отсюда и название. На одной траве ведь долго не протянешь.

В махаллах выдавали по миске аталы каждому жителю. Новая власть как могла заботилась о народе. Где ревком находил муку, ума не приложу — засуха, пшеница погибла, даже трава и та завяла, едва поднявшись над землей. Комиссары, наверное, привозили муку из других мест или очищали амбары богачей. Советы не давали народу погибнуть с голода.

Власть думала о народе, но и народ должен думать о себе. Хорошо ли весь день стоять с миской у махаллинского казана и ждать, когда сварят аталу и нальют тебе ковшик. Не засучить ли рукава, не поискать ли дела, способного накормить и тебя и твоих близких?

Вот об этом-то и сказала мне матушка, напоминая, что я уже взрослый и что у меня есть семья. Конечно, четырнадцатилетнему мальчишке трудно представить себя хозяином дома. Однако надо.

Матушка снесла мои рваные кавуши соседу. Тот поставил новые латы, поставил столько, что сосчитать их не мог бы и сам мулла. В этих кавушах я и пошел искать себе дело, способное прокормить семью.

Куда ходят джизакцы, молодые и старые, когда ищут

заработка? На знаменитый джизакский базар. Там собираются те, кто нанимается на работу и кто нанимает.

Я пошел не один. Мальчишке нет ни уважения, ни доверия. Мезя сопровождал отец, которому тоже надо было думать о хлебе насущном. Он-то ведь настоящий хозяин дома.

Базар удивил меня. Когда хочешь увидеть отару, а на глаза тебе попадается только один ягненок, испытываешь горечь разочарования. Так случилось и со мной. Большой, тучной отары не было: не было лавок, из которых товар вываливался прямо на покупателя; не поднимались горы лепешек, сушеного урюка, изюма; не стояли ряды сапог и кавуш; не стучали молотки медников и жестянщиков. Хотя в отношении молотков я не совсем точен. Молотки стучали, но не дружно, не громко. Базар вроде бы только начинал жить, и голос его был робким.

Люди шли сюда с пустыми руками, а какой базар, если ни купить, ни обменять не на что. Нам с отцом тоже не на что было ни купить, ни обменять. И все же мы шли, глядели на продавцов, приценивались к товару, который не собирались покупать ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра. Продавцы это понимали — босой человек не станет прикидывать, сколько фунтов халвы взять ему к чаю или какого оттенка чалму повязать на голову. Знали и все же показывали товар, расхваливали его: не сидеть же с рассвета до заката в одиночестве, словно филин в дупле. Так и вкус к торговле пропадет.

Я упомянул халву не случайно. Халва явилась причиной того, что мы с отцом в тот день обрели что-то похожее на дело. Говорю похожее, иначе не назовешь работу, которую предложили нам в ряду башмачников. Странно, что упомянул халву рядом с башмаками. Одно пахло сладкими орехами и маком, другое — овечьей кожей и дубильным раствором. Но так именно и произошло. В конце башмачного ряда, а точнее, в правом его углу, стояла лавочка продавца сладостей. Имени продавца никто не знал, хотя оно, наверное, было; не мог мусульманин не получить с рождения имени, удачного или неудачного, но своего собственного. А этого продавца все звали Ташпатаком, то есть Каменной стелькой. Прежде, должно быть, он гачал кавуши и клал жесткую стельку. Потом стал делать халву. Занятие переменил, а прозвище осталось. Известно ведь, меткое слово прилипает к человеку, как родимое пятно, на всю жизнь.

Так вот этот Ташпатак и предложил нам дело, или, как я уже сказал, что-то похожее на дело. Предложил, конечно, не мне, а отцу. Он сказал:

— Когда человек кладет в рот халву, глаза его начинают искать чайник. И не пустой, а с кипятком и заваркой. Вы поняли мою мысль, дядя Сафар?

Не знаю, понял ли мысль Ташпатака отец. Наверное, понял, потому что ответил:

— Если халва сладкая, как у вас, уважаемый, то ее обязательно надо запить чаем.

— Вот, вот... Сто человек подходят к моей лавке и девяносто девять кладут в рот халву. Один не кладет, потому что у него нет денег.

Тут и я уловил мысль Ташпатака. Слюнки мои текли, а положить кусочек халвы в рот я не мог. Ни у меня, ни у отца не было денег. Но оказалось, не это главная мысль Ташпатака. Человек, у которого не было денег, вовсе не интересовал торговца сладостями. Его интересовали те, кто клал на поднос деньги. И не последние. Кое-что оставалось для пиалы с чаем. О чае и повел дальше речь Ташпатак:

— Можно ли обидеть человека, не дав ему запить сладкую халву? Как вы думаете, дядя Сафар?

— Нельзя обидеть,— согласился отец.

— А раз нельзя обидеть, то пусть самовар и чайники стоят рядом с лавкой.

— Пусть стоят,— кивнул отец охотно. Из множества слов, произнесенных Ташпатаком, он отделил последние, и они оказались главными.

— Вы согласны, дядя Сафар. Теперь согласитесь и с тем, что халвачи с его двумя руками не может и резать халву, и получать деньги, и таскать воду, и колоть дрова, и кипятить чай.

Отец снова кивнул.

— Не может.

— Ему нужны еще две руки, еще две ноги и, пожалуй, еще одна голова. Эти руки есть у вас, дядя Сафар.

Отец посмотрел на свои руки и убедился, что Ташпатак говорит правильно. Даже очень правильно.

— Есть,— сказал отец.

— Тогда мы договорились,— засмеялся Ташпатак.

Отец тоже должен был засмеяться: вроде бы нашлось то, что мы искали,— дело. Но он почему-то не засмеялся, а как-то грустно и задумчиво покачал головой.

— Руки есть, вы правы, уважаемый. Нет самовара, нет чайников и пиал. Каратели взяли, что смогли, а что не смогли взять, разбили.

Лицо Ташпатака тоже стало задумчивым. Но ненадолго. Он довольно легко вышел из положения.

— Ха, были бы руки. Из осколков можно сотворить не только пиалу, но и целый ляган. Чапаны шьют из лоскутов, такое время... Жестящик — а ваш сын хороший жестящик — приделает носы к чайникам, залатает самовар. Первое дело — поторопиться! К базарному дню самовар должен стоять у лавки.

Предложение Ташпатака, хотя и было заманчивым, не сбодрило отца. Язык его никак не мог повернуться, чтобы сказать: «да!». «Нет!» тоже не выговаривалось. И он произнес что-то неопределенное:

— Чем ходить без дела, лучше работать даром. С одной стороны, утешение, с другой — печаль...

— Оббо! Кто же вам предлагает работу даром? Детишки получат свою лепешку.

Лепешка оказалась мне большой платой за любой труд. Ничего не было для нас дороже хлеба. Поэтому я легонько тронул отца за рукав, давая этим понять, что отказываться от дела не надо. Двоим нам не решить такого важного вопроса, необходима третья голова, голова матушки. Она-то даст мудрый совет.

Поблагодарив Ташпатака за добрые слова, мы покинули башмачный ряд и заторопились домой.

Третья голова в самом деле оказалась нужной. Едва отец начал объяснять матушке, как важно человеку, положившему в рот халву, отпить из пиалы глоток чая, как она побежала в сарай и через минуту вернулась, неся в руках самовар. То, что это был самовар, я догадался по крапику, торчавшему сбоку, все остальное было скрыто толстым слоем пыли.

— Вот вам самоварец, — сказала матушка. — Невелик, но на десять чайников хватит. Одной ножки у него нет, камешек подложите. Сейчас я его почищу, будет как новый.

Отец хотел было продолжить рассказ о человеке, который, положив в рот халву, ищет пиалу с чаем, однако матушка не стала слушать. Она замахала руками, показывая этим свое нетерпение.

— Пока я чищу самовар, — сказала она, — вы распили-те чурбан, что лежит в конюшне. Будут чурки на растопку.

Правильно говорил Захид-арвахурда. Рахат видит то, что никто не видит. Из тысячи слов, которыми нагрузил нас Ташпатак и которые так долго мы с отцом переваривали, шагая домой, матушке понадобилось лишь одно. Она все сразу поняла и взялась за дело. Самовар из серого превратился в желтый. Но это было только началом. Орудя сухой тряпкой, она заставила его блестеть как золото. Когда мы с

отцом выкатили из конюшни чурбан, самовар уже стоял на супе, готовый кипятить чай и утолять жажду любителей халвы.

— Я и отец будем пилить,— объявила мне матушка, а ты сядешь на чурбан и прижмешь его ногами, чтоб не двигался.

Все умела делать матушка. Не знаю, была ли в махалле другая женщина, способная так ловко управляться и с мангалом, и с тандыром, и с кетменем, и с топором. Пила не была исключением. В ее руках она зазвенела, зашикала, опилки полетели в разные стороны золотистыми пчелками. Отец только побрякивал да попыхивал, отводя пилу к себе.

Сидеть на чурбане оказалось не так просто. Чурбан вертелся подо мной, как взбесившийся осел. А ослы, как известно, не успокаиваются, пока не сбросят с себя седока. Случилось это и со мной.

Матушка сказала:

— Попробуй-ка попилить, может быть, у тебя это лучше получится.

Я взялся за пилу. Тянуть — дело нехитрое. Один раз протянул, но глупая пила почему-то застряла. Стал ее толкать назад к отцу — согнулась.

— Да не толкай ты и не нажимай. Пускай ее легко, — посоветовал отец.

Отпустил. Второй раз пошла свободнее. А потом и запела: «Шик-шак! Шик-шак!» Можно, оказывается, научиться пилить. Первый кругляк откатился. Из него мы наколем чурок, и задымит наш самовар!

С самоваром у меня связывались самые радужные представления о завтрашнем дне. Я уже видел того человека, который, взяв в рот халву, принимается искать пиалу с чаем. А чай наливается из самовара. В самовар же кладутся чурки. Все связано цепочкой, и цепочка тянется без конца.

Я думаю, что и папа так же радостно представлял себе наше чайное будущее. Иначе не водил бы старательно по чурбану пилой и не колол бы с увлечением кругляки. О матушке и говорить нечего. Она была душой всего дела. То держала чурбан, то собирала чурки, то копалась в сарае, отыскивая битые чайники и пиалы. И все приговаривала:

— Даст бог, выберемся из беды.

Ждать базарного дня она не хотела. Вдруг Ташпатак передумает ставить самовар возле своей лавки. Или того хуже — найдет другого, более расторопного человека, и тот сразу же начнет кипятить воду и заваривать чай.

— Утром и несите самовар,— убеждала она отца. Пусть Ташпатак видит ваши старания.

Отец пытался возражать:

— Люди, которые кладут в рот халву, приезжают в базарный день.

Возражать матушке было бесполезно. Она отбрасывала все, что становилось поперек.

— Те люди, которые едят халву, приедут в базарный день, а те, которые пьют чай, приедут в обычный день. Начните с тех, кто пьет чай без халвы.

Я был согласен с матушкой. Мне не терпелось увидеть поскорее, как мы будем избавляться от беды. Обещанная дядей Ташпатаком лепешка уже просилась в руки.

Чтобы подняться с постели до рассвета, надо лечь до заката, так говорили старики. До заката мы не легли, но как только опустилось солнце, дом наш погрузился в сон. Не помню, какие сны мне виделись в ту ночь, но думаю, что хорошие, сытые во всяком случае.

Разбудила нас матушка затемно еще. На террасе уже стоял самовар и два ведра с щепками и чурками. Чайники были связаны бечевкой, чтобы можно было нести в одной руке.

— Аминь!— произнесла молитвенно матушка.— Да будет удача вам, да наступят светлые дни!

Мы с отцом повторили: «аминь», подхватили чайники, ведра и самовар и заспешили к базару.

Нас никто не ждал. Ни торговцы, ни любители халвы и чая. Ряды медников, мыловаров, башмачников дремали в предрассветной мгле. Над базаром стояла тишина, которую нельзя было разбудить ни нашими голосами, ни стуком чайников, нанизанных на бечевку.

— Вот, сынок,— вздохнул отец.— Лепешка, которую сулил нам Ташпатак, еще не попала в тандыр.

Да, наверное, не попала. Что ж, пождем. Лишь бы замесили тесто. А пока замешивают, начнем кипятить чай.

— Найди кирпичи!— сказал отец.— Надо на что-то поставить самовар, он ведь у нас без одной ноги. А я схожу пока за водой.

С водой в городе было плохо. Хоть и говорили: кто испил воду Джизака, тот вернется сюда даже из Мекки, мы сами видели ее чистой и свежую лишь два раза в месяц, когда действовал канал. Остальное время пользовались водоемами — хаузами. Ближний к базару хауз находился в мечети махалли Косаблик. Туда и пошел отец с двумя ведрами.

Я занялся кирпичами. За ними не надо было далеко ходить. На базаре многие лавки представляли собой развалины, под которыми в груде щебня и глины можно было легко найти кирпичи. Пошаришь под мусором и наткнешься на твердый угловатый прямоугольник. Мне требовалось всего лишь четыре кирпича, и я быстро их добыл.

Когда вернулся отец из мечети, самовар уже высылся на кирпичях. Крышка была снята, и можно было заливать его водой. Я схватил ведро, чтобы опрокинуть его в самовар, но отец остановил меня.

— Ты хочешь угостить людей чаем или шурпой?

Я глянул в воду и обомлел: черные, желтые, красные червячки плавали в ней, как рыбы. И их было так много, что хоть сетью лови.

— Вай!— воскликнул я.— Вода не годится.

— Другой нет,— ответил отец.— И ту пришлось доставать со дна хауза.

Он снял поясной платок, развернул его и накрыл кувшин, что мы захватили из дому.

— Лей!

Я стал сливать воду. Текла она медленно, оставляя на платке извивающихся, словно змейки, червей. От половины ведра их набралась горсть, а от целого — пиала.

— Теперь я разожгу самовар,— объявил отец,— а ты сходи в мечеть и принеси еще воды. Нам нужен запас.

Роль водоноса не слишком приятная. Вчера, когда отец разговаривал с Ташпатаком, никто не вспомнил о хаузе. Толковали о халве и чае, о пиалах и чайниках. Воду почему-то забыли, будто она находилась в самоваре с того дня, когда его изготовил медник.

— С двумя ведрами?— спросил я, и в голосе моем прозвучало уныние. Самоварное дело перестало мне нравиться.

— С двумя,— подтвердил отец.— Нам понадобится много воды.

Много! Значит, двумя и четырьмя ведрами не отделаешься. Таскай и таскай. Тот, кто хоть раз ходил за водой в хауз, тот знает, какое невеселое это занятие. Особенно зимой, в холод и грязь.

Я взял ведра и пошел к мечети.

Базар уже просыпался. Торговый люд тек со всех концов города. Кто нес ичиги, кто пряжу, кто медные кувшины — кумганы, кто сладости. С пустыми ведрами, как у меня, навстречу никто не попадался. Все шли на базар, с базара — я один.

У каждого свое дело, это я понимал. Одному нужны

деньги, другому — вода. Воду добыть труднее. Надо все время думать, как добраться до мечети и не упасть, наполнить ведра и тоже не упасть, наконец, вернуться к отцу, не изваляв своего чапана в грязи. Мое умение падать читателю известно. А тут и умения не требовалось — грязно, скользко, всякая лужа к себе тянет.

Дорогу к мечети оберегал бог — я ни разу не споткнулся. Благополучно наполнил и ведра у хауза, хотя берег был мокрый и соскользнуть вниз не стоило никакого труда. Каждый знает, что падать легче, чем подниматься. А из хауза вообще не вылезешь без посторонней помощи: барахтайся на дне и жди, когда явится другой водонос и вытащит тебя на берег.

Довольный собой, я поднял ведра и понес к лавке Ташпатака. Мне было радостно и хотелось петь. Я бы запел, не будь ведра такими тяжелыми, а земля такой скользкой. Притом я не был уверен, что обратный путь тоже оберегается богом, дорога-то шла не в мечеть, а из мечети. Опасения мои подтвердились. Едва я вступил в ряд жестянщиков, как левая нога моя поехала в одну сторону, правая — в другую. С ногами я справился бы, а вот с ведрами — не смог. Они сорвались с моих рук, как куры с насеста, и полетели на землю.

Поднять ведра, тем более пустые, легко, а как вернуть в них воду? Она весело текла по земле, торопясь обратно в хауз.

Пришлось начать все сначала: взять ведра, пойти в мечеть, набрать воду. На этот раз обошлось без приключений. Только я опоздал к торжественному моменту — рождению огня в самоваре. Он уже кипел, и белые струйки пара вырывались из конфорки.

— Ты что, в Самарканд ходил за водой? — спросил отец не без ехидства.

— Очень скользкая дорога, — ответил я и опустил виновато глаза.

Дядя Ташпатак сидел в своей лавке и колот большим ножом халву. Сладкие осколки летели во все стороны, он собирал их бережно, как собирают рассыпавшиеся деньги, и складывал в кучки. Дядя был серьезно занят этим важным делом, однако услышал наш с отцом разговор и счел нужным вставить свое слово.

— В самом деле вода в Самарканде лучше, чем в Джи-заке, прозрачна, как слеза, сладка, как шербет.

Произнеся это, он причмокнул, словно самаркандская вода попала ему сейчас в рот.

Дядя Ташпатак был родом из Самарканда и считал этот город самым лучшим в мире. Он и халву оттуда привозил, и она тоже была самая лучшая. Правда, я не пробовал ее, не по карману нам халва, но те, кто пробовал, хвалили. Они даже пальцы облизывали, проглотив сахарный комочек.

— Так уж заведено всевышним,— заметил отец.— В одном городе вкусная вода, в другом — хлеб. Джизакский хлеб освящен самим аллахом.

— А где он?— насмешливо спросил Ташпатак.— Где ваш хлеб, освященный аллахом?

— Время такое...— поднял руки к небу отец.— Нигде нет ныне хлеба. Слава всевышнему, пьющая власть думает о людях, не дает им умереть с голоду.

Насчет новой власти у Ташпатака не нашлось слов. Тот, кто торгует халвой, не особенно нуждается в хлебе.

Ташпатак разложил равные кусочки халвы на подносе и стал зазывать покупателей. Народ с восходом солнца заполнил базар, ожил и башмачный ряд, в конце которого стояла лавка Ташпатака. Я смотрел на покупателей с волнением. Произойдет ли чудо? Станут ли люди, положив в рот халву, искать пиалу с чаем? Станут ли пить воду, что я принес из хауза? Зеленоватую, отдающую тинной.

Первый, кто положил в рот халву, не повернулся в сторону самовара. Прожевав кусок, он, должно быть, не почувствовал сладости, и жажда не пришла к нему. Два куска исчезли в его желудке, исчез третий, а о пиале с чаем он не думал.

Отец сначала с надеждой, а потом с удивлением смотрел на покупателя. Чуда не происходило. Любитель халвы проглотил четвертый кусок, облизал пальцы и ушел.

Спустившись на корточки, отец стал лучинкой ковырять поддувало. Он был огорчен. Я утер слезы. Напрасно мы трудились. Чай наш никому не нужен. Обещанной лепешки не будет.

— Принести еще воды?— спросил я отца.

Он помолчал. Его одолевали те же печальные мысли, что и меня.

— Не надо,— наконец ответил он.— И эту девать некуда.

Но отец ошибся. Понадобилась вода. В лавку Ташпатака зачастили покупатели, и один из них попросил чаю.

Торжественно, с почтением отец протянул ему чайник. Не всякому вельможе в прошлом оказывалось такое внимание. Ему улыбались, ему говорили приятные слова.

За первым чайником последовал второй.

Со всех ног я бросился к хаузу. Грязь уже не пугала ме-

ня, тяжесть ведер не чувствовалась. В моих руках были не ведра, а та самая лепешка, которую обещал дядя Ташпатак. Я видел ее румяную корочку, вдыхал запах печеного хлеба. Самый приятный, самый чудесный запах на свете.

То утро стало началом дня, когда чуточку ослабла петля голода. Вечером мы возвращались с хлебом, и нас ждали, к нам протягивали руки. И когда матушка разламывала лепешки и раздавала куски братьям и сестрам, я забыл все тяготы дня — и дорогу в хауз, и страх перед его глубиной, и ушибы, которых было немало, — мне все еще не везло на скользкой глине.

За тем утром шло второе, третье и, как говорится, пальцы можно было не загибать, считая их. С рассветом мы направлялись к лавке Ташпатака, отец оставался у самовара, а я с ведрами шел дальше, к мечети. Ноги мои уже не останавливались до самого вечера. Иногда они были босыми, иногда — обутыми в отцовские кавуши. Почему отцовские? Да потому, что мои, латаные и перелатанные, на третий день развалились. Без кавуш я меньше скользил и меньше падал. Конечно, в снег без кавуш было холодно, вот тогда-то отец и снимал свои и отдавал их мне.

Я старался изо всех сил. Но сил у меня оказалось не так много. От холода и грязи кожа на ногах стала трескаться. Чуть заденешь пальцем за камень, появляется кровь. Бегая с ведрами, я всегда прихрамывал.

Так бы с ведрами и прошла зима, да мне на роду не написано заниматься одним делом. Матушка как-то глянула на мои ноги и сказала:

— На воде, должно быть, кавуш не заработаешь, а о сапогах и говорить нечего.

Я думаю, матушку на такую мысль натолкнули не мои ноги. Семья наша все еще бедствовала, и кроме кукурузных или просяных лепешек добыть ничего не могла. О них и повела разговор матушка.

— А не заняться ли тебе лепешками?

По наивности я решил, что она хочет научить меня печь хлеб, на что сама была большой мастерицей. Но оказалось, не о тандыре, и не о тесте шла речь. Я должен был предлагать лепешки любителям халвы и чая.

От желания до дела расстояние небольшое, у матушки моей во всяком случае. Уже с вечера было поставлено тесто, а перед рассветом во дворе запахло свежими лепешками.

— Вставай, сынок! — сказала матушка, отрывая меня от сна. — Я завернула лепешки в чапан, они долго будут гореть.

ними. Положишь их рядом с самоваром, так, чтобы люди видели и захотели взять.

Простившись с сандалом, у которого грелись мои ноги, измученные и озябшие за день, я взял корзину с лепешками и отправился выполнять поручение матушки. Это было простое поручение. Лепешки — не ведра с пуд весом, пахнут не гнилью, как вода из хауза, а печеным просом, бегать с ними за версту к мечети не надо. Положил у самовара и жди, когда любители халвы и чая выберут самую румяную и отправят в рот.

Все было сделано, как велела матушка. Круглая плоская корзина заняла почетное место рядом с самоваром, и всякий, кто подходил к лавке Ташпатака, не мог не обратить на нее внимания.

Мудрость моей матушки была известна. «Рахат знает все.— любила она повторять,— не знает только, когда помрет». Но оказалось, что и еще одного не знает матушка — как добыть деньги. Лежали наши лепешки возле самовара, показывали всем свою румяную корочку, а никто их не брал. Люди, приходившие лакомиться халвой, были сыты. Голодный не станет набивать желудок сладостью, которая в пять раз дороже просяной лепешки. Прежде, чем полакомиться медом с райского дастархана, надо заглушить боль пустого желудка куском хлеба.

— Сынок, — сказал папа, грустно глядя на корзину, — что-то плохо идут наши лепешки.

Он сказал «плохо идут», а надо было сказать — вовсе не идут. Ни одной ведь не попробовали любители халвы. Я понял, что опять предстоит работа моим бедным ногам. Так просто отец не станет затевать разговор о торговле.

— Может, поставишь корзину на голову и пройдешь по рядам, — посоветовал он.

Не только ногам, но и голове моей предстояла работа. Я никогда не торговал лепешками, да и вообще не торговал.

Отец заметил мое смущение и подбодрил:

— Лепешки-то ведь из нашего тандыра, из нашей муки. Не чужие. Что же тут совестного? Видел, как лихо торгует лепешками сын Закирджана?!

Кто из подростков не видел сына Закирджана? Не увидеть его нельзя было. Цветной халат и цветная тюбетейка Мамараджаба, так звали Закирджанова сына, издали привлекали к себе глаз. Он любил показать себя. Но не яркий халат был главной примечательностью Мамараджаба. Голос его. Войдя в торговый ряд, он выкрикивал:

— Свеженькие лепешки!

Выкрикивал так весело, так громко, что люди невольно поднимали головы. Мамараджаб криком своим как бы предупреждал: будьте внимательны, я вынес свои лепешки, и кто не успеет купить их, пусть пеняет на себя.

И предупреждение действовало. Лепешки Мамараджаба расхватывали в один миг. Он клал деньги в бельбэг и отправлялся за новой корзиной.

Торговать Мамараджаб наловчился, когда был еще мальчишкой. На старом курином базаре он заманивал покупателей точно такими же веселыми выкриками, только тогда Мамараджаб расхваливал птицу, яйца, мясо. С тех пор и повелось ставить ребятишкам в пример сына Закирджана.

— Каждому рабу божьему даровал бы всевышний такого наследника, как Мамараджаб. Мыслит в торговле не хуже взрослого. Прямо-таки «нож базара», хотя еще и мальчишка.

«Нож базара» — было высшей похвалой. Ее удостаивались лишь опытные торговцы, способные угадывать, какой товар и в какое время выносить, какую цену запрашивать.

— Бери пример с сына Закирджана! — сказал отец, поднимая корзину с лепешками и ставя ее мне на голову. — Он за день пять корзин распродает. Постарайся сбыть хоть одну.

С тяжелым сердцем вышел я к лавкам главного торгового ряда в центр базара. Здесь ставил свою корзину Мамараджаб, отсюда началась его слава первого нанвая-лепешечника. Если брать пример, то во всем, решил я. Начну с места.

Народу было не так много, чтобы меня не заметили, и я не потерялся вместе со своими просыянными лепешками. Покупатели лениво рассматривали товар, торговцы так же лениво его показывали. Каждый занимался тем, чем положено заниматься на базаре.

Оглядев место, прославившее Мамараджаба, — а это был небольшой бугорок, — я опустил на него свою корзину и, онутив, сделал то, что делал Мамараджаб — заорал во все горло:

— Чистенькие лепешечки!

Если бы крик мой не был таким громким, а произнесенные слова не такими знакомыми, торговцы, наверное, не обратили бы внимания на нового лепешечника. Но я оказался тем петушком, который кричит с чужого голоса и кричит не вовремя. А как известно, петух, поющий не вовремя, попадает в котел. Торговцы оставили своих покупателей и повернулись в мою сторону. То, что они повернулись в мою

сторону, не удивило меня, даже обрадовало. Но они не поспешили к моей корзине, остались там, где были, посмотрели на меня и засмеялись. Громче всех смеялся торговец табаком — толстяк Закир-каль. Его круглое лицо стало еще круглее, а рот раздвинулся до ушей.

— Ха-ха-ха! — покатывался он.

Растерянный стоял я над своей корзиной, не понимая, отчего люди смеются. Что сделал я постыдного, ведь в моей корзине всего лишь хлеб?

Насмеявшись вдоволь, Закир-каль поднял свое большое тело с курпачи, сделал шаг, только шаг, в мою сторону и сказал:

— Вы слышали, уважаемые: «чистенькие лепешечки!» Я думаю, что они такие же чистенькие, как он сам.

Он показывал на мой рваный чапан и босые ноги, по щиколотку запачканные грязью. На мои просяные, не пшеничные, как у Мамараджаба, лепешки.

— А ну проваливай отсюда!

Закир-каль мог бы и не прогонять меня, я сам догадался, что нужно уходить отсюда и поскорее.

Под хохот продавцов я поднял свою корзину и исчез с глаз Закир-каля.

Вот так началось мое нанвайство, думал я, глотая слезы обиды. Не удастся мне продать ни одной лепешки. С чем же я вернусь к отцу и матушке? Корзинка должна быть пуста.

Из главного ряда я пошел на край базара, где люди попроще и мои лепешки могут прийтись им по вкусу. Да и дешевле они пшеничных, мамараджабовских.

Я уже не кричал: «Чистенькие лепешечки!» Вообще не кричал. Голос мой был тихим:

— Лепешки... Лепешки...

Иногда, боязливо оглянувшись, словно за мной мог увязаться толстый Закир-каль, я пояснял робко:

— Свежие лепешки!

Они еще были тепленькие, особенно те, что лежали внизу. Просяной хлеб черствел быстро, а зачерствев, начинал ломаться и крошиться.

Нашлись голодные, которым мои лепешки понравились. Гончары ели их с аппетитом. Дехкане, приехавшие из кишлаков, тоже от них не отказывались. Корзина моя постепенно опустела, и я, гордый, поспешил к отцу.

— Вот, — объявил я, показывая на корзину.

Пустая корзина почему-то не произвела на отца нужного впечатления.

— На двадцать лепешек тебе едва хватило дня, — сказал он. — А если бы мать положила в корзину сорок?

Я не умел считать, не зря мулла лупил меня в школе палкой. На сорок лепешек, кроме дня, требовалась еще и ночь. Не поспать ночь я смог бы, но кто ночью станет покупать лепешки? Огорченный стоял я перед отцом, не зная, что ответить.

— Не выйдет из тебя нанвой, — сокрушенно покачал головой отец. — Выгоднее торговать водой, чем хлебом. Ходика ты лучше с ведрами в хауз.

Таскать воду из мечети было тяжело. Мои руки и ноги хорошо это знали. Я захныкал:

— Завтра продам две корзины... три корзины...

Я готов был назвать пять, лишь бы отец не посылал меня в мечеть. Хотя пять корзин, наверное, не распродал и Мамараджаб.

— Пять, не пять, а две надо бы.

Отец сложил пиалы в ведра, связал чайники, как мы обычно это делали, отправляясь на базар или с базара, — день кончался, надо было возвращаться домой. Оставалось лишь сотворить молитву. Без нее отец в последнее время не делал ни шагу. Он скрестил ноги на подстилке и кивком головы велел мне последовать его примеру.

— Всевышний! — произнес он шепотом. — Одари справедливостью рабов своих, ниспошли им мир и покой. Вместе со всеми смиренными не обойди своей милостью и нас.

После этих понятных мне и отцу слов последовали непонятные. Он не был уверен, что всевышний знает узбекский язык, и о серьезных вещах с ним надо говорить по-арабски. Поэтому молитву он закончил чужими, таинственными словами:

— Амниъ ва раббил оламин, брахматика ер олхамор рохимин облах акбар!

Слова эти означали и большое и малое, так я думал, и в малом могла быть просьба отца о сыне Назиркуле, которому надо было помочь продать завтра сорок лепешек.

Бог милостив, говорила мне постоянно матушка. А раз так, то что ему стоит помочь Назиркулу? Помогает же он Мамараджабу.

С этими мыслями я сделал омовение. Лица и полный надежд зашагал рядом с отцом домой.

На другое утро я уже без робости поставил себе на голову корзину с просянными лепешками. Правда, меня несколько удивила тяжесть ее. Похоже, матушка решила накормить лепешками весь базар. Придерживая рукой корзи-

ну, а вместе с ней и голову, которая настойчиво клонилась набок, я поспешил в торговые ряды.

Грязь, как всегда, разлилась по всей улице, и чтобы не упасть и не уронить корзину, я должен был, как хороший канатоходец, то приседать, то взмахивать свободной рукой, то наклоняться влево или вправо. Ноги пытались ускользнуть от меня, и я с трудом останавливал их. Огромные отцовские кавуши, которыми матушка снабдила меня, застревали в глине и охотнее расставались со мной, чем с вязкой жижей.

Всю дорогу я воевал с кавушами, и, когда наконец добрался до центра базара, сил у меня не осталось даже на то, чтобы крикнуть: «Свежие лепешки!» Впрочем, кричать уже не надо было. На бугорке стоял Мамараджаб в своем новом красивом халате и сворачивал на корзине скатерку — первую партию лепешек он уже продал.

Стараясь не обращать на себя внимания, я тихо свернул в соседний ряд и побрел по нему, уныло повторяя:

— Лепешки... лепешки...

Вечерняя молитва не помогла. Люди не стали ждать просяных лепешек, они уже ели пшеничные.

Как ни печально началось утро, все же до обеда я сумел избавиться от одной корзины. Вторую распродал уже к закрытию базара. Голова моя гудела, ноги онемели от усталости. Я походил на теленка, которого запрягли в арбу. Пожалуй, лучше носить воду из хауза. С ведрами хотя бы не надо останавливаться перед каждой лавкой и кланяться каждому покупателю, выслушивать насмешки Закир-каля. Так рассуждал я, возвращаясь домой. И не только рассуждал, а пришел к твердому решению бросить нанвайство.

Однако никто не собирался выпрягать теленка из арбы. Я продолжал тянуть ее, и к лепешкам прибавились еще и ведра. Опорожнив корзины, я должен был наполнить водой чан, что стоял у лавки Ташпатака. Отцу нужен был запас воды на следующий день.

Человека можно научить чему угодно. Я уже умел пилить дрова, доставать воду со дна хауза, разносить лепешки. Каждый раз, поручая мне что-нибудь, матушка и отец говорили: «Молодцу и сорока ремесел мало!» Не думаю, что таскать воду для самовара было ремеслом. Не походила на ремесло и беготня по базару с лепешками. Если бы я стал кузнецом, как брат, или мыловаром, или башмачником — другое дело. В душе моей не жила радость. Каждый новый день я встречал с унынием, а заканчивал с печалью. Будто терял что-то и потерянное не надеялся вернуть.

Равнодушие мое раздражало отца. Он считал, что я упрям и ленив.

— Думай о семье! — повторял он сто раз на день. — Ты взрослый человек, у тебя жена...

Я не знал, что значит думать о семье. Слово «взрослый» меня пугало. Оно звучало как укор. Иногда мне хотелось поразмыслить над своими поступками, над тем, что происходит вокруг, но лишь только я садился на супу или взбирался на чердак, как раздавался окрик:

— Назиркул, неужели у тебя нет дела?!

Размышления не были делом. Делом была корзина, которую я носил на голове и пытался освободить ее от содержимого, выкрикивая с утра до вечера: «Свежие лепешки!»

И все-таки я размышлял. До меня доходили слухи о каких-то событиях в Самарканде, об открытии школ со странным названием «новые». Слухи эти бродили по базару. Здесь появлялся самый разный народ и приносил с собой самые удивительные новости. Меня тянуло к чайханам, где обычно располагались приезжие. Предлагая им свои лепешки, я задерживался, стараясь поймать любопытным ухом какую-нибудь новость. Чаще всего приезжие рассказывали о нападении басмачей. Страшными были эти рассказы, без убийств не обходилась ни одна история. Сердце мое замирало от страха, когда какой-нибудь самаркандский торговец произносил шепотом: «Школу сожгли, а учителю отрезали язык».

Нападали басмачи всегда на новые школы; старые, с муллами, молитвами, розгами, они почему-то не трогали. Я не знал, чем отличалась новая школа от старой. Наверное, не постройкой, хотя в своем воображении я рисовал ее себе высокой, с большими окнами. Обязательно с большими, чтобы видно было небо и летящих птиц. Другого ничего моя фантазия не подсказывала. Учиться в такой школе, конечно, приятно. Тот, кто вошел в нее, не захочет покинуть.

Незнакомое всегда немножко таинственно. Оно влечет к себе, и я в мечтах уже переступал порог новой школы. Переступал с каким-то чувством радости и страха одновременно. Радости, потому что должен был узнать новое, интересное — ведь это же новая школа. А страха, потому что не был уверен, возьмут ли меня в эту школу. В школу ходят дети, взрослых туда не пускают, тем более женатых. Мне каждый день повторяли: «Ты взрослый человек. У тебя жена!» Возьмешь в руки сумку с книжками — засмеет вся махалля.

И все-таки я мечтал о школе. Все чаще и чаще вспоминалась Хикматой-отин, моя первая учительница, ее залитая

солнцем терраса, на которой мы сидели с книжками и повторяли непонятные слова. Светлое было что-то в той встрече с первой книжкой, хранящей какую-то тайну, недоступную нам и потому заставляющую наши сердца замирать от восторга. Даже матушка, когда я произносил таинственные слова, затихала пораженная, и слезы радости текли по ее щекам. Тогда я все хотел узнать тайну тех слов, да так и не узнал.

Я их помнил, те слова, и иногда шепотом повторял. Зачем мне это нужно было, не знаю. Просто загадочный звук походил чем-то на колдовское заклинание.

Идешь с корзиной на голове, месишь грязь, а губы шепчут: «Алиф-бедан кадорат, те-седан кадорат...»

В тот день, наверное, я тоже повторял эти загадочные слова, во всяком случае, мысли мои были далеки от базара, и я все время попадал не в тот ряд, который нужно, предлагал лепешки тем, кто уже взял их.

Почему-то в особо важные для моей судьбы дни — а тот день был очень важный — я принимался мечтать, и рассеянность моя доходила до крайности. Она-то и привела меня в такой уголок базара, где, как говорят, ни продавать, ни покупать нечего. Это был пустырек с коновязью, где приезжающие из кишлаков оставляли свои арбы и лошадей. Предлагать тут свежие лепешки все равно, что петь песни перед глухими. Впрочем, до лепешек и не дошло. Едва я рассмотрел место, куда попал, как услышал голос глашатая.

Он ехал на пегой лошаденке, такой незрочной и такой низенькой, что ноги его почти касались земли. Лошаденка через каждые три-четыре шага останавливалась и переводила дух, а может быть, и не переводила дух, просто выжидала, пока Эргаш-дахбаши — на лошаденке сидел именно Эргаш-дахбаши, наш сосед по махалле, — произнесет нужные ему слова.

Слова были нужны не только Эргашу-дахбаши. Это я понял, прислушавшись к тому, что он выкрикивал.

А выкрикивал он вот что:

Пашущие землю, кующие железо,
Собирающие зерно, пекущие хлеб!
Свернувшие царя,
Вернувшиеся из мардикерства!
Все! Все! Все!

Я, конечно, остановился, как и лошаденка Эргаша-дахбаши, и стал ждать, что же произойдет дальше. Глашатаи так

просто не ездят по дорогам и не произносят слова ради собственного удовольствия.

Кто не слышал, пусть услышит!
Кто сидит, пусть встанет!
Кто стоит, пусть идет!
На базаре — большое собрание.
Вы узнаете, как жить дальше.
Спешите! Спешите!

Хотя Эргаш-дахбаши и не назвал разносчиков лепешек, но я понял, что сказанное относится и ко мне. Пекущие хлеб и разносящие хлеб — одно и то же. Раз все, значит, и Назиркул.

Я пошел за лошаденкой Эргаша-дахбаши. Желających узнать, как жить дальше, оказалось много. По дороге шагали дехкане, они спрашивали друг друга, что будет на базаре. Мне тоже хотелось узнать, о какой жизни собираются рассказать народу. Но безусые не задают вопросов усатым, то есть старшим. Их дело слушать и соображать. Вот я и принялся соображать.

Фантазия моя дальше школы почему-то не шла. Наверное, откроют новую школу в нашей махалле, где-нибудь на гузаре, решил я. Перекресток казался мне самым интересным местом. Там всегдалюдно, и из дверей школы можно увидеть, как идет караван из Бухары или Самарканда, как катятся арбы, как скачут на своих лошадях жители горных кишлаков. Словом, весь мир перед глазами. Что еще нужно мальчишке?

Шагавшие рядом со мной и опережавшие меня дехкане говорили о другом: о воде, о земле, о баях, которые все еще отнимали у них часть урожая. Словом, говорили о вещах, которые были для меня далекими и непонятными. В общем, каждый спешил на собрание со своими нуждами и каждый надеялся получить ответ на беспокоивший его вопрос.

Спешили очень. Никто не отставал от меня, все обгоняли, показывали мне спины. А я спешить не мог: мешала корзина с лепешками, мешали большие огцовские кавуши, спадавшие с ног, мешала грязь, которой, как на зло, в то утро оказалось слишком много. И все же торопиться надо было. Собрание могло начаться без меня, и я пропустила бы как раз то, о чем все время думал.

Ну, когда человек спешит, дорога цепляется за него, как аркан за верблюда. Голова моя устремлялась вперед, а

ноги не пускала грязь, которой, как я уже говорил, в тот день было больше, чем следовало. Голове, конечно, трудно оторваться от меня, корзине — легко. Она оторвалась и полетела...

Можно было расплакаться от досады. Все бегут, а я сижу на корточках и собираю лепешки. Собираю, словно дылят, разбежавшихся от насадки в разные стороны, и по одной возвращаю в корзину.

За этим занятием меня застала песня. Она возникла как-то неожиданно и стала сразу громкой.

Революция, революция, — друг народа,
Горы насилия и зла сметает.
Пусть солнце справедливости и свободы
Вечно над нами сияет!

Удивительная песня, ни на какую другую непохожая. Слова смелые, дух захватывает.

Песню пели люди, одетые в красное. Они шли со стороны дынного базара. И было их так много, что дорога казалась объята красным пламенем. Впереди этого пламени конники — вооруженные винтовками и саблями бойцы Красной гвардии. Главный конник — Хайдарбек Абдуджаббаров. Голубой китель его был переkreшен ремнями, слева сабля, справа маузер, на голове — серая папаха. Буланый конь под ним горячился, и Хайдарбек придерживал его, то и дело подтягивая повод, понуждая буланого гнуть шею и пританцовывать.

Прежде Хайдарбек ездил на гнедом. Наверное, гнедого убили во время стычки с басмачами. Все говорили, что ревком всегда летит впереди отряда с обнаженной саблей. Буланый крупнее и красивее гнедого, уши наострены, глаза горят черным огнем. Не конь — сокол. Не каждый на такого сядет, и не каждого он понесет. Хайдарбека несет и даже гордится, что в седле такой всадник — высоко вскидывает голову, грызет удила.

Забыл я про свои лепешки, не знаю, собрал ли все, положил ли в корзину. Поднялся и зашагал вслед бойцам отряда Хайдарбека, «красноштанникам», как их называли в городе. Они пели песню, и идти под нее было хорошо. Всем, наверное, было хорошо, потому что никто не отставал, не сворачивал в сторону. Наоборот, из дворов и чайхан выбегали все новые и новые люди и присоединялись к нам.

Отряд не сразу отправился к месту собрания. Прежде пресмаршировал по большим улицам Джизака, поднимая пес-

ней народ. Раньше таких песен не было, да и отряда в красной одежде не было. Хайдарбек собрал бедняков и назвал их бойцами революции. Рваные чапаны мало походили на военную форму. Пришлось ревкому отобрать у какого-то богача бязь, покрасить ее в ярко-красный цвет и пошить гимнастерки и шаровары.

Сегодня первый раз, должно быть, отряд шествовал, одетый по форме. Всем мальчишкам хотелось быть ближе к бойцам, шагать если не в строю, то рядом. Такое желание испытывал и я. И все жался и жался к шеренге добровольцев. Меня оттесняли, но я упорно возвращался назад.

Так вместе с отрядом я прошел почти через весь базар и оказался перед каппоном — огороженной забором огромной площадкой с краю базара. Толпа преградила нам дорогу.

— Уррей! Уррей! — прокричал кто-то из ехавших впереди. — Посторонитесь!

Толпа раздвинулась и пропустила отряд. Только отряд. Сопровождавших оттолкнули. Меня в том числе. Работая руками, я попытался как-то пробиться вперед, поближе к деревянному помосту, куда поднялись члены ревкома. Но тут и мышь не пробралась бы, а не то что человек, да еще с корзиной. Меня схватили за плечо.

— Куда? Ишь какой быстрый! Стой, как все.

— Мне ничего не видно, — объяснил я.

— Не дорос?

— Не дорос.

— Не дорос, так подрасти. Когда вырастешь, придешь.

Все вокруг рассмеялись. Мне, однако, было не смешно. Выходит, зря торопился на собрание.

— Я хочу видеть ревком, — сказал я твердо.

— Слышите, уважаемые, он хочет видеть, а расти не хочет.

— Надо помочь мальчишке вырасти, — посоветовал какой-то шутник.

Почему шутник? Да потому, что не только дал совет, но и решил его выполнить. Он взял меня за уши и стал тянуть вверх.

Я завопил от боли.

— Пустите!

— Не хочешь, значит, расти?

Шутник дал мне легкий подзатыльник.

— Проваливай!

Я уткнулся в чью-то спину. Все вокруг задвигались, пытаясь восстановить порядок. Образовался просвет между толпами. Я нырнул в него. Посыпались новые подзатыльники,

но остановить меня уже нельзя было. Как кошка, извиваясь, я пробрался вперед и выполз к трибуне как раз в тот момент, когда на нее взошел дядя Джайнак.

Он, наверное, увидел меня. Глаза его смотрели на первый ряд, а в первом ряду как раз был я. По-моему, он даже подмигнул мне: мол, пришел, ну и молодец, так всегда делай! Может, и другое что-то подумал, не знаю что, но обязательно хорошее, ободряющее: глаза у него светились добро и ласково.

Добрыми оказались и слова дяди Джайнака. Он сказал:

— Вот, братья, дождались мы дня, когда солнце греет спину трудового человека. Отцы наши, деды и прадеды мечтали о вольных временах, а так и не дождались, умерли в тоске. Но как говорят, куда не доскачет конь, доскачет жеребенок. Доскакали мы...

Про жеребенка мне очень понравилось. Это про нас, мальчишек. Кому, как не мальчишкам, предназначена судьба скакать в будущее. Мне представилась степь вольная, и по ней, по весенней, покрытой тюльпанами, я скачу, и друг мой Адыл скачет, и все мальчишки нашей махалли. Ветер свистит в ушах, глаза слепит яркое солнце.

Дядя Джайнак будто читал мои мысли.

— Сегодняшний день — наш! И завтрашний день — наш! Солнце, которое светило богатым, будет светить нам. Вода, что текла только в байский арык, будет течь в наш. Земля, которую пашем, теперь наша! Все наше!

Сказав это, дядя Джайнак развел широко руками, показывая и небо, и город, и степь, что лежала за домами и была великой, как сам мир.

Стоявшие перед трибуной заулыбались. Щедро одарил их Джайнак. Не скупился. Я хоть и не знал, что значит быть хозяином всего, но принял подарок, и сердце наполнилось восторгом, будто в руках моих оказались сразу и солнце, и небо, и степь. Не обхватишь. Наверное, и люди испытывали то же, что и я, потому что зашумели, выражая свое одобрение.

— А что надо делать хозяину земли? — спросил дядя Джайнак. — Запрячь волов в омач, выйти в поле, вспахать его и засеять. Так поступает настоящий хозяин. Никто за нас это не сделает: ни бог, ни святой, ни сказочный богатырь. Не выделают они нам кожу, не изготовят сапоги и кавуши, не спрядут нить, не соткнут бязь. Только сами, своими руками, своим упорством, своим потом!..

Раньше, как ни трудись, было все было мало, сколько ни вырасти хлеба или хлопка, полонину, а то и две трети от-

дай ему. А если земля уродила мало, все заберет да еще долг на тебя запишет. У меня за долг и лошадь, и дом, и последний казан взял мингбаши. Это вы знаете. И еще знаете, что никто за меня не заступился, даже всевышний, хотя жена моя день и ночь молилась.

Пришла революция, и появился у нас заступник — Советская власть, власть трудящихся. Она прогнала хозяев и вернула нам то, что присвоили они, угнетая и обманывая нас. Сегодня мы можем свободно трудиться, можем вот так, сообща, обсудить, как лучше устроить жизнь каждого.

Открыв рот и наострив уши, я слушал дядю Джайнака. Мне надо было поймать слова, предназначенные для меня. Всем раздал советы: и землешкам, и ткачам, и башмачникам, а вот о разносчиках лепешек забыл. Или они, эти советы, были у него запрятаны в самом глубоком кармане, на дне, и не сразу их оттуда вытащишь? И я мысленно стал поторапливать дядю Джайнака, чтобы он поскорее добрался до дна и достал наконец совет разносчикам лепешек.

Однако просьбы мои не доходили до него, и он продолжал говорить о землешках, кузнецах и ткачах. Тут я позавидовал своему старшему брату Манзуру, молотку, которому было адресовано столько похвал. Надо бросить наймитство и заняться чем-нибудь другим, подумал я. С тяжелым молотом мне, конечно, не справиться, а вот резать и гнуть железо для ведер мог бы. Тачать сапоги — тоже.

Пока я выбирал себе дело, дядя Джайнак раздал все советы, что были у него припасены. Для разносчиков лепешек, конечно, ничего не осталось. Огорченный, я опустил голову. Должно быть, дядя Джайнак заметил это, а может, и не заметил, просто добрался до своего глубокого кармана, достал слова, правда, не о наймитах, не о лепешках и не о корзинах. Слова о солнце. Он сказал:

— Для вас взошло солнце свободы, солнце справедливости, солнце доброты. Восходит и солнце просвещения. Тысячу лет мы жили в темноте, редко кто держал в руке чиряк — скромный светильник знаний. Остальные не ведали грамоты. Советская власть хочет, чтобы каждый труженик умел читать и писать, чтобы дети посещали новые школы...

Услышав про школу, я поднял голову. Дядя Джайнак сказал это для меня, конечно, для меня. Глаза его внимательно смотрели на первый ряд, где на корточках сидел тот самый Назиркул, которого включили в список школьников после нашего возвращения в Джизак.

Мне хотелось крикнуть: «Это я, дядя Джайнак! Я все помню. Я пойду в школу».

Не крикнул. Разве крикнешь, когда остальные молчат? Слова о школе не больно взволновали взрослых, а мальчишек, кроме меня, наверное, здесь не было. Однако крикнуть все же хотелось. И когда дядя Джайнак произнес здравицу в честь революции и свободы, взял у стоявшего рядом Абдуллы Ачилова красное знамя и поднял его, я не стерпел:

— Урра!

Как ни странно, голоса своего я не услышал. Желание выразить одобрение охватило всех, кто стоял перед трибуной.

— Урра! Урра!

Я первый раз был на митинге. Никто никогда не учил меня тому, что надо делать в такую минуту. Но учить, оказывается, не надо. Одно чувство охватывает всех — чувство радости, и сдержать его нельзя. Оно выражается криком или песней. И чем громче этот крик, чем дружнее песня, тем выше поднимаешься ты, тем сильнее становишься. Красный отряд снова запел:

Революция, революция, друг народа,
Горы насилия и зла сметает
Пусть солнце справедливости и свободы
Вечно над нами сияет!

Я присоединил свой голос к голосам бойцов отряда. Как получилось, не знаю. Я произносил слова, что запомнились мне еще по дороге к каппону, а их было два: «Революция! Свобода!»

Дядя Джайнак тоже пел, и ревом Хайдарбек пел, и конники пели. Песня гремела над каппоном и была слышна, наверное, во всем Джизаке.

Песней и криками «Ура!» не окончился митинг. Оказывается, нам предстояло решать какие-то очень важные вопросы. Говорю так, потому что ревом Хайдарбек, став рядом с дядей Джайнаком, назвал всех, кто был на каппоне, представителями народа, а посмотрев на мои заплатанные кавуши и рваный чапан, добавил — представителями бедноты. От нашего имени надо было послать телеграмму самому главному защитнику бедноты товарищу Ленину.

Удивительный день! Каждое слово, услышанное здесь, волшебным дождем падало на меня, и я, как весенняя трава, жадно пил его. Своей бедности я уже не стыдился. Не закрывал ладонями дыры на чапане. Высмеивать меня за ветхость одежды некому: толстого Закир-каля на каппоне нет, нет и нарядного Мамараджаба. Все вокруг одеты в старые

чапаны, рваные сапоги и кавуши. Для них я свой. Первый раз бедность показалась мне достоинством, и я загордился и своим дырявым чапаном, и своими истерзанными грязью и камнями ногами. Нас много, подумал я. Кто посмеет обидеть?

Об этом сказал ревком Хайдарбек, обращаясь к нам.

— То, что трудовой народ взял власть в свои руки, богатым не нравится. Первую страну свободы и справедливости они хотят задушить. Со всего света посылают буржуи на нас войска, с ними заодно и те, кого мы свергли и кто надеется вернуть царя и свое богатство. Вы слышали, что на кишлаки нападают банды врагов Советской власти, слышали, что они убивают бедняков-активистов, жгут школы. Они хотят погасить то самое солнце, которое светит нам, греет наши спины. Хотят снова ввергнуть бедняков в вечную темноту, загнать в яму отчаяния и слез. Глубокий зиндан вырыли нам богатеи, такой глубокий, что и дна не видно.

Холодок кольнул мое сердце: неужели погасят солнце? Я понимал, что не о том солнце, которое на небе, говорит ревком. О другом, о солнце, померкнувшем, когда нас всех изгнали из города в мертвую степь. И остальные, наверное, видели погасшее солнце таким же. А может и другим, еще более страшным. Над всеми висела плеть мингбаши и пристава. Многим пришлось сидеть в настоящем зиндане — тюрьме, вырытой глубоко в земле.

— Братья, неужели дадим врагам погасить наше солнце, столкнуть нас в пропасть ночи? Неужели не остановим руку, занесшую над нами кровавый нож?

Хайдарбек сказал это и посмотрел на людей. Он ждал, что они ответят. И люди ответили:

— Не дадим!

— Не дадим! — повторил Хайдарбек. — Отсечем голову змее, что хочет нас ужалить!

Он тронул рукой эфес шашки, и сделал это так решительно, что, ударившись о ножны, он громко на всю площадь щелкнул. Все поняли, не для красоты сабля у ревкома. Когда наступит роковой час, она засверкает на солнце, рязя врагов.

— Сила наша, — продолжал Хайдарбек, — в нашей решимости защищать завоевания революции, в нашей сплоченности, верности делу свободы и справедливости. Вы сказали: «Не дадим!» Пусть эти слова дойдут до вождя революции товарища Ленина. Пусть он знает, что бедняки Джизака готовы защищать свободу, что мы не дадим врагам погасить солнце новой жизни. Пусть оно вечно горит над нами!

Народ все прибывал и прибывал. Последнее, сказанное Хайдарбеком, услышал, кажется, весь Джизак. Я так думаю, потому что «Урра!», прозвучавшее в честь солнца, было очень громким. Только весенний гром, прокатывающийся по небу, мог сравниться с ним. Он оглушил меня.

— Братья! — крикнул Хайдарбек. — Кто за то, чтобы нашу клятву верности передать товарищу Ленину, пусть поднимет руку!

Лес рук вскинулся надо мной. Площадь будто выросла.

Я замешкался, растерянный. Мне очень хотелось вместе со всеми поднять руку, но имел ли на это право мальчишка? Раздумывать, однако, нельзя было. Какие-то мгновения живет этот лес рук. Хайдарбек пытливо вглядывается в лица людей, переходит от одного к другому, сейчас он вернется к первому ряду, где нахожусь я. И когда вернется, то увидит меня, растерянного, с опущенными руками. Значит, без меня уйдет телеграмма о солнце. Никогда, никогда не узнает товарищ Ленин, что и Назиркул хотел быть вместе с другими, что и ему дорого солнце новой жизни.

Смелее, Назиркул! Это я сам себя поторопил. Поторопил и поднял руку.

Стало сразу как-то легко и радостно. Хорошо быть вместе со всеми.

Хайдарбек, конечно, увидел мою руку, когда, оглядев каплон, вернулся к первому ряду. Лицо его было светлым, он улыбался, как бы говоря всем: «Вы смелые люди. Вы сможете бороться. Вы защитите революцию».

В ответ мы закричали:

— Урра!

— Урра!

— Урра!

Это были прекрасные минуты моей юности.

ПОСТУЧИ В СЕМЬ ДВЕРЕЙ, ЧТОБЫ ОДНА ОТКРЫЛАСЬ

Говорят же: хочешь увидеть солнце — встань пораньше. Мы с отцом вставали, когда солнце еще пряталось на той стороне земли и раздумывало, стоит ли ему появляться над Джизаком.

Видел ли я солнце, не знаю. Глаза мои что-то не поднимались к небу, все смотрели вниз: то в хауз, то в самоварную трубу, то под ноги, что месили грязь. Конечно, не о том солнце я снова говорю, что всходило со стороны степи и день-деньской бродило по небу. О жизни — той жизни,

что всходила над нами. Новой жизни. И увидел его в тот день на площади каппона. Раньше ли обычного поднялся я тогда с курпачи, не знаю. Наверное, как всегда, но подошел к началу митинга и услышал первые слова дяди Джайнака. Выходит, встал раньше обычного.

После того дня я стал думать о новой жизни. Она вроде бы пришла для меня. Все слова дяди Джайнака относились к Назиркулу. Если даже не все, то добрая их половина. Пусть он не назвал разносчика лепешек. Но я готов стать и не разносчиком лепешек, а кузнецом или ткачом, которых он так хвалил.

Вообще, с лепешками было покончено. В тот же вечер. Я так и сказал матушке, вернувшись домой с митинга:

— Корзину с лепешками на голову себе больше не поставлю.

Мама, как всегда, подняла руки к небу, призывая на помощь бога. Но бог далеко и, конечно, не услышал ее мольбу. Ближе был отец, он как раз снимал с себя чапан и пристраивал его на гвоздик в потолочной балке. Он сказал:

— Лепешки с земли никто не станет есть.

Он намекал на мое умение ронять все, что я нес.

— Оббо! — воскликнула матушка и снова протянула руки, теперь уже в сторону отца. — Вы забыли, что у него семья, а потребности семьи — это пасть пещеры. Кто наполнит ее?

Пещера напугала отца. Слишком большой показалась ему ее пасть, и он растерянно пожал плечами.

— Может, Назиркул займется другим делом...

Хоть и не приличествовало мальчишке встречать в разговор старших, но я все же встрял: собственная судьба была мне дорога.

— Я буду кузнецом!

Произнесено это было мною так твердо и так решительно, что мама, никогда не принимавшая всерьез изречений собственного сына, с удивлением и настороженностью глянула на меня.

— Кузнецом?!

Вид мой никак не подходил для молотобойца — тощий, нескладный, тонкорукый.

— Кто это вбил в твою голову такую мысль? — спросила она насмешливо. — Или сам решил, сидя на чердаке?

Конечно, я сам решил, правда, не на чердаке, на каппоне во время митинга, но признаться в этом, значит, вызвать еще большие насмешки. Тут не только матушка, но и отец

посмеялся бы вволю. У меня хватило ума сослаться на людей, чей авторитет в доме было непререкаем.

— Ревком Хайдарбек,— сказал я спокойно и с достоинством.

Насмешливая улыбка мгновенно исчезла с лица матушки. Намереваясь что-то сказать до этого, она так и застыла с открытым ртом.

— Постой, постой!— недоверчиво посмотрел на меня отец.— Где это ты разговаривал с Хайдарбеком?

— На каппоне. Там был митинг бедняков.

Это походило на правду. О митинге отец, конечно, слышал. Такое событие не могло пройти незамеченным для джизакского базара. Но как удалось мальчишке вступить в разговор с самим председателем ревкома?

— Так прямо и сказал?— не веря еще своим словам, уточнил отец.

— Главные люди теперь те, кто сеет хлеб и кует железо,— ушел я от прямого ответа.— И дядя Джайнак хвалил хлеборобов, кузнецов, ткачей.

— Их все должны хвалить,— несколько успокоился отец.— Они творят то, чем мы живем. Но ты-то не ткач и не кузнец, за что же хвалил тебя Джайнак-ака?

— Он не хвалил меня,— открыл я правду. — Но похвалит, когда стану к горну.

Теперь можно было посмеяться над глупой мечтой моей. А отец не посмеялся, и матушка не посмеялась. Она заплакала вдруг и, глотая слезы, сказала:

— Ягненок мой, ту ли дорогу ты выбирзешь?

Отец сделался очень серьезным. Он пристроил наконец свой чапан на гвоздь, почесал бородку, подумал, потом изрек:

— А почему не ту дорогу? И дед твой и отец были кузнецами. Оба дяди стоят у горна, брат Манзур взял молот. Ту, видно, дорогу.

Матушка перестала плакать. В самом деле: судьба человека не им определена, а всевышним. Так она и сказала, добавив не без гордости, что и ее братья — кузнецы.

— Вот видишь,— покачал раздумчиво головой отец. — Не обойти нам кузнечный ряд. Собирайся, сынок, пойдём к Манзуру!

Нельзя откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня,— всем известная истина. Особенно то, что задумано моей матушкой и моим отцом. До утра они могли не только переменить свое решение, но и вообще отказаться от него. Поэтому я торопливо снял с гвоздя только что повешенный отцом чапан и накинул его ему на плечи.

— Пока светло еще, надо поспеть к Манзуру-ака, — сказал я, направляясь к двери.

— погоди! — остановила меня матушка. — Как же без подарка? Возьми хоть пару лепешек.

Опять эти просынные лепешки! Одно упоминание о них приводило меня в уныние. Но без подарка никак нельзя. Так уж принято: к учителю всегда идут с приношением, а Манзур становился теперь вроде бы моим учителем.

Несколько лепешек, завернутых в платок, — у меня за пазухой, отец первым выходит из дому, я иду следом.

Сколько раз я начинал путь в учение от этой калитки и ни один раз не закончил его благополучно. Судьба прерывала его всегда неожиданно и всегда печально. Первый раз матушка меня буквально выволокла из дома и я плакал от страха перед таинственной неизвестностью, именуемой учением. На этот раз я шел добровольно, полный решимости не только выучиться, но и прославить себя как кузнец! За калиткой я опередил отца, и он едва поспевал за мной. Надо было спешить к своей мечте.

Встреча с братом несколько охладила меня. Манзур-ака почему-то не обрадовался моему желанию стать кузнецом.

— Во-первых, я не кузнец сейчас, — сказал он. — Нет железа, нет угля. Возьму со старыми ведрами, тазами, самоварами и чайниками. Где поставлю носы, где запаяю дырку, где приклепаю ручки.

К счастью, отец не принял эти жалобы Манзура.

— Нигде нет угля и железа, но не одним днем жизнь определена. Завтра может появиться уголь, послезавтра — железо, а послепослезавтра — медь.

— Да, да, — кивнул Манзур. — Уголь может появиться... Но у меня есть уже подручный, Сафар-чиканак. Он старательный малый и кое-что умеет. Только старание его ни к чему, работы мало.

И этот довод не принял отец.

— Сегодня мало, завтра будет больше, — сослался он опять на время. — Пусть Назир учится, платы пока не надо, лишь бы дело освоил.

Брат подумал, посмотрел на меня жалостливо. Но не улыбнулся, как обычно, не ободрил. Лишь вздохнул сочувственно.

— Ладно. Завтра пришлите Назиркула в мастерскую.

На улице отец спросил меня:

— Не получится с молотком так же, как с корзиной? Молоток тяжелый, не дай бог упадет на ногу.

Я промолчал. Кузнечное дело, конечно, труднее нанвайст-

ва, зато почетнее. Все говорят о нем с уважением, даже с гордостью. Приятно входить не в башмачный, не кожевенный, а в кузнечный ряд. Стук молотков, скрежет железа, громкое дыхание мехов горна! И искры, искры... Летят, как горячие золотые пчелы.

— Не уроню,— твердо пообещал я.

— Дай бог!

Молоток я действительно не уронил. С первого дня старался быть внимательным и аккуратным. Впрочем, уронить его нельзя было. Он почти не попадал мне в руки. Работы в мастерской в самом деле было мало. Брат Манзур и его подручный легко управлялись с дырявыми чайниками и тазами, которые им приносили горожане. Дырки, как известно, не каждый день появляются в посуде, а есть меднику и его ученикам надо ежедневно и лучше не один раз. Поэтому иногда приходилось и не обедать.

— Ты пока присматривайся,— говорил мне Манзур.— Учись держать в руках паяльник и молоток. Когда нам закажут сто ведер, твои руки понадобятся.

— Конечно, для ста ведер нужно много рук,— добавлял Сафар-чиканак. — Очень много.

Глаза Сафара при этом загорались, и он радостно улыбался, представляя себе, как стучит молотком по железу и как лист вдруг превращается в круглое ведро, такое круглое, что, если его бросить, оно покатится по дороге, словно арбуз.

Должно быть, разговор о ста ведрах частенько велся в мастерской. Оба — мастер и его ученик — мечтали о большой работе. Ведь кузница тогда живет, когда стучат молотки. Кузнечный ряд тем и отличался от других рядов, что громом своим оглушал весь базар. Далеко слышна была эта веселая музыка железа и наковален.

— После пятницы? — спросил я Манзура.

— Что после пятницы? — не понял меня брат.

— Дадут заказ на сто ведер?

Манзур не был быстр на выдумку. Он растерялся, услышав мой вопрос. Мечта его о ста ведрах была далекой. Сколько пятниц до счастливого дня, неизвестно.

— После пятницы,— подтвердил он.— Только не этой и не той...

— Перед саратаном,— поспешил на выручку учителю сообразительный Сафар.— Когда жарко, нужна вода людям, а воду носят ведрами. Ты же знаешь...

Да, я знал, что воду носят ведрами. Сам ходил за водой

к колодцу ишана, в мечеть ходил. Без ведра воду не зачерпнешь.

— Хорошо,— согласился я,— значит, у меня еще есть время научиться делать ведра.

— Есть, есть... Не торопись,— похлопал меня по плечу брат.— Пока разводи огонь для паяльника.

С огня началась моя школа кузнеца. Огонь разводить я умел. Очаг во дворе числился за мной. Самовар нередко закипал с моей помощью. Иногда матушка поручала мне даже тандыр, а это считалось не простым делом. Для паяльника огонь разводился в горне. Раздуть пламя можно было с помощью мехов. Потянешь за веревку, и воздух устремится в глиняное гнездо, где лежит уголь. Огонь сразу становится голубым, искры летят во все стороны, и железо, если его поднести клещами к пламени, быстро раскалется. На глазах становится сначала багровым, потом ярко-красным и наконец бело-розовым. Тогда его кладут на наковальню и ударами молота сминают, гнут, словно это не железо, а мягкая глина.

Сейчас железа не было, грели паяльник, а его достаточно лишь хорошо прокалить.

Паял Сафар-чиканак. Мой школьный друг довольно ловко орудовал неуклюжим паяльником. Потерев его о кусок кислоты, он прикладывал горячим носком к олову, снимал с него несколько капель и вводил их в зазор, который надо было заделать. Мне нравилось смотреть, как расплавленное жидкое олово, словно серебро, течет по медному тазу живыми сверкающими каплями и как Сафар ловит их носком паяльника и заставляет застывать в нужном месте.

Следя за Сафаром, я мысленно повторял его движения, и мне казалось, попади в мои руки паяльник, зазор будет так же ловко заделан, как и у моего друга. Стоило брату отлучиться на минуту, я начинал выпрашивать у Сафара инструмент — дай попаять! Тот испуганно косился на дверь — а вдруг вернется мастер? — и пальцем водил возле носа: нельзя!

Однажды я все-таки выманил у Сафара паяльник. Вместе мы поводили носком по кислоте, зацепили несколько капель олова и понесли их на чайник, от которого отваливалась ручка. С помощью Сафара мне, наверное, удалось бы припаять ручку, но выиграло честолюбие, и в последний момент я отстранил от себя друга. Паяльник сразу запласал, вместо ручки ткнулся в дно чайника. Олово застыло там, где ему вовсе не следовало застывать.

— Эх! — досадливо воскликнул Сафар-чиканак. — Не туда попало. Дай-ка я сниму напай!

Он снова подогрел паяльник и стал расплавлять на дне застывшую напайку. В это время вернулся брат.

— Что это? — спросил он строго.

— Да вот случайно капнул не туда, — взял на себя вину Сафар.

— На тебя не похоже, — покачал головой Манзур. — Навиркула работа.

Я хотел признаться, но Сафар не дал мне рта раскрыть.

— Нет, нет... Он ни при чем, усто. Рука моя зацепилась за нос чайника.

Добрая душа была у Сафара. Не мог он допустить, чтобы пострадал его товарищ. Я вспомнил, как расплатился Сафар за чужую вину в мечети. Мулла тогда подвесил его за ноги к потолку и издевался над мальчишкой до тех пор, пока тот не потерял сознание. Мужество Сафара тогда потрясло всех. Мы долго помнили тот страшный случай. Нельзя было не помнить. Такое бывает раз в жизни.

— Вы правы, — повернулся я к брату. — Моя работа...

Должно было последовать наказание. Если каждый ученик станет без спросу трогать инструмент и расходовать олово, которого достать в то время было почти невозможно, дело мастера придет в упадок. Брат и так едва сводил концы с концами. Однако наказания не последовало. Манзур-ака только зло глянул на меня и сказал:

— Не захотел ждать заказа на сто ведер?

Я опустил виновато голову. Ждать заказа было действительно неумогу. Да и будет ли этот заказ? Сказка, наверно.

— А напрасно поторопился, — продолжал брат. — Заказ то поступил.

Он прошел в угол, быткнул из хлама лист железа, не полный, половинку всего лишь, и бросил мне к ногам. Железо загромыхало со страшной силой, будто не один лист, а целую сотню сбросили с арбы.

— Выровняй хорошенько... вон тем молотком. Потом начнем кроить ведро.

Не знаю было ли это то самое ведро, с которого начинается сотня? Пожалуй, для сотни понадобилось бы не поллиста. Ну да размышлять не дело подмастерья. Появилась работа — засучивай рукава!

Позже я понял, что брат придумал мне эту работу. Никто не заказывал ведра вообще, никто ничего не заказывал, но не закрывать же мастерскую, не разгонять же учеников. По стуку молотка люди судят — жив ли жестянщик, жив ли кузнец?

Я заработал молотком. Уши мои глохли от шума, но душа ликовала. Наконец-то руки добрались до настоящего дела! Мне хотелось петь песню. Стучать молотком и петь. Выкрикивать, как когда-то выкрикивал мой дядя кузнец: — Эй, его величество, Дауд-пир!

Сильный удар всегда требовал помощи покровителя кузнецов Дауда. Сильных ударов лист железа не требовал, поэтому я не выкрикивал этих слов. Молоток мой ходил по железу, и железо само кричало: трах-тара-рах! Тах-тах!

Наверное, все соседи — жестианщики, медники, кузнецы переполошились. Что это за работа у Манзура? Неужели в самом деле получил заказ на сто ведер? В сказку верят иногда и взрослые.

Брат Манзур и Сафар-чиканак поглядывали на меня и улыбались. Грохот в мастерской им нравился. Пайка ведь дело тихое, спокойное, о ней и знать не знают соседи. А тут звон на весь кузнечный ряд.

Веселым и счастливым был этот день. Из моих рук что-то выходило. Лист железа, раскроенный братом, я соединил согнутыми кромками, сбил их и получился барабан, правда, без дна пока. Момент, когда молоток мой прошелся по шву последний раз, чем-то напомнил слово, сложенное из слогов и впервые прочитанное вслух. Были отдельные буквы, не имеющие сами по себе смысла, и вдруг — слово!

Брат похвалил меня.

— Ну, теперь со ста ведрами мы справимся, — сказал он, смеясь. — Назиркул — настоящий жестианщик.

И Сафар-чиканак похвалил:

— Шов у тебя ровный, я так не умею.

Правду они говорили или нет, но я принял все как правду и был очень доволен собой. Поставил жестианный круг рядом с наковальней и посмотрел издали. Чем не работа? Дно и дужку приделает брат, Сафар-чиканак пропаяет швы в тех местах, где, возможно, остались зазоры, — и ведро готово.

Домой я возвращался на крыльях. Испачканный углем, ржавчиной, нарочно не умытый, чтобы больше походить на настоящего мастера. Я шел через кузнечный ряд, гордо поднимая голову и показывая всем, что тоже стоял у горна и наковальни, что тоже работал молотком.

Не скажу, что матушка разделила со мной мою радость, когда я переступил порог дома. Испачканная в угле рубаха явно расстроила ее, но бранить меня она не стала, только покачала головой и крикнула Мастоң, чтобы та принесла кумган и помогла мне умыться.

— Первое из ста ведер сбито, — сказал я, подставляя ру-

ки под горлышко кумгана, из которого должна была политься тонкая струйка воды. — Смелее, смелее, Мастон!

Первый раз жена моя видела руки кузнеца и не решалась лить на них воду — смоемся ли эта чернота?

— Сейчас мы потрем их глиной,— успокоил я ее, — и все сойдет.

Тонкая струйка родилась и потекла на мои ладони. Стараюсь, как это делали мой брат и мой дядя, я стал тереть пальцы, снимая с них копоть и ржавчину. Руки светлели постепенно и наконец стали чистыми.

— Хорошо, что человек, сделав первый шаг, видит конец пути,— заметила матушка, подавая мне полотенце. — Только не сбейся со счета после второго шага.

— Не собьюсь,— хвастливо ответил я.— Ни со второго, ни с третьего, ни с десятого...

— Умеешь считать,— покачала головой матушка. Она знала, на что способен ее сын, и дорога моя виделась ей отчетливо. — Только будет ли что считать?..

Я вытер руки и по-прежнему хвастливо заверил:

— Сто ведер нам заказаны.

— Сто! Увидеть бы мне второе.

Правильно говорили, что матушка моя знает все; не знает лишь, когда умрет. Со второго ведра сбился я со счета, и не потому, что проглядел его. Просто второго ведра не было. С первым возились больше недели. Брат никак не решался вставить дно. Это, оказывается, было самым трудным делом для жестянщика. Мне он не мог поручить дно, потому, что я только начал сбивать швы и умел тянуть их лишь по прямой, а не вкруговую. Думаю, брат нарочно откладывал трудное дело на завтра и послезавтра. Ему-то ничего не стоило приделать дно к ведру.

— К пятнице закончим,— установил наконец срок Манзур. К какой пятнице, правда, не сказал. Пятниц в году, что семечек в дыне: по одной вытаскивать — до следующей весны дела хватит. Но брат не обманул. В один из четвергов он приколотил дно. Приколотил и подал мне готовое ведро.

— Набери в него воды и проверь, не течет ли. Если не потечет, значит, первую ступень ученичества ты перешагнул.

Сколько этих ступеней, Манзур-ака не сказал, наверное, немало. Во всяком случае, не две и не три. Первую я одолел за две недели, сколько потребуется на остальные? Не вырастет ли у меня борода, пока стану жестянщиком, медником или кузнецом?

Ведро не потекло. Значит, ступеньку я перешагнул успешно.

— В субботу примемся за следующее,— сказал я брату, сняя от счастья.

— Перед субботой есть еще пятница,— напомнил Манзурака.— А в пятницу аллах решит, чем нам заняться следующей неделю.

На бога я надеялся: не станет он огнимать у меня ведра. Зачем они ему? Поэтому поблагодарил брата и поспешил домой, чтобы поделиться своими успехами с родителями.

Однако надежда моя на доброту и справедливость всевышнего не оправдалась. В пятницу к нам пришел брат Манзур и спросил отца:

— Нужны ли в доме новые ведра?

Отец задумался, не зная, как ответить. Наверное, новые ведра всегда нужны в хозяйстве. На всякий случай он посмотрел на матушку — как она думает.

Матушка сразу смекнула, в чем дело.

— Нет, новые ведра не нужны. Старые не знаем к чему приспособить.

— Может, тазы нужны?— спросил брат.

— Нет, и тазы не нужны.

— А совки?

— Нет, нет!— замотала головой матушка.

Брат сел на супу, положил голову на ладони и уныло сказал:

— Никому не нужны сейчас новые ведра и новые тазы...

«Как не нужны?— мысленно возразил я. — А сто ведер? Ведь кто-то же заказал их?» Впрочем, теперь уже ясно было, что сто ведер придумал брат!

Матушка опустила на супу рядом с Манзуром и вздохнула сочувственно.

— Не выйдет, значит, из Назиркула кузнец?

— Почему не выйдет? Рука у него твердая, глаз точный. Выйдет и кузнец, и жестянщик, и медник.

— Кузнеца не рука делает, а железо,— снова вздохнула матушка.— А железа-то и нет.

— Нет,— согласился брат Манзур.— Ничего нет: ни железа, ни олова, ни угля. Время такое — огонь в кузнице не горит, молоток не стучит. Осталось повесить замок на дверях...

Я не думал, что дела брата так плохи, а счастье мое так недолговечно. Не успело прийти — и тут же ушло. Я заплакал на глазах у всех.

— Вай!— кинулась ко мне матушка.— Достойно ли йигита лить слезы? Не роняй чести кузнеца!

— Какой я кузнец?!

Брат сердито глянул на меня и крикнул:

— Ты кузнец!

Не знаю, в эту минуту или раньше он придумал то, что сказал:

— Мастерская не закрывается. Просто нет заказов. Не нужны сейчас людям ведра, серпы. Урожай еще не созрел. Начнет созревать, и пойдут к нам с поклоном: сделайте то, сделайте другое... Тогда и шести рук не хватит.

Про осень Манзур хорошо сказал. Мне представилось, как толпится народ у мастерской, как стараемся мы выполнить заказы. Молотки стучат, гремит железо, вздыхают меха. Идет работа, от которой весело на душе.

— Однако мозоли с ладошкой не должны сойти,— поглядев на меня, добавил Манзур. — Набрал мозоли-то?

Я старательно закивал и показал руки. На них в самом деле были мозоли. Правда, не от молотка, не успел молоток оставить след, от ведер, что таскал я всю зиму.

— Вот и славно. Без мозолей нет мастерового... Так вот, чтобы не сошли мозоли, надо руки у горячего дела держать.

Брат повернулся к отцу, который стоял на террасе, прислонившись плечом к столбу и всем своим видом показывал, что далек от всего происходящего во дворе.

— Отец!— окликнул его Манзур. — Не послать ли нам Назиркула и Сафара-чиканака в степь собирать янтак?

Без особой охоты отозвался отец, и отозвался так, что ничего не прибавил и ничего не убавил в затеянном братом разговоре.

— Янтак — хорошее топливо. Жару дает много, вот только горит быстро.

— Так пошлем ребят в степь?

Отец глянул на матушку и тем призвал ее на помощь. Когда надо было сказать последнее слово, без нее не обошлось.

Матушка тотчас рассудила, как лучше определить меня.

— Если нужно сберечь мозоли, пусть Назиркул собирает янтак.

Это обидело брата.

— Не ради мозолей, а ради блага нашего. Ни в доме, ни в мастерской без топлива не продержишься и дня. На базаре вязанка янтака стоит ой как дорого!

— Я же говорю, назвался жестянщиком, тяни янтак из земли. Пусть идет в степь!

Теперь и отец решился вынести приговор:

— Пусть идет!

КАКУЮ БЫ УЗКУЮ ТРОПКУ НЕ ПРОТОПТАЛ ЧЕЛОВЕК — ВСЕ ДОРОГА ЖИЗНИ

Новый день я встретил уже в степи.

На одноухом осле мы с Сафаром-чиканакom направлялись в Учтепу — Три холма, известное всем джизакцам место. Во время восстания сюда выселили всех жителей города. Более пустынный и мертвый край трудно было найти.

На Учтепе ничего не росло, кроме янтака — колючей травы, да и янтак не особенно охотно расселялся по выжженной солнцем степи. Куст от куста — на два-три аршина. Весной, во время дождей, янтак поднимался на ладонь всего лишь. Зеленый и гибкий в апреле и мае, в июне он начинал желтеть, а к середине лета высыхал. Весной янтак охотно ели овцы, а летом и осенью — только верблюды. Оттого и назывался он верблюжьей колючкой. Острые сухие кустики не ранили этих огромных животных, они их легко и с удовольствием пережевывали. Вообще, верблюды могли все разжевать, я думаю, и гвозди им были бы ничем.

Одноухий осел наш неторопливо стучал своими тонкими ножками по пыльной тропке, а мы, сидя на его спине, вели разговор о преимуществе мелких животных перед крупными, верблюдом, например. Нам повезло, что у Сафара-чиканака был не верблюд. Во-первых, он не прошел бы в калитку, во-вторых, сломал бы своим огромным горбом крышу сарая, где обычно стоят осел и корова. В-третьих, он съел бы всю траву во дворе, все листья на деревьях и на этом не остановился бы. Со своей длинной шеей он до всего мог добраться.

Стало быть, Сафар-чиканак оказался в выигрыше, имея осла, а не верблюда. Правда, осел у него неказистый, без одного уха. Но лучше иметь осла без одного уха, чем верблюда с двумя ушами.

Второе ухо, между прочим, у нашего осла когда-то было. Появился он на свет, как и все ослы, и не только ослы, с двумя ушами. Но поскольку походил на всех ослов, а они, в свою очередь, походили на него, надо было его чем-то отметить. Вот ему и отрезали одно ухо. Оказывается, ослам ставят метки на ушах — делают надрезы, рассекают макушки, а то отхватывают и полуха. Нашему отхватили почти целое.

Разговаривая так и время от времени ударяя пятками в бока одноухого, мы отделились от города и оказались на совершенно пустынном месте. До Учтепы было еще далеко,

но все же ближе, чем до Джизака. На фоне утреннего неба вырисовывались три холма, и каждый походил на перевернутый вверх дном казан.

— Начнем собирать янтак,— предложил я.

— Что ж, начнем,— ответил Сафар-чиканак.— Янтак тут вроде бы есть.

Осел наш хоть и не знал человеческого языка, но сразу догадался, что разговор идет об остановке и тут же замер на месте. Ему, как и нам, не особенно хотелось топтать до трех холмов.

Я стал сползать с осла — второго седла на нем не было, а раз не было седла, то не было и стремян, поэтому удобнее всего сползти с ослиной спины, как с горки. И вот, когда я почти сполз и находился где-то около хвоста, сзади раздался воинственный клич. Я и Сафар мгновенно оглянулись, осел лишь повел своим единственным ухом и тем выразил удивление.

Нас догоняла с криками и свистом целая ватага ребятишек. Все были на ослах, таких же, как наш, но не таких ленивых и медлительных. Они мчались, словно хорошие скакуны, а мальчишки размахивали руками и орали во все горло.

Честно признаюсь, я струсил. Встреча с ватагой воинственно настроенных мальчишек не предвещала ничего хорошего.

— Это Сарайлик,— шепнул мне Сафар-чиканак.

Сарайлик — один из джизакских родов, мужская половина которого занималась разведением и продажей ослов. Продавали животных не только в Джизаке, но и за его пределами. Каждый крестьянин старался купить осла именно у них, потому что более крупного и выносливого животного трудно было найти. Род сарайлик славился физической силой, ребятишки с малых лет занимались борьбой и, вырастая, часто побеждали на состязаниях знаменитых палванов. С мальчишками из рода сарайлик никто из нас не связывался, зато они сами нас задирали, и драки избежать было невозможно. Если у сарайлик не оказывалось противников в других родах, они затевали потасовки между собой, и тогда мы со стороны наблюдали за ходом сражения.

— Вот с такими забияками и драчунами нам предстояло встретиться. Скрыться было негде — голое место. Бежать бессмысленно: наш одноухий в сравнении с их скакунами — черепаха. Увидев чужих ослов, он начал орать, что есть силы: и-о! и-о! А кто орет, тому, как известно, первому и достается.

— Тише!— стал Сафар дергать за веревку одноухого.— Нашел время петь песни.

Унять одноухого было, однако, не просто. Дергай его не то что за одну, а за все десять веревок, он не замолчит.

Между тем, ватага приближалась. Уже были видны лица мальчишек с озорными глазами. В воздухе, как змеи, висели арканы.

— Сойдем с дороги!— сказал Сафар-чиканак. Легко сказать — сойдем. А как это сделать? Я отбегу в сторону, Сафар — тоже? А осел? Ведь он потому и зовется ослом, что упрям. Никакими словами, никакими угрозами его не столкнешь с места, хоть взваливай на плечи и переноси. Сафар-чиканак стал тянуть за веревку одноухого, а толкал сзади.

— Лули его палкой!— посоветовал Сафар.

Не знаю, есть ли такая палка, которая способна подействовать на осла. Та, что была у меня в руках, не действовала.

— Пошел, пошел!— орудуя арчовой веткой, кричал я.— Да иди же, глупый, не то тебя эти сарайлик превратят в курицу!

Курицей одноухий, видимо, не хотел стать. Поупрямившись немного, он сошел все же с тропы. И вовремя. Ватага, свистя и улюлюкая, пронеслась мимо. Облако пыли, поднятое ослиными копытами, окутало нас.

Когда облако рассеялось, Сафар-чиканак сказал весело:

— Ты знаешь, куда они поскакали?

— Нет,— признался я искренне.

— За янтаком. Завтра вернутся с двадцатью копнами сухой колючки. Полный базар янтака.

— Почему двадцатью?— удивился я.

— Да потому, что у них двадцать ослов.

— А-а?!

Род сарайлик промышлял не одними ослами, оказывается. Мальчишки заготавливали топливо и сбывали его на базаре. Двадцать копенек янтака — целое богатство.

— Поедем за ними,— предложил Сафар.— Они знают хорошие места.

Мне не хотелось быть в компании мальчишек из рода сарайлик. Избежав раз опасности, разумно ли снова приближаться к ней?

— Пусть знают,— попытался возразить я,— в степи много хороших мест. Найдем свое.

— Где же ты станешь искать? Степь-то большая...

— Тропинка приведет.

Тропинка была одна, и шла она как раз в том направлении, куда ускакала ватага.

— Ладно,— согласился Сафар-чиканак. Он был хитрее меня.— Поехали.

Мы снова влезли на одноухого, и он снова засеменял своими тонкими ногами по узенькой тропке.

Известно, как медленно ни двигайся, а все же дорогу преодолеваешь. Незаметно мы добрались до местности Кушбармак. Степь кажется везде одинаковой, но, когда углубишься в нее, начинаешь замечать разницу: в низинах она гуще покрыта растительностью. Тут встретишь и аккурак, и полынь, и душистую гармалу. А уж янтак просто стелется ковром. В низину мы и попали.

Я стал уговаривать Сафара:

— Давай остановимся здесь. Смотри, сколько янтака. Наберем целую копну.

— Нет, нет,— не соглашался Сафар.— Мальчишки поехали дальше, значит, там больше янтака и растения ветвистее. Нас ведь послали за хорошим янтаком.

— Нас послали за таким, какой найдем. Вот мы и нашли, — настаивал я.

— Еще не нашли, только ищем,— упрявился Сафар-чиканак.

Он был такой же упрямый, как и его одноухий. Не переубедишь. А может, и не упрямый. Просто настойчивый и честный. Выполнял то, что ему поручили.

Мне, однако, Кушбармак покидать не хотелось. Кругом трава, зеленая, мягкая. В небе — птицы. Жаворонок повис прямо над нами. Застыл в воздухе, трепещет крылышками и заливаётся. Песнь такая звонкая, такая красивая, что, кажется, лучше и нет на свете.

— Слушай!— ткнул я пальцем в бок Сафара.

— Слушаю,— ответил он, но осла не остановил, не перестал понукать его, ударяя концом веревки по спине.

— Нет, ты не слушаешь. Если бы слушал, то остановил своего одноухого.

— Так жаворонка слушает не одноухий, а я. Ему что жаворонок, что петух — все равно. Он сам мастер петь.

Сафар пощекотал шею осла, и тот разразился таким ревом, что не только жаворонок, все птицы Кушбармака онемели от ужаса.

Шутка Сафара мне не понравилась. Я протянул руку и дернул повод одноухого. Дернул, видимо, не так, как надо. Осел взбрыкнул задними ногами и скинул меня со спины.

Совершая полет, я не успел за что-либо ухватиться, даже

за хвост одноухого. Хвост я увидел, находясь уже на земле. Осел, весело помахивая им, скакал по дороге, догоняя своих сородичей.

Не всякое падение бывает печальным. Меня принял куст полыни, и принял так нежно, что ни одна часть моего тела не пострадала. Во всяком случае, я не почувствовал боли. Новое положение мое показалось мне очень приятным. Я словно лежал на мягкой курпаче. Надо мной было небо, и в нем пели птицы.

Говорят же, нет худа без добра. Сбросив меня со своей спины, глупый осел дал мне возможность насладиться песней. Как она была прекрасна! Как звонка!

Жаворонок старался изо всех сил и старался, видимо, для меня. Иначе зачем ему было висеть над моей головой. Он мог бы петь в другом месте — небо так высоко, а степь так широка!

— Спасибо тебе, птица,— шептал я, благодарный.— Никогда я не слышал песни чудесней. Ах, тургайджан! Ах, жавороночек!

Сафар-чиканак сумел остановить скакавшего осла, я так думаю, иначе не смог бы повернуть его назад и подъехать ко мне. Надо представить себе выражение лица моего друга, когда он увидел меня лежащим на спине с раскинутыми руками. Испуг и страдание были в его взгляде.

— Назир, ты жив?— произнес он дрожащим от страха голосом.

Конечно, я был жив, и не только жив, но и наслаждался, слушая песнь жаворонка, и мне не хотелось прерывать удовольствия. Потом я был немного обижен на друга за то, что он не внял моей просьбе и не остановил своего одноухого. Я молчал, счастливо улыбаясь.

Сафар-чиканак спрыгнул с осла и наклонился надо мной. Улыбка выдала меня.

— Жив, жив!— закричал он радостно.— Слава богу, жив! А я напугался...

— Тихо!— прошептал я.— Слушай!

— Что слушать?— не понял меня Сафар.

— Песню слушай.

Смущенный, ничего не разобрав толком, Сафар поднял голову и стал смотреть в небо.

— Как ты думаешь, почему эту птицу называют суфитургай?— спросил я.

— Не знаю,— пожал плечами Сафар.

— Надо было назвать ее не суфитургай, а чулбулбули — соловей степи.

— Наверное,— опять пожал плечами Сафар.

— Хотя нет,— возразил я сам себе.— Пусть в степи живут воробьи, чижи, стрижи разные, а в кишлаке и в городе — жаворонки. Так было бы лучше. Согласен, Сафар?

Друг мой не мог взять в толк, что мне нужно от бедных птиц. Зачем я решил переселить их из одного места в другое? Поэтому он сказал неопределенно:

— Я-то согласен, а вот согласятся ли на это чижи и стрижи...

— Нет, я серьезно говорю,— стал я доказывать другу.— Почему такая чудесная птица должна жить в голой степи? Нет тут ни воды, ни дерева. Петь ведь лучше, не держась за воздух, а сидя на зеленой ветке.

Сафар опустил рядом со мной на траву. Разговор о жаворонке, кажется, заинтересовал его.

— Птиц нельзя переселять, куда захочется. Они все равно прилетят назад, в родное место. Ты видел белых аистов? Всю зиму они живут далеко на юге, а ранней весной возвращаются домой, к своим гнездам.

— В Джизак?

— Ну и в Джизак. На Каландархане у них гнезда.

Я видел белых аистов, сидящих на высоком дереве и минарете, а вот, когда прилетают или улетают, не знал. Должно быть, это происходило ночью, в темноте.

— Аист вьет гнездо все-таки в городе или кишлаке, а не в степи,— продолжал я вести свою мысль о переселении птиц к людям.— И голуби гнездятся около домов. Мог бы жаворонки жить рядом с нами. Проснешься утром, а он поет во дворе, душу радует.

Моя мечта представлялась Сафару нелепой. Он видел мир разумно устроенным, и не желал его переделывать в угоду чьей-то прихоти.

— Твою душу он порадует, а свою омрачит,— сказал Сафар.— Жаворонки во дворе и петь-то не станут. Помрет от тоски. В клетке кому жить захочется!

— Перепелка живет,— заметил я.— И даже в темноте поет.

Сафар-чиканак недовольно махнул рукой.

— Разве она поет? Кричит...

Тут с другом нельзя было не согласиться. Перепелка действительно кричала. От тоски, наверное. На волю просилась. Дом-то ее в полях зеленых.

— Да,— вздохнул я.— Жаворонка, пожалуй, в клетку не посадишь. Ему небо надо. Вот такое — синее, синее...

Мы замолчали. Жаворонки должны были снова начать свою

песнь. Перед тем, как отправиться в дорогу, хотелось еще раз услышать чудесного певца. Я зажмурил глаза, ожидая первой ноты, высокой, звонкой. Вокруг стояла тишина. Степь тоже затаилась, ждала песню.

Вдруг Сафар сказал:

— Перепелка!

— Какая перепелка?!— озлился я. Друг мой перепутал жаворонка с перепелкой.

— Самая обыкновенная,— объяснил Сафар. — Вон в траве.

Я не поверил. Померещилось, что ли, другу? Откуда здесь перепела? Не место им рядом с жаворонком. Но Сафар-чиканак настаивал:

— Слышишь, слышишь? Кричит!

Действительно где-то далеко в траве прозвучало негромкое: пит-пил-дык! Пит-пил-дык!

— Да, перепелка.

— Я ж говорил!— обрадовался Сафар-чиканак.— Их тут много. Крикнет одна, откликнутся остальные. Будем считать. Умешь различать голоса?

Нет, голоса перепелов я не различал. Если кричали сразу несколько, мог, конечно, уловить разницу, но вот в отдельности они казались мне одинаковыми. Да я и не хотел заниматься бесполезным делом. К чему нам эти перепела? Считать их можно и в городе. По вечерам во дворах раздается их бесконечное: пит-пил-дык, пит-пил-дык.

А Сафар-чиканак загорелся. Поднял голову и стал слушать. Никогда я не видел своего друга таким возбужденным. словно не перепела, а райские птицы должны были выскочить из травы.

Минуты две или три длилось ожидание. И наконец прозвучало ответное пит-пил-дык. Прозвучало с другой стороны. Первая перепелка обрадованно защелкала языком. Вторая повторила. Началась переключка.

Как замороженный, Сафар слушал крик перепелов.

— Останемся,— прошептал он.

В его широко открытых глазах был неопиcуемый восторг.

— Останемся... Останемся...

Я не понимал, что происходит с Сафаром, и спросил удивленно:

— Зачем оставаться?

— Будем ловить перепелов.

Удивление мое возросло.

— А как же янтак?

— Янтак никуда не денется, а перепела улетят.

— Пусть летят. На что они нам?

Сафар посмотрел на меня с таким презрением, будто я произнес несусветную глупость.

— Хорошая перепелка стоит коровы, а то и лошади.

Для меня это было новостью. Наверное, Сафар-чиканак преувеличил стоимость перепелки: маленькая, с кулак, перепелка и большая, выше меня ростом, лошадь! Ну, пусть не лошадь, а корова, и то много. Коровы, кстати, у Сафара-чиканака не было, как не было и у меня. Конечно, надо поймать перепела и вернуться домой с коровой. Это обрадует мзтушку.

— Как же мы поймаем перепелку? — поинтересовался я. — Ведь у нее крылья, она улетит.

— Поставим силки.

Сафар что-то понимал в ловле птиц. Можно было ему поверить. Но слишком уж легко все получалось. Поставь силки — и получишь корову. Наверное, кроме силков, еще что-то нужно.

Оказывается, Сафар знал, что еще нужно. Он деловито объяснил мне:

— Построим шалаш, будем здесь жить и ловить перепелов. В силки они попадают обычно ночью.

— Ночью? — напугался я. — Ночью в степи рыскают волки. Они съедят нас до того, как твои перепела попадут в силки.

— Не бойся! — успокоил меня Сафар. — Волки рыскают там, где есть скот. Они нападают на коз и овец.

— И на ослов, — добавил я. — Учуют нашего одноухого и явятся в гости.

— Эх ты, трус! — бросил мне обидное слово Сафар. — Если так боишься волков, приведем сюда Арслана. Он любого серого одолеет.

Арслан, пес моего друга, был действительно крупным и сильным. Он, пожалуй, смог бы справиться с волком. Но, кроме волков, здесь могут оказаться ящерицы, змеи, скорпионы. Встреча с ними тоже малоприятна. Но и об этом подумал мой друг.

— Окружим себя волосяной веревкой и ни одно злое насекомое не переступит ее. Ну, согласен? — потребовал от меня решительного ответа Сафар.

Колебаться было уже нельзя. И так я слишком долго сопротивлялся. В конце концов перепелов мы будем ловить ночью, а днем собирать янтак.

— Согласен.

Твердости в моем ответе Сафар-чиканак не уловил, но это уже не имело значения, главное, решение принято и можно действовать.

Мы снова вскарабкались на одноухого и погнали его назад, в город.

Почему-то дорога домой всегда короче дороги из дому. Знакомые места напоминают о скорой встрече с близкими, ты их вроде бы уже видишь и невольно прибавляешь шаг. Прибавлял шаг и наш одноухий. Думал ли он о близких, не знаю, но бежал в город куда веселее.

Через какой-нибудь час мы были в родной махалле. Сафар оставил меня караулить одноухого, а сам пошел за Арсланом.

В одиночестве я принялся размышлять о нашем с Сафаром будущем. Оно представлялось мне почти сказочным. Уже сегодня ночью мы изловим перепелов, а завтра во двор моего друга введем корову. Я уже видел, как собираются во дворе соседи. Вся махалля спешит посмотреть пеструху. Счастливый, я закрываю глаза, чтобы чудесная картина не исчезла, не покинула меня. Мысленный взор наделаял эту картину яркими живыми красками.

Одно не удавалось мне представить: как мы обмениваем перепелку на корову. Ведь торговцы скотом хитрые. Они не поверят, что перепелка — необыкновенная, что пение ее завораживает сердца. Не дадут коровы. Еще посмеются над нами, прогонят с базара, как прогоняли меня с моими просяными лепешками.

В мыслях я старался до обмена перепелки на корову не доходить, прерывал события и начинал с конца, то есть с того момента, когда пестрая входит во двор.

На таком приятном повороте моего путешествия в будущее меня и застал Сафар-чиканак.

— Чего ты улыбаешься? — сказал он. — У нас нет самого необходимого...

Я не знал, что самое необходимое, поэтому не оценил беспокойства друга. У нас вроде бы было все: одноухий осел, злой пес Арслан, лепешка, горсть изюма, волосяная веревка против змей и скорпионов, старый халат, курпача.

— У нас нет конского волоса, — объявил Сафар.

— А зачем конский волос? — поинтересовался я.

— Из конского волоса делают силки.

Это была почти неразрешимая задача. В нашей махалле перевелись все лошади, одних забили, другие сдохли, третьих продали. Ну, а раз нет лошадей, значит, и нет конских хвостов. А конский волос выдирают из конского хвоста, ни-

какой другой хвост для этого не подходит, потому что он будет тогда называться уже не конским, а коровьим или ослиным!

Да, неразрешимая задача. Прощайте, перепела, прощай, пеструха!

Я уже хотел слезть с одноухого и идти домой, но Сафар-чиканак предупредил мое намерение.

— В караван-сараяе, — сказал он, — наверняка стоят лошади дехкан. Выдернем несколько волос и сделаем из них силки.

Мы оставили одноухого у калитки Сафара, а сами отправились добывать конский волос.

Караван-сарай Гаибэ Назара стоял на краю дороги, недалеко от базара. Ворота были всегда открыты, но войти в них мог лишь человек с хурджуном на плечах или ведущий лошадь. Мог войти в сарай и караван верблюдов. У нас не было ни хурджуна, ни арбы, ни верблюда, ни тем более лошади. Будь у нас лошадь, мы бы не искали конского хвоста.

— Постереги ворота, а я пройду в конюшню, — шепнул мне Сафар-чиканак.

Он был маленький и ловкий. Не успел я занять наблюдательный пост у ворот, как Сафар исчез в караван-сараяе.

Я стал ждать. Выдернуть волос из хвоста лошади дело нехитрое, но все-таки нужно время, чтобы найти хороший хвост и познакомиться с обладателем этого хвоста. Не всякая лошадь разрешит тянуть из себя волосы. Я ждал громкого ржания и грохота копыт. Но ни того, ни другого не услышал.

Сафар-птаха вернулся очень быстро. На лице его была веселая улыбка, в руках — конский волос.

— На десять силков хватит, — сказал он.

Второе путешествие в степь началось на другое утро.

Осел, нагруженный не меньше, чем верблюд, шел впереди, за ним шагала я, за мной — Сафар, замыкал шествие пес Арслан. Из нас четверых он меньше всего выражал желание участвовать в походе на перепелов, поэтому его пришлось вести на аркане. Он то и дело останавливался, глядел на удаляющийся дом и грустно повизгивал.

Одноухий нес два кувшина воды, мешочек с сухарями из лепешек, сушеным урюком и жареным просом, ватное одеяло, подушку и клетку с перепелом Ибада-ака. Мой друг считал, что крики Ибады-ака привлекут к себе всех перепелов степи, и нам останется только ловить их и сажать в мешок.

Начало пути было легким и веселым. Сафар рассказывал, как он выдергивал из лошадиных хвостов волосы. Это была смешная история. Буланый, которого он наметил первым, не пожелал расставаться со своим украшением и так ударил копытом, что из стены вылетел кирпич. Хорошо, что Сафар не оказался на месте этого кирпича. Не пришлось бы нам шагать сегодня по степи. Зато повезло моему другу с гнедой кобылицей; она разрешила дергать волосы и даже как будто была довольна. Видно, ей надоело таскать свой длинный хвост, и выдерни его хоть целиком, ухом не повела бы. Волосами этой кобылы мы и станем ловить перепелов.

Покончив с лошадьми, Сафар-чиканак перешел к собакам. Он расхваливал своего пса на все лады. Арслан, оказывается, способен справиться не только с одним волком, но и с целой стаей. Правда, ему еще не приходилось справляться с серыми: те боятся Арслана и не заглядывают в нашу махаллу, но как заглянут, им тут несдобровать.

Мой друг расхваливал Арслана, желая успокоить меня, — ведь нам предстояло провести ночь в степи. Страх перед возможной встречей с серыми должен покинуть всякого, кто намеревается в темноте ловить перепелов.

Рассказ Сафара длился до самого Кушбармака. Друг мой смолк лишь тогда, когда мы остановились и принялись сгружать с одноухого поклажу.

— Давай строить шалаш, — предложил я.

— Шалаш построим завтра, сегодня будем ловить перепелов.

Перепела вскружили голову моему другу. Он думал только о них и видел только их.

Первое, о чем спросил Сафар, сняв поклажу с осла, было:

— Слышишь, как кричат?

— Слышу.

В самом деле, со всех сторон неслось звонкое: пит-пил-дык, пит-пил-дык, пит-пил-дык! Перепела будто ждали нашего появления, чтобы начать концерт.

— Богатый будет улов.

Сафар повесил клетку с Ибадой-ака на стебель аккурака, пошептал что-то над ней, видно, заклинание, и отошел в сторону шагов на двадцать. Сел, скрестив под собой ноги, и замер. Так замирают у своих норок суслики, — не шелочувшись, не проявляя никаких признаков жизни.

Я не участвовал прежде в ловле перепелов и поэтому не знал, как надо себя вести. Опуститься ли по примеру друга на землю или уйти далеко и оттуда наблюдать за охотой. Сафар ничего не сказал мне. Не распорядился он и насчет

осла и собаки. Одноухий чесал мордой спину, Арслан ловил блох на хвосте. Хвост у него был короткий, поэтому он никак не мог до него дотянуться.

Скучное дело охота, подумал я. И зачем охотиться? Пусть себе птицы живут на воле, пусть летают, пусть поют свои песни. Послушал, порадовался и уходи домой. Не оставляй разоренные гнезда!

Я снял с одноухого седло, потник, стреножил, пустил пастись. Арслана привязал к кусту янтака, самому толстому, чтоб не вырвал и не убежал. Когда я привязывал Арслана, он стал лизать мне руки. Просил, наверное, чтобы я отпустил его домой. Не хотелось бедному псу быть в степи. Я отпустил бы, да кто же нас станет охранять ночью? Страшно все-таки одним в этом диком месте.

Между тем, перепела распелись. Не утерпел и Ибада-ака. Сначала робко вставил свой голос, а потом осмелел — закричал, защелкал. Да так громко, что забил всех. Может, потому так громко, что находился близко от меня и его крик был слышнее.

Началось состязание пернатых: кто лучше, кто дольше, кто громче прокричит. Невольно я заслушался и стал разбирать голоса, угадывать, кому какой принадлежит. Та, вчерашняя перепелка, что сидела в траве и первой себя открыла, была самая голосистая. Песнь ее, если отрывистое питил-дык можно назвать песней, разносилась по всей степи и заставляла смолкать остальных перепелов.

В одну из таких запевок, когда царила только вчерашняя перепелка, вдруг раздался испуганный крик Сафара:

— Коршун!

Я поднял голову и увидел в небе распластавшую крылья черную птицу. Это был не коршун. Коршун крупнее. Ястреб, наверное. Он медленно плыл над степью, склоня крылья то в одну, то в другую сторону, словно разглядывал холмы и низины, искал что-то. За первым ястребом появилась второй. Теперь они оба стали глазами обшаривать степь.

— Прячьтесь, прячьтесь! — завопил Сафар.

Он просил перепелов скрыться, чтобы ястребы не увидели их. Крик был отчаянным, молящим, нельзя было к нему не прислушаться. Но глупые перепела не поняли Сафара. Они так упоенно пели, так заливались, что ничье предостережение, ничья мольба не способны были их остановить. Они просто ничего и никого не слышали. Они слышали только себя.

Это их и погубило. Перекликаясь, перепела вспархивали над травой, приближались друг к другу. Полет перепелов

необычен. Движением крыльев они издают особый звук, тревожный, взволнованный. Он несравним с шумом других крыльев, скажем, голубя или стрижа. У тех крылья хлопают или издают тихий свист. А тут трепыханье, схожее с шелестом молодых листьев на ветру. Звук ведь тоже тревожный, взволнованный.

Мы не видим полета перепелов. Не видим самой птицы. А ястреб видит. Не по голосу узнает он перепела, а по особому движению его крыльев. И как бы ни заслоняла трава пестрое перо, с высоты оно четко вырисовывается, словно горит среди зелени. На это пламя и нацеливается ястреб.

Вот он и сейчас нацелился. Стал кружить над тем местом, где сидела вчерашняя перепелка. Круг поначалу был широк, потом стал суживаться.

Сафар замахал руками:

— Эй! Эй!

Он пытался отогнать ястреба, напугать его. Напрасно старался. Хищник уже выбрал жертву. И на одном из поворотов, сложив крылья, ринулся вниз. У самой земли расправил их, полетел над травой, окунулся в зелень. Будто утонул. Но через мгновение всплыл, стал набирать высоту, тяжело взмахивая крыльями. В когтях его бился серый комочек.

— Перепелка! — чуть не заплакал Сафар. — Он унес ее...

Со всех ног друг мой кинулся к тому месту, где сидела вчерашняя перепелка. Хотел догнать ястреба, отнять пелушню. Но у Сафара были лишь ноги, а у ястреба крылья. Ноги цеплялись за янтак, не пускали Сафара. Он падал, поднимался и снова бежал. Но это была уже не погоня. Ястреб давно взмыл в небо и превратился в черное пятнышко.

— Ой-ей-ей! — стонал Сафар. — Лучшую перепелку убил...

— Что же теперь плакать, — посочувствовал я другу. — Перепелку не вернешь.

— Было бы у меня ружье, всех ястребов и коршунов перестрелял бы!

— Чем же они виноваты? — стал я втолковывать другу истину, которую открыла мне матушка. — Ведь и ястребы — божьи создания. Они поступают так, как им велит всевышний.

Сафар посмотрел на меня с недоверием.

— Значит, и волки поступают правильно?

— Да, — не совсем твердо ответил я. — И они божьи создания.

— Интересно, что скажешь ты, когда волк примется за тебя?

Это была уже угроза. Сафар намекал на возможное посещение серыми бродягами Кушбармака.

— Не примется, с нами Арслан.

— Арслан — это все равно, что ружье. Убьешь ли волка или перегрызешь ему горло — погибнет божье создание. Так ведь?

Я не знал, что ответить Сафари. Истину, которую открыла матушка, никак нельзя было применить к случаю с ястребом. Из-за ястреба выглядывал волк с огромной пастью и острыми зубами. А потом и тигр. Не походили они что-то на божьих созданий.

Пришлось признать правоту Сафара.

— Так... — согласился я.

Гибель перепелки расстроила моего друга. Ему казалось, что ястреб унес именно ту прекрасную певунью, которой мы вчера так восхищались. Из-за нее пришли снова на Кушбармак. По подсчетам Сафара, она стоила целой коровы.

Однако не поворачивать же теперь назад. В степи много перепелок, найдется равная той певунье.

Мы принялись строить шалаш. Немудреное оказалось это дело. Сафар вбивал в землю колышки, ставил крест-накрест ветви аккурака, я собирал янтак и полынь, накрывал ими наше нехитрое сооружение. Не прошло и часа, как на голом месте выросла зеленая хижина. Днем под ее крышей мы могли спрятаться от солнца, ночью спастись от ветра. Последнее было немаловажным — ночные ветры в степи холодные, пробирают до костей.

Шалаш получился довольно большим. В нем могли свободно поместиться не только мы с Сафаром, но и Арслан. Так вначале и предполагалось. Но, посоветовавшись, решили оставить пса снаружи. Пусть караулит хижину и осла и своим лаем извещает нас об опасности.

Такое решение Арслану не понравилось. Он попытался влезть в шалаш и, когда был выдворен, обиженный, пошел к одноухому и лег рядом.

Покончив с шалашом, мы принялись косить янтак. Косят его, подрубая под корень и отбрасывая в сторону. Идешь от кустика к кусту, набираешь копенку. Дело простое вроде бы, но и оно требует умения и сноровки. Сафар оказался сноровистей меня. Пока я собирал свою копенку, он накидал стог янтака, высотой в два наших шалаша. Сафар горопился и меня подгонял.

— Скорее, скорее! — кричал он с другой стороны тропы. — К закату солнца надо еще расставить силки.

А солнце уже пересекло зенит и спускалось к краю степи. Длинными стали наши тени, вот-вот дотянутся до горизонта. Я стал догонять их. Спина моя ныла, руки отяжелели, хотелось бросить серп и лечь на землю.

Наконец солнце коснулось холмов — большое, широкое — и стало плавиться на них. Сафар первым откинул серп и побежал в шалаш за силками. Я не мог сделать и шага, силы покинули меня. Словно подкошенный жатка, упал на траву и закрыл глаза.

— Назиркул! — позвал меня Сафар. Неугомонный, он и тут не оставлял меня в покое.

Подниматься не хотелось, даже отвечать не хотелось. Я смолчал.

— Где ты, Назиркул?

Я пожалел, что связался с этим охотником на перепелов. Не нужны мне эти прекрасные певцы, не нужна пеструха, не нужна лошадь. Бог с ними!

Мои мысли Сафару были, конечно, неизвестны, поэтому он продолжал орать чуть ли не на всю степь:

— Назиркул! Назиркул!

Пришлось подняться с травы и подойти к шалашу.

— Ну что тебе?

— Давай ставить силки. Ты помнишь, где вчера кричали перепела?

— Не помню.

— У тебя ушей не было?

— Были. Только я их обратил к небу, где пел жаворонок.

— Глупый жаворонок. Кому он нужен? За него не то что коровы, курицы дохлой не дадут.

— Пусть, зато он красиво поет...

— Ладно. Держи силки, идем!

Все было приготовлено: глина замешена, бороздки в земле прорыты. Концы конского волоса Сафар-чиканак клал в бороздку, замазывал глиной. Снаружи оставалась лишь петля. Умению Сафара можно было только позавидовать. Мастер на все руки. И где он всему этому научился?

Расставив силки, мы вернулись к шалашу. И вовремя. Солнце вдруг провалилось за холмы, и сразу стало темно. В двух шагах ничего не увидишь. Вроде бы мы ослепли.

— Ты здесь? — спросил я Сафара.

— Здесь.

— Давай влезем в шалаш!

Мне хотелось поскорей укрыться, отгородить себя от степи, которая в темноте казалась таинственной и страшной.

— Нельзя,— спокойно ответил Сафар.— В шалаше мы не услышим, откуда летят перепела.

Со своими перепелами он забыл, что уже ночь, что дует ветер и скоро станет холодно. Забыл, что надо поесть: с утра мы ничего не имели во рту.

О еде вспомнил не я один. Арслан уже давно повизгивал, заявляя о своем праве на кусок лепешки. Настало время ужина.

— Мы можем слушать крик твоих перепелов около мешочка с сухарями,— сказал я Сафару.

— Они хрустят, спугнут птиц.

— Что же теперь, ни есть, ни пить?!

— Утром поедим.

— До утра можно умереть с голоду. Вот и Арслан скулит.

— Собака способна не есть три дня.

Сафар все знал, спорить с ним было бесполезно. Поэтому я влез в шалаш и стал искать там мешочек с сухарями.

— Зря ищешь,— усмехнулся Сафар.— Я спрятал сухари в стожок янтака.

Правду он говорит или обманывает, понять было трудно. Но мешочек в самом деле исчез из шалаша. Не было тут и кувшинов с водой. Воду он, видно, тоже унес.

Идти к стожку мне не хотелось. Во-первых, темно, во-вторых, страшно.

Я сел на одеяло и стал думать. О чем может думать голодный мальчишка? О сухарях? Нет. Я думал о том, что впереди ночь и что она холодная. Что придут волки и слопают нас. Сухари в стожке они не тронут. Зачем им сухари, когда есть осел и двое мальчишек? Арслан вряд ли справится с серыми. Он голоден, а у голодного, как известно, сил мало.

— Ладно.— подобрел Сафар,— ешь сухари! Они лежат под подушкой.

Страшные мысли мои сразу исчезли, будто их ветром сдуло. Кстати, ветер, холодный и напористый, прибежал с холмов и принялся трепать траву на крыше шалаша. На смену страшным мыслям пришли добрые и веселые. Особенно добрыми они стали, когда в рот мой попал первый сухарь и хрустнул на зубах.

— Тише! — предупредил Сафар.— Вот-вот появятся перепела.

Я закрыл поплотнее рот, чтобы ни один звук не вылетел,

и принялся уничтожать сухую лепешку. Не целую лепешку. Перед тем, как ее высушить, ее разделили на части, и вот одну из таких частей, величиной с пол-ладонки, я старательно разгрызал. Расправившись с первым сухарем, я принялся, естественно, за второй, но тут во мне заговорила совесть.

— Сафарджан! — позвал я друга. — Возьми лепешку.

Сафар не отозвался сразу. Должно быть, голод был не так силен, чтобы одолеть упрямство моего друга. Но все же одолел.

— Потом, — сказал тихо Сафар. Сказал и вздохнул грустно. — Покорми лучше Арслана.

Я позвал Арслана и сунул в его пасть сухарь. О сохранении тишины пес, конечно, не побеспокоился. Он так рубанул клыками лепешку, что хруст разнесся по всей степи. Сафар даже присел от неожиданности.

— Тсс!

Но предостережение запоздало. Арслан уже расправился с сухарем и требовал следующего.

— Не давай больше! — остановил меня Сафар. — Нам жить здесь несколько дней.

Несколько дней! Пояснение не столько удивило меня, сколько напугало. Оказывается, Сафар собирается жить в степи неделю. Теперь уж волки наверняка слопают нас. На одну ночь им хватит осла, а на вторую и третью потребуют кого-нибудь из нас. Некормленный Арслан — плохой защитник, он сам может стать добычей серых. И я бросил псу второй сухарь. Пусть набирается сил.

Снова раздался хруст, и снова Сафар прошипел:

— Тсс!

— Больше не дам! — объявил я Арслану. — Двух сухарей на двух волков хватит. Ложись и стереги шалаш!

— У шалаша его можно удержать только сухарями, — сказал Сафар. — Привяжи его веревкой.

Пришлось вылезти из шалаша, найти конец веревки и закрутить ее вокруг стебля янтака. Я выбрал самый толстый, чтобы Арслан не оторвал его от корня.

— Сиди тихо!

Если бы мне так посоветовали, я бы сразу лег и заснул. Время сна. Но Арслан ждал от меня не совета, а сухарей. И стал их требовать. Он крутился на одном месте и скулил.

— Замолчишь ты! — погрозил ему пальцем Сафар.

В темноте ни пальца не видно, ни самого Сафара. Да и что для Арслана наши угрозы?!

— Будь около него и дергай за веревку, когда начнет скулить!

Сафар придумывал мне занятия, способные привести только в уныние. Вместо того, чтобы, накрывшись одеялом, спать в шалаше, я должен был караулить пса. Так мы поменялись с Арсланом ролями. Что мне прикажет делать Сафар, когда появятся волки? Наверное, лаять!

Между тем, наступила ночь. Настоящая южная ночь с яркими звездами на высоком темном небе. Мрак окутал степь. Кто был в степи ночью, знает, какая она безмолвная, какая таинственная. Будто все живое исчезает и только ветер, пролетая, трогает сухие травы, и они тревожно звенят.

Живыми в степи были лишь мы, и то притаились, затихли, словно нас и не было.

Так начались первые минуты ночи. Недолго, однако, длились они. Безмолвие спугнул наш перепел. Из клетки вдруг вырвалось громкое, на всю степь: пит-пил-дык!

Он выстукал языком три звука. Всего лишь. Подождал и снова: пит-пил-дык!

И что же? Степь ожила. Сначала одна, потом другая, потом третья перепелки закричали, отзываясь на призыв нашего Ибады-ака. Однако отзова трех певцов ему оказалось мало. Он снова позвал: пит-пил-дык. И тогда заговорила вся степь.

Я никогда не думал, что в степи может быть столько перепелов. С разных сторон, вдали и вблизи, кричали они, кричали одно и то же, но по-разному. Звук был то высокий, то низкий, то длился долго, то с короткими перерывами.

Самым звонким был наш Ибада-ака. И к нему стали слетаться остальные перепела. Я уже говорил, что птиц легко узнать по звуку, который издают крылья, рассекая воздух. Услышишь его один раз и не спутаешь уже со звуком крыльев других птиц. В нем есть что-то тревожное, и об этом я говорил. И вот когда не один, а десяток перепелов летит, кажется, будто набегают тихо рокочущая волна. Волнение какое-то охватывает сердце, хочется броситься ей навстречу. Именно такое волнение охватило меня. Я попытался вскочить, но Сафар ухватил мою руку и прижал к земле.

— Не двигайся!

Сам он лежал на траве лицом вниз, лишь изредка приподнимая голову и прислушиваясь к крику птиц. По крику Сафар определял, где находится перепел, куда полетел.

Среди множества голосов выделялся один. Он был не то что бы громким, по силе уступал нашему Ибаде-ака, но чистым и высоким. Звук устремлялся куда-то к небу и долго там не затихал. Чем-то он был знаком мне. Даже хорошо знаком. За два дня я переслушал столько перепелов, что

среди них мог оказаться и этот — чистоголосый, поднебесный.

Крик повторился вблизи — перепел прилетел к нашему Ибаде-ака — и я узнал его. Это был тот вчерашний певец, первым встретивший нас в степи, заморозивший Сафара. Ради него мы вернулись сюда.

— Чудо! — прошептал Сафар. — Жива наша перепелка, не убил ее ястреб.

Певунья околдовала его. Он ничего не слышал, кроме крика этой птицы. Глаза его впчались в темноту, отыскивая пестрый комочек. Он хотел видеть и, наверное, видел. Ищущий ведь находит...

Состояние Сафара передалось мне. «Скорее, скорее попадйся в силок, милая перепелочка, — шептал я глупые слова. — Пусть другу моему выпадет счастье. Он так долго ждет его. Скорее, перепелочка!»

Певунья не внимала моим советам. Перелетая с места на место, кружилась вокруг Ибады-ака. Там стояли силки, и она должна была в них попасть. Но почему-то не попадала. Или была хитра, или силки не так устроил Сафар. «Проще накрыть ее мешком», — подумал я. Папа говорил, что, когда перепелка в трапе, ее надо накрывать. Я сам видел, как это делалось. Однажды во время ужина папа вдруг прошептал: «Бедана!» Мы сидели на сури около поля и повернули головы к зарослям клевера. Но ничего не увидели. «Где, где?» — стали мы приставать с вопросами к отцу. Он не ответил, поднялся с сури, снял с гвоздя ватный чапан и, крадучись, двинулся к клеверу. Чем ближе он подходил к зарослям, тем осторожнее были его шаги. Неожиданно он кинул чапан на землю, а потом сам упал рядом.

— Манзур! — крикнул он моему брату.

Брат подскочил к чапану и придавил руками его края. Бедана, как мы называли перепелку, оказалась в западне. Отец просунул руку в рукав, пошарил под чапаном и вытащил толстую пятнистую перепелку.

— Попалась, — сказал он довольный и принес птицу нам на сури.

Этот случай мне запомнился. Охоту с чапаном можно было повторить сейчас, когда перепелка оказалась рядом. Ничего не стоило накрыть ее одеялом или мешком, который мы захватили из дому. Правда, мешок в шалаше, а шалаш шагах в десяти от нас. Сделаешь только шаг — и спугнешь перепелку. Придется ждать, покуда птица сама не влезет в силок. Сколько на это потребуется времени, неизвестно. Певунья, судя по всему, не спешит расставаться со свободой.

А ночь вступает в свои права. Остывает степь, ветер становится все злее и злее. Спина моя начинает зябнуть. Я поворачиваюсь лицом к ветру, чтоб было не так холодно, но это не спасает меня. Сворачиваюсь комочком, руками обхватываю колени. Я думаю, хорошо бы прислониться к спине Арслана. Шерсть у него густая, теплая. Обоим нам стало бы хорошо.

То же, наверное, подумал и Арслан. Он заскулил сначала, а потом залаял.

Ну вот — конец тишине, конец охоте. От такого лая разлетятся все перепела.

Сафар, забыв о предосторожности, бросился к Арслану и стал лупить его по спине кулаками.

— Замолчи!

Арслан понял все наоборот. Он принялся лаять еще громче, стал рваться с привязи и вдруг зарычал зло.

Не похоже было, что пес пугает перепелов. Ему до них, надо полагать, и дела-то нет. Пение только усыпляет Арслана.

Тревожило что-то и нашего осла. Он поднял свое единственное ухо и принялся им ловить звуки из темноты. Звуки эти ему не понравились. Он замотал головой. Когда одному ухому что-то не нравилось, он мотал головой.

Озноб пробежал по моему телу. Теперь не от холода. От страха.

— Сафар! — позвал я друга. — Арслан учуял что-то.

— Учуял, — подтвердил Сафар.

Оставив в покое Арслана, он стал глазами отыскивать предмет, который встревожил пса. Долго искал, потом подполз ко мне и шепнул:

— Там что-то черное...

Губы не слушались Сафара. Я с трудом разобрал сказанное.

— Волк? — спросил я.

— Что-то черное... — повторил Сафар.

«Что-то черное» было страшнее, чем волк. Почему-то неясное всегда пугает.

— Где видел?

— Там... — Сафар показал в сторону небольшого бугорка, справа от тропы.

— Оно с ушами, это черное?

— Не разобрал. Наверное, с ушами. У всего живого есть уши...

Страх подобрался к сердцу. Я уже не сомневался, что нас навестил волк. Из-за бугорка он наблюдает за нами и

решает, как лучше напасть. Только в сказках встреча с волком оканчивается победой хитроумного смельчака. В жизни несколько иначе все выглядит. Волк не собирается с нами беседовать о справедливости. Он точит свои зубы. А мы, затаившись, дрожим от страха. Защиты ждать неоткуда. На Арслана надежда плоха. Он хоть и лает, но проку от его лая мало. Волк не обращает никакого внимания на глупого пса. Ему пес не нужен. Ему нужны мы.

— Давай отвяжем Арслана,— предложил я.— Веревка мешает ему отогнать волка.

Сафар минуту обдумывал, как поступить. Правильнее было бы отвязать собаку, дать ей свободу. Но сказал Сафар совсем другое:

— Отвяжем, а он не к волку побежит, а домой...

— Но он же смелый! Ты сам хвалил,— возмутился я.

— Смелый, верно... Мы тоже были смелыми.

Я схватился за голову.

— Что же делать?

На Сафара опять нашло раздумье. Он что-то вспоминал.

— Говорят, зверь боится глаз человека. Если смотреть на него без страха, не моргая, он не выдержит.

Я засомневался.

— Как же волк увидит наши глаза ночью? Темно ведь. Надо огонь сначала разжечь. Между прочим, от огня волки бегут. Все путешественники, когда ночь застает их в пути, разводят костры.

Мой довод был убедительным. Сафар не мог не согласиться, что огонь пугает хищников больше, чем глаза.

— Но где мы добудем огонь? Он остался дома, в очагах. С собой мы даже уголька не захватили. Был бы уголек — такой костер развели!

Арслан перестал вдруг лаять. Гавкнул несколько раз, поворчал лениво и смолк.

— Посмотри, где это «черное»! — сказал я Сафару.— Может, ушло.

Он поднял голову и обвел взглядом степь.

— Не видно «черного»...

— Хорошо посмотри! — настаивал я.

— Над бугорком не видно.

Мне очень хотелось, чтобы «черного» не было видно ни над бугорком, ни за бугорком. Чтобы оно сгнуло в ночи. Осмелев, я сам поднял голову и посмотрел вправо от тропы. На фоне неба ясно вырисовывалась гнутая линия бугра. Чистая линия. Ни морды, ни ушей не было.

— Ушел?

— Наверное, ушел.

— Может, это был не волк? — предположил Сафар.

— А кто?

— Лиса.

Мне стало обидно. Натерпелась такого страха, и все из-за ничтожной лисы. Не мог я принять вместо волка эту рыжую плутовку.

— Зачем же Арслан лаял?

— Он и на зайца будет лаять.

Я запротестовал:

— Зайца он не испугается... И лисы не испугается.

Мне очень хотелось, чтобы Сафар назвал то «черное» волком. Обязательно волком.

— Если это волк, — сказал Сафар, — он придет снова.

Я был не рад, что затеял разговор. Опять стало страшно. Опять стали мерещиться уши над бугорком.

Мы прижались друг к другу, чтобы не было так боязно и так холодно.

— Не спи! — предупредил меня Сафар. — Нам нельзя пропустить конец ночи. Перед рассветом к Ибаде-ака начнут слетаться перепела.

Помешался мой друг на перепелах. Не ест, не пьет, не спит. Так и помереть можно.

— Хорошо, — пообещал я.

Какой уж тут сон, когда за бугорком притаился волк! Заставлять будешь себя и не уснешь. Но почему-то глаза сами сомкнулись. Незаметно. Будто перед ними провела невидимыми волшебными руками пери, шепнула что-то колдовское, похожее на шелест травы. И все исчезло. И холод, и страх. И сама степь.

Надолго ли исчезло, не знаю. Может быть, на короткое мгновение всего лишь. Пробежал ветер, тронул мое лицо, и я очнулся. Уже светало.

Из темно-синего небо превращалось в голубое. Там, где должно было взойти солнце, засеребрилась легкая полоска. В этом серебре сверкала, догорая, Зухра — Утренняя звезда. Казалось, огненная капля вот-вот сорвется и упадет на землю.

Все молчало. Еще не пробудилась степь. Но это были уже последние минуты перед пробуждением.

— Ты спал? — прозвучал вдруг голос Сафара.

Бедный друг мой. Глаза его были открытыми всю ночь. Мне стало стыдно за себя, за свою слабость. Я не сдержал слово, которое дал другу.

— Волк больше не приходил,— сообщил устало Сафар.— Никто не приходил...

— Проверю-ка силки,— сказал я.

— Рано. Пусть закричат перепела.

Сафар мог посмеяться надо мной. Я ничего не смыслил в силках, а собирался их проверять. Но не посмеялся. Он был добр.

— Сейчас взойдет солнце и станет теплее. Потерпи, Назиркул.

Солнце запаздывало. Прежде чем вспыхнули его лучи, степь огласилась криком птиц. Из каждого куста неслись то свист, то трель, то шелк, то уханье. Заговорили и перепела. На этот раз наш Ибада-ака отстал от своих братьев. Он проснулся, когда звучал уже целый перепелиный хор. Громче всех кричала вчерашняя певунья.

— Пошли!

Сафар пополз к силкам, осторожно передвигая ноги и щепляясь за траву. Я двинулся следом, но он дал мне знак остановиться. Второй ловец в таком деле был лишним.

Приподнявшись на локти, я следил за Сафаром. Вот он обогнул стожок янтафа, переполз тропу и остановился около первого силка. Утро еще не разгорелось, предрассветные сумерки окутывали землю, и увидеть что-то в траве было трудно. Сафар притаился. Он ловил звуки, которые выдали бы перепела. И вот раздалось знакомое «парт!», птица забила крылышками.

— Попалась! — крикнул Сафар.

Я не слышал прежде такого восторженного крика. Только человек, нашедший сказочную птицу, способен так радоваться. Сафар вынул перепелку из силка и стал целовать ее перышки, приговаривая: «Не обмани! Не обмани! Не обмани!»

Я подбежал к другу.

— Она?

Обезумевший от счастья Сафар не понимал, о чем его спрашивают, и все твердил:

— Не обмани!

— Наверное, она,— сказал я.

— Пусть будет она...

Мы думали о той перепелке, что поразила нас своим криком.

Сафар посадил птицу в клетку и пошел смотреть остальные силки. То ли был удачливый день, то ли Сафар хорошо поставил силки, но почти в каждом оказался перепел. Не все живые, некоторым острый конский волос перерезал горло,

некоторые, стараясь освободиться, сами затянули петлю. И все же улов был великим. У нас оказалось четыре перепелки. Одну, самую маленькую, окрещенную «петушком», Сафар подарил мне.

— Вырастет, станет знаменитой певуньей, — сказал он. — Кто знает истину? Один бог. Он решит, кому дать счастье — тебе или мне. Весной увидим.

Попрятав перепелов, Сафар стал собираться в дорогу.

— А как же янтак? — спросил я. — Мы накосили всего один стожок.

— На первый раз хватит.

Пока мы занимались перепелами, солнце взошло. Взошло и начало свое шествие по небу. А когда солнце движется по небу, жизнь в степи замирает. Птицы прячутся в кусты, ящерицы — в норы. Одни коршуны и ястребы не знают покоя, весь день кружат в голубой выси, отыскивая добычу. Несчастлива та птичка, которая в это время выглянет из кустов. Ее тут же схватит хищник и унесет в свое гнездо.

Под кружащими коршунами и собирали мы свой янтак, грузили его на осла. По бокам одноухого пристроили подушку, одеяло и кувшины, теперь уже пустые. Осел совсем утонул под этим грузом. Видны были лишь хвост его и голова с одним ухом.

Сафар щелкнул языком, погнал осла по дороге. Мы двинулись следом. Отставая от нас шагов на десять, брел голодный Арслан.

Знакомой пыльной тропинкой мы возвращались домой. А домой, я уже говорил, идти всегда веселее, чем из дому. И шаг тверже и дорога короче.

Самым веселым из нас был Сафар-чиканак. Он нес клетку с перепелами. Время от времени поднимал ее, слушал, как там возятся птицы. Находил среди них ту, что была дорога его сердцу, и шептал:

— Не обмани!.. Не обмани!..

МОЛОДЦУ И СОРОКА РЕМЕСЕЛ МАЛО

Мозоли на моих руках, которые по совету брата надо было сохранить, чтобы стать кузнецом, я сберег, и не только сберег, но и приумножил. Кузнецом, однако, не стал. Не взял меня брат в свою мастерскую.

Пришла осень, горячее для кузнецов время. Застучали весело молотки на наковальнях. Поступил, наверное, тот самый заказ на сто ведер и сто серпов. Но стук молотков я слышал лишь издали, из нашей махалли. Брату хватало че-

тырех рук — двух своих и двух Сафара-чиканака, мои были лишними. Да потом руки Сафара ловкие, умелые. Он был кузнецом, видно, от бога. Мне-то всевышний такого таланта не дал.

А какой талант он дал мне? Это ни я, ни отец мой, ни матушка не знали. И узнать не могли, хотя и пытались. Читатель помнит, что брался я за все и все выскальзывало из моих рук.

Удачливостью своей я походил, должно быть, на отца. Он тоже за многое брался и почему-то постоянно оказывался без дела. Матушка только вздыхала:

— Не придумал всевышний ремесла, которое подходило бы вам, как подходит кавуш к ноге.

Я думаю, матушка ошибалась. Не все еще ремесла мы перебрали, не ко всякому делу приложили руки. В этом я убедился, когда в один из четвергов — а в нашем доме чаще всего перемены наступали накануне праздника — неутомимая матушка моя сказала:

— На бездельника и бог в обиде.

Она ссылалась на бога во всех случаях, когда в ее собственной голове рождались новые мысли.

Отец и я закивали согласно: бог действительно в обиде на бездельников. Мы торопились согласиться, потому что имен матушка не назвала и никому от этой обиды всевышнего не было ни холодно, ни жарко. Но мы зря поторопились. Говоря о бездельниках, матушка, оказывается, имела в виду нас с отцом. То, что отец кипятил воду в башмачном ряду, а я таскал воду из хауза, не было делом. Оно давало гроши, а грошовое дело — почти что не дело.

— Люди ходят раздетые,— начала матушка издали объяснять причину обиды всевышнего.— Чтобы одеть людей, нужна ткань, а ткань, как известно, делается из пряжи, а пряжа...

Я не знал всей этой сложности появления на свет ткани и, признаюсь, мало задумывался над тем, откуда что берется. Ведь если добираться до начала, то никогда не остановишься.

Матушка, однако, остановилась.

— Пряжу будем делать мы...

Вот чего я не представлял себе, так это изготовления пряжи. Наверное, оно не походило ни на переноску воды из хауза в башмачный ряд, ни на сколачивание ведра молотком.

— Вы купите мне веретено и два фунта хлопка,— объявила матушка отцу,— а на следующую неделю продадите два

фунта пряжи. Проявите проворство на базаре, я — прилежность дома, и пойдет у нас дело.

Ничего радостного не было в словах матушки, но отец почему-то заулыбался. Он приложил руки к сердцу и сказал:

— Спасибо тебе, ташкентская!

Я тоже поклонился и поблагодарил матушку. Поблагодарил за то, что мне во всей этой затее не нашлось дела. Уж больно неинтересным было производство пряжи. Таскать из хауза воду или косить янтак куда веселее. Однако работа мне все-таки нашлась. Нашел отец.

— Пойдем заказывать веретено!

Конечно, это нестрашная работа — ходить за отцом и слушать, как он разговаривает с людьми. Тем более, что говорить он был не мастер.

Веретёнщик жил в нашей махалле. К нему мы после обеда и направились.

Встретил он нас очень приветливо, так как считал своими соседями по гузару, но, когда услышал про заказ, замахал невольно руками.

— Все хотят пряхть, всем нужны веретена. А где их взять?

Отец был крайне удивлен. Он считал, что мысль изготавливать пряжу пришла в голову только моей матушке.

— Взять веретено мы хотим у вас, — сказал отец.

— Оббо! — вздохнул веретёнщик. — У меня две руки, они не могут сделать столько веретен, сколько требуют женщины Джизака! Заказы приняты на месяц вперед.

— На месяц вперед — это же не на год, — рассудил отец. Он был спокойный и неторопливый человек, способность времени течь медленно его не пугала.

— Ну, если так, — несколько подобрел мастер, — тогда я подумаю.

— Подумайте, уважаемый. Дела наши идут не слишком хорошо, вся надежда на веретено.

Веретёнщик посмотрел удивленно на отца и покачал головой.

— Но одним веретеном вам не обойтись. Нужны еще цевки, потом...

Начав перечислять, мастер забыл остановиться и, наверное, не остановился бы, не попятясь отец к двери.

— Остальное сами знаете, — осекся веретёнщик.

— Если не знаем, то узнаем — бог поможет.

Отец вынул из бельбага кошелек и стал считать деньги. Зачем считал, неведомо; денег было столько, сколько поло-

жила матушка перед нашим уходом, и ни одной копейки не могло прибавиться. И все же отец раз десять пересчитал и только потом вложил содержимое кошелька в ладонь веретёнщика.

— Вы уж посмотрите, уважаемый,— добавил отец к деньгам просьбу,— откуда вам считать заказы: с конца месяца или с начала...

Мастер проводил нас до калитки и, когда мы оказались за порогом, пообещал:

— Упрости все-таки, придется ради вас отнять у жизни одну ночь.

Одну ночь отнял у себя веретёнщик. Наверное, это не много. Но веретено его отняло у моей матушки сто ночей. Как только вошло оно в наш дом, так и зазвучала печальная веретенная музыка и уже не прерывалась ни днем, ни ночью.

Вспоминая то время, я почему-то из всего выбираю лишь веретено. Оно у меня перед глазами. И еще нить, что на него наматывается. Бесконечная нить. Мать сучит ее пальцами, стараясь сделать ровной. Глаза неотрывно следят за нитью и за пальцами и кажутся застывшими.

Матушка моя хоть и все умела и все знала, но не все у нее получалось. Долго не давалось ей веретено. Тут нужна особая сноровка, и сноровку эту она вырабатывала, подолгу не выпуская из рук веретено.

Веретено мы принесли от мастера в конце недели, до базарного дня оставалось как раз семь дней, и за эти семь дней надо было изготовить два фунта пряжи. Так обещала матушка. Обещание она дала сгоряча. Не знала, как это быть пряхой и сколько сил надо положить на эти самые два фунта.

Никто о фунтах не помнил, мало ли что говорится. Я так сразу забыл, да и отец, наверное. А вот матушка не забыла. Слово у ней было твердое. Не могла взять грех на душу, обмануть бога и детей. Что скажут люди, узнав, что я солгала? — часто говорила матушка. И никто никогда не попрекал ее. Не было причины.

И вот тут с этим проклятым веретеном могла появиться причина. Не шла пряжа.

Один я, наверное, видел, как мучается матушка. На расвете бегу в башмачный ряд, загляну к ней, а она уже с веретеном. Наполню чаны водой, вернусь назад — матушка опять с веретеном. Вечером все лягут спать, погаснет свет в доме — у матушки горит чирак — масляная коптилка, жужжит веретено. Проснусь ночью — все та же музыка.

Иногда тихо приоткрою дверь, скажу:

— Мама, вы бы отдохнули.

Она кивнет молча и опять за свою пряжу.

Пряжа была белой, а матушка наоборот — чернела. Гаят человека бессонные ночи. Мне казалось, что мама умрет, так и не допряв свои два фунта.

Но пришел день базара, и матушка положила перед отцом пряжу. Столько, сколько обещала.

Она улыбалась. Грустно, грустно. Глаза так ввалились, что их и не видно было. Чтобы не упасть от слабости, она прислонилась к стене.

Отец сказал:

— Спасибо, ташкентская!

Он поспешил на базар, чтобы скорее продать пряжу.

— Я сразу вернусь, — пообещал он.

Пообещал, но не вернулся сразу. И к обеду не вернулся. Матушка подождала немного и легла отдохнуть. За неделю она так намаялась, что сон сразу сморил ее. И долго не отпускал.

Встревоженный я помчался к отцу, чтобы узнать, почему он не возвращается. Нашел его в башмачном ряду. Мамина пряжа лежала рядом с пиалами около самовара.

— Почему вы не продаете? — возмутился я.

— Тсс! — поднял палец отец. — Ее не берут.

Я непонимающе глядел на него. И отец пояснил:

— Нить неровная. За такую мало дают.

— Пусть. Отдайте за любую цену. Если мы вернемся домой с пряжей, матушка не выдержит. Она совсем ослабела.

Отец задумался.

— Видимо, ты прав.

Мы вышли на то место, где торгуют бузом — домашней тканью. Я был плохим торговцем, это известно, но сейчас вдруг обрел и смелость и красноречие. Через какие-нибудь десять минут пряжу разобрали. Не по той цене, что наметили, много ниже, но все-таки это была награда матушке за бессонные ночи.

Отец предложил:

— Добавим от себя.

Он даже полез за своим кошельком.

Я запрстестовал. Как ни жаль было мне матушку, но доставлять ей радость обманом не хотел.

— Сколько заплатили, столько и отдадим!

Отец остался на базаре со своими пиалами и самоваром, а я полетел домой.

Мама уже проснулась и готовила обед.

— Пошла пряжа! — крикнул я радостно. — Вот деньги.
Только сегодня цена ниже...

Матушка грустно, как и утром, улыбнулась.

— На мою пряжу ниже...

Она все знала, моя мама. Вы же помните ее слова: «Рахат все знает, не знает только, когда помрет...»

Я смущенно опустил голову.

— На той неделе будет дороже, — пообещала матушка.
Она снова собралась не спать ночами.

— Не надо! — почти плача, попросил я. — Вы заболете.

Матушка обняла меня и прошептала ласково:

— Болезнь пройдет, сынок! Зато я научусь делать хорошую пряжу.

Верно, на следующем базаре матушкина пряжа пошла по хорошей цене, а еще через базар — по самой высокой. Надо было бы радоваться, да занемогла матушка. Не так, чтобы слечь и переложить заботу о семье на чьи-то руки. Она делала все по дому и веретено не оставляла, но высохла совсем. Кожа да кости. И на глаза жаловалась постоянно.

— Будто насыпал мне кто-то в них песку. Ни стереть, ни смыть.

Краснота с глаз не сходила. Страшными стали они, чужими, не материнскими.

Причину болезни мы знали, сказать о ней, однако, боялись. Сердилась матушка, когда кто-нибудь из нас советовал ей не сидеть ночью за веретеном.

— Что же, оно само будет крутиться? — ответила матушка. — Не видела я такого веретена.

Немного лучше становилось глазам, когда выпадали ясные лунные ночи. Матушка гасила коптилку и садилась со своим веретеном у окна.

— И зачем бог пятнадцать дней в месяце сделал темными? — допытывалась она. — Мог бы сделать все тридцать светлыми. Сколько молитв благодарных произнесли бы пряжи!

Не знаю, стали бы все пряжи творить молитвы в честь вечного полнолуния. Они-то ночью не работали.

Соседи наши часто говорили отцу:

— Что это Рахат-апа совсем не спит? Как ни проснемся ночью, слышим звук ее веретена. Ведь человек-то сном жив.

Отец отмалчивался. И матушке чужих слов не передавал. Лишь однажды, увидев ее очень усталой, посоветовал не работать ночью.

— Ведь человек сном жив, — повторил он сказанное соседями.

На это матушка ответила:

— Если бы можно было жить сном, я бы не крутила веретена.

Веретено давало семье возможность сводить концы с концами. На выручку от продажи пряжи матушка купила ткань, сшила себе и Мاستон рубашки, мне штаны. Последнее было крайне необходимо. Я уже говорил, что кавуши мои развалились. Это беда, и не малая. Но все же без кавуш летом можно ходить, босым я добирался даже до зарослей янтака в Кушбармаке. А вот куда пойдешь в развалившихся на части штанах? Никуда! Вот веретено и выручило меня.

Я стал подумывать, не взяться ли мне за веретено. Если две руки приготавливают два фунта пряжи, то четыре приготовят четыре. А там можно присоединить и руки Мастон, жены моей, тогда получится шесть фунтов. Базар завалим пряжей. Мысли мои были легкими, как птицы, и уносили меня далеко. Так далеко, что я забывал, откуда взлетел.

С шестью фунтами пряжи, то есть с желанием их сотворить, я и пришел к матушке. Она сразу не сообразила, откуда взялись шесть фунтов, и долго смотрела на меня с недоумением, а когда сообразила, то не пожалела слов на похвалу своему дитя.

— Сын, думающий о матери, продолжит ее жизнь. Да вознаградит тебя всевышний!..

Однако веретено свое не передала мне.

— Чтобы шесть рук делали пряжу, нужны три веретена,— сказала она.— А у нас одно лишь. Да и не мужское это дело прясть. Займись-ка лучше ткачеством.

Совет матушки был похож на совет святого, который предлагал жаждущим напиться из невырытого колодца. Можно ли стать ткачом, не имея ткацкого станка? Пошутила матушка. Не в то время я подошел к ней, не те, видимо, слова сказал.

А оказалось, что матушка не пошутила. Когда отец вернулся из башмачного ряда со своими чайниками, произошел такой разговор:

— Хорошо ли идут дела на базаре? — спросила матушка.

— Да не то, чтобы хорошо, но и не то, чтобы плохо, — неопределенно ответил отец.

— Продают ли буз?

— Добра этого хватает.

— Не спрашивал ли кто буз, сотканный Назиркулом?

Отец покосился на матушку: смеется, что ли, ташкентская? И решил ответить так же:

— Спрашивали, человек десять.

Мне стало не по себе. И зачем это мама завела разговор про буз? Ведь не для того я поделился с ней своей мечтой, чтобы быть осмеянным.

— Десять мало,— сокрушенно покачала головой матушка.— Когда двадцать спросят, понесете буз на базар.

— Ладно,— согласился отец.— Только поторапливайтесь, базарный день близок.

Матушка помогла отцу снять с плеча чайники, нанизанные на бечевку.

— Хорошо сказали, отец! Надо торопиться, сын-то опять без дела...

— Э-э-э,— закричал отец.— Устал я водить его по мастерам.

— На то ноги у родителей, чтобы пробивать тропинку детям.

— Все тропы пробиты.

— Не все,— покачала головой матушка.— Ой, не все...

— Какая еще осталась?

— Тропка к ткачу.

Отец замахал руками, словно петух крыльями. Не хотел он слышать о ткачестве.

— Нет у меня ни родственников, ни друзей, знающих толк в этом деле. Да и дело такое — одни муки. Пока в учениках ходишь, ткач на тебе, как на осле, ездить будет и лупить, как осла, будет, а кормить — хуже, чем осла. И воды принеси, и кавуши подай, и двор подмети...

Мешок мучений, ожидающих ученика, опрокинул на мою голову отец. Не было, оказывается, занятия хуже ткачества и не было людей хуже ткачей.

— Назиркул — ткач! — воскликнул отец с отчаянием.— Наш род — кузнецы, медники, коробейники...

— Ладно,— остановила отца матушка.— Не было, так ведь не значит, что не будет. Почетное это ремесло — одевать людей.

Всякое свое напутствие матушка заканчивала словами: «Молодцу и сорока ремесел мало». Я думал, она и это закончит так же, но обошлось на сей раз без сорока ремесел.

— Не хочет отец искать тебе учителя, сам найди! — сказала матушка.— А станок куплю за свою пряжу. Два-три базара пройдут, наберутся те самые шесть фунтов, о которых ты мечтал, сынок.

Впервые выпал мне жребий искать учителя. Как их ищут, этих учителей, я не знал. Поэтому залез на чердак и стал думать.

На чердаке ко мне приходили самые умные и самые удивительные мысли. Здесь, рядом с небом, фантазия окрылялась, я мог мысленно отправиться куда угодно и достичь чего угодно. Отсюда начинались все полеты в будущее. И были они похожи на жизнь и сказку одновременно. Когда-то я даже полетел в небо со своим бумажным змеем, и хорошо, что меня удержала за рубашку балка. На ней я и повис, словно лягушонок в клюве аиста.

Конечно, когда начинаешь думать, главное приходит не сразу. До него надо добраться, поплутать по всяким тропинкам и на какой-нибудь из них наткнешься на это главное. Чаще всего не натыкаешься. Только начнешь бродить, как снизу раздается голос матушки: «Назиркул, что у тебя дела нет?» Если даже в эту минуту блеснет то самое, ради чего взобрался на крышу, и остается лишь ухватить его, потеряешь сразу и больше уже не найдешь. Спускайся вниз и принимайся за дело, которое приготовила тебе матушка.

На этот раз никто не позвал меня со двора. То ли матушка забыла про Назиркула, то ли не захотела прерывать его поиски учителя.

А вернее всего, не успела прервать. Едва я взобрался на чердак, как увидел то, что мне было нужно.

Рядом с нашим домом стоял дом соседа, рядом с домом этого соседа — дом второго соседа, рядом с домом второго соседа — дом третьего. Так вот в третьем доме жил мой сверстник Инат. То, что он был моим сверстником, не такая уж важность: много моих сверстников жило в нашей махалле. Не удивительно и то, что жил он в третьем доме. Важным было то, что Инат — ткач.

Я скатился вниз, во двор, и крикнул матушке:

— Нашел! Нашел!

Мама оторвалась от веретена и спросила:

— Не птица ли счастья спустилась к нам на крышу?

— Птица счастья. Я нашел учителя.

Матушка улыбнулась.

— Он живет на чердаке, твой учитель?

— Нет, он живет в третьем доме. Это Инат...

— Инат? — Матушка не сразу вспомнила, кто такой Инат и чем он занимается. А когда вспомнила, покачала уныло головой. — А захочет ли Инат учить тебя?

— Пусть не захочет. Я сам научусь. Буду смотреть, как он делает, а потом и сам сделаю...

— Легко ты судишь о ремесле, которому люди отдают всю жизнь.

Мама, как до нее отец, пугала меня.

— Но вы же научились прясть, — привел я довод в свою пользу. — Научусь и я.

— Ткать — это не прясть. Тут одной бессонной ночью не обойдешься.

— Сколько велит дело, столько и приму ночей и дней.

Смелость пришла ко мне. Пришла не потому, что я был храбр, а потому, что видел рядом с собой Ината. Мой одноклассник — и ткач! Отчего и мне не стать ткачом?

Ткацкий станок не раз попадался мне на глаза. Ребятишками мы забегали иногда к соседям, которые ткали буз, и минуточку-другую задерживались у этого бесценного сооружения. Станок стоял в темной комнате, в углублении, вырытом в земляном полу, и своими деревянными рамами и перекладинами напоминал скелет какого-то животного. Оно пугало, и хотелось поскорее убежать на улицу, на свет, на простор. И мы убегали.

На этот раз мне пришлось остаться. Место, где работал Инат, было темным и этим походило на все ткацкие мастерские Джизака. Небольшое отверстие, пробитое в стене и заделанное осколком стекла, пропускало лишь отраженный свет — солнце сюда никогда не заглядывало. Глаза мои не сразу привыкли к такому освещению, и поначалу я боялся сделать лишний шаг, чтобы не наткнуться на какой-нибудь предмет, не сломать его, не уронить.

— Отчего не сделаешь окно побольше? — спросил я Ината.

— И от такого холодно: теневая сторона.

— Ты же ослепнешь.

— Все ткачи слепнут.

Спокойно так сказал, а меня дрожь проняла. Зачем же губить себя? Ведь можно поставить станок на освещенное место. Недоумение мое дошло до Ината. Он объяснил: ткань, оказывается, требует определенной температуры, влажности требует, иначе будет косить.

Тонкости ткацкого дела. Нелегко, наверное, овладеть этим ремеслом.

Я сел в углу, прижался к стене — комната до того маленькая, что ткач со своим станком едва умещается, для второго человека места уже нет.

Мое появление Ината ни обрадовало, ни огорчило, он, видно, не догадался, зачем пришел сосед. И я не сказал. Побоялся. Еще прогонит: кому нужен ученик? Пусть думает, что я скучаю. Вдвоем ведь веселее. А слова, какими бы они были, не мешают работе.

Позже я оценил свой поступок и устыдился его. Обма-

нул Ината. Хотел присвоить чужое умение. Правда, не понадобилось оно мне, как не понадобилось многое другое. Но тогда не знал, что не понадобится, и брал жадно и торопливо все, что принадлежало Инату как ткачу.

Инат был добряком. Душа светлая. Не всякому судьба такую дарит. В детстве-то мы мало что понимаем и мало чем дорожим. Ни доброту, ни свет сердца не ценим.

Садился Инат за работу с восходом солнца. Вернее, с того момента, когда в его крошечном окошечке появлялся первый лучик света. И пока солнце двигалось по небу, стучал станок и росла по вершкам ткань. Прерывался Инат только для того, чтобы сменить камышинки с пряжей и заправить челнок.

Я входил в его каморку, когда первые вершки буза были уже готовы.

— А-а, Назиркул! — встречал он меня неизменной фразой. — Что слышно на улице?

На улице Инат не бывал, не отпускал его станок. Лишь в базарные дни покидал он свою каморку, чтобы продать несколько аршин буза, сотканных за неделю. Он и солнца не видел, и оно не видело его. Я удивлялся, как это кожа Ината сохраняла такой темный цвет. В полумраке и сырости она должна была давно поблекнуть. А глаза — выцвететь. А не блекла кожа, и глаза не выцветали.

— На улице ничего не слышно, — отвечал я.

Не хотелось мне тревожить Ината рассказами о мальчишечьих проделках, вызывать зависть к тем, кто проводил день в играх и шалостях. Ведь ему хотелось побегать с мячом, поиграть в кости. Просто посмотреть на небо, ясное и синее в это время года.

— Тихо, значит? — недоверчиво косился на меня Инат.

— Тихо.

— А я думал, что из-за шума станка мне ничего не слышно.

Я забирался в свой угол, устраивался там поудобнее и широко открывал глаза. Ничто не должно было пройти мимо моего внимания. Я учился.

Сидеть молча скучно. Так и уснуть можно. Поэтому я начинал рассказывать Инату разные истории, которые узнал от отца или матушки. Больше всего ему нравился рассказ про наше путешествие в степь. Он слышал его несколько раз и всегда удивлялся, как это мы не попали в пасть волку.

— Страшно ведь было? — допытывался Инат.

— Страшно, — подтверждал я.

— Черное с ушами?

— Да. И выглядывает из-за бугорка.

Рассказывая, я так увлеклся, что и сам начинал верить в существование того волка.

Учение мое, между тем, шло своим чередом. Через неделю я уже знал, как надо перемещать основу, как двигать челнок, как ставить камышинки с пряжей. Правильнее сказать, запомнил, делать же это не умел. Руки мои еще ни разу не прикоснулись к станку. Но когда видишь движения другого, кажется, и сам сможешь сделать так же, а то и лучше.

Инат работал хорошо. Мне нравилась его сноровка. Он уверенно направлял челнок, передвигал основу. Наверное, он был настоящим ткачом.

Незаметно для себя я начал называть Ината усто, то есть мастером. Это одновременно могло звучать как учитель. Инату это было по душе. Пусть один лишь человек так зовет его, но все же зовет. Значит, удостоился он этого почетного имени.

То ли этим словом, то ли своим интересом к ткацкому делу, но расположил я к себе Ината.

Однажды, вынув из челнока пустую камышинку и вставив в него наполненную уточными нитками, он сказал мне:

— Улавливай!

Одной рукой он подвел конец нитки к дырочке в середине челнока и сильно втянул в себя воздух. Нитка пролетела через отверстие челнока и прилипла к языку Ината.

— Видел? — спросил он меня, довольный тем, что сделал.

— Видел. Вдевать нитку в челнок я умею.

Трудно передать, что изобразилось на лице Ината. Оно налилось краской, в глазах сверкнул гнев. Я не знал, что добряки бывают такими сердитыми.

— Если ты все умеешь, — заикаясь от волнения, произнес Инат, — то учить тебя незачем.

Оказывается, добрый Инат учил меня без моей просьбы, без вознаграждения. А я-то думал, что он ни о чем не догадывается.

— И зачем ты сидишь здесь? — не успокаивался Инат. — Зачем теряешь время? Ставь дома станок и тки буз.

После этих слов надо было встать и уйти. Нет, не уйти — убежать. Стыд-то какой! Возомнил себя умельцем, расхвастался перед настоящим ткачом.

Верно ведь: кто говорит не думая, тот умрет не болей! Как же теперь исправить ошибку? Я стоял перед Инатом,

своим сверстником, мальчишкой еще, опустив глаза и теребя растерянно ворот рубахи.

Инат сел за станок и стал работать. Громко, торопливо застучал станок. Злость свою Инат утолял напряженным движением.

Минут десять, если не больше, прошло, пока я осмелел и поднял глаза на Ината. И—о чудо! Лицо его оказалось светлым. Он улыбался. Просто улыбался. Не мог Инат долго сердиться.

Какие слова сказать учителю, думал я. Чем искупить свою вину? Слова не приходили на ум. А может, и не было таких слов.

Взгляд мой неожиданно упал на корзину с пустыми камышинками. Я схватил их и выбежал на террасу. Там стояло веретено. С его помощью можно намотать пряжу. Лишь бы только на террасе не оказалось матери Ината. Она обычно готовила для сына мотовила. К счастью, мне никто не встретился. Я взял моток, обвил концом нити колесо веретена, вставил камышинку отверстием в цевку и начал крутить.

Времени было мало. Мотовила у Ината кончились, и в любую минуту он мог потребовать новые. Я спешил. Как это ни удивительно, рука моя ни разу не сорвалась, камышинка не выскочила из цевки. Все двадцать мотовил, наполненные, вернулись в корзину. Я поднял ее и внес в мастерскую

— Вот, готово,— сказал я.

Инат как раз поднимался из-за станка, чтобы достать новые мотовила.

— Кто мотал? — спросил он.— Мама?

— Нет... Я сам.

Инат не поверил, взял одну камышинку, поднес к глазам.

— Хорошо.

Что скрывать, похвала обрадовала меня. Я засиял счастливым.

— Ты и вставлять их умеешь?

На этот раз я смолчал. Умел, конечно, но как сказать? Опять обидишь Ината.

— Попробуй, вставь! — предложил усто.

Я легко вставил мотовило в челнок. И сделал все точно так же, как и Инат. Он заметил это, улыбнулся.

— Иди за станок!

Он пропустил меня к скамеечке, на которой только что работал, помог сесть, показал, куда поставить ноги.

Трудно передать, что испытал я в эту минуту. Сердце было объято и страхом и радостью. Мне предстояло наконец

коснуться руками станка, соткать первую в жизни строчку. Весь напрягшись, как перед прыжком, я ждал разрешения учителя.

— Ну, начинай!

Нога опустилась, расщепила основу, и я погнал челнок. Сначала в одну сторону, потом в другую. И так раз за разом, повторяя все движения.

Не знаю, сколько прошло времени, может, нисколько не прошло, а может, целая вечность. Когда я глянул на выходящий из станка буз, увидел полоску, сотканную мною. Полоска шириной в палец, не больше. Но это была моя полоска.

— Я буду ткачом? — спросил я Ината. — Скажи, буду?

Он засмеялся.

— Уже ткач...

СЧАСТЬЕ, КАК РАССЫПАННОЕ ЗЕРНО, СОБИРАЮТ РУКАМИ

На одном из деревьев Каландарханы жил аист. Их много жило в городе. Сколько, никто не считал, да и считать не решались — колдовская птица. Я же знал только того аиста, на Каландархане.

Малышами мы часто, задрав голову, — дерево было высокое, а аист жил на самой макушке, — смотрели, как белая птица стоит на одной ноге. Почему-то всегда на одной ноге. Вторая забавно поднята и прижата к груди.

Аист мог стоять так часами. Скоко бы вы ни смотрели, как бы ни кричали, как бы ни дразнили аиста, он не менял положения. Он вообще не обращал внимания на людей.

— Эй, лайлак, скажи что-нибудь! — просили мы.

— Длинноклювый, спой песенку!

— Красноногий, взмахни крылом!

Прозвищ у аиста было много, ни на одно из них он не откликался.

Равнодушные птицы ко всему, что делалось на земле, казалось загадочным. Он не спускался на землю. Единственное, что интересовало его внизу, это лягушки. Ради них он мог слететь с гнезда и даже коснуться своими тонкими, как камышиночки, ногами земли. Предпочитал он, правда, воду — канал или пруд. Ведь пруд — царство лягушек!

Но этого я не видел. Для меня аист — всегда макушка дерева или крыша минарета.

Появлялись аисты и улетали неожиданно. Никто не был свидетелем этого события. Люди просыпались утром, а аист уже сидел в своем гнезде. Через полгода — то же самое: на рассвете гнездо оказывалось пустым. Мама говорила: кто

увидит прилетающего аиста, тот обретет счастье. Только никому, никому не надо об этом рассказывать, иначе счастье вместе с аистом улетит обратно:

И вот полгода я хранил тайну. Сколько раз меня подмывало открыть ее другим, близким, маме хотя бы. И не открыл, боялся упустить счастье.

Я, правда, не знал, как выглядит счастье. Не обманусь ли, когда оно появится. В моем воображении оно рисовалось то сказочным скакуном, то птицей, рассыпающей золотые перья. то скатертью-самобранкой. Обычного я не принимал. Обычное меня разочаровало бы. Я ждал только сказочного.

Была легенда о лайлатулкадре — вестнике счастья, то есть белокрылой птице. В предвесеннюю ночь птица пролетала над домами. Тот, кто видел ее, должен был коснуться рукой какого-либо предмета, и тот предмет тотчас превращался в золото. Люди забирались на крыши, тащили с собой казаны, топоры, камни, надеясь с помощью лайлатулкадра сделать их золотыми.

Легенда, наверно, и воспламенила мое воображение. В равноденствие, когда тьма и свет равны и когда должен родиться новый год, я не спускал глаз с неба. Увидеть аиста днем никому не удавалось, да они при солнце, как известно, и не прилетали. Ночью и только ночью. Едва начинало смеркаться, а я уже занимал свой пост во дворе. Где-нибудь у сарая или около террасы. Прислонясь к стене, задираю голову вверх и смотрел, не моргая. Стоять долго на одном месте нельзя было. Домашние сразу заметят мой настойчивый интерес к небу. Поэтому я придумывал себе какое-нибудь занятие: возился с дверью, которая плохо запиралась, подметал дорожку, ведущую от калитки к айвану.

Это не могло продолжаться бесконечно. Бросив веник, я входил в комнату, садился к сандалу и грел ноги или пил чай. Однако какое может быть чаепитие, когда зудит мысль: вот я сижу тут, а в это время пролетает аист. И я, оставив пилалу, выскакивал снова во двор.

Первую ночь Навруза я почти не спал. Лег против окна и глядел в небо, надеясь, что птица пролетит мимо и крылом заслонит звезды. Я боролся с дремой, тер глаза, дергал себя за нос, но она все же одолела меня. Заснул. Проснулся, когда было уже светло.

— Не увидел, — корил я себя. — Счастье прозевал. Теперь надо ждать целый год.

Отправляясь за водой в мечеть, я прежде всего глянул на минарет — сидит ли в гнезде птица? Гнездо было пустым.

«Не прилетел,— успокоился я.— Счастье еще не потеряно».

Следующую ночь я опять бодрствовал. И опять не заметил аиста.

«Что же это птица счастья задерживается? — подумал я.— Или слишком далекий путь?»

Миновала третья ночь, потом четвертая. Аисты не прилетали.

«Нет у них для Назиркула счастья, потому и не летят,— решил я.— Бог с ними! Такова, видно, судьба моя...»

Простившись с мечтой и потеряв надежду, я перестал следить за гнездами. Глаза мои уже не поднимались к небу, когда я слышал хлопанье крыльев и крики птиц.

И вот однажды произошло чудо. Как-то перед рассветом я полез на чердак за янтасом, чтобы разжечь матушке тандыр. Ступив на последнюю перекладину лестницы, я вдруг услышал легкий посвист крыльев. Какая-то птица летела надо мной. Сердце мое подсказало, что это аист. Я поднял голову. В сиреновом небе, каким оно бывает в последний час ночи, плыли две белые птицы. Плыли низко, почти над деревьями. Они опускались к гнездам.

Забыв обо всем, охваченный неопишуемой радостью, я поспешил на крышу, чтобы не упустить из виду аистов. Наши ли это птицы, не минуют ли Каландархану и то дерево, что их ждет?

Нет, не миновали. Повисли над своим гнездом, махая огромными крыльями, будто приветствуя родной дом.

Не помню, как я слез с крыши, как дошел до тандыра, как бросил янтас. Все было в тумане. Свеглом, сладком тумане. Голова моя кружилась, губы шептали:

— Я видел... Я видел прилетевших аистов... Они принесли мое счастье...

Около тандыра стояла матушка. Она спросила сердито:

— Что ты так долго возился на чердаке?

Я промолчал. Помнил предупреждение: нельзя делиться тайной.

После той ночи, вернее того утра, началось ожидание счастья.

Вначале я не торопился: ничего сразу не бывает. Птицы только что прилетели, им надо устроить гнездо, найти того мальчишку, который ждал их весь Навруз.

Чтобы они лучше рассмотрели меня, я стал навевываться в Каландархану, кружил вокруг дерева, поднимал голову и глядел на аиста, стоящего на одной ноге.

— Это я, Назиркул. Мне посчастливилось встретить вас в ночь прилета.

Такое или что-то похожее шептал я.

Странный аист почему-то не выражал желания познакомиться со счастливым мальчиком. Он смотрел куда-то далеко, отыскивая, наверное, своих глупых лягушек. Другое его не интересовало.

«Еще не время,— решил я,— надо быть терпеливым. Птицам пока не до меня».

Придя к такой мысли, я перестал навещать Каландархану. Да и, по правде говоря, не было времени на беседы с птицами. Утром я должен был наполнять водой чаны, потом разносить по базару просяные лепешки. Читатель знает, как это непросто сбить две корзины лепешек, дня едва хватало. Вечером же разговаривать с аистами бесполезно. В темноте они тебя не видят и ты их не видишь. Притом стоять босому под деревом не больно приятно. Аист привык обходиться без кавуш, а человек — нет. Когда холодно и грязно, ему следует надевать кавуши.

Аистов я не навещал, но о них думал. Помнил, что птицы в долгу передо мной. Нет-нет да и пожалуюсь судьбе — где же обещанное?

Иногда я порывался спросить у матушки, как аист носит счастье: на крыльях или в клюве, словно лягушку.

Не знаю, что ответила бы матушка, но мне совсем не хотелось видеть свое счастье, болтающееся наподобие лягушки в клюве аиста. Уж лучше бы оно было на крыльях.

Прошла весна, миновало лето, осень стала хозяйничать в наших краях. Желтая краска сначала робко, а потом смелее полилась в сады. Еще было много зеленого, но оно блекло и почти на глазах обретало желтизну. Вечером тополевый лист красовался изумрудом, утром кончик его начинал золотиться. Золото светилось, словно огонек. Огонек разгорался, разгорался, весь лист уже пылал. Издали был виден этот золотой огонь. Потом его подхватывал ветер, отрывал от ветвей и бросал на землю...

Осень взволновала всех крылатых. Журавли первыми прокричали свое «кру-кру!». Вслед поднялись утки. Синева огласилась тревожными криками птиц.

Стали поглядывать в небо и мои аисты. Нет-нет да и взмахнут крыльями, вроде попробуют — сильны ли, готовы ли к полету.

Я смотрел на них с грустью. Счастья уже не ждал, и надежда моя угасла. Даже слово это вроде бы забылось.

И вдруг прозвучало.

Когда первый вершок буза был соткан мною и я ошеломленный выскочил из-за станка Ината и кинулся домой, тогда и прозвучало это слово. Обняв меня, матушка сказала:

— Это счастье, Назиркул!

Счастье...

Я не соединил сказанное матушкой с тем, что звучало во мне с той волшебной ночи. Слова были схожими. Очень схожими. Просто одно слово. Позже, повторившись, оно заставило меня над многим задуматься, многое понять и оценить. Из того многого первое — вершок буза, сотканный моими руками.

Если быть справедливым, время отлета птиц совпало с временем моих первых радостей. Собирались они, правда, по крупинкам, но, наверное, так и должно собираться, чтобы стать цепочкой.

Родился ткач. Хороший, плохой ли, а ткач. Мать на вырученные от продажи шести фунтов пряжи деньги купила мне ткацкий станок. Вместе с Инатом мы установили его на хорошем месте — светлом, просторном. Дальний сосед наш Шарназар-бобо, вернее его сыновья усто Эргаш и мулла Юлдаш пообещали отложить пряжу и приготовить основу. И вот наступил день, когда в доме застучал станок. Я ткал.

Надо ли рассказывать, что чувствует мальчишка, сев за ткацкий станок? Нет, не надо. А вот что думает, надо. Первый день — одна мысль: как бы чего не спутать, второй день — как бы дотянуть до вечера, а третий — как бы не уснуть. Потом первое, второе и третье преодолевается. Приходит четвертое — успеть. Успеть к базарному дню.

Матушка моя из-за того, что дни бежали быстрее, чем накручивалась пряжа, не спала. Надвигалась эта беда и на меня. Садился я к станку, когда светало, вставал, когда темнело. И аршин буза всего лишь выходил, а то и меньше.

Главное было израсходовать всю пряжу, сделанную матушкой. Пугали меня большие мотки. Мама поняла это и стала крутить веретено медленнее, прерывалась чаще: то пойдет тесто подмесить, то порезать морковь или лук. И меня звала помочь ей. Боялась, как бы не надорвался я по молодости, не отвернулся от ремесла, которым только овладел. Умна и сердечна была матушка.

Далеким казался базарный день, на одну руку не нанижешь все рассветы и закаты, пальцев не хватит, а вот подошел все же, и надо было нести продавать буз, который я соткал. Когда ткал, не думал о людях: что они скажут, как оценят мою работу?

Хорошо, если бы за продажу взялся отец, но он, сослав-

шись на неотложные дела, ушел из дому до рассвета. Матушка базара не знала, женщины были далеки от торговли. Пришлось самому сбывать собственный буз.

Базарный день, значит, народ, толкучка. Не пробьешься к тому месту, где продают пряжу и ткани. И не так много покупателей, как продавцов. Все с товаром, все суют в руки буз

- Крепкий — потяни!
- Мягкий — потрогай!
- Легкий — подними!

Я не знал, что сказать о своей ткани, как ее похвалить. Развернул, стою. Жду, когда кто-нибудь обратит внимание.

Цену решил не устанавливать, сколько дадут, за столько и продам. Конечно, без того, чтобы не поторговаться, нельзя. Для многих в этом соль купли-продажи. И все-таки слишком высокая цена оттолкнет покупателя. Лучше назвать среднюю.

Ко мне протискался длинный, как оглобля, дяденька.

- Сколько просишь за аршин?
- Сколько все.
- Все задаром отдадут.
- И я — даром.

Длинный дяденька наклонился и посмотрел на меня как на глупца.

— Так давай даром!

— В следующий четверг, — сказал я, — а в этот по справедливости.

И назвал цену.

— Веселый ты йигит.

Дяденька длиной с оглоблю стал хохотать. Потом хлопнул меня по плечу.

— Беру твой буз.

Он заплатил, сунул ткань под мышку и пошел.

Я побежал за ним.

— Дядя, вы посмотрите буз, может, он вам не по душе.

Длинный махнул рукой.

— Ты мне по душе.

Он опять засмеялся и исчез в толпе.

Так я продал свой буз. Надо бы радоваться, что сбыл товар, а я огорчился. Никто ничего не сказал о моей работе: хороша ли, красива ли? Может, ткань моя ни на что не годится, может, тот, длинновязый, выбросит ее, как выбрасывают негодную вещь. Досадно. Жаль.

Огорчение огорчением, но в следующий базарный день я чувствовал себя увереннее. Хвалил свой буз, кричал как и другие:

— Крепкий — потяни!

— Мягкий — потрогай!

Его рассматривали, щупали, проверяли основу. Покупали.

Неделя пошла за неделей, базарный день — за базарным днем. Двигался караван. Мне нравилось быть караванщиком. Я уставал, конечно, шесть дней изматывали. Спина ныла так, что я чуть не плакал, поднимаясь из-за станка. Базар казался праздником; здесь я отдыхал.

На базаре и произошло событие, изменившее мою жизнь. Изменившее так, что все прошлое перечеркнулось, будто его и не было.

Я стоял в ряду и расхваливал свой буз. Выкрикивал громко, чуть ли не на весь базар:

— Крепкий — потяни!

И вдруг я услышал где-то рядом:

— Да это же Назиркул, сын Сафара-чойпруша!

Знакомый голос подтвердил:

— Ну, конечно, он!

Кто-то тронул меня сзади за плечо.

— Сколько просишь?

Я оглянулся. Передо мной стоял дядя Джайнак. Рядом еще какой-то человек, мне незнакомый. Дядя Джайнак улыбнулся и сказал:

— Здравствуй, Назиркул!

Смущенный, я закивал головой.

— Здравствуйте...

— Вот идем с муллою Хатамом и вдруг встречаем нужного нам человека.

Я опять закивал, не понимая, о ком говорит дядя.

— И знаешь, кто этот человек?

— Нет, дядя Джайнак.

— Чудак! Этот человек — ты.

Дядя Джайнак всегда шутил. Однажды зимой, когда мы с моим другом Адылом пришли к нему за семенами дыни, он уморил нас рассказами о глупых ангелах. Должно быть, и сейчас ему взбрело в голову посмеяться над продавцом буза. Правда, мне очень не хотелось, чтобы слова о нужном человеке были шуткой. Поэтому я сказал:

— Спасибо, дядя Джайнак.

— За что же ты благодаришь меня? — засмеялся дядя Джайнак.

— Помните, на сенном базаре, когда был митинг, вы называли нужными людьми земледельцев, кузнецов, башмачников, ткачей... Я научился ткать.

И я показал дяде Джайнаку свой буз. Не знаю, разби-

рался ли он в тонкостях ткаческого дела, но посмотрел на ткань внимательно, пощупал ее руками.

— Молодец!

Окрыленный похвалой, я стал хвастать:

— И на кузнеца учился, даже одно ведро сбил.

— Я вижу, ты мастер на все руки.

— Еще умею доставать из хауза воду, косить янтак...

Все свои «сорок ремесел» я стал перечислять. Мне казалось, что они важные и нужные.

Дядя Джайнак, наверное, выслушал бы до конца мою хвалебную речь, а вот мулла Хатам почему-то не испытывал такого желания. Он прервал меня:

— А читать ты умеешь?

Разве это ремесло, подумал я, и без особой охоты ответил:

— Умею.

— Умеет, умеет,— подтвердил дядя Джайнак.— Он и писать мастер. Соседи зовут его на помощь, когда надо послать кому-нибудь весточку.

Мулла Хатам сразу оживился, будто узнал что-то очень важное, в сравнении с которым мои «сорок ремесел» теряли всякую ценность.

— Грамотность — великое дело,— произнес он торжественно и положил руки на грудь, как во время молитвы.

— Мулла Хатам — учитель новой школы,— объяснил дядя Джайнак.— Ты слышал что-нибудь о ней?

Сердце мое тревожно забилось. Передо мной был человек, которого проклинали все ишаны и суфи как осквернителя веры, как отступника. Новые школы сжигали басмачи, а учителям вырезали языки. Новой школе радовались и новой школы боялись.

— Слышал,— ответил я робко.

Я знал об этой школе. В ней учили не молитвы, а стихи поэтов.

— А хочешь учиться?

Конечно, мне очень хотелось учиться. Признаться себе в этом, однако, не мог. Семейный человек должен думать о заработке, а не о науке. Как же ответить дяде Джайнаку? Ответил неопределенно:

— Я уже старый...

Дядя Джайнак и мулла Хатам стали смеяться.

— Разве тебе сто лет? Или борода седая?

— Нет, мне четырнадцать. Но я женат...

— А жене сколько?

Я смутился.

— Двенадцать.

— Оббо! — Дядя Джайнак покачал головой. — Дети... Вам в школу ходить надо.

Я был в полной растерянности. Дядя Джайнак вроде бы разрешал учиться женатым, а в махалле запрещали.

— Люди засмеют,— сказал я.— Жена уйдет

— А вы вместе с женой запишитесь в школу.

Меня толкали на поступок, который мог неизвестно к чему привести. И вообще все сказанное было таким неожиданным, таким удивительным, что я не знал, как к нему отнестись. Я понимал, в нашу жизнь пришло новое. До сего дня это новое было не моим еще и не нашей семьей. Жили мы по-старому. И вот первым новое коснулось меня. Школа. Новая школа, она так и называлась.

Я мечтал о ней. Все время мечтал. И вдруг испугался того, что желание мое осуществится. Хотелось сказать дяде Джайнаку: «Да, пойду в школу!», а вот это «да» не произошло. Другой бы кто сказал за меня! Я стал искать другого и нашел:

— Если отец разрешит...— прошептал я едва слышно.

Дядя Джайнак вроде догадался, что происходит со мной, и поспешил на выручку:

— Конечно, конечно... С Сафаром-чойпрушем мы обязательно поговорим. Твой отец — уважаемый человек, его слово в таком важном деле решающее.

И он повернулся к учителю.

— Как вы думаете, мулла Хатам, согласится Сафар-чойпруш пустить своего сына в школу?

— Думаю, согласится. Разумный человек всегда поймет, что образованность — свет жизни.

— Где твой отец? — спросил дядя Джайнак.

Я объяснил:

— В башмачном ряду, за лавкой сладостей.

— Тогда поспешим, мулла Хатам!

Они ушли.

Я остался один со своим бузом. Надо было развернуть его и начать хвалить, звать покупателей. А я стоял растерянный и молчал.

Что же будет?

ОТКРЫВ КАЛИТКУ, ПЕРЕШАГНИ И ПОРОГ

Весь день я ждал отца. Он возвращался со своими чайниками и пиалами обычно в сумерки, когда жизнь в махалле затихала, но мне чудились его шаги задолго до захода

солнца. Стукнет щеколда, скрипнет калитка — я бросаю станок, выглядываю во двор: не пришел ли?

В неурочный час отец возвращался редко. Причину нужно было сыскать, и не простую, чтобы среди дня он загасил самовар и сложил в ведро пиалы. Не сыщешь такую причину. Пожар в башмачном ряду не возникал, затмения солнца не было, о наводнении и говорить нечего. Неоткуда взяться наводнению — воды в Джизаке едва хватало на питье.

И все же я думал, что отец прибежит домой. Прибежит, когда услышит от дяди Джайнака и домли Хатама о желании сына поступить в новую школу. Это вроде пожара в башмачном ряду

А отец не бежал. И, видимо, не собирался бежать. Вернулся домой он позже обычного.

На лице ни радости, ни печали, ни озабоченности. Одна усталость. Я помог ему раздеться, долил воду на руки. Жду, что скажет. А он молчит.

Мать собрала дастархан, поставила шурпу, положила лепешки.

— Ешьте, отец!

Он сел, макнул лепешку в суп, положил в рот.

Матушка спросила, как прошел день, не случилось ли чего необычного на базаре?

На все ответил отец, ответил обстоятельно. А про домлю Хатама и дядю Джайнака — ни слова. Будто не видел их, не говорил с ними.

Я стоял у двери, прислонившись к косяку, и слушал отца. Вернее, не слушал, а складывал слова, словно у меня был хурджун для слов. Складывал за ненадобностью. Слова «школа», которого я ждал, не было.

Оно появилось, когда обед наконец закончился и мать подала чай. Отец сказал:

— Оказывается, открыли новую школу.

Матушка приняла это как событие не слишком важное.

— На все воля всевышнего.

Отец покачал головой.

— В том-то и дело, что это не воля всевышнего. Люди говорят, что это воля дьявола. Без бога будут в ней учиться дети.

Матушка не поверила. Не могло быть школы без бога. Ведь дети учатся по корану.

— Кто же пойдет в такую школу? — спросила она.

Отец помолчал, потрогал усы, усмехнулся: видно, его самого потешала затея с новой школой. А может, не затея потешала, а то, чем обернется она для нашей семьи.

— Такие, как наш Назиркул.

Матушка испуганно открыла глаза.

— Не шутите, отец!

— Не шучу, ташкентская. Ко мне приходили Джайнак-ака и мулла Хатам и просили согласия записать Назиркула в новую школу.

— Вай! — вскрикнула матушка. — Неужели вы дали согласие?

Столько горечи и боли было в этом возгласе, что отец растерялся. Ему затея с новой школой казалась не очень серьезной, поэтому он шуточно обо всем и рассказывал. А тут вдруг отчаяние, даже ужас.

— Ну, ну, ташкентская, не принимай слишком близко к сердцу сказанное. Насчет дьявола, я думаю, люди ошиблись. Кто разрешит дьяволу устраивать школу? Да и мулла Хатам и Джайнак-ака, как ты знаешь, не общаются с потусторонней силой. Даже наоборот...

— Не мучьте, отец! — взмолилась матушка. — Дали вы согласие или нет?

Прижатый к стене, отец опустил виновато голову.

— Дал.

— Лучше бы мне не родиться на этом свете! — заприметила матушка. — Лучше бы я...

— Э-э, ташкентская, — стал сердиться отец, — ты же сама хотела сделать из Назиркула образованного человека, ты же водила его к отинбуви и мулле Миртажангу. Говорила: мясо ваше, кости наши... Мясо-то этот злодей Миртажанг чуть не снял с Назиркула.

— Что вспоминать прошлое? — продолжала стенать матушка. — Прошлое минуло...

— Вот, вот... И пусть оно сгинет. Но учение-то тебе по сердцу. Назиркула будут учить настоящие учителя.

Отец остановился. Был он взволнован, решимость горела в нем. Что-то еще он хотел сказать, но сдержал себя. Что-то важное, главное.

Матушка это поняла и смолкла, ожидая.

— Домля Хатам обещал сделать из Назиркула учителя, — открыл наконец главное отец. — Понимаешь, ташкентская, — у ч и т е л я!

Я вздрогнул. Неожиданно прозвучали для меня эти слова, сказанные отцом. Ничего в них особенного не было. Для других, которым моя судьба безразлична, они как ветер. Что он оставляет? Шум травы и только. А для меня — боль, радостную боль сердца.

То же почувствовала и матушка. Не могла не почувство-

вать. Это она передала мне мечту о школе. Но страх еще не оставил ее.

— Что же это так вдруг...— сказала она.

— Не вдруг... Советская власть обещала открыть школы, вот и открыла.

— Сколько платить надо этому домле Хатаму? — поинтересовалась практической стороной дела матушка.

— А ничего. Власть платит учителю, с учеников не берут.

— Даже лепешки?

— Эх, ташкентская! Если ничего, значит, ничего...

— Странная школа,— вздохнула матушка.— И без денег, и без бога.

— Так мир устроен,— воспользовался отец случаем, чтобы порассуждать о боге. В противоположность матушке он относился к богу, особенно к его слугам, без достаточного почтения. Посещение мечети было для него обременительной обязанностью, от которой отец старался всячески избавиться. К богу он обращался лишь с просьбами и то, когда ни к кому другому обратиться было уже нельзя. Мулла считал мошенниками и вымогателями. Объявив сейчас матушке, что мир так устроен, он тут же добавил: — Там, где бог, там и деньги, где нет бога, там нет и денег...

— Не богохульствуйте! — подняла руки матушка.— Всевышний не причастен к делам людским.

— Но они творятся с его благословения...

Спор переходил границы дозволенного. Матушка повернулась ко мне и сказала:

— Назиркул, иди объяви невестке нашей о своем желании идти учиться. Жена должна знать путь, который избирает муж. Иди, сынок!

Матушка не хотела, чтобы я слышал слова, оскорбляющие слух мусульманина, западающие в душу и смущающие ее. О Масто́н она меньше всего думала в эту минуту.

— Спасибо! — поклонился я родителям и вышел из комнаты.

Спор о боге меня не интересовал, а необходимость присутствовать при нем — тяготила.

«Буду учиться... Буду учиться»,— повторял я как песенку, торопясь в ичкари — женскую половину.

Мне надо было с кем-то поделиться своей радостью, а кроме Масто́н никого из взрослых в доме не было. Хотя двенадцать лет тоже не великий возраст!

У двери я вдруг остановился. Вот уже полгода как я не говорил с Масто́н. Даже больше. Не было надобности что-то

обсуждать и решать сообща. Ведь Масто́н жила у нас как родственница, хотя и считалась моей женой. Матушка определяла обязанности Масто́н. Ей полагалось встречать меня на террасе, подавать полотенце, лить из кумгана воду на мои руки, приносить еду, ставить передо мной, ждать, когда поем и попью чай, кланяться и уходить.

Я к этому привык. Слов от нее никаких не слышал и, наверное, удивился бы, услышав. Постепенно забылось и слово жена. Его иногда произносила матушка, как произнесла сейчас, отправляя на переговоры с Масто́н.

У дверей я вспомнил, что никогда не заходил в комнату Масто́н вечером, да и днем такое, кажется, не случалось. Не без смущения и робости я надавил на створку. Со скрипом она отошла, и я увидел Масто́н, сидящую на курпаче с каким-то шитьем в руках.

Не зная, кто входит, и ожидая лишь матушку, Масто́н спокойно повернула голову и вдруг вскрикнула:

— Ой!

Удивление и испуг были в этом возгласе.

— Ты что, Масто́н? — спросил я, обескураженный такой встречей.

Она не ответила. Сжала руки на груди, словно защищаясь.

— Мама послала меня поговорить с тобой, — как можно мягче произнес я, объясняя свое неожиданное появление в ичкарри.

Масто́н еще крепче сжала руки на груди.

— В городе открывается новая школа, — повторил я слова отца. — В ней будут учиться дети бедняков. Бесплатно учиться...

Масто́н слушала, но не воспринимала то, что говорилось. Я понял это по выражению ее глаз, по-прежнему полных страха. Она все еще боялась чего-то, что должно последовать за моим появлением и моими словами.

— Каждый может записаться, — продолжал я. — Мулла Хатам вместе с дядей Джайнаком обходят махалли и записывают детей. Ты видела большой белый дом, который построил Исмаил-бобо?

Страх стал гаснуть в глазах Масто́н. Ничего пугающего слова мои не несли, и это успокаивало. А когда я спросил о белом доме, она попыталась вспомнить, видела ли его, вспомнила и кивнула.

— Вот в этом доме и будет новая школа, — обрадовался я. — От нас совсем недалеко, в начале базара.

Робкий интерес пробудился в Масто́н. Правда, не к школе, не к тому, что она открывается в белом доме.

— Зачем вы все это мне говорите? — спросила она удивлением.

— Не понимаешь?

— Нет.

— Я хочу, чтобы ты пошла учиться.

Страх опять вспыхнул в глазах Масто́н.

— Вы прогоняете меня?

Я опешил. В моих словах не было ничего, говорящего о ненависти.

— С чего ты это взяла, Масто́н?

Она вдруг заплакала.

— Муж, посылающий жену в школу на глаза людей, прогоняет ее.

Она искренне огорчилась, слезы были безутешными. Глухая, она совсем не понимала, о чем речь. Я опустился рядом с ней на курпачу.

— Пойми, ты останешься с нами, только будешь утром ходить в школу...

Масто́н в отчаянии каком-то прильнула к моему плечу, словно искала спасения.

— Не прогоняйте!.. Не прогоняйте!..

Жалость к этому маленькому бедному существу охватила меня. Как утешить Масто́н, я не знал. Стал гладить ее волосы, приговаривая:

— Не плачь... не плачь... Школа — это совсем не страшно. Там нет муллы Миртажанга, там не наказывают детей.

Масто́н не хотела слушать. И выражала это тем, что упорно качала головой.

— Значит, не пойдешь учиться?

— Нет.

Я огорченно вздохнул.

— Глупая ты, Масто́н...

Она согласилась. И даже обрадовалась тому, что услышала обидное для себя слово.

— Глупая, глупая... Но не прогоняйте меня.

Третий раз в своей маленькой жизни я переступил порог школы. Первый раз, если помнит читатель, меня, всего в слезах, матушка втащила во двор отинбуви. Я сопротивлялся изо всех сил, рыдал, брыкал ногами. Второй раз вошел сам, но подталкиваемый матушкой. Испуганный, с душой, ушедшей в пятки. Третий раз — один, без мамы, без слез, без страха. Конечно, взволнованный чуточку — событие-то было торжественное, и мир открывался неведомый.

У ворот школы меня встретил мулла Хатам. Он улыбаясь приветливо, прикладывал руку к сердцу, словно я был ученик, а желанный почетный гость.

— Проходи, проходи, Назиркул!

Заметив мое смущение и мою нерешительность, мулла Хатам сам повел меня в дом через террасу с цветными стеклами и потолком. Все было красиво и нарядно. Чистота удивительная. Я боялся ступить каблуками на крашеный пол.

Я ждал шума ребячьих голосов, топота ног, а меня встретила тишина.

«Неужели начались занятия?» — подумал я. С чувством вины переступил порог класса. И замер удивленный.

Класс был пуст.

— Я пришел раньше времени? — спросил я муллу Хатама.

— Нет, ты пришел вовремя. Другие запаздывают...

У муллы Хатама были часы, и он, щелкнув крышкой, посмотрел на них.

— Могут и совсем не прийти.

«Как не прийти? — поразился я. — Как можно не прийти в школу?» Надо было задать такой вопрос мулле Хатаму, но я не посмел.

Ребята действительно не пришли. Из сорока запиевшихся в классе оказалось человек шесть-семь.

Муллу Хатам расстроился.

— В старую школу ведут насильно, в новую — не пускают.

Это он осуждал родителей.

— Так мы и заниматься не сможем.... Миртажанг перегородил дорогу к нашей школе.

Я понял это в прямом смысле: мой бывший учитель дома Миртажанг построил дувал, и наши ученики не могут через него перелезть. Видимо, дувал очень высок. Обычный ребята бы одолели. Лазить через дувалы мы были мастера.

Мысленно я стал подбадривать ребят: «Поддержите друг друга, главное зацепиться рукой за гребень, а когда зацепился, остается только перемахнуть...»

То ли совет мой, то ли собственная находчивость, но преграду ребята одолели. Одолели друзья мои — Адыл и Сафар-чиканак. Оба, к моей радости, пришли в школу. Оказалось, что задержал их не обычный дувал. Не из глины слепленный, а из молитв и проклятий. Миртажанг, узнав, что открывается новая школа, во время богослужения призвал правоверных не поддаваться искушению дьявола, не впадать в грех. «Заманит ваших детей нечистый. — сказал

Миртажанг, — отнимет веру, погубит души. А без веры мусульманин становится кяфиром — неверным».

После такого предупреждения не всякий решится пустить своего сына в новую школу. Да и не всякий пойдет. Страшно ведь. Испугалась же Масто!н!

Мало ли, много ли пришло учеников, но пришли, и школа открылась.

— Сегодня большой праздник, — сказал Хатам-ака. — Родилась новая школа. Нас немного, но мы смелые люди. Мы вступили на тропу, которая должна привести нас в светлый мир. Сейчас вы неграмотные, не умеете ни читать, ни писать. Правда, есть среди вас несколько ребят, знающих буквы. Вот сидит Назиркул...

— Сын Сафара-чойпруша! — крикнул кто-то.

— Это хорошо, что вы знакомы друг с другом, — улыбнулся Хатам-ака. — Но перебивать говорящего не надо. Если хотите задать вопрос учителю, поднимите руку. Такой порядок будет в новой школе.

Хатам-ака сделал замечание очень мягко. Миртажанг бы хлопнул выкрикнувшего палкой по голове. Палки разной длины находились у него под рукой, и он мог достать голову любого ученика.

— Ты хочешь что-то сказать? — обратился ко мне учитель. Видимо, я поднял руку или пытался ее поднять, и он заметил.

— Нет, нет, — заробел я. — Ничего не хотел.

— Да ты не бойся, говори. Не надо оставлять при себе неясное и загадочное. Мы для того и собрались, чтобы сделать все ясным и понятным. Так что же тебя интересует, Назиркул?

— Наказывать ребят будут? В школе есть палки?

Мой вопрос вызвал смех ребят. Потешным показался. Хатам-ака тоже улыбнулся, но тут же сделал серьезное выражение лица и утихомирил ребят.

— Ты спросил о том, что я сам хотел сказать. Наказывать вас не будут, палок в школе нет. Ты, наверное, вспомнил Миртажанга?

— Да, учитель.

— Тебя наказывали?

— Наказывали... Миртажанг собирался засечь меня прутьями, ему помешало начавшееся в городе восстание. А вот Сафара-чиканака он чуть не убил. Ребята сняли его с веревки умирающим.

— Сафар, это правда?

— Правда...— В голосе Сафара слышались слезы. Он не забыл того страшного дня.

— Никогда, никогда, дети, этого не будет в нашей школе,— произнес с волнением Хатам-ака.— Запомните, никогда! Советская власть отвергает насилие, запрещает наказывать детей, судит тех, кто поднимает на них руку.

— Миртажанга надо судить! — опять выкрикнул тот же голос.

На этот раз Хатам-ака не сделал замечание ученику. Должно быть, не всякое нарушение порядка осуждалось.

— Судить поздно. Восстание смело все. Но защитить детей от произвола Миртажанга надо. И сделаем это мы с вами. Объясним ученикам медресе, что в религиозной школе они слепнут, им закрывают глаза на мир, скрывают от них истину. Их ведут не в будущее, а в прошлое, во мрак невежества. Вызволить ребят из царства мрака — наша цель. Объявим войну Миртажангу!

Горячо говорил Хатам-ака. Загорелись наши мальчишечьи сердца огнем решимости. Осталось только подняться с парт и пойти громить школу Миртажанга. Нам было за что ненавидеть старое, на своей спине испытали мы тяжесть палок Миртажанга. Сафар-чиканак первым бы рассчитался с проклятым муллою.

Однако пыл наш охладил тот же Хатам-ака. Он сказал:

— Начать войну — это не значит проливать кровь. Даже закрыть школу Миртажанга мы не можем. Это было бы насилием над убеждениями верующих. А революция объявила свободу всем, и человек волен молиться или не молиться богу, учить суры корана или не учить. Но мы можем и даже обязаны объяснять людям, какой путь правильный, а какой ошибочный. И не успокаиваться до тех пор, пока люди не сойдут с неверного пути. Я говорю не только о взрослых, я говорю и о детях. Неверный путь для ребят — школа Миртажанга. Чем скорее они оставят Миртажанга и придут в нашу школу, тем скорее откроется для них свет истины, свет науки. Каждый, кому удастся это сделать, заслужит благодарность Советской власти.

Хатам-ака многое еще сказал в тот первый день. Из этого многого я унес только осуждение старой школы. Наверное, потому, что ненавидел Миртажанга, не мог простить ему того зла, что творил он. Перед глазами были его жадные костлявые руки, его трясущаяся козлиная борода.

Возвращаясь домой, мы ругали Миртажанга. Какие только беды не посылали мы на его голову!

— Если бы его самого этой палкой по голове,— говорил Адыл.

— Нет, по ногам,— поправлял Сафар-чиканак.— Он любил бить учеников по ногам.

— И еще резать им пятки и посыпать солью...

— Шакал, старый шакал!

— Только глупцы могут у него учиться,— собирал я сказанное воедино.— Ведь революция дала всем свободу! Зачем же сидеть на привязи у Миртажанга?

— Зачем? Разве у глупых спрашивают — зачем? — объяснял Адыл.

Мы и дня еще не проучились в новой школе, а голос наш уже окреп. Мы брались судить о справедливости и равноправии. Судить, как взрослые. Может быть, мы действительно повзрослели.

Не знаю, как объяснить перемену. Но, что она произошла, я чувствовал. Из школы шли мы уже другими, строгими, серьезными, говорили не о детских забавах, а о своем будущем, о новой жизни, в которую вступили.

Позже, спустя годы, вспоминая первый школьный день и первый урок, я удивлялся вспыхнувшему в каждом из нас тогда желанию действия. Действия во имя справедливости. Что-то пробудило это желание, может, слова учителя, может, соприкосновение с новым. А может, само время, не сразу понятое нами и вдруг ворвавшееся и захватившее нас. Мы отдали себя этому порыву, радостные и счастливые.

ЧЕМ ВЫШЕ К ОБЛАКАМ, ТЕМ СИЛЬНЕЕ ВЕТЕР

Желание действия не угасало...

Дома, за ткацким станком я думал о мальчишках, что учились у Миртажанга. И не просто думал, составлял план вызволения их из мрачной кельи медресе. В школе мы этот план уже обсуждали, решали, как лучше его осуществить. Самым активным был Сафар-чиканак. Ему не терпелось разделиться со старым «козлом в чалме».

— Выдеру его злую бороду!

Сафар не собирался сделать это руками. Слова должны были уничтожить Миртажанга вместе с его козлиной бородой.

Адыл проявлял сдержанность. Из нас троих он был самым спокойным и тихим. Судьба жестоко обошлась с ним. Беды сваливались на Адыла одна за другой. В раннем детстве лицо его изуродовала оспа, потом настиг тиф, из смертельных лап которого он едва вырвался. Во время голода ли-

шился Адыл мамы. Сиротство печально, и печаль всегда стояла в глазах Адыла.

— Не надо трогать старого человека,— говорил он.— Ученики сами уйдут от него.

— Не уйдут! — набрасывались мы на Адыла.— Миртажанг никого не отпускает. Он, как паук, высасывает из учеников кровь.

Мы рисовали перед Адылом страшную картину злодеяний Миртажанга. Портрет служителя церкви был отталкивающим. И все-таки Адыл повторял свое:

— Не надо.

Когда план возмездия окончательно созрел, мы обратились за одобрением к нашему учителю Хатаму-ака. Занятия в школе велись уже больше месяца. Каждая группа, а учеников разделили на группы по возрасту, имела своего воспитателя. Нашей третьей, старшей, группой руководил Хатам-ака. Я говорю руководил, потому что он и учил нас и воспитывал. Два или три раза в неделю Хатам-ака выводил нас во двор, строил там как военных, заставлял маршировать и петь песни. В песне, говорил он, дух революции. С песней человек делается смелым, способным совершить подвиг ради народа.

Нам нравилось маршировать и петь песню «Радуйся, Родина!» Иногда с этой песней мы выходили на улицу, люди останавливались и слушали нас, смотрели, как мы ходим строем. Часто после таких «парадов» наши ряды пополнялись, дети изъявляли желание учиться в новой школе.

Смотрели на нас, шагающих и поющих, и ученики Миртажанга. Некоторым хотелось присоединиться к нам, любопытством и завистью светились глаза мальчишек. Другие, наоборот, отворачивались, проклиная «неверных». Кое-кто плевал в нашу сторону, кидал камни.

Обо всем этом мы сказали нашему учителю Хатаму-ака, предлагая план возмездия.

Хатам-ака выслушал нас и одобрительно покачал головой:

— Правильно решили, надо спасти учеников Миртажанга.

— Мы приведем их в нашу школу,— пообещал я.

— Всех, наверное, не удастся привести. Там есть дети ишана, дети богачей — им наш мир ненавистен. Но кого сможете, приведите. Объясните, что учиться в новой школе — счастье. Здесь они раскроют свои способности. Кто знает, может быть, среди вас — будущие ученые, как Улуг-

бек, поэты, как Навои. Талантам нужен свет, во тьме они погибают.

Хорошо говорил Хатам-ака. Если бы мы смогли повторить его слова перед учениками Миртажанга, они сразу бы бросили «козла в чалме» и пришли в нашу школу.

Я спросил учителя:

— Можно ли сказать все это мальчикам прямо в медресе?

Он задумался. Слишком смелое намерение родилось у меня.

— Вас не пустят туда. А если войдете самовольно, обвинят в оскорблении духовного лица. Не надо давать повода для жалобы на новую школу. Нас возненавидят верующие.

— Как же вытащить мальчишек из сети Миртажанга?

— Поговорите с каждым в отдельности, и лучше вдали от медресе — на улице, дома.

Мне этот способ борьбы не понравился. Гневные слова наши не услышит Миртажанг. Вообще, он ничего не услышит и ничего не узнает. Будет по-прежнему читать свои молитвы и наказывать учеников.

Когда мы остались с Сафаром наедине, он сказал:

— Такое дело не для меня. Уговаривать, просить не умею.

— Оставляешь меня одного?

Он почувствовал, что я обижен. Махнул рукой.

— Ладно. Пойдем, только знай, говорить я не стану.

— Хорошо.

Мы начали борьбу с Миртажангом уже без пыла и прежней ненависти. Скучно начали. Нам казалось даже, что затык наша ни к чему не приведет. А уж о трагическом конце и не думали.

Была уже зима. Наша южная зима не очень холодная, но и не теплая. Во всяком случае, без чапана ватного на улице не выйдешь. А если без чапана не выйдешь, то лучше вообще не выходить.

Так и поступали ученики Миртажанга. Вернутся из медресе и сидят дома. Не вытянешь на улицу. Как тут встретиться с ними и передать слова Хатама-ака о счастье учиться в новой школе? Ходишь по махалле, ищешь какого-нибудь Ишмата или Карима, а он в это время сидит у сандала и греет ноги. Ему и невдомек, что Назиркул и Сафар-чиканак старательно месят уличную грязь, надеясь на встречу с ним. За первую неделю мы выловили только одного Шерали, сына башмачника. Он шел в соседнюю махаллу за кожей для кавуш, послал отца. Точнее, не шел, а бежал, боясь

застудиться. На нем были старые кавуши, надетые на босу ногу, и легкий чапан. А на улице гулял зимний ветер.

— Холодно, братец Назиркул! — взмолился Шерали, когда мы с Сафаром остановили его и принялись объяснять, какое счастье учиться в новой школе. — Не до слов мне сейчас. Отец кожу ждет. Если не принесу ему кожу, он с меня самого спустит кожу. Ты же знаешь моего отца.

Да, я знал отца Шерали, он был строгий человек и, конечно, мог за непослушание отстегать сына.

— И потом, — добавил Шерали, — я не по своей воле хожу в медресе. Это воля отца.

Шерали уже наострил свои кавуши, чтобы податься прочь от нас, но его ухватил за полу чапана Сафар-чиканак.

— А сам-то ты хотел бы учиться в новой школе?

— Отчего же нет?! У вас интересно: газеты читаете, песни поете... Свободный народ.

— Так приходи к нам! — решил тут же заполучить нового ученика Сафар-чиканак.

— Я же сказал, не моя это воля.

— Попроси отца! — не сдавался Сафар.

— Нет, нет... Мне еще хочется поносить свою голову на плечах.

Шерали вырвал полу чапана из рук Сафара-чиканака и поспешил в соседнюю махаллу за кожей.

Трудное оказалось это дело — переманивать ребят из старой школы в новую.

— Трус Шерали! — заключил Сафар.

— С таким отцом не расхрабришься, — встал я на защиту Шерали. — Он и рта раскрыть не даст.

Ни с чем вернулись мы в тот день домой. Я к своему ткацкому станку, Сафар — к перепелам, которых он надеялся вырастить знаменитыми певцами.

Слово, данное учителю Хатаму, однако, мешало нам жить спокойно. Напоминать он не напоминал об уговоре, но иногда, взглянув на свободные парты, как-то грустно качал головой. Сафар толкал меня тогда в бок и шептал:

— Давай попробуем еще раз.

Я соглашался, хотя и не верил в удачу.

— Попробуем...

Разговаривать со взрослыми я не умел, читатель, должно быть, заметил это. Да и вообще дети в мусульманских семьях подчинялись правилу — не открывать рта в присутствии старших. Правило это соблюдалось во всех случаях жизни. Сафар-чиканак решил его нарушить. Он был смелым мальчиком.

Начали мы с отца Шерали, того самого, который грозился снять шкуру с сына, если тот ослушается.

Честно скажу, не без страха отворил я калитку во двор башмачника. И, открыв ее, пропустил вперед Сафара-чиканак.

Шерали, увидев нас с террасы, так и присел от неожиданности: он не верил, что мы осмелимся прийти к его отцу. Он даже замахал руками, мол, возвращайтесь, отец не в духе. Но остановить нас, вернее, Сафара, было нельзя.

Мы прошли на террасу, а потом в комнату, где работал башмачник.

Он сидел у сандала и шил с помощью иглы и дратвы кавуши.

Мы поклонились и так, в поклоне, застыли перед грозным башмачником.

— Чьи вы? — спросил он, подняв на нас свои действительно строгие глаза.

Я назвалсЯ и назвал Сафара.

— Знаю, знаю... Достойные родители, — сухо, с хрипотцой произнес башмачник. — Зачем же послали вас ко мне ваши родители?

— Нас не послали, — ответил смело Сафар-чиканак. — Мы сами пришли.

Башмачник насупил брови. А брови у него были густые, черные и делали глаза еще более строгими.

— Как это сами?

— Мы ученики новой школы, — объяснил я. — В ней учатся дети очень уважаемых родителей. Но еще не все.

— Не все? Кого же не хватает?

Башмачник вроде бы кинул нам копец аркана, за который мы сразу же ухватились.

— Нам не хватает сыновей медников, кузнецов, кожевников и башмачников, — выпалил я.

— Это что же — все уважаемые люди?

— А как же! Трудовой народ. Новая школа создана для трудового народа.

— Хош... — задумчиво покачал головой башмачник. — Вы, значит, за Шерали пришли?

— Да.

— Но он посещает медресе. В двух школах мальчишка учиться не может. Ему бы одну одолеть...

— Зачем же в двух? В одной... Медресе — школа тьмы, заблуждения, — пустил я в ход взятые у учителя Хатама слова. — А новая школа — школа света и правды. Учиться в ней — счастье!

— О, какие слова ты выучил в своей школе! Может, ты и считать умеешь?

— Умею.

— Хош... Скажи тогда, сколько кавуш я стажаю за неделю, делая в день по три?

— Если будете работать все семь дней, то двадцать один кавуш. Но вы мусульманин и в святую пятницу отдыхаете, значит, восемнадцать кавуш. Как раз на девять человек.

— О-о, да ты считаешь, как эмирский казначей.

Глаза башмачника подобрели, он посмотрел на нас с удивлением.

Не очень радостно, но и не строго, как прежде.

— А ваш Шерали считать, наверное, не умеет? — с ехидцей спросил Сафар.

— Не умеет.

— И газету читать не может?

— Не может.

Я расхрабрился.

— Вот видите, медресе — школа тьмы и невежества. Человек в ней делается слепым...

— Опять ты произносишь свои умные слова... Не пугай меня. Кому хочется иметь слепого сына?

— Никому, — подтвердил я. — Да и сам Шерали не хочет оставаться во тьме. Ему надо прозреть, увидеть свет жизни...

Башмачник оставил свой кавуш с воткнутым в подошву шилом и стал думать. Не знаю, все ли башмачники так долго думают или только отец Шерали, но пока он решал вопрос, нужно ли его сыну увидеть свет жизни, у меня занемели ноги. Желая избавиться от немоты и поторопить заодно башмачника, я переступил с одной ноги на другую.

— Хош, — изрек наконец башмачник. — Не хочет, значит, мой сын оставаться во тьме?

— Не хочет, — в один голос ответили мы.

— И об этом он сказал вам?

Каверзный вопрос задал башмачник. Шерали, конечно, выразил желание пойти в новую школу и даже похвалил ее, но о свете жизни не заикался. Не было у него таких слов. К тому же, беседуя с нами на улице, он как бы обошел отца и тем нарушил существовавший в мусульманских семьях порядок. Задав вопрос, башмачник глянул не на нас с Сафаром, а на своего сына.

У Шерали от страха глаза полезли на лоб. Надо было спастись товарища. Первым на помощь бросился Сафар.

— Не говорил! — объявил он твердо.

— Не говорил, — поддержал я Чиканака.

— Откуда же вы узнали о его желании?

Спасать так спасать, — Сафар пустился на хитрость.

— Догадались, — выпалил он без запиночки.

Хитрость нашу раскусил башмачник, не понравилась она ему. Насупившись, он стал с остервенением выдергивать шило из кавуша.

— Хо-ош... — процедил он сердито. — А может, догадка ваша пустая. Не хочет Шерали выйти из мрака.

Мы повернулись к Шерали и стали старательно подмигивать ему, мол, признавайся, что хочешь выйти из мрака. Говори!

Однако заробевший Шерали не принимал наших советов. Он тарашил свои большие глаза на отца и молчал.

— Хочет, хочет! — за товарища ответил Сафар-чиканак.

— Птица, намереваясь крикнуть, открывает клюв, — с усмешкой заметил башмачник. — А рот моего сына замкнут, словно на нем висит замок.

Сафар принялся кивать, подавая этим пример Шерали. Но ничего не действовало на этого истукана Шерали. Он ни говорил, ни кивал.

— Вот, — вытянул шило из кавуша башмачник и снова богнал его в подошву. — Не хочет сынок мой выйти из мрака. Пустой оказалась догадка. Пора вам домой, сыночки, родители наверняка заждались вас.

Ничего нам с Сафаром не оставалось, как поклониться башмачнику и оставить его дом.

Проходя мимо Шерали, Сафар-чиканак незаметно погрозил ему кулаком. Мне тоже хотелось это сделать, даже стукнуть хотелось бестолкового Шерали по затылку — не мог рта раскрыть, когда решалась его судьба.

За калиткой Сафар-чиканак повторил уже сказанное прежде:

— Трус этот Шерали. Такие не нужны в новой школе...

Я согласился. В самом деле, зачем учить ребят, у которых нет ни желания, ни смелости? Какой из них толк? И отец хорош, запугал мальчишку, тот боится слово сказать при нем.

Однако мы поторопились осудить башмачника и его сына.

Не сразу, не на следующий день, и даже не на этой неделе, явился все же Шерали в нашу школу. Было это неожиданно и удивило всех.

Помню, мы сидели за партами, и домля Хатам готовился начать урок, в это время осторожно отворилась дверь и на пороге возник Шерали: высокий, широкоплечий, в отцовском чапане. Большие, казавшиеся всегда испуганными гла-

за смотрели на нас смущенно, словно Шерали просил извинения за то, что своим появлением прервал урок.

Он еще больше смутился, когда мы радостно закричали: — Пришел! Пришел!

И учитель наш, Хатам-ака, закричал, не то успокаивая нас, не то приветствуя нового ученика.

Самым удивительным было то, что Шерали пришел не один, он привел с собой соседа — Акмаля-лайлака, такого же длинновязого и такого же испуганного. Правда, глаза у него не были такими большими, как у Шерали, зато нос выдался на двоих. Впрочем, лайлаки всегда длинновязы и длинноноги, на то они и аисты.

Мы усадили Шерали и Акмаля на свободную парту и потребовали от учителя немедленного включения ребят в список класса. Нам хотелось, чтобы новички сразу почувствовали себя учениками школы. Хатам-ака понял нашу мысль и, открыв журнал, вписал два новых имени в столбец. Сделал он это не торопясь, обмакивая по несколько раз перо в чернильницу и выводя четко каждую букву. И, завершив работу, громко прочел написанное:

— Ученики третьей старшей группы новой советской школы сын башмачника Юсупа Шерали и сын шорника Карима Акмаль.

Никто никогда не называл так уважительно этих двух мальчишек из джизакской махаллы. Да и сами они никогда не обращались к себе даже мысленно с такими словами.

Испуг в глазах мальчишек исчез. Впервые за свою жизнь Шерали и Акмаль смотрели на учителя без страха. Страх сменился доверием к человеку, который их учит. Они улыбались Хатаму-ака. Это было, наверное, самое прекрасное из всего, что дарила детям новая школа. Светлую улыбку.

Мы были в восторге. Я и Сафар испытывали и радость и гордость. Хотелось объявить тут же всему классу, да что классу — всей школе, что это мы привели Шерали, мы вырвали сына башмачника из власти тьмы. Мы уговорили Юсупа-амаки дать Шерали возможность увидеть свет жизни. Мы, мы...

Не знаю, что удерживало нас от того, чтобы выскочить в коридор и громко произнести все это. Наверное, необходимость быть на уроке, который несмотря ни на что должен был начаться.

И он начался...

Думаю, мы с Сафаром плохо вели себя в тот день — почти не слушали учителя и, конечно, мало что поняли из его объяснений. Каждую минуту я поворачивал голову и гля-

дел на заднюю парту, где сидели Шерали и Акмаль. Нет, я не боялся, что они исчезнут, об исчезновении не могло быть и речи, просто хотелось еще и еще раз пережить радость встречи с друзьями, теперь уже в школе. Ободрить их, что ли, улыбкой или взглядом. Убедиться, довольны ли, не раскаиваются ли в совершенном шаге.

Должно быть, в одну из таких минут и вернулась к нам с Сафаром вера в себя и решимость бороться дальше за всех блуждающих во тьме.

Как бороться, мы уже знали. К кому идти в дом, реши-ли на перемене.

Когда прозвенел последний звонок, мы, не сказав ничего Хатаму-ака, направились напрямик в махаллу «Савунгарлик». Там, у мыловаров, были ребята, посещавшие школу Миртажанга. Их-то мы и решили вызвать из власти тьмы. Противный запах мыла нас не пугал. Мы шли на подвиг.

Не стану рассказывать, как мы этот подвиг совершили. Повторилось многое из того, что было уже в джизакской махалле. Нас слушали, кивали головами, обещали подумать, нужен ли их сыновьям свет жизни. Не все, правда, кивали. Один мыловар прогнал нас, объявив посланниками дьявола, и грозился переломить о наши спины лопатку, которой мешают мыло в котле. Но один лишь, к нашему счастью. Остальные встречали дружелюбно, соглашались отпустить своих детей в новую школу. Класс наш увеличивался, а медресе Миртажанга уменьшалось. Мы с Сафаром проходили мимо старой школы, гордо подняв головы.

— Так Суродатому козлу и надо, — говорил Сафар. — Скоро ни одного ученика не останется в медресе.

Нам представлялось, как Миртажанг сидит один-одиношенок в темной келье и грызет от отчаяния палки, которыми когда-то лупил нас. Вокруг него крысы, они ползают по циновкам, скалят на муллу зубы. Мучитель наш наказан. Можно торжествовать победу.

И мы торжествовали победу. Возвращаясь из школы домой, каждый из нас старался пройти мимо медресе, и не только пройти, но и задержаться возле него, глянуть насмешливо на слепые оконца кельи.

Но оказалось, рано торжествовали мы победу. Враг не был побежден. Ряды его поредели, но он еще имел силы, чтобы сопротивляться и даже наносить удары.

С новой школой Миртажанг воювал давно. Теперь он объявил войну нам — мне и Сафару-чиканаку. За слепыми окнами кельи шла тайная подготовка к выступлению, и день сражения был намечен.

Мы, конечно, ничего не знали и ни о чем не догадывались. Косые взгляды воспитанников Миртажанга принимали как проявление бессильной злобы. Ведь медресе посещали не только дети кузнецов и башмачников, но и джизакских богатеев, служителей аллаха. Сыновья ишана были помощниками Миртажанга. Они не собирались бросать медресе и тем более бороться с домуллою. Им самим хотелось стать муллами, укреплять веру, насаждать тьму и невежество. На них надеялся Миртажанг, готовясь к сражению с нами.

Бой произошел в один из весенних дней. Я называю его боем, потому что открыто столкнулись две силы и пролилась кровь.

Я повторяю, мы ничего не знали и ни о чем не догадывались. Утро не предвещало никаких грозных событий. Было солнечно и тихо. Весна только что пришла в Джизак, сняла с него снежный покров и стала просушивать дворы и крыши. Поубавилось грязи на дорогах, кое-где зазеленела робкая трава, потянулись к солнцу стебельки маков. До цветения было еще далеко, но бутоны уже наливались. Март торопливо входил в мир.

Мы возвращались из школы радостные. Весна несла каждому надежду на что-то новое, светлое, удивительное. Те годы были полны этим ожиданием новизны, и она волновала наши юные сердца.

Вначале мы шли стайкой. Постепенно она распалась, и перед мечетью мы с Сафаром оказались вдвоем. Можно было свернуть на одну из улиц и через какие-нибудь минуты добраться до дому. Но мы не могли отказать себе в удовольствии промаршировать гордо перед медресе — такова была традиция.

Двор мечети казался безлюдным — ни говора учеников, ни скрипа дверей. Будто покинул Миртажанг свое логово. Но безмолвие оказалось обманчивым. Едва мы поравнялись с калиткой, как из нее выскочило несколько послушников Миртажанга и перегородило нам дорогу. Это были все рослые, здоровые ребята, вид которых не предвещал мирного исхода встречи. Кулаки их были сжаты, глаза смотрели с вызовом.

Халфа, помощник Миртажанга, стоявший впереди, сказал:

— Вы бегаєте по махаллям, отыскивая наших учеников, чтобы поговорить с ними. Они здесь, ждут вас... Зайдите!

Мы с Сафаром мечтали о беседе с воспитанниками медресе и даже намеревались сделать это в келье во время занятий, когда там находился сам Миртажанг. Но желание это

сейчас вдруг улетучилось. Нам захотелось повернуть назад и исчезнуть где-нибудь в безопасном переулке. Разговор, видно, предстоял на кулаках. Нас двое, воспитанников Миртажанга — семеро. Силы неравные.

— Заходите! — с угрозой в голосе повторил халфа.

Бежать. Другого выхода не было. Но после долгой борьбы, что вели мы против старой школы, отступить сейчас было стыдно. Трусами несчастными назовет нас каждый, а уж помощники Миртажанга найдут другие слова, более унижительные, более страшные.

Сафар-чиканак смело шагнул к калитке. Я последовал за ним, хотя, честно говоря, чувствовал себя не очень уверенно. Даже наоборот: сердце мое колотилось, ноги подрагивали.

— Что будет? Что будет? — повторял я беззвучно. — Их ведь семеро.

Разговор намечался, видимо, не во дворе, потому что шедшие сзади воспитанники Миртажанга подталкивали нас, направляя в келью. Темную, мрачную, почти безглазую.

Как только мы в нее вошли, дверь тотчас закрылась. Нас окружили плотным кольцом ученики Миртажанга.

— Говорите! — потребовал халфа. — Объясните, чем ваша проклятая богом школа лучше нашей, угодной всевышнему?

Мы молчали. Не для ответа был задан вопрос. Любое наше слово вызвало бы брань воспитанников Миртажанга. Халфа хотел подогреть своих дружков для драки.

— Говорите, отверженные богом! — прошипел халфа. — Или онемели?

— Ха, ха! — нервным смехом залился сын ишана. — Они со страху проглотили языки. А может, оглохли? Так с вашего разрешения, халфа, я прочищу им уши.

Кулак ишанского сына поднялся над головой Сафара.

— погоди! — остановил его халфа. — Они, войдя в священное место, не совершили омовения. Пусть совершат.

Семеро решили помучить нас, поиздеваться перед тем, как начать казнь. А то, что они намеревались казнить нас своими кулаками, не вызывало сомнения. Глаза их горели фанатической ненавистью.

— Зачем требовать от них омовения? — возразил сын ишана. — Они безбожники, кяфиры. Нам нужны их слова. Ну, несчастные!

Конечно, мы молчали. Мы готовились принять ту самую казнь, которую придумали нам воспитанники Миртажанга. И не просто принять. Наши кулаки были сжатые, зубы стиснуты. Маленький Сафар — да, он был маленьким по сравне-

нию с халфой и ишанским сыном — стоял, смело подняв голову и выпятив грудь.

— Наверное, у них во рту просо! — взвизгнул сын ишана. — А ну, открой рот!

Это он обратился ко мне. Я еще крепче сжал зубы.

Сын ишана размахнулся и ударил кулаком мне в живот.

— Открой, что у тебя там?

Он пожалел, что потребовал этого. Я открыл рот и плюнул ублюдку в лицо. Плюнул с такой злобой, на какую только был способен.

— Узнал, что у меня во рту?

Ишанский сын остолбенел. Какое-то мгновение он смотрел ошалело в пустоту, потом с ревом бросился на меня и стал колотить.

Пустили в ход кулаки и остальные. Начался бой, к которому так долго готовились воспитанники Миртажанга. Не казнь, а бой.

Мы сопротивлялись. Я не знал прежде, что в моих руках есть сила. А она была, и немалая. От моего удара пухлый ишанский сын отлетел к стене. Заскулил какой-то послушник, попытавшийся подобраться ко мне сбоку.

Попробовав моего кулака, сын ишана повернулся к Сафару. Его-то он намеревался сокрушить: ростом Сафар едва доходил ему до плеча. Но не тут-то было. Маленький Сафар пошел в наступление. Увертываясь ловко от чужих кулаков, он молниеносно опускал свои на чьи-то спины. Особенно точны были удары, направленные на ишанского сына. Сафар пустил в ход и голову и вышиб этому ублюдку зуб. Тот взвыл.

Началась свалка. Мы не заметили, как выкатились из кельи во двор. Здесь сражение коснулось и Миртажанга. Он, видимо, стоял за дверью и слушал, как воюют его подопечные. В руках он держал кувшин с водой. Для чего, неизвестно. Мы сбили Миртажанга с ног, и он повалился наземь вместе со своим кувшином. Облитый водой, он стал ругаться и стонать. Ишанский сын и халфа бросились поднимать своего наставника, остальные в испуге разбежались кто куда.

Мы оказались без противников.

Постояв минуту в нерешительности, я и Сафар сочли самым разумным покинуть место сражения. Бой, видимо, окончен.

Бои мы не чувствовали, синяков не замечали — все обнаружилось потом. Можно было уходить.

На улице, когда захлопнулась калитка медресе, мы услышали стоны и проклятия Миртажанга. Он был побежден.

Побежден враг новой школы.

Так по молодости и наивности мы считали.

ВРЕМЯ БЕЛЫХ АИСТОВ

Снова пришел Навруз. Семнадцатый в моей жизни. Он почти совпал с моим совершеннолетием. В день весеннего равноденствия пошел мне семнадцатый год. Можно было считать годы, как принято, по дням рождения, но мне хотелось отмечать время свое Наврузами — началом весны и началом всего нового, что несет она с собой.

Та весна была ранней и бурной. Едва минули зимние холода, как все вокруг зазеленело, зацвело: маки усыпали крыши, степь покрылась тюльпанами. Глянесь с балаханы, и сердце замирает от восторга — зеленое с красными гребнями волн море. Такое бывает только у нас. Говорю, у нас, потому что другого не видел — не открыл еще передо мной мир свои дороги и просторы. Только собирался открыть. И я это угадывал и радовался встрече с неведомым.

Аисты прилетели почти на снег, торопидись, видно. Прилетели стаяй. Так показалось мне. Уж очень много белых птиц в ту весну опустилось в Джизаке. Гнезд старых не хватало, и они вили новые на вершинах деревьев, на куполах мечетей. Куда ни помотришь, везде мохнатые, как шапки степняков, гнезда, и на них — одноногие аисты.

О белых птицах я заговорил потому, что та весна была щедра на радости. Может, и не аисты несли ее. Может, эти длинноклювые и долговязые вовсе не думали о нас, мальчишках, но мы-то думали о них, с их прилетом связывали появление всяческих удач — не случайно же зовут их птицами счастья.

Я-то был уверен, что счастье и аист неотделимы. Долго жило во мне это наивное сказочное представление о белой птице, так долго, что и взрослым испытывал радость при виде аиста. Она, белокрылая, оставалась для меня символом чего-то светлого, весеннего, и когда позже встречал ее, да что позже, когда встречаю теперь сидящей на своем высоком гнезде или летящей с широко раскинутыми крыльями над вершинами деревьев или тихой светлой водой, я испытываю чувство ожидания весны, то далекое, негасимое желание коснуться чуда.

Да, та весна была исполнена чудес. Время несло все новое и новое, и оно меняло нашу мальчишескую судьбу.

Я не преувеличу, если скажу, что чудесное открывала перед нами школа. После блуждания по темным закоулкам медресе, после отупения от зубрежки никому неведомых слов и молитв мы вроде бы вышли на просторную светлую улицу. Все стало понятным и ясным. Правда, ясность эта была непривычной и приводила в какое-то смятение наши души. Мир предстал другим, причины его существования оказались иными и объяснялись иначе. Помню, когда Хатам-ака сказал, что Земля наша шар и она мчится в пространстве, крутясь, словно яблоко, класс зашумел взволнованно. Не то чтобы мы не поверили. Нет, поверили: все, что говорил учитель, принималось, как истина, и истина потрясла нас. Самым невероятным было исчезновение бога. Ему не находилось места ни на небе, ни на земле. А мы привыкли к тому, что он вездесущ, он правит миром и нашими судьбами. Легко себе представить нашу изумленность и наше смятение.

И все же мы принимали новое охотно и тотчас объявляли всем о нашем приобретении. Делали это с сознанием собственного превосходства, с гордостью.

Дома я рассказывал о том, что слышал от учителя. Рассказывал чаще всего матушке. Она крутила веретено и ловила слова мои. Какими бы горячими они ни были, матушка не прекращала работы. Лишь очень неожиданные, невероятные просто, могли заставить ее остановиться. Тогда она поднимала голову и с удивлением смотрела на меня. Но не перебивала, не переспрашивала и тем более не возражала. Против науки не восстанешь, она понимала это. Но в душе, я думаю, отвергала сказанное мною, особенно то, что касалось устройства мира.

Однажды, жалуясь на темноту ночи, она сказала:

— И зачем бог сделал две недели темными и две недели светлыми? Будь весь месяц полная Луна, как бы возблагодарили всевышнего веретенщицы.

Я сразу ухватился за возможность низвергнуть бога.

— Аллах тут ни при чем. Виновато солнце. Оно светит на луну с другой стороны, поэтому ее не видно.

Ниспровержением бога я не ограничился. Надо было отделить его от вселенной. Я поставил перед чираком — масляным светильником — тряпичный мяч и сухой абрикос. Чирак исполнял роль Солнца, мяч — Земли, абрикос — Луны. Стал вращать абрикос вокруг мячика. Когда он оказался между Землей и Солнцем, его не стало видно.

Система выглядела убого, но матушка поняла, что к чему.

— Пусть так, — сказала она. — Без света и казан во

дворе не увидишь. Но кто же все-таки крутит твою Луну и твою Землю? Это под силу только аллаху...

Я не смог противопоставить убежденности матушки ничего путного. Я просто не знал тогда, что движет Землю, Солнце, Луну. И сдаваться нельзя было.

— Сами движутся! — объявил я смело.

На другой день Хатам-ака был засыпан вопросами: почему и зачем?

— Ты хочешь знать больше, чем способен знать ученик, — ответил Хатам-ака. — Ты хочешь знать то, что знает учитель...

Вряд ли мною руководили такие помыслы, это было слишком высоко для мальчишки, но я кивнул утвердительно.

Хатам-ака загадочно улыбнулся, он уловил что-то особенное в моем желании все знать.

— Ты учишь кого-нибудь? — спросил он.

Я никого не учил, просто рассказывал домашним, а иногда и соседям то, что слышал в школе. Делился, что ли, с ними. Ведь не удержишь в себе богатство, подаренное тебе вдруг. Его слишком много.

— Нет, — ответил я честно.

— Зачем же тебе одному столько знаний? Что станешь с ними делать, когда хурджун твой наполнится ответами на бесчисленные «почему»?

Трудный вопрос задал мне Хатам-ака. Куда, действительно, дену я ответы на свои «зачем» и «почему»? Наверное, передам матушке, чтобы знала, кто вращает Землю и Луну.

По растерянному лицу моему учитель догадался, что не знаю я, куда девать хурджун с ответами

— Держать знания при себе недостойно человека. Мы все от кого-то что-то узнаем. Отинбуви показала тебе буквы и назвала их, не скрывала тайну. Ты же намерен нести ее в себе до скончания дней.

— Нет, нет, — возразил я. — Отдам тому, кто попросит.

— А если не попросит?

Дотошный был этот Хатам-ака, хотел выпрясти из меня все, что таилось в сердце. Я мечтал стать учителем. Мечтал.

— Вот что, Назиркул, — мягко произнес Хатам-ака. — С сегодняшнего дня будешь оставаться после уроков. Надо, чтобы ты получил ответы на свои вопросы и узнал немного из того, что должен знать учитель.

— Я буду учителем? — не сдержал я своей радости.

— Может быть, — кивнул Хатам-ака. — Пойдем по тропинке, которая ведет к цели. Попробуем свои силы...

Да, удивительная все-таки была семнадцатая весна моей жизни. Одну радость за другой дарили белые аисты, и было их так много, летящих над нами.

Хатам-ака начал заниматься со мной сразу после Навруза. Мне и Адылу — он считал нас двоих самыми подготовленными в классе — предстояло пройти программу городской школы, подготовиться к поступлению на курсы учителей. Мы повторяли грамматику, арифметику, географию, решали задачи, писали диктанты. Дома должны были подготовиться к следующему уроку по учебнику.

Возле чирака, который светил маме, устраивался и я со своими тетрадками и книжками. Веретено жужжало, я бубнил тексты.

Матушка, видя, как я, заучившись, начинаю клевать носом, ворчала:

— Назиркул, пошел бы спать, поздно уже...

— Нет, мне еще нужно выучить несколько страниц.

— Выучишь завтра.

— Завтра будут другие.

— Оббо! Сколько же этих страниц?

— Не знаю. Тысяча, а может, и больше... Хатам-ака говорит, что книга знаний никогда не кончится.

— Но жизнь человека на земле кончается, — усомнилась в правоте учителя матушка.

— У кого она кончится, — объяснил я, — тот передаст тому, у кого начинается.

— Так ты будешь листать свою книгу до старости?

— Да...

Дни бежали быстро. Весной, в этой кутерьме золотого, зеленого, красного цвета, все мелькало, все спешило куда-то, и мы не успевали считать недели. Пролетел март, апрель, вступил в свои права май. Город отпраздновал великий день труда. Школа с красными флагами прошла по улицам Джизака. Мы пели песни, кричали «Урра!». Вместе с нами маршировал отряд Хайдарбека. Он впереди на своем чудесном коне, бойцы — сзади. Школа замыкала колонну. Это были незабываемые минуты. Чувствуешь себя большим, сильным, смелым...

Сразу после Первомай учитель объявил нам, что в школу прибывает комиссия для отбора учеников на курсы преподавателей. Объявил, волнуясь и тревожно поглядывая на нас с Адылом. Мы поняли — предстоит экзамен.

Сейчас многое из пережитого тогда кажется наивным и даже смешным. Без улыбки нельзя вспоминать, например, тот самый экзамен, к которому мы так готовились и которого

так ждали. Он не походил на современные экзамены, да и не только на современные — в середине двадцатых годов знания учеников проверялись тщательно и ставились оценки. Наш экзамен выглядел как простая беседа, и спор между экзаменаторами возникал не по поводу ответа — точного или неточного, строгость вообще отсутствовала, а по поводу выбора учеником жизненного пути. Спрашивали не учеников, а учителя. Он давал нам характеристики, определял уровень наших знаний и способностей. Он же намечал путь, по которому мы должны были идти. Одним назначалось ремесло, другим — канцелярия, третьим — наука. Мы с Адылом попали в учителя. То есть не попали еще, а только должны были попасть. Хатам-ака представил нас комиссии как будущих учителей.

Комиссия состояла всего из двух человек: представителя отдела народного образования Исхака-афанди и бывшего учителя русско-туземной школы Алексеева. Два этих человека никак не соединялись ни по облику, ни по характеру. Так, наверное, в комиссии и должно быть. Один хвалит, другой — ругает, а оценку дают среднюю, беря по половине от каждого.

Исхак-афанди был строгим, даже суровым, я никогда не видел улыбки на его лице. Говорил четко, коротко, словно давал команду. Он походил на военного, хотя и был преподавателем и носил обычную одежду. Носил, правда, так, как носят мундир: пиджак и брюки наутюжены, все пуговицы застегнуты. Руки он держал по швам, ноги — пятка к пятке. Голова высоко поднята. Ходил четким шагом, движения его подчинялись команде: левой, правой, ать-два! Я побаивался Исхака-афанди и, когда встречал на улице, старался скрыться в каком-нибудь переулке или в чьей-нибудь калитке. Мне казалось, он обязательно скамандует «стой!» и начнет отчитывать за рваный халат или грязные кавуши.

Теперь строгий Исхак-афанди должен был решать мою судьбу — быть мне учителем или нет.

Невольной взгляд мой с надеждой обращался к Алексееву, тихому, скромному старичку, второму члену комиссии. Он сидел возле печки, положив кисти рук на трость, увенчанную замысловатым набалдашником в виде дракона. Трость была постоянной спутницей Алексеева — он прихрамывал на одну ногу. Не расставался он и с трубкой, тоже замысловатой. Она редко дымилась, но во рту торчала всегда. Вынимал ее Алексей лишь тогда, когда говорил, а говорил он редко и мало, трубку держал в это время в правой руке и водил ею, как указкой, то по доске, то по столу. Если одо-

брал слова собеседника, кивал головой и улыбался. Впрочем, улыбался, выражая и неудовольствие. Только улыбка тогда была грустной, даже скорбной, и голова качалась из стороны в сторону.

Наверное, Алексеев любил полумрак, потому что на ярком свете веки его помаргивали часто, он щурился, стараясь избавиться от дерзких лучей. А может, он плохо видел. И это странно — глаза у него были большие и ясные, очень, очень голубые, как небо.

Когда Хатам-ака представил меня комиссии, глаза Алексеева сощурились, он старался, видимо, разглядеть будущего учителя. Не знаю, разглядел или нет, но улыбнулся и кивнул. Исхак-афанди, наоборот, нахмурил брови и соорудил брезгливую гримасу. Первое, что он спросил, было:

— Сколько мальчишке лет?

Спросил Хатама-ака, а смотрел на меня и ждал, видимо, как я отвечу.

Семнадцать, почти сорвалось с моих губ. И, наверное, сорвалось бы, не опереди меня Хатам-ака.

— Когда окончит курсы, ему будет семнадцать.

Исхак-афанди недовольно поморщился.

— Когда окончит! Разве он уже учится?

— Нет, но мы надеемся...

— Напрасно надеетесь... Наробраз не посылает на учительские курсы детей.

— Он не ребенок, он йигит.

— Безусый! — усмехнулся Исхак-афанди. — Нам нужны взрослые, грамотные люди, умеющие повелевать, держать дисциплину в школе...

— Где они, эти взрослые люди, умеющие повелевать? — развел руками Хатам-ака. — В медресе, в мечети, в бывшей канцелярии мингбаши? Там вы будете искать их? Я считаю, что нам нужны молодые люди, принявшие Советскую власть, сочувствующие ей, активисты революции.

Учитель говорил горячо. Он волновался, правда, но волнение придавало его словам еще большую сгратность и убежденность. Он наступал на Исхака-афанди. Тот не ожидал такого напора, но и отступить не желал.

— Все-таки дети...

Чем бы кончилась эта стычка, не знаю. Мог победить злой и упрямый Исхак-афанди. Он решал, наверное, кого посылать на курсы. Меня, судя по всему, он посылать не хотел. Я сник. Надежды и мечты мои гасли. Невольно, ища защиты или простого сочувствия, я посмотрел на Алексеева. Он в споре не участвовал. Сидел, скрестив руки на голове

дракона, спокойный, равнодушный, далекий от всего. Так мне показалось. Но я ошибся. Голубые глаза его из-под прищуренных век видели и Исхака-афанди, и домлю Хатама, и Адыла, и меня. Как только я взглядом попросил его защиты, он тотчас откликнулся. Трубка покинула рот, на лице появилась улыбка.

— Домля прав, — сказал тихо, но твердо Алексеев. — Новый учитель должен быть сыном революции, и чем меньше ему лет, тем лучше. Юная душа всегда возвышенной, она легче освобождается от прошлого, быстрее принимает настоящее. А будущее для нее — крылья!

— Спасибо, Никита Дмитриевич! — вздохнул облегченно Хатам-ака. — Это верно, будущее для молодых — крылья!

Алексеев встал, прихрамывая, подошел ко мне.

— Увидеть бы, как они полетят...

— Увидим, Никита Дмитриевич, обязательно увидим, — закивал радостно домля.

Алексеев протянул руку, а она у него была большая и костистая, и погладил меня по голове.

— Лети, сынок...

Мы уезжали. Это был один из дней июня — ясный, солнечный, горячий. На небе ни облачка, если не считать дымка нашего паровоза. Он попыхивает, пускает в синеву белые клубы пара и дыма.

Я и Адыл — на крыше вагона. Другого места в поезде нет. Он переполнен до отказа. Люди висят на подножках, буферах, жмутся в тамбурах. Нам еще посчастливилось: Хатам-ака уговорил машиниста пропустить двух мальчишек через тендер на крышу первого вагона.

Сверху нам видно, как уплывает перрон и на нем люди. Много людей. То, что много, не осознается нами, полные слез глаза наши выбирают только две отдаляющиеся от поезда фигурки. Маму мою и учителя Хатама. Они машут нам руками. Что-то кричат. Что, не слышно в грохоте колес и шипении паровоза. Но мы знаем, мы чувствуем — они желают нам счастья, только счастья.

Поезд набирает скорость. Станция, удаляясь, тает в мареве жаркого летнего дня. Навстречу из ущелья вырывается тугой напористый ветер и бьет нам в лицо. Мы не заслоняемся, не опускаем головы. Надо привыкать. Всю дорогу нам будет дуть ветер в лицо. В пути так всегда...

СОДЕРЖАНИЕ

* В. Оскоцкий. Дорога длиною в жизнь 3

КНИГА ПЕРВАЯ

День проклятий и день надежд

Первый шаг	20
Боже, лучше бы ты не создавал нас, бедных!	38
Святая пятница	53
Овца думает о жизни, а мясник о сале	66
Время цветения тюльпанов	79
Родник ишана не утоляет жажду	91
Пыль, которая не оседает	100
Тайна тетюшки Марьям	103
Капля, переполняющая чашу	116
Нарушение поста	135
Ночь без рассвета	147
Белый флаг	159
День проклятий	166
Изгнание	173
Бедняка и на верблюде собака укусила	183
Холм скорби	192
Возвращение сыновей	200
Под пеплом — огонь	204
Ветер России	213
Возмутители спокойствия	219
День надежд	228

КНИГА ВТОРАЯ

Время белых аистов

Если сердце широко, одной изюминкой сорок человек накормить можно	236
Река, впадающая в море, возникает из ручья	267
Если бедняк ест курицу, то или он болен, или курица	285
Петух, который клюет золотое зерно, умирает с голоду	292

* © Издательство литературы и искусства имени Гафура Гуляма, 1984.

Один день не такой, как тысяча, а тысяча дней не такие, как один	309
Хочешь научиться плавать — прыгни в воду!	322
Постучи в семь дверей, чтобы одна открылась	346
Какую узкую тропку ни протоптал человек — все дорога жизни	357
Молодцу и сорока ремесел мало	380
Счастье, как рассыпанное зерно, собирают руками	393
Открыв калитку, перешагни порог	401
Чем выше к облакам, тем сильнее ветер	410
Время белых аистов	422

Назир Сафарович Сафаров

Избранные произведения в 3-х томах

Том первый

НАВРУЗ

Роман в двух книгах

Редактор Д. Быховский

Художники А. Бобров, Ю. Габзалилов

Художественный редактор М. Карпузас

Технический редактор В. Барсукова

Корректор Л. Бейгул

ИБ № 2301

Сдано в набор 28.10.83. Подписано в печать 29.08.84 г. Формат 84×108^{1/2}. Бумага типографская № 3. Академическая гарнитура. Высокая печать. Усл. печ. л. 22,68+0,52 вкл. Усл. кр. оттисков 23,15. Уч. изд. л. 26,1+0,39 вкл. Тираж 30000. Заказ № 132. Цена 1 р. 90 к.

Издательство литературы и искусства имени Гафура Гуляма, 700129, Ташкент, ул. Навои, 30.

Набрано и отмастрировано в типографии издательства «Таврида» Крымского обкома Компартии Украины. 333700, г. Симферополь. ул. Генерала Васильева, 44.

Типография № 1 ППО «Матбуот» Государственного комитета УзССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, Гашкент — 700002, ул. Хамзы, 21.

Сафаров, Назир.

Избранные произведения: В 3-х т. [Пер. с узб. Э. Арбенова; Предисл. В. Оскоцкого]. — Т.: Изд-во лит. и искусства, 1984.

Т. I. Навруз: Роман в 2-х кн., 432 с.

В первый том трехтомного издания избранных произведений народного писателя Узбекистана Назира Сафарова вошел автобиографический роман «Навруз», посвященный Джизакскому восстанию.